



Н Е М Е Ц К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

Под общей редакцией
Мих. Лифшица

**Р О М А Н Т И Ч Е С К А Я
П О В Е С Т Ъ**

ДВА ТОМА

А С А Д Е М И А
Москва—Ленинград

**НЕМЕЦКАЯ
РОМАНТИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ**

Переводы под редакцией
М. А. Петровского

Статья и комментарии
Н. Берковского

ТОМ II

**АРНИМ, БРЕНТАНО
ЭЙХЕНДОРФ
КЛЕЙСТ**

**А С А Д Е М И А
1 9 3 5**

Рисунки, супер-обложка и переплет
А. В. Фонвизина

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Немецкий романтизм конца XVIII — начала XIX в. представлял собой выдающееся культурно-философское и художественно-литературное движение. Его роль в становлении буржуазного мировоззрения — при всей своей двойственности — была исключительной.

Не случайно это течение возникло в Германии в эпоху, непосредственно следующую за великой буржуазной революцией XVIII века во Франции. Оно было своеобразной реакцией со стороны слабой, отсталой и раздробленной немецкой буржуазии той эпохи на это поворотное событие в истории буржуазного общества.

В этой реакции исторически-прогрессивные черты неразрывно сливались с чертами регрессивными и прямо реакционными. С одной стороны немецкие романтики выдвигали самоопределение личности, переоценку культурных ценностей с точки зрения нового буржуазного сознания, принцип цельного, исчерпывающего познания и национальное начало, как символ пробуждения дремлющих в народной массе сил. С другой стороны, они замыкались в крайнем субъективизме, в то же время пытаясь воскресить авторитаризм отжившего феодального общества в противовес надвигающемуся миру капиталистической конкуренции, вели безоговорочную борьбу с рационализмом, приведшую значительную их часть к мистицизму, католицизму и культу сословности, и возводили в принцип полный отрыв теории от практики, к которой они относились с субъективно-идеалистическим высокомерием, как к голой эмпирии.

Все эти противоречия романтического сознания с необходимостью вытекали из его природы: немецкий романтизм — это, в основе своей, мелко-буржуазная оппозиция к капиталистическим отношениям, проводимая очень часто с реакционных позиций, — борющаяся против капиталистических отношений, но, одновременно, утверждавшая их поневоле и даже расчищавшая им почву.

Ориентируясь в наследстве, оставленном пролетариату буржуазным обществом, немецкий романтизм нельзя отвергнуть или обойти.

Наше внимание не могут не привлечь результаты, которые немецкий романтизм принес в искусстве,— в особенности в художественной литературе.

Поэзия и проза немецкого романтизма, будучи наиболее полным выражением мировоззрения немецких романтиков, которые именно в искусстве видели высшее выражение человеческого (т. е. их собственного, романтического) творчества, многими своими образцами вошли в немецкую классическую литературу, а через нее и в литературу мировую.

Поэзия и проза немецких романтиков должны быть изучены еще и потому, что они сыграли большую роль в создании реализма, как господствующего стиля процветающей буржуазии середины XIX в. Достаточно вспомнить Бальзака, Байрона, Пушкина, Гоголя и — что особенно существенно в данной связи — Гейне, чтобы убедиться, что реализм пришел к господству в художественной литературе прошлого века между прочим через преодоление романтизма (очень часто именно в том виде, в каком его разработали немецкие романтики), вобрав в себя многие его приемы изображения действительности и в целом ряде случаев восприняв от него отдельные черты действительности, впервые *реалистически* освещенные именно им.

Все это делает вполне целесообразным ознакомление советского читателя с лучшими образцами немецкой романтической прозы, двухтомное собрание которых издательство выпускает в новых переводах.

Подробную характеристику немецкого романтизма, как культурно-философского и художественно-литературного движения, читатель найдет в статье Н. Берковского „Немецкий романтизм и его проза“, открывающей 1-й том собрания, который по техническим причинам выйдет вслед за 2-м. Характеристика отдельных произведений дана в комментариях, которыми эти произведения снабжены.

АХИМ ФОН АРНИМ

ИЗАБЕЛЛА ЕГИПЕТСКАЯ

(Первая любовь императора Карла Пятого)

Брака, старая цыганка, одетая в истрепанный красный плащ, не успела промяукать перед окном в третий раз свой Отче наш, что служило у нее условным знаком, как Белла, приоткрыв ставень, уже высунула свою милую темнокудрую голову с блестящими черными глазами на свет полного месяца, который, рдея, как полупотухший накал железа, только что стал подниматься из туманных вод Шельды, чтобы все ярче и ярче засиять чистым светом на небосклоне.

— Смотри, как мне улыбается ангел!— сказала Белла.

— Дитя, что ты видишь?— спросила старуха, вздрогнув от страха.

— Месяц,— отвечала Белла;— вот он опять взошел, а отец опять не вернулся домой. Старуха, этот раз отца слишком долго нет, но зато чудные сны я видела о нем прошлую ночь; я видела его на высоком троне в Египте, и птицы летали под ним; это утешило меня.

— Бедное ты мое дитя,— сказала Брака,— если бы то было правдой. А раздобыла ты что-нибудь поесть и попить?

— О, да,— отвечала Белла,— сосед отрясал свои яблони, много яблок попало в ручей, я выудила их

там, где они застряли в корнях на излучине, да и отец перед уходом оставил мне краюху хлеба.

— И хорошо сделал,— заплакала старуха,— ему уже хлеба не нужно, они отняли не только хлеб у него.

— Милая бабушка, скажи, пожалуйста, не поранили себя отец, показывая фокусы? Проведи меня к нему, я позабочусь о нем. Где мой отец? Где мой герцог?

Так спрашивала Белла, вся дрожа, и слезы падали из ее глаз на твердые камни, блистая в сиянии месяца. Если б я был перелетной птицей, то опустился бы на землю и, обмакнув клюв, отнес бы их на небо: так горестны и так покорны его воле были эти слезы.

— Смотри,— захныкала старуха,— там, на горе стоит треножник, трехногий, но не треединый. Бог знать не знает его, хоть и зовется он высшим судом; кто миновал этот треножник, тот долго еще проживет; мясо, что поджаривается там солнцем, не кладут ни в какой горшок,— оно висит там, пока мы его не снимем. Будь покойна, бедное ты мое дитяtko, не кричи только,— то отец твой висит там наверху,— но только будь покойна, мы достанем его нынче ночью и бросим его в ручей со всеми почестями, что ему подобают, и поплывет он к своим в Египет, ведь умер же он в благочестивом паломничестве. Возьми вот это вино и горшочек с тушеным мясом, помани его одинокая, как подобает.

Белла в испуге чуть было не выпустила из рук то, что она протянула ей. Старуха продолжала:

— Держи же крепко, не вырони, не выплачь глаз себе, не забудь, что ты одна наша надежда теперь, что тебе дано вывести наших на родину, когда обет наш совершится; не забудь и о том, что теперь тебе все принадлежит, чем владел твой отец, загляни только в его каморку — возьми вот ключ от нее,— там ты много найдешь. Да, чуть не забыла: давая мне ключ, он сказал, чтобы ты не боялась его черного Самсона, собака уже будет знать, что ей тебя надо слушаться, и больше уж не укусит тебя; он сказал еще вдобавок, чтобы ты не горевала,— он долго болел по родине, а теперь и вы-

здоровел, когда вернулся в родные края. Так говорил он — и вот тебе горшок молока, что я надоила у коровы на пастбище. Оно тоже для поминок. Покойной ночи, дитя!

Старуха пошла прочь, и Белла глядела ей вслед, словно на зловещее письмо, что от страха выпало у нее из рук, а все-таки хочется знать, что в нем написано; ей бы лучше пойти вместе с ней, но в печали своей она не решалась и робела грубого народа, с которым там встретится, как ни любила его.

Цыгане в ту пору подвергались преследованию, которое навлекли на них гонимые евреи, выдававшие себя за цыган, чтобы удержаться на месте, и они одичали в грехе; их герцог Михаил часто жаловался на то и пускал в ход всю свою мудрость, придумывая, как бы их снова объединить и вывести на родину. Данный ими обет итти до тех пор, покуда им будут встречаться христиане, был свершен, ибо они уже вернулись из Испании с берегов океана; только желание попасть в Новый свет удерживало их в Старом, который перевозил туда лишь солдат и никаких паломников. Но вывести их назад в Египет при все возраставшем могуществе турок, при повсеместном преследовании, при недостатке денег было бесконечно трудно. Уже герцог старался обратить в средства к существованию то, что раньше являлось национальным их развлечением — испытания силы и ловкости, когда они поднимали на зубах тяжелые столы, поддерживая их в равновесии, когда они, прыгая, кувыркались в воздухе или же ходили на руках, словом все, что они показывали как свои цыганские фокусы; но, гонимые из одной страны в другую, они истощили этот источник дохода, и даже лучшие из них, когда уж и гадание больше не помогало, принуждены были воровать себе кусок для пропитания или довольствоваться мясом кротов, ежей и других зверей, на которых всякий в праве охотиться. Тогда впервые всем сердцем почувствовали они на себе кару за то, что изгнали святую мать божию с младенцем

Иисусом и со старым Иосифом, когда те бежали к ним в Египет, ибо они не взгляделись в очи господни, но в грубом своем равнодушии приняли святое семейство за евреев, которым на вечные времена был воспрещен доступ в Египет за то, что они унесли с собой при исходе в Землю обетованную ссуженные им золотые и серебряные сосуды. Когда же позднее, при крестной смерти, они признали спасителя, которого отвергли при жизни его, то половина народа дала обет искупить свое жестокосердие паломничеством в даль до последних пределов, где только будут встречаться им христиане. Они потянулись через Малую Азию в Европу, захвативши с собой свои сокровища, и, покуда те не иссякли, повсюду им оказывалось гостеприимство; но горе всем беднякам на чужбине!

После этого необходимого пояснения возвратимся теперь к нашей повести. Новая толпа цыган, среди них Хаппи и Эмлер, пришла неделю назад из Франции без гроша в кармане; герцог решил тогда сам еще раз показать свои фокусы, чтобы заработать им на пропитание; он пошел вместе с ними в гостиницу, но, когда к общему восхищению понес он на руках и на плечах восемь человек, вдруг поднялись крики, что Хаппи схвачен, что он украл двух петухов на дворе и те выдали его своим криком, когда он собирался дать тягу, а что Михаил, сам герцог, лишь затем оставался в комнате, чтобы отвлечь внимание людей. Богатые гентские горожане не прощают ни малейшей кражи; напрасно притворялся герцог Михаил, будто он в ту же минуту готов был застрелить Хаппи — и сам он и Эмлер были посажены в тюрьму вместе с Хаппи и как воры присуждены к повешению: в те времена суровый закон против цыган давал право казнить их на месте, где они будут захвачены. Тщетно Михаил клялся перед судом в своей и Эмлеровой невинности, говоря:

— С нами поступают, как с мышами: чуть только одна мышь подгрызет сыр, как уже говорят, что мыши здесь побывали, и пойдет тут сплошная их травля и

ловля — так и нам, цыганам, теперь нет вернее убежища, чем виселица.

Это верное убежище было ему предоставлено законом, и он пролил горючие слезы со своей вышки на землю, что он, последний мужской наследник высокого рода, невинно гибнет такой позорной смертью; тут замкнулись его уста до дня страшного суда, когда он принесет свою жалобу на немилосердие богачей, для которых жизнь человеческая меньше стоит, чем сохранность их мертвых сокровищ; тогда веревка так же не пройдет сквозь игольное ушко, как и верблюд и богатые не войдут в небесное царство, где Белла вновь обретет своего отца.

Когда Белла снова пришла в себя, она воскликнула:

— Так вот что означал мой сон, что отец мой вознесется, да, и теперь он уже вознесся на небо и знает о нас или все или ничего.

Черный пес противу своих привычек переступил в это время порог каморки, улегся у ног Беллы и завыл.

— Так тебе тоже все известно, Самсон?— спросила она его, и собака кивнула головой.— Будешь теперь мне служить?

Собака снова кивнула головой, подбежала к окну и стала царапаться. Белла выглянула наружу, ставень оставался отворенным: она увидела вдали озаренное луной качающееся тело отца, и вдруг он опустился наземь.

— Теперь они его сняли, теперь они его поминают, и я должна его помянуть под открытым небом.

Взявши кружку вина и хлеб и сопровождаемая собакой, вошла она в запущенный сад; уже десять лет дом стоял необитаемым из-за привидений, ибо все это время он служил пристанищем для цыган, и владельца его, богатого городского купца, который приготовил его себе на лето, они отпугивали до тех пор, пока его самого не посадили в тюрьму за банкротство и над его имуществом для погашения долгов было назначено управление, которое вело дела с обычной в таких случаях нерадивостью. Теперь, под мечом правосудия, они жили там в полном спокойствии, только не смели днем

показываться наружу, ночью же всякий люд обходил их стороной.

Итак, бледная красавица вышла, как привидение, в наружную дверь, и сторож соседних садов при виде ее бегом бросился в дальнюю часовню, чтобы молитвой оградить себя от нечистой силы. Белла и не подозревала, что она кого-нибудь может напугать; печаль об утрате единственной своей надежды, отца, за которой она забыла о всем прочем, повергла ее в оцепенение; она помнила лишь о том, чтобы выполнить в точности наставления старой Браки; ее утешало только одно: что она чем-то может еще почтить своего отца. Итак, по поминальному обычаю своего народа, она расстелила свое покрывало на камне, поставила на него два кубка и две тарелки, разломилась хлеб на две части, налила вина в оба кубка, чокнулась ими, осушила свой, а кубок покойника вылила в бегущий поток, который неподалеку от дома исчезал в Шельде. Когда она выливала в воду эту первую жертву, в волнах зашумело и поднялось что-то, словно большая рыба, которой тесно было в русле, вынырнула и всплыла на поверхность; месяц вышел из-за дома, и она увидела бледное лицо отца с короной на голове, которую надели на нее цыгане, перед тем как бросить его в поток. И когда драгоценное чело завёртелось в водовороте, у бедного ребенка голова кругом пошла; она вообразила, что он еще жив, что он старается выбраться из потока; она прыгнула в воду и крепко схватила его в руки, а черный пес крепко схватил ее за юбку и уперся о берег; так удержал он лишившуюся чувств от горя девушку, которая не могла ни вынести труп на берег, ни уплыть вместе с ним в море. Наконец Брака вернулась и, не достучавшись, пробралась в сад, где словно окаменела при виде дивной картины: могучий Михаил в саване, с блестящей серебряной короной на голове, над ним бледная девушка с распущенными черными кудрями, черный пес с огненными глазами держит ее за платье. Старуха не могла удержаться от смеха, настолько диковинным это ей

показалось, несмотря на то что она была потрясена до глубины души; и смеялась-то она не от души, но иссохшим своим ртом, как голодающий; затем она прыгнула в воду, вынесла с немалым трудом девушку на берег и сказала:

— Пусти его плыть, он знает свой путь лучше тебя.

При этих словах труп тихо поплыл вниз по течению, а месяц зашел за облака, и Белла поникла в объятиях старухи.

Четыре скорбных недели миновали; старуха ради собственной безопасности не могла приходить ежедневно, и Белла коротала время со своим псом, который не мог уже развлекать ее своими фокусами и вечно спал или, после еды, вилял хвостом, облизывался и чесался; наконец она решилась сделать то, с чего другие наследники начинают,— посмотреть, что оставил ей покойный. Она отомкнула потайную каморку не без некоторого страха и благоговения, но обманулась в своих ожиданиях: там оказались не редкостные одежды и драгоценности, но большей частью лишь пучки трав, мешки с корнями, какие-то камни,— всё вещи, в которых она ничего не понимала, потому что отец не доверял своих тайников ее детскому уму. Наконец она нашла в одном ящике старые рукописи и перелистала их; многие из них, украшенные ценными печатями, были написаны на странной бумаге и на неизвестном ей языке, другие же — на нидерландско-немецком, на котором она хорошо умела и писать и читать, так как ее мать, происходившая из древнего рода графов Хогстратен и бежавшая с Михаилом, передала любовь к этому старому языку своему мужу и своему ребенку. Она взяла эти книги с собой и принялась их читать в ту же ночь, ибо днем спала, чтобы не делать никакого шума; но тут Брака через ручного филина, которого она уже несколько времени носила с собой, подала троекратный знак, чтобы ее впустили. Белла неохотно оторвалась от своей книги, содержащей диковинные волшебные истории, и, когда Брака вошла, снова молча уселась

за чтение, а старуха подбоченилась и злобно заговорила:

— Так вот как, нынче со старой Бракой не здороваются, не целуются! да, покуда дети малы, то они не знают, как только и отблагодарить за всякую ласку и добро, а, чуть подрастут, становятся глухи ко всякому добру, которое им делают; ну, не получить тебе сегодня пирожка, покуда не попросишь его у меня как следует! целых полчаса я дожидалась его у булочника, он должен был готовить сегодня к принцеву столу; пойдется служанка, когда она явится за ним к булочнику, а его уж и след простыл.

— Даже если я тебя и не попрошу,— отвечала Белла,— ты не успокоишься, покуда я не съем кусочка; давай его сюда и не злись. Я разбирала сегодня отцовские книги и отыскала в них такие чудесные истории, что мне самой захотелось стать привидением.

Старуха посмотрела в книгу и сказала:

— Чудно, что я вот состарилась, а не умею читать, а ты, цыпленок,— можешь; послушай-ка, что я скажу: если тебе так хочется быть привидением, мне пришлось в голову, что ты можешь стать им и мы можем извлечь из этого пользу...

— О чем ты говоришь? Что у тебя вид какой озабоченный?

— Вот что, Белла,— продолжала старуха,— не пустяки у тебя впереди: подумай только, принц Карл вчера проезжал верхом на коне со своим учителем Ценрио мимо этого дома и спрашивал, отчего он стоит таким заколоченным и запущенным. Ценрио рассказал ему о том, как привидения отпугнули всех покупателей и съемщиков, обо всем, что ты знаешь; как твой отец избил розгами одного, кто хотел здесь водвориться, а на другого напустил целую стаю сов, которые у него были заперты в каморке; ну, да ты все это знаешь! А принц-то, ничуть не испугавшись, поклялся, что он совсем один проспит ночь в этом доме и прогонит всех духов. Что же нам теперь делать? Он в любую

ночь может явиться сюда, и его люди станут на стражу у всех дверей, так что никто из наших ни войти, ни выйти не сможет.

— А знаешь, Брака,— проговорила Белла,— принца я очень бы хотела увидеть; я столько о нем слышала, о его красоте, о его благородстве, о его искусстве в фехтовании и верховой езде.

— Ну, вот, ты опять думаешь о принце, а не о нашей нужде,— продолжала Брака;— сумеешь ли ты разыграть роль привидения? Это могло бы тебя спасти.

— Почему бы и нет?— молвила Белла,— но как это сделать?— и стала читать дальше.

— Видишь ли, дитяtko,— сказала старуха,— он может устроиться на ночь только в одной комнате,— в черной с золотыми плитусами, рядом с потайной каморкой твоего отца, потому что во всех других комнатах по нескольку дверей и ему в них будет не так спокойно, да и кровать стоит только в ней одной. Так вот, когда ты услышишь, что он затих, что он заснул, ты выскользни из каморки, ложись к нему в постель, и клянись тебе, что он со страху пустится наутек и уж никогда больше не вернется; если же он не растеряется и схватит тебя, то ты отделаешься маленькой ложью, будто ты по любви к нему забралась, и тут, может быть, ты найдешь свое счастье.

— Да, старуха,— сказала Белла, продолжая читать,— верно, ты знаешь, что говоришь, а мне все равно.

— Скажи ты мне только, откуда у тебя эта проклятая книга,— пристала опять к ней старуха;— я не шутки с тобой шучу, а тебе ни до чего невдомек, кроме своей книги.

— Я принесла ее из отцовской каморки,— отвечала Белла,— там еще много осталось, можешь взять и себе какую-нибудь.

— Раз ты позволяешь,— сказала старуха,— я охотно загляну туда; я всегда боялась тебя попросить об этом, я не знала, не запретил ли этого твой отец.

— Ну, что же, войди,— сказала Белла;— впрочем, ты мало что там найдешь.

Старуха с робким любопытством направилась в каморку; у двери она попросила Беллу отозвать черного пса, который все время лежал на пороге, не пуская никого входить кроме Беллы, как ему было приказано. Белла подозвала его к себе, и старуха беспрепятственно проникла в каморку. Как только она вошла в нее, Белла засмеялась, подманила опять собаку к двери, а сама спряталась, чтобы поглядеть на испуг старухи; то была забава принцессы, но Белла была и любезна, как принцесса, и все чтили ее, как принцессу. Немного спустя старуха, прихватив большой пук трав и мешок, приотворила дверь, собираясь выйти, но черный пес сверкнул на нее огненными глазами и оскалил зубы; в страхе она отступила назад и вне себя от ужаса позвала Беллу. В то же время перед наружной дверью послышался необычный топот лошадей, шаги людей, идущих по двору, и испуганная Белла, схватив свечу и еду, бросилась вместе с собакой к старухе в каморку, где они заперлись, выжидая, не явился ли то принц, чтобы сражаться с привидениями.

Они не ошиблись: то был Карл, будущий властелин мира, где никогда не заходит солнце, который, сияя цветущей своей молодостью, вошел в покинутую комнату. Белла могла его хорошо разглядеть сквозь потайную замочную скважину— такого красавца она никогда еще не встречала; до сих пор ей приходилось видеть лишь смуглых цыган, веселых и грубых; этот же вошел так величаво, так мягко ступая в сознании своей силы, и она поняла, что это и есть будущий повелитель, прежде даже чем его спутники приветствовали его как принца. Ее восхитило его высокомерие, с которым он отстранил Ценрио, настаивавшего на том, что больше нечего биться об заклад, так как принц уже своим присутствием здесь доказал, что он действительно готов выполнить то, на что решился. Но принц быстро сбросил на стол свой черный бархатный

берет, разостлал дождевой плащ на кровати и приказал Ценрио сторожить около дома, а ему оставить в комнате только две горящих свечи — он устал. Ценрио напомнил ему о пистолетном сигнале, ежели ему кто-нибудь понадобится, в случае же ежели произойдет осечка — при этом он осмотрел замок, — достаточно будет ему кликнуть, ибо он поставит одного солдата под окном, сам же будет сторожить вблизи. Принц заявил, что хотел бы обойтись без стражи и охраны, так как раз на нем пандырь и при нем добрый меч, ему никто не опасен, а детские сказки о духах больше его не пугают. Ценрио покинул комнату. Принц облокотился на стол и начал напевать песню, чтобы отогнать сон; потом он растянулся на кровати и опять зашел, засыпая. Так как кровать стояла против каморки, Белла могла его ясно видеть и слышать слова:

Приди, моя черная ночь,
 Чтоб звезда за звездой воссияли,
 Запечатлев твою мощь,
 Как знаки мне суженой дали,
 В моей отважной груди,
 И искрами их пробуди
 Влеченье к грядущим коронам
 В сердце моем истомленном.

На темном сидит она троне,
 Покоится на облаках
 В своей светозарной короне, —
 О, как я лечу к ней в мечтах!
 Я с ней в поделуе едином
 Стать мог бы в ту ночь властелином.
 Тогда б овладел я вселенной,
 Венчанный короной нетленной.

— Нетерпится ему воцариться, — шепнула старуха Белле.

Его веки отяжелели, голова поникла. Он заснул, а Белла все не сводила с него глаз и не могла наглядеться; но старуха уже решила, что делать. Оружие — меч и пистолет — лежали у постели принца, их Белла должна была прежде всего потихоньку убрать, а затем

разыграть из себя духа и улечься подле него; но ей нелегко было уговорить девушку снять башмаки и чулки, чтобы не наделать шума, ступая, и снять платье, чтобы ни за что не задеть, и она почти что вытолкнула ее за дверь, которую предусмотрительно только притворила, чтобы обеспечить ей отступление. Недоброе намерение тайла старуха при этом плане: сводничество давно уже было главным ее занятием, и в этот раз она рассчитывала сорвать для себя немало.. Белла ни о чем таком и не подозревала: ей было приятно поглядеть на принца вблизи, поэтому она недолго раздумывала о том, разумен ли на самом деле замысел старухи. Итак, с величайшей осторожностью подошла она к постели принца, который так крепко спал, что она могла спокойно убрать прочь его оружие; старуха с радостью смотрела на обоих. Закутанная по цыганскому обычаю вместо рубашки в синюю холстину, подпоясанную золотым поясом, Белла робко протянула к принцу свои круглые ослепительно белые руки, тихо, изящно ступая к нему своими сверкающими из-под покрывала ножками, в тысяче сладостных взглядов из-под бесчисленных локонов суля ему бесконечное счастье, пока ее уста уже не могли больше сдерживаться и прильнули к устам принца.

До сих пор все шло для нее удачно, но пробужденный поцелуем, с глазами полными страха сонных видений, словно под градом пылающих ядер, принц стремительно вскочил и, задыхаясь и крича, бросился в соседнюю комнату; пистолет, меч, он все забыл — так велик ужас, таящийся в глубине сердца даже у храбрейших людей, перед неведомым миром, который не поддается нашим опытам и испытаниям, но сам испытывает нас и забавляется нами. Белла была так испугана паническим бегством принца, что, немая и безвольная, опустилась на руки старухи, которая быстро унесла ее через потайную дверь в каморку. Вскоре затем вернулся принц в сопровождении Ценрио и нескольких солдат, которые, по правде сказать, предпочли бы оста-

ваться снаружи, чем входить в дом. Кто не испытал ничего подобного, вряд ли тому поверит, что привидение может обратить в бегство целую армию, ибо то, что повергает в непреодолимый ужас одного храбреца, повергает всех и каждого. Сам принц оказался тут даже храбрее других; он громко воскликнул:

— Как ни страшны были черные змеи, свисавшие с ее головы, прекраснее лица я в жизни не видал; при всем своем чудовищном росте, она была необычайно стройна, а на груди у нее сияла блестящая застезка, но, клянусь богоматерью, теперь я никого здесь не вижу, посветите только под постель; если никто не решается, я сам загляну туда. Здесь тоже никого; так, значит, это был призрак, Ценрио, и я проиграл вам свою турецкую саблю, Ценрио. Если бы только мне узнать, чего добивалось от меня милое привидение! Клянусь богом, я остаюсь здесь; стойте, я теперь все припоминаю. Смотрите, мои губы не сожжены, но клянусь вам, оно меня поцеловало так, что сердце у меня прыгало от блаженства. Ценрио, я остаюсь здесь, я спрошу его, чего оно от меня хочет.

Но Ценрио поклялся, что не допустит, чтобы принц после пережитого ужаса рисковал еще раз своим здоровьем, да и сам принц не заставил себя долго упрашивать отказаться от нового испытания своей храбрости. Ему нечего было стыдиться, так как все озирались вокруг, бледные и напуганные, и вздрагивали при малейшем шорохе, и он успел вернуться домой так, что Адриан, погруженный в свои книги, ничего даже и не заметил.

Старуха не очень была довольна этим решением; все же она сумела полностью использовать такой оборот дела, для того чтобы удержать за собой и за своими обладание домом, и не успела затвориться наружная дверь за обратившимися в бегство гостями, как она, словно бешеная, к ужасу Беллы, выскочила из каморки, стала хлопать дверьми, опрокидывать столы, так что беглецы робея сели на коней и без оглядки поскакали

к городу, где своими преувеличенными рассказами навеки вечные закрепили за покинутым домом его недобрую славу.

За свою дерзость принц в ту же ночь поплатился жестокой горячкой. Милая головка Беллы не переставала грезиться ему, бред выдал его, затуманив ему голову мнимую истиной, и, удрученный, он покаялся на следующее утро Адриану, что влюбился в призрак. Для наставника, которому император Максимилиан поручил особенно заботиться об обучении латыни своего внука, лучшего случая не могло представиться, и он задал ему в виде покаяния множество вокабул, за которыми и сам принц постарался отвлечься от своих ночных впечатлений.

Бедная Белла в своем одиночестве тяжелее поплатилась за свою первую любовь. Несколько дней она не могла заснуть и все думала о нем, а по ночам смотрела во все стороны, не посетит ли он снова дом с привидениями; Брака строго выговаривала ей, что ее юность увянет от этих постоянных глупых помыслов, но она повторяла себе ее советы и снова их забывала, увлекаемая вдаль своими неотвязными мечтами. Наконец однажды она спросила Браку, нет ли какого-нибудь средства стать невидимой, чтобы пойти бродить по городу. Брака засмеялась и сказала:

— Я не знаю другого средства, кроме денег; с деньгами тебе все пути открыты, деньги — ключ ко всему, волшебный корень, отворяющий все двери. Отец твой, может быть, знал и другие средства, но если о них ничего не сказано в его книгах, то они навек потеряны.

Белла затаила про себя это сообщение, оно глубоко запало ей в душу и, казалось ей, не забудется никогда; как только старуха ушла на свои промыслы, она снова вытащила отцовские книги, которые со времени посещения принца отдыхали в углу; при этом она обнаружила, что старуха унесла с собой весь запас редких целебных трав и корней, и, видя такое вероломство, она решила впредь ничего ей не говорить о том, зачем

она собралась прибегнуть к помощи тайных сил. Но какая новая досада ждала ее в этих книгах! тайные правила, чертежи,— в которых она ничего не понимала,— указывавшие, как найти философский камень, как вызывать духов, заговаривать болезни, околдовывать скот, наконец также способ делать золото, но способ такой пространный, что легче было бы в упряжке из двух месяцев поехать на солнце. Так проходила неделя за неделей, когда однажды ночью, совсем уже усталая, она напала на подробные сведения о том, как добывать альрауны и как они хитрым, тайным и верным способом делают подвластным золото и все, чего только ни пожелает сердце человеческое. Но каких трудов стоит их получить, а вместе с тем это еще самая легкая магическая операция. Для магии требуется пройти суровую подготовку; кто ее выдержит, тот даже в самых повседневных делах мог бы, кажется, колдовать без всякой тайны. Кому не известны теперь условия, при которых добывается альрауна, но кто может их соблюсти, кто способен их выполнить? Тут требуется девушка, которая любит всей душой, без всякого плотского вожделения, и вполне удовлетворяется одной только близостью возлюбленного; это — первое необходимое условие, которое в Белле впервые, быть может, осуществилось, потому что все цыгане, встречавшиеся ей до сих пор, относились к ней, как к существу высшего порядка и признавали ее таковой; появление же принца возбудило в ней такое святое, чистое чувство, как святые дары, проносимые за обедней, и оно было слишком мимолетно, чтобы пробудить в ней какие-либо помыслы. Девушка эта, фантазия которой несется на всех парусах, должна в то же время обладать смелостью, превосходящей смелость мужчины, чтобы в одиннадцатом часу ночи пойти с черной собакой под виселицу, где невинно повешенный пролил свои слезы на траву; там она должна хорошенько заткнуть себе уши паклей и шарить руками по земле, пока не наткнется на корень мандрагоры, и, не обращая внимания ни на какие крик-

этого корня, который представляет собой вовсе не естественное растение, но дитя, порожденное невинными слезами повешенного, обнажить себе голову, обвязать его шнурком из своих собственных волос, привязать его другим концом к черной собаке и затем побежать прочь, так что собака, бросившись вслед за ней, выдернет корень из земли, причем сама неминуемо будет тут же убита молниеносным толчком землетрясения. Кто в это решительное мгновение не достаточно плотно заткнет себе уши, может помешаться на месте от ужасного крика. Белла опять-таки была единственной девушкой за многие столетия, которая удовлетворяла всем этим требованиям: кто был невиннее дорогого ее отца Михаила, который в неустанном труде на благо своего народа, терпя постоянную нужду и лишения ради своих соотечественников, был слишком благороден и горд, чтобы польститься на самый последний кусок со стола богача? У какой девушки хватило бы смелости в полночь предумышленно проделать такой путь, как не у Беллы, которая вот уже четыре года, с тех пор как умерла ее мать, вела укромную ночную жизнь и слишком освоилась с движением месяца и звезд, чтобы испытывать ночью особое тоскливое одиночество? У какой другой девушки была такая, как у нее, черная собака, глаза которой говорили больше, чем пасть ее могла пролаять, и опять-таки какой девушке этот ее единственный товарищ был так ненавистен, как ей, которая, с тех пор как этот пес ее в детстве укусил, не могла выносить его, а сейчас еще больше его презирала, когда он противно подслуживался к ней и все же подсматривал за ней всюду, а когда она нежно разговаривала с тряпичной куклой, будто со своим принцем, насмешливо скалил на нее зубы? Да и отец всегда утверждал, что в собаке сидит злой дух. У какой девушки, наконец, были такие длинные волосы, как у Беллы, чтобы из них можно было плести шнурки, и какая другая спокойно пожертвовала бы ими? Сама же она ничего не подозревала о своей красоте; ей было даже приятно

подумать, что потом ей не придется так долго расчесывать свои волосы; и вот ее волосы, в гладких локонах которых часто отражались звезды, как в волосах Вероники, быстро обрезанные ножницами, как черное покрывало, спали вокруг нее наземь, дабы из них была сплетена цепь для ее Самсона, которая принесет ему смерть.

Она скоро заметила, что собака все поняла из того, что она говорила, ибо, вместо того чтобы впредь зарывать в саду маленькие запасы хлеба и костей, она теперь стала постепенно откапывать все эти зарытые сокровища и ненасытно поедала их. Если первое могло как-то трогать Беллу, то последнее еще более восстановило ее против собаки; впрочем, собака, казалось, вовсе не тосковала, но смотрела на нее насмешливо, и когда наступила пятница, — ибо требовалось, чтобы все было совершенно в пятницу, — она еще раз обшарила весь дом, обнюхала все углы и противу обычая неопытно повела себя на своей подстилке, что, однако, Белла на этот раз ей легче простила, чем своей старухе ту скуку, которую та возбудила в ней бесконечными рассказами о своей проклятой первой любви, со всеми этими „он сказал“, „я сказала“ и пр.; из-за этого Белла легко могла бы нарушить одно из главных условий для отыскания корня альрауны, если бы, нетерпеливо ожидая ухода старухи, не стала отсчитывать минуты и часы, пока не пробило двенадцать; тогда, наконец, Белла нетерпеливо вскочила и с досады, что придется все предприятие отложить на неделю, принялась отплясывать со старухой цыганский журавлиный танец, так что та, наконец, еле дыша, упала на стул и, кашляя, стала клясться, что так весело она не танцевала даже на собственной свадьбе; при этом она сунула в рот кусочек лакрицы, чтобы унять кашель, и, наконец, затрусилa домой с большим сожалением, что приходится уже уходить.

Белле было все же немного жутко; целая неделя была теперь потеряна, но это казалось ей даже к лучшему,

так как она может еще подготовиться, а черный пес, повидимому, не меньше желал этой отсрочки, чтобы успеть как следует поесть; она баловала его самыми лакомыми кусочками, зная, что он для нее должен сделать; и даже иногда, несмотря на все ее отвращение к этому животному, при взгляде на него у нее выступали слезы на глазах, хотя ее утешало примечание в колдовской книге, что верные собачьи души, которые погибнут в таком деле, соединяются с душами своих хозяев, и она была уверена, что черному псу будет лучше у ее отца Михаила, чем у нее.

Наконец наступила следующая пятница; начались уже холода, стоячие воды покрылись тонким льдом; старуха извинилась перед ней, что в ближайшие дни не может бывать у нее: ее кашель так усилился, что она должна посидеть дома.

Все, казалось, складывалось, как нельзя лучше, соседи все перебрались в город, ночь была темная, и ветер гнал по засохшей земле первые хлопья снега. Белла еще раз пробежала колдовскую книгу, сердце ее сильно стучало, когда медленно пробило одиннадцать, черный пес приволок ее куклу, которую она воображала и почитала своим принцем, и стал рвать и кусать ее; это ускорило ее решение: оскорбление, нанесенное ее любимому, должно быть наказано; быстро она схватила шнурок, который сплела из своих волос, и все это время носила вокруг головы, чтобы не возбудить подозрений старухи, и ударила им пса. Он бросился к двери, она ее отворила, и оба они очутились в волшебном зимнем мире и пошли по-ветру, толком не зная дороги и держась только направления к горе, на которой совершались повешения. Дорога была безлюдна, зато то и дело из-под садовых калиток выскакивали с шумом собаки, бежали за черным Самсоном, но чуть только эти филистимляне приближались к нему, он оборачивался на них, скалил зубы, и большие и малые — все в ужасе, поджав хвосты, бросались назад в свои сады и, прищемленные калитками, жалобно виз-

жали. Такой же ужас навел Самсон на пару дикобразов, пересекших им путь, с натканными на их иглах яблоками и грушами из соседних садов, которые они собрали, катаясь по земле; при виде черного пса они свернулись в шары, и он безо всякого стеснения побочистил их иглы и пожрал свою добычу.

Белла тем временем присела отдохнуть, но, когда она снова поднялась и стала приближаться к горе, странным ей показалось, будто кто-то другой шел следом за ней и притом, все время стараясь носком своей ступни касаться ее пятки; она не смела обернуться и только все ускоряла шаги, как вдруг удар по голове свалил ее с ног. Удар, правда, не сильно оглушил ее, и она быстро пришла в себя, тем более, что кругом все было тихо. Она повела рукой около себя,—никого не было,—и тут увидала, что наткнулась на опущенный шлагбаум; а то, что так неотступно преследовало ее по пятам, оказалось терновником, прицепившимся к ее платью. Она посмеялась своему страху, решила впредь быть внимательнее и спокойнее и все же скоро забыла об этом, когда несколько стреноженных лошадей сорвались с места при ее приближении и поскакали прочь через кусты и изгороди.

Наконец она была наверху, и перед ее взором раскинулся богатый город, где еще кое-где горели огни, а один дом был ярко освещен, и там, подумалось ей, живет ее принц: таким описывала ей старуха его дом, и она знала, что сегодня празднуют день его рождения. Она так загляделась, что забыла обо всем, даже о высохших трупах повешенных над своей головой, которые качаясь толкались, словно обращаясь с вопросом друг к другу; но тут черный пес стал по собственному почину разрывать землю под виселицей. Она схватила то, что он нашел и почувствовала, что держит в руках человеческую фигурку, которая, однако, обеими ножками вросла в землю; то была она, то была она, таинственная мандрагора, висельный человек; без всякого труда ей удалось найти его, и в мгновение ока он был об-

вязан волосяным шнурком, другой конец которого был затянут вокруг шеи черного пса; тогда кинулась она прочь в ужасе от раздавшегося крика корня. Она забыла заткнуть себе уши, побежала как могла быстрее, пес бросился за ней, вырвал корень из земли, и тут страшный удар грома свалил с ног и его и Беллу; но, благодаря быстроте своих ног, она была уже далеко.

Это спасло Белле жизнь; однако она долго лежала без памяти и очнулась только в тот час, когда утомленные и счастливые любовники возвращаются домой; один из них пел восторженную песню о своей милой и о злых языках, которые сплетничают о тайной любви; глаза его слипались от дремоты, и он прошел мимо, не заметив Беллы. Когда она очнулась, то не могла припомнить, как попала на это место, и не узнавала его; с трудом она поднялась и в свете утренней зари увидела своего мертвого Самсона. Она узнала его, постепенно вспомнила, зачем пришла сюда, и, сняв волосяной шнурок с собаки, нашла на другом его конце человекоподобное существо, подвижные очертания которого, не одушевленные еще благородными чувствами, уподобляли его куклке бабочки: таков был альраун, и странным образом Белла, с одной стороны, уж не могла больше думать о принце и совершенно забыла о той единственной причине, по которой она разыскивала альрауна, с другой же стороны — она теперь любила альрауна с той нежностью, которая впервые проявилась в ней, нежно овладев ее душой в ту ночь, когда увидела она принца.

Мать, видящая вновь свое дитя, которое она уже считала погибшим при землетрясении, не может ласкать его нежнее и сердечнее, чем ласкала Белла маленького альрауна, прижав его к сердцу и отчищая последнюю пылинку с его тельца. Казалось, он ничего не сознавал, и его дыхание выходило через едва заметные отверстия в голове; только покачав его несколько времени на руках, она заметила по нетерпеливому толчку в грудь его ручки, что ему это движение приятно; и его ручки

и ножки не успокоились, пока она опять не убаюкала его, покачивая.

Так, с ним на руках, она поспешила обратно домой; она не обращала внимания ни на собачий лай, ни на отдельных рыночных торговцев, которые спозаранку сходились к городским воротам, чтобы первыми войти в город, как только ворота отворятся; она глядела лишь на милого крошку, которого заботливо завернула в свою верхнюю юбку. Наконец она достигла своей комнаты, зажгла свечу и рассмотрела маленькое чудовище. Она пожалела, что у него не было ни рта для поцелуев, ни стройного носа для его божественного дыхания, ни глаз, в которых бы светилась его душа, ни волос, прикрывавших нежное обиталище его мыслей, но все это не уменьшило ее любви. Она внимательно стала перечитывать свою колдовскую книгу, чтобы вспомнить, что следует делать с этой расчлененной и подвижной репой, чтобы развить ее силы и способности, и скоро нашла, что искала. Прежде всего надо было вымыть альрауна, что она и исполнила, затем надо было на его грубой головке посеять просо, и, когда оно прорастет волосами, другие члены тела сами собой разовьются, только надо было на месте будущих глаз вдавить по можжевеловому зернышку, а на месте будущего рта — плод шиповника. По счастью, все потребные семена она могла раздобыть: старуха недавно принесла ей украденного проса, можжевеловые ягоды отец ее часто употреблял для курения в своей комнате; она не выносила их запаха, теперь же он был ей приятен, и она радовалась, что осталась еще целая горсть этих ягод; куст шиповника в саду весь был покрыт красными плодами, последней красой года.

Все было добыто; прежде всего шиповник был вдавлен на надлежащее место, но она не заметила, что своим любящим поцелуем она скривила его; затем она вдавила два можжевеловых зернышка, и ей показалось, будто крошка посмотрел на нее, и это ей так понравилось, что она готова была бы всадить их целую

дюжину, если бы только могла выискать подходящее место для них; больше всего ей хотелось бы устроить ему глаза позади, но она боялась, что ему это часто будет приносить боль; наконец она все-таки вставила ему два глаза на затылке, и нужно признать, что эта идея была не так уж плоха. Так весело и в то же время серьезно приступила она к работе над созданием живого существа, которое должно было впоследствии огорчать ее не меньше, чем человек своего творца; удовлетворенная, как молодой художник, которому все удается против его ожиданий, рассмотрела она свое маленькое бесформенное чудовище, запрятала его в хорошенькую колыбельку, которую отыскала в доме, и укутала одеялом, решив не открывать даже старой Браке этой первой тайны своей жизни.

Брака, на следующий вечер заявившая о себе своим условным мяуканьем, все же заметила в ней какую-то перемену и пустилась на всякие хитрости, чтобы разузнать в чем дело, особенно после того, как она обнаружила отсутствие черного пса.

— Слава богу,— заговорила она,— сгинул пес наконец! Как же это случилось? Я бы давно прикончила проклятого кобеля, если бы только осмелилась; но я не дерзала, потому что он был оставлен твоим отцом; один раз мне-таки удалось поймать его в мешок, и я уж хотела его утопить, но, когда я подымала мешок, он так здорово мне искусал руки, что я пустила его удрать вместе с мешком. Так скажи же мне, дитяtko, как это ты ухитрилась убраться его с дороги?

Белла отвернулась, опустив глаза на свою работу,— она чистила яблоки,— и стала подробно рассказывать, как ночью пошла в сад, как бешеная собака бросилась там на нее, как черный Самсон сцепился с ней и они так потрепали и изгрызли друг друга, что чужая собака под конец устремилась в бегство, а искалеченный, истекающий кровью Самсон кинулся за ней, и так с тех пор она его и не видала, вероятно потому, что он почувствовал, что может взбеситься и боялся ее искушать.



Трогательная сказка! Белла рассказала ее так правдоподобно, несмотря на то что это была ее первая ложь в жизни, что Брака успокоилась и только подивилась преданности собаки и счастливому избавлению Беллы от такой большой опасности. Теперь Белла набралась духу плести и впредь ей всякий вздор, если понадобится, о своем корневом человечке, но она с нетерпением ждала ухода старухи, потому что испытывала настоящее беспокойство, жив ли еще ее крошка.

Опорожив горшок с луковой похлебкой, которую себе приготовила, старуха собралась, наконец, уходить. Белла заперла за ней дверь и поспешила к потайной колыбельке; с дрожащим сердцем она приоткрыла полог и с радостью увидела, что просо уже принялось на головке корневого человечка, также и можжевельовые зернышки уже крепко впились; вообще в маленьком существе было заметно какое-то внутреннее движение подобно тому, как весной на поле под первыми жаркими лучами солнца после дождя еще ничего не растет, но земля раздается и рыхлеет; и как солнце вызывает все к жизни, так и Белла своими поделуями пробудила дремлющие силы таинственной природы. Только когда она уже не могла больше бороться с усталостью, она решилась уснуть подле своего сокровища, но так и не отняла руки от колыбели, оберегая его. Можем ли мы удивляться странной ее любви к этому человекоподобному существу после того исключительного влечения, какое она испытала к прекрасному принцу? Нет ничего священнее этой привязанности ко всему, что мы сами творим, и душа наша, пугаясь уродства мира и нашего собственного уродства, вспоминает слова библии: бог так возлюбил сотворенный им мир, что послал в него единородного своего сына. О мир, преобразись, дабы стать достойным великой сей милости!

Белла забыла о всякой корысти, о том, что волшебный человечек нужен был ей для сближения с возлюбленным ее принцем; это чудесное дитя, добытое с такими опасностями, теперь заполняло собой все ее

мысли, о нем она грезила, но грезы ее не были радостны; во сне она видела своего забытого принца, как он состязался с другими в метании стрел, этой изящной игре испанцев, в которой они стараются щегольнуть и выделиться как силой и быстротой броска, так и ловким поворачиванием лошади; но принц победил всех: его стрелы срывали звезды с неба и усыпали ими ее грудь, как блестящим украшением. Большинство этих звезд потухли, но одна продолжала сиять глубоким светом посреди ее груди; и Белла все глубже и глубже, бесконечно глубоко взглядывалась в нее и не могла наглядеться, и тут пробудилась.

Проснувшись, она уж не помнила, по ком она томилась; ей казалось, что то был маленький корневой человечек, и она радостным восклицанием приветствовала его, а он ей в ответ совершенно явственно запыщал, как ребенок, и так пристально посмотрел на нее своими круглыми черными глазками, словно они готовы были выскочить из его головки; его желтое сморщенное личико, казалось, соединяло в себе черты разных человеческих возрастов, а просо на его голове уже срослось в щетинистые пряди, так же как и на его тельце там, куда упали случайно просяные семена. Белла подумала, что он кричит, требуя пищи, и была в большом затруднении, что же ему дать и где ей раздобыть молока. Она долго раздумывала, наконец вспомнила о кошке, которая окотилась на чердаке, и эта мысль привела ее в восторг; котята были принесены сверху и положены в колыбель к корневому человечку, который насмешливо посмотрел на них; кошка охотно стала кормить его вместе со своими котятами, и маленьким слепорожденным пришлось терпеть, что их зоркий сосед попевал прежде них и неприметно для матери высасывать ее молоко. То на коленях, то на корточках Белла могла часами наблюдать хитрые проделки своего человечка; когда ему удавалось перехитрить других, она видела в этом высокое его превосходство над ними, когда же он трусливо отстранялся

от их когтей,— осторожность и благоразумие; но больше всего радости доставляли ей его глаза на затылке. Он уже понимал ее, когда она подмигивала ему, что какой-нибудь из котят отпал от соска, и пододвигался, чтобы схватить его. Ее нежность к нему росла так быстро, что она страдала о каждой капле молока, которую новорожденные котята отнимали у своего чужого соседа; она долго боролась с собой, но в конце концов не могла удержаться, чтобы не унести украдкой одного из котят, и положила его в траву у самого ручья. Затем она пустилась бежать, чтобы он не увязался за ней, но не успела она отбежать нескольких шагов, как услышала, что что-то плюхнулось в воду; она невольно обернулась и увидела, как поток уносил маленькую слепую кошечку. Ей стало грустно, она подумала о своем невинном отце, который уплыл по той же дороге, она уже готова была прыгнуть в воду, но осталась стоять на берегу, чувствуя, что согрешила; над ней было темное небо, под ней холодная земля, воздух вокруг нее беспокойно колебался; она скрылась в дом и заплакала. Когда же корневой человечек увидел это своими затылочными глазами, то принялся так громко смеяться у кошачьей груди, что кошка выпрыгнула, унося с собой одного из котят, который со страху вцепился в нее зубами.

Теперь корневой человечек до того разошелся, что уже мало стал интересоваться теплым молоком, и хотя он имел вид старичка, съездившегося в ребенка, но обладал всеми дурными свойствами маленьких детей. Видя, что Белла раздражена на него из-за гибели котенка, он нарочно как можно теснее прижимался к ней, и она не могла его побить, да и что иное она могла сделать, как не поцеловать его и предоставить ему полную волю, которая проявилась в том, что он стал хватать разные корешки, которые не были разложены здесь в комнате ее отцом, но были отброшены старой Бракой, скравшей их и не знавшей, что с ними делать. Чуть только наш человечек отведал один волшебный

кладоискательный корень, как принялся так смешно прыгать и кувыркаться через столы и стулья, что Белле стало жутко и она невольно отвела глаза, а потом боязливо, как насадка за вылупившимся цыпленком, стала бегать за ним и присматривать, но не могла ни схватить его, ни достать до него. Скоро он уже ухитрился обшарить все углы в поисках того, что ему было нужно; первым делом он нашел еще говорной корень, который зеленые попугаи приносят с высочайшей вершины Чимборасо в равнину, где древесные змеи выменивают его у них на яблоки, растущие на заповедном дереве; отнять же его у змей может один только дьявол, а получить его от сего последнего нелегко, и немало почтенных педагогов тщетно ломали себе над этим голову. Алчно пожрав этот тошнотворный корень, он прыгнул на печь, и, подобно тому как птица, у которой отросли подрезанные крылышки, к изумлению своего хозяина, вдруг вылетает в окно, садится на дерево и, прежде чем скрыться в воздушном просторе со своей вольной песенкой, насмешливо насвистывает мотив, которому обучил ее сам хозяин,— так и первые слова человека были насмешливым повторением наставлений Беллы: „Будь послушен, будь разумен, будь паинька!“ Он без умолку твердил эти слова; она готова была поколотить его, но он сидел слишком высоко. Наконец, чтобы истощить все ее терпение, он надел себе на нос старые заржавленные очки и стал дразнить ее сумасбродными выдумками о всяких проделках, которыми он собирался тешиться над всеми и каждым. Белла громко расплакалась и не в силах была смотреть на него, ибо глаза ведь — самое задушевное, что есть в человеке, и, право, может привести в отчаяние, когда слабость этого органа вынуждает поместить грубые бесчувственные стеклышки между любимым человеком и нами; ум может помутиться у зоркого человека при виде того, как орган чувства, который блаженствует в стихии света и воздуха, теперь должен прибегать к помощи грубой силы земли, неизбежно принижающей и уничтожающей его.

Очки — это ужаснейшая темница, из которой весь мир представляется искаженным, и только привычка может сгладить тот ужасный образ мира, в каком он представляется через них. Белла действительно ужаснулась до глубины души на своего любимца, которого боготворила; она сознавала, что нужно изобрести какое-то средство, чтобы укротить альрауна, и решила поговорить об этом с Бракой. Но как только она тихомолком приняла это решение, человечек закричал ей с карниза комнаты:

— Слушай, Белла, я наблюдал за тобой своими затылочными глазами, и мне сдается, что ты уж не так меня любишь, как вначале, и если это верно, то не сдобровать тебе!

Белла испугалась, как уличенная преступница; такое всеведение, или, лучше сказать, такое пронизательное зрение человечка, повергло ее в отчаяние; страх укрепил ее намерение развязаться с этим жутким чертенком. А тут он опять закричал с карниза:

— Мне сдается, ты затеваешь что-то злое против меня, ну, да ты у меня сейчас снова станешь добренькой!

С этими словами он слез вниз, прыгнул к ней на колени и так крепко поцеловал ее, что чуть было не содрал ей кожу своей жесткой просяной бородой; все же она почувствовала странное волнение в крови, над которым она не стала задумываться, хотя оно и было ей непонятно. Но мгновенно малютка стал ей так мил, что она все забыла, кроме него.

Прошла неделя, и альраун достиг своего полного роста, примерно в три с половиной фута вышиной; Брака уже подозревала о его существовании, да и сам он не имел никакого желания дольше сидеть взаперти, когда она приходила, — напротив, он хотел показаться перед старухой во всем своем блеске и натянул на себя старое платье в сборках, затканное серебром и принадлежавшее еще Беллиной матери, которое Белла должна была ему подшить со всех сторон; в таком наряде сидел он однажды вечером тихо в своем углу и делал

вид, что читает, когда вошла Брака. Белла сказала ей, что это ее родственница, очень богатая девушка, которую она пригласила пожить с ней и которая собирается сделать и Браке подарок. Брака, умевшая быть любезной, когда считала нужным, схватила ручку мнимой родственницы, чтобы ее поцеловать, но несколько была удивлена ее жесткостью, сморщенностью и волосатостью и не решалась напечатлеть на ней поцелуй. Видя это, корневой человечек пришел в ярость и закатил ей здоровенную оплеуху. Брака, с своей стороны, разрылась о всякой сдержанности и, подбоченившись, разразилась такими проклятиями, что расхохотавшаяся Белла еле могла утихомирить ее, говоря, что соседи могут услышать и тогда их прибежище будет сразу открыто. Однако альрауна нимало не смутили ее проклятия, он ловко стал прыгать вокруг Браки и, не унимаясь, давал ей пинки и подставлял подножки; при этом платье с него упало, старуха сразу же увидела, с кем имеет дело, и в ужасе смиренно отступила перед ним. Когда он, наконец, оставил ее в покое, она, вся разбитая, уселась на стул и стала причитать:

— Ах, Белла, ну и счастье тебе выпало, да ведь с этим человечком для тебя все клады открыты! Ведь такой же был у моего зятя, он звал его Корнелием Непотом.

— Я так же хочу называться! — закричал малыш; — а что с ним случилось?

— Ах, — отвечала Брака, — мой зять был заколот, человечка нашли у него в кармане и дали играть в него детям, а дети подбросили его свинье, и та его сожрала и околела.

Маленький господин Корнелий был весьма рассержен этим сообщением; он строжайше запретил бросать себя свиньям и потребовал, чтобы ему объяснили, что это за звери. Брака первым делом постаралась ему растолковать, что он может не думать об окружающем мире и о том, кто кого в нем пожирает, и вообще, что там случается; его дело — отрывать клады и ни о чем другом не заботиться. Когда же маленький Корнелий вторично

пришел в ярость, она постаралась успокоить его, расписывая ему всякие высокие должности, которые он мог бы с успехом занять. Казалось, словно он уже жил однажды на земле, так быстро он с полунамека понимал все человеческие отношения. У хилых детей наблюдается часто такая неприятная смышленность. Ничто из того, что Брака ему болтала о чудной жизни кондитеров и дворецких, не привлекало его так сильно, как жезл полководца, и он воображал себя в блестящем вооружении, как в замке изображен был на портрете фельдмаршал, во главе тысячи рыцарей проезжающим верхом на коне перед домом и принимающим их приветствия; он даже приказал, чтобы в доме называли его не иначе, как маршалом Корнелием, и непременно раздобыли ему соответствующее вооружение.

— Для этого нужны деньги,— сказала хитрая Брака,— на даровщинку только помереть можно; денег дай! денег нет!— кричит весь свет.

— Ну, об этом я позабочусь,— отвечал малыш;— мне что-то до того не сидится в этом углу! тут в стене верно запрягано сокровище.

Брака готова была бы ногтями выцарапать камни из стены, если бы не нашлось другого инструмента, но к ее удовольствию под рукой оказался железный ухват, лежавший у двери, и она тотчас же взялась за работу; счастье, что клад был замурован только одним камнем: никакие пинки маршала не отбили бы у ней охоту пробуровать весь дом насквозь; и точно так же царapanье и кусанье человечка не помешало ей завладеть ящичком, наполненным до краев полновесными золотыми и серебряными монетами. Она уселась на него и стала держать торжественную речь:

— Милые детки, молодость — неразумна; старые люди знают норы детей и телят, вы же оба пока еще не умеете обращаться с деньгами,— с ними вы погибните, навлечете на себя подозрение и попадете под суд, если я не приду к вам на помощь своим добрым советом; выслушайте же мое мнение о том, что вам следует

делать, чтобы мы спокойно радовались своему богатству. Слушай, Белла, ты часто меня называла матерью; как свою дочь я и введу тебя в свет, ты же, Корнелий, будешь моим племянником, двоюродным братом моей милой Беллы, и если ты будешь вести себя хорошо, то можешь жить с нами, а мы тебя представим какому-нибудь именитому императору, чтобы он назначил тебя своим маршалом; латы мы можем тебе сейчас же купить, также и шпагу, и шлем, и боевого коня; то-то ты будешь радоваться на себя, а люди на улице будут показывать на тебя пальцами и приговаривать: вот он, чудный наш молодой рыцарь, фельдмаршал, отважный рубака! Девушки будут опускать глаза, ты же будешь крутить усы и милостиво кивать, проезжая мимо.

Если бы Корнелий взглянул на нее, то он бы, конечно, увидел всю ее лживость, но за свою жизнь он еще не испытывал такого приятного ощущения, как слушая эти речи старухи; он прыгнул к ней на колени и стал ее ласкать и целовать, так что Белла от ревности схватила его и вместо поцелуя укусила. Он не понимал таких шуток, и могла бы произойти немалая потасовка, если бы старуха не выступила с предложением обсудить, что им теперь следует предпринять.

— Подеретесь в другой раз, когда больше времени будет! — сказала она; — нынче нам нужно решить, куда отправиться, чтобы въехать в Гент с почетом. Я знавала в Бейке одну хозяйку притона, она позаботится обо всем, что нам нужно, и прежде всего достанет нам парадную карету, в которой мы повезем господина Корнелия, как бы раненного в поединке и еще не совсем поправившегося.

— Нет, — заявил человек, — я не хочу шутить этим, а то как бы на самом деле не случилось чего со мной; да и почему мне не показаться всем на глаза?

— Ах, — вздохнула про себя Брака, — он тоже из породы горбунов, которые не хотят понять, отчего у них протираются рубашки; — вслух же она сказала: — имейте в виду, сударь, что в деревне вы не сразу добудете себе

рыцарское платье, приличествующее вашему достоинству, а кроме того вам придется тщательно постричь себе голову и бороду, не то люди будут принимать вас за Медвежью шкуру.

— А может быть, я из его семьи,— сказал Корнелий;— но кто он такой и где живет?

— Расскажи нам про него!— попросила Белла;— ночь уже на исходе, нынче мы не успеем собраться в путь, и завтра я еще хочу проститься со всем, что мне дорого в этом доме.

— Рассказывай, не то побью тебя!— сказал мальш.

Брака отставила в сторону масляную лампу и приступила к рассказу, все время перебирая в руках носовой платок:

История первой медвежьей шкуры

— Когда венгерский король Сигизмунд был разбит турками, один немецкий ландскнехт бежал из сражения и заблудился в лесу. Не было у него ни господина, ни денег, в бога он не верил, а тут вдруг явился ему нечистый дух и сказал, что если он будет служить ему, то и денег будет у него вдоволь, и сам себе будет он господином. Ландскнехт сказал: „Ладно, согласен“. Но дух хотел прежде испытать его храбрость, чтобы не зря наделить его деньгами, и повел его к берлоге медведицы с медвежатами; когда же она бросилась на них, велел он ландскнехту стрельнуть ей прямо в нос. Ландскнехт выполнил приказание в точности, закатил ей по заряду в обе ноздри и уложил ее на месте. После этого дела начал с ним дух договариваться: „Сними шкуру с медведицы, она тебе пригодится; хорошо, что ты нигде не пробил ее пулей, теперь я сделаю тебя богачом, а ты мне за то послужишь семь лет в моей ливрее; за эти семь лет каждую полночь по часу должен ты стоять на страже у моего замка; семь лет не должен ты ни стричь, ни мыть головы, бороды и ногтей, ни умываться, ни чиститься, ни отряхаться,

ни помадиться; семь лет ты не должен пользоваться никаким светом, кроме солнечного света днем и лунного или звездного ночью, и пить ты будешь только доброе вино, а есть солдатский хлеб; и за все это время ты не должен читать никаких молитв". Ландскнехт на все согласился и сказал духу: „Все, что ты мне запрещаешь, делал я всю свою жизнь с неохотой: не любил я ни гребня, ни мыла, ни молитвы; а то, что ты мне приказываешь, за хороший стакан вина делать мне будет не трудно". Затем он надел медвежью шкуру, и дух перенес его по воздуху в свой пустынный замок, стоящий посреди моря, где он и поступил сразу к нему на службу. Шесть с половиной лет охранял его замок ландскнехт в своей медвежьей шкуре, от которой он и получил свое прозвище; волосы на голове и в бороде у него так отросли и сбились в войлок, что мало следов в нем осталось от образа божия и подобия; петрушка выросла у него на коже, что имело вид крайне жуткий.

С трепетом посмотрела Белла при этих словах на просо на голове альрауна, который с удовлетворением провел рукой по нему, уверенный в превосходстве своей красоты над нечистоплотным ландскнехтом.

— Прошло шесть с половиной лет,— продолжала Брака,— и дух явился опять к ландскнехту, полюбился на него, сказал, что больше в нем не нуждается, и отпустил его опять к людям, но с условием, что он еще полгода сохранить свой дикий вид; теперь же он с ним рассчитается и выдаст ему заработанные деньги, а на них он может жить в свое удовольствие. Ландскнехт вовсе не прочь был возвратиться к людям, потому что он и говорить-то почти разучился, и попросил духа перенести его через море в Германию, в Граубюнден, в те времена самое неопрятное место на всей земле. И все-таки даже там ни один хозяин не хотел пустить его к себе на постоянный двор, пока он не швырнул в лицо одному из них полную пригоршню дублонов и полную пригоршню пиастров; тогда тот отвел ему свои лучшие комнаты, чтобы он не спугнул со двора

других постояльцев. Когда же папа, при помощи своих икон правящий всем христианским миром, проезжал через Граубюнден, возвращаясь в Рим с Констанцского собора, дух явился к Медвежьей шкуре и расписал его комнату изображениями всяких замечательных людей — и покойников и еще не родившихся, как, например, Антихрист, а также нарисовал страшный суд, чему хозяин немало удивился, но все-таки заставил Медвежью шкуру очистить свои комнаты и проспаться в свином хлеве ту ночь, на которую папа остановился у него, папу же положил он в комнату, столь прекрасно расписанную Медвежьей шкурой. Когда папа на другое утро проснулся, то первым делом спросил об удивительном художнике, что так искусно разукрасил комнату. Хозяин рассказал все, что о нем знал, и должен был позвать его наверх из свиного хлева. Папа же приветливо поздоровался с ним и спросил, кто он такой, а ландскнехт назвал себя Медвежьей шкурой; тогда папа спросил его, правда ли, что это он написал такие прекрасные картины. „Кто же еще?“ — отвечал Медвежья шкура. Тогда похвалил его папа, как первейшего художника в свете, и сказал ему, что есть у него три любимых побочных дочери, и старшую зовут Прощлое, вторую — Настоящее, а третью — Будущее; ежели он напишет их портреты, изобразив, какую каждая из них станет через несколько лет, то может взять себе в жены ту, которая ему полюбится. Медвежья шкура обещал это сделать, в надежде на своего духа. Папа повел речь дальше: „Но ты можешь обморочить меня, что они такими станут в будущем, как ты изобразил, и ежели случится не так, а ты уже вкусишь тем временем любви моей дочери, что мне делать тогда? Посему прежде я тебя испытаю. Я покажу тебе лишь мою младшую дочь Будущее, а ты, глядя на нее, напишешь двух старших, Настоящее и Прощлое; исполнишь ты это — девица будет твоя, не исполнишь — отдашь мне все свое богатство, о котором хозяин мне рассказывал“. Медвежья шкура на все согласился, побежал рядом

с папской каретой, поддерживал ее, когда она крепилась набок, и так оба они благополучно прибыли в Рим. В тот же вечер представил ему папа свою дочь Будущее, которая была замечательная красавица, только волосы у нее были двух цветов; Медвежья шкура влюбился в нее с первого взгляда, она же была в ужасе от его вида. Когда она удалилась, вызвал он своего духа, и тот прилетел с горшком красок и с кистью, и портреты обеих старших дочерей были тотчас же готовы. Когда Медвежья шкура увидел на портрете Настоящее, забыл он любимую свою Будущее и заплакал, что не эта ему досталась. Дух стал утешать его и сказал: „Через полгода твоя невеста будет как две капли воды на нее похожа, таким образом ты в этом портрете показал также то, что требовал папа, то-есть какую станет его дочь со временем; а в портрете третьей дочери, Прошлого, ты увидишь, какую станет в будущем Настоящее“.— Когда дух написал и этот портрет, он вовсе не понравился Медвежьей шкуре. Когда же он затем потребовал от духа, чтобы тот изобразил ему Прошлого, какую она станет в будущем, то дух вытер кисть о стену и сказал: „Или расплывется она как облако бесследно, или будет она как образ Будущего, живущий в твоём сердце, который никогда я не сумел бы тебе написать достаточно хорошо“. С этими словами дух исчез. На другое утро Медвежья шкура показал портреты папе, который глубоко задумался над ними, затем обнял его и представил своей младшей дочери как жениха. Медвежья шкура в радости своей даже не заметил, как плакала его невеста, когда он разделил на две части свое кольцо, которое могло развиваться пополам, и надел половинку его ей на палец. Затем он распрощался, потому что так приказал ему дух ночью,— я позабыла о том рассказать,— и пустился в обратный путь в Германию, чтобы там в Граубюндене дожидаться истечения своего семилетнего срока; после того направился он на Баденские источники, где полгода не вылезал из воды и оттирался

самыми грубыми швабрами; дюжину лезвий иступили, пока стригли ему бороду и голову. По окончании этого заказал он себе роскошное платье и поспешил назад к своей любимой.— Она же тем временем приобрела вид, какой имела раньше Настоящее; красива она была попрежнему, только всегда опечалена, потому что страшилась своего жениха и постоянно терпела из-за него насмешки от сестер, оставшихся в девицах. Однажды громко зазвучали трубы, и все три сестры подбежали к окну; в город въезжал красивый чужеземный рыцарь с большой свитой; обе старшие сестры сейчас же возмечтали, что то явился их суженый, и, о чудо! рыцарь остановился перед домом и приказал доложить о себе. Они охотно пригласили его войти, и он представился им как отдаленный их родственник, который желал бы жениться на одной из них и просит принять от него дары. Обе старшие жадно схватили подарки, меньшая же осталась стоять в стороне, одинокая, как горлинка; обе старшие из кожи лезли, чтобы угодить гостю, но они уже больше ему не нравились: Настоящее с виду походила теперь на прежнюю Пролое, а Пролое потускнела в лице, словно алебастровая статуя, долго стоявшая под сточным желобом, милая же Будущее цвела красотой, и волосы ее блестели ровным золотистым цветом. Все же сначала он полюбезничал со старшими, чтобы испытать чувство меньшей; она же продолжала держать себя тихо и скромно, покуда те чванились, и тогда он объявил ее своей невестой и навинтил ей на палец другую половину кольца. Радостью запылало сердце покинутой; тут вошел пана и благословил их обоих. Когда же молодых повели к брачному ложу, обе старшие сестры впали в такое отчаяние, что одна из них повесилась, а другая бросилась в воду. Ночью к Медвежьей шкуре в последний раз явился дух, держа на руках трупы обеих девиц, и сказал: „Ты выполнил все, что мне обещал, и я теперь в выгоде: мне достались две дочери, тебе же — одна. Будь здоров и береги свое сокровище“.

— Но почему же,— перебил старуху альраун,— сестры так разозлились, когда те улеглись в постель?

— Потому что те поженились,— ответила Брака.

— А что значит жениться?— спросил альраун.

— Этого тебе не понять,— сказала старуха.

Альраун хотел обернуться, чтобы своими подозрительными глазами прочитать мысли Браки, но вдруг в ужасе закричал, прыгнул под стол и запрятался под заплатанную юбку старухи.

— Что за пугало тебе привиделось?— воскликнула старуха, взглянула туда же, куда он посмотрел, и с криком бросилась на денежный ящик, а Белла боязливо уткнулась головой в колени и не решалась поднять глаза.

— Живые люди — сущие дураки,— раздался грубый голос:— страшную мою историю слушают они с удовольствием, а меня самого боятся увидеть. Опомнитесь, не то я так заору, что все бревна рухнут под вами и над вами!

— Ну, что ему нужно, Медвежьей шкуре?— проговорил альраун из-под юбки старухи,— послушаем, что он скажет.

— В какую мышиную нору ты там залез, карапуз?— спросил Медвежья шкура.

— В такую, что тебе, дылде, не залезть,— ответил альраун;— ну же, поторопись, а то я задохнусь тут от жары, да и мухи меня кусают! Чего тебе надо от нас, грязнуха?

— Ах,— вздохнул Медвежья шкура,— покуда я жил, я так любил свои денежки, что остаток их замуровал здесь в стену и должен их охранять после моей смерти; верните же мне мою единственную радость!

— Отдай их ему,— залепетала старуха,— не то он свернет нам шею.

— Нет,— закричал малыш,— не получишь ты ни одного хеллера! Заслужи его сначала; парень ты здоровенный и можешь быть нам полезен, если только приведешь

в порядок свое тело, да пообчистишься хорошенько, чтобы показаться на земле в качестве нашего слуги.

— Ах, что касается тела,— сказал Медвежья шкура,— то дело идет лишь о двух-трех окостенениях в жилах, отчего я и умер; мне ничего не стоит соскрести их острым ножом, только вот служить на земле такому ваньке-встаньке, как ты, малыш,— проклятая для меня работа; тяжелое это наказание за мою скупость!

— Э, что ты там брешешь!— сказал альраун и вылез из-под юбки старухи;— я не так уж мал, но ты-то, вот, чересчур велик, и уж не знаю, что мне больше по вкусу; маленький проскользнет и проползет туда, куда никак не протискаться большому; словом, хочешь служить мне верой и правдой— будешь получать от меня по дукату в неделю, пока не накопишь себе опять своего сокровища.

— Принимаю условия,— отвечал Медвежья шкура;— завтра ночью вернусь я со своим настоящим телом, ежели успею обзавестись им; возле меня похоронен слуга знатного барина, с ним я поменяюсь одеждою, тогда шелковый мой камзол не будет бросаться в глаза, а бедному малому будет утешенье встать из гроба в день страшного суда в таком пышном костюме; он всегда лежал так тихо и чинно возле меня, только разве немножко похрапывал.

— Ладно,— сказал альраун,— бабам моим не по себе тебя слушать; сворачивайся, парень!

— Ну, до свиданья,— сказал Медвежья шкура;— значит, по рукам! Только вот, один дукат попросил бы я в счет платы вперед: я заложил кой-какую мелочь могильным червям, так хотелось бы ее выкупить.

— Держи,— сказал альраун, с трудом вытащив дукат из кучи, на которой лежала старуха (она ему прошептала тихонько: „Дай ему половину, хватит с него!“),— вот тебе дукат, служи мне хорошо, не расквешься!

Медвежья шкура исчез, но прошло еще несколько минут, прежде чем Брака и Белла решились поднять

глаза. Маленький Корнелий издевался над ними, а они не могли побороть в себе известного уважения к нему.

— Только бы не сбежал от нас этот верзила со всем нашим добром!— сказала Брака.

— Может ли это быть?— возразил альраун;— дух всегда связан своим словом; вам, людям, в этом нет нужды, раз вы не боитесь за свою душу после смерти.

— Ну, а ты— дух или человек, милый Корнелий?— спросила Белла.

— Я?— буркнул альраун;— глупый вопрос! Я есть я, а вы— не я, и я стану фельдмаршалом, а вы останетесь тем, чем вы были. Отстаньте от меня с вашими проклятыми, каверзными вопросами! Много думать о них, пузырь вздуется в мозгу, как от морского хрена на коже.

— Откуда ты знаешь это про морской хрен?— спросила Брака.

— Когда я был там наверху под виселицей, подле меня рос морской хрен, который всегда хвастался тем, что может вызывать пузыри и что глаза слезятся от него; он называл это своим трагическим свойством. Покойной ночи!— крикнул он в заключение.— Брака, до свиданья! проваливай и не забудь мне поскорее достать маршальский жезл.

Когда он ушел, Брака обсудила все, что еще необходимо было для их путешествия, которое твердо и окончательно было назначено на следующую ночь. На другой вечер Белла еще раз вошла в свой садик; воспоминания охватили ее, каждая ветка имела для нее значение. Она вспомнила ночь, когда увидела эрцгерцога, но самого его она совершенно забыла; его черты стерлись из ее памяти, да она и мало печалилась об этом; она радовалась, что отправляется в мир людской, но страшилась тех, кто ее окружали, и предчувствие, что они дурно к ней отнесутся, болезненно сжимало ее сердце; ей было стыдно за себя, потому что она помнила своего отца, и все чувство благодарности к Браке, вся радость, какую она испытывала от преуспевания так

смело и счастливо добытого ею корневого человечка, не могли подавить этот стыд. Последница высокого египетского рода, она доверчиво смотрела на звезды, словно на своих предков, и в эту холодную октябрьскую погоду чувствовала летний зной своей страны, когда воды Нила вступают в берега и все принимаются за работу; но она сознавала также древнее прегрешение своего народа, отказавшего в приюте святой матери божией во время ее бегства в Египет, когда она с младенцем-спасителем попала под страшный дождь; но младенец тогда очертил ручкой круг в воздухе, и над ними простерлась радуга, оградившая их от дождя.

— Неужели наша вина еще не искуплена! — вздохнула Белла и около месяца увидела дивный цветной круг; сердце ее возликовало и сотворило бессловесную молитву. — С какими мечтами любимый мой отец Михаил, — подумала Белла, — глядел на те холмы, ожидая первых лучей солнца! и больше я уже не увижу их здесь в тиши! Что хотят от меня те, кто меня окружают? Я побегу вдаль, покуда ноги будут меня держать, — мир ни для кого не закрыт!

Стремление к свободе воодушевило ее, а Брака, тем временем подошедшая к ней, тихо прошептала ей на ухо:

— Медвежья шкура уже все навьючил, Корнелий едет у него на спине; хочешь ты еще что-нибудь захватить с собой?

— Конечно, — отвечала Белла, — моих кукол и волшебную книгу.

— Ах, милое дитя, — сказала старуха, — все это дурак Медвежья шкура побросал в печку; ну не сердись, не о чем горевать.

Белла поникла головой:

— Значит, со всем я должна расстаться, со всем, во что я играла!

— Да, милая девочка, — молвила Брака и обняла ее, — уже недели две, как я собиралась сказать тебе об этом; ты теперь выросла, ты уже невеста; что же ты не радуешься, бесенок? Груды твои стали, как наливные

яблоки, а ты и не заметила; месяцу есть что обласкать своими лучами.

— Ты с ума сошла, старуха! — произнесла Белла.

— Ах, стой, — сказала Брака, — теперь ночь, и мне тоже можно разок забыть, что я, как помело, таскаюсь по миру, подметая всякую пыль, всякий сор, и оттого и сама стала грязнухой. А ведь и я была молоденькой и хорошенькой, пела и сочиняла песни с нашими молодыми красавчиками и вижу, что ты теперь такая, как я была тогда, и ничего-то ты о себе не знаешь, и думаю я о тебе и радуюсь за тебя. Взгляни на себя, — большая ты выросла девушка, сколько веселья перед тобой! Куда ни помотришь, каждый ищет тебя; протяни только руку — у всех кровь взиграет, все лепечут, робеют, беснуются, ласкаются, а погляди ты сначала на одного, потом на другого, — уж непременно они подерутся, и кровь свою ни в грош не ставят, и готовы пролить ее за тебя.

— Боже мой, — воскликнула Белла, — что за несчастья поджидают меня! Лучше бы мне бежать поскорей отсюда и скрыться совсем от людей!

Брака удержала ее и сказала: — Как, ты хочешь бежать, непослушный ребенок? Посмей только — я уж доберусь до тебя, я уж выпорю тебя крапивой! Ну, и глупа ты еще! Говори гусыне о любви — толку от нее не добьешься. Ну, пойдем домой, нечего терять времени, другой раз я побольше тебе порасскажу!

Она толкнула Беллу в дом, и странно взволнованная тем, что слышала, и еще более тем, что ее ожидало, Белла перестала горевать о своих книгах и куклах и даже мало смутилась при виде Медвежьей шкуры, который в своей коричневой ливрее разительно походил на медведя; а на нем верхом уселся альраун, словно обезьянка в человеческом платье, как их показывают на ярмарках. Брака пошла вперед, Белла за нею, Медвежья шкура вышел последним и запер дверь; все шли молча, только Брака ворчала себе под нос, когда не могла сразу отыскать под снегом правильную дорогу.

На холме под виселицей шел большой пляс, но они не обратили на это внимания; раза два их напугали куропатки, вылетевшие с шумом из-под снега. Наконец завидели они внизу в долине деревню Бёйк, и Брака узнала свет в окошке своей старой подруги по воровству, Ниткен.

Они тихо подкрались к садовой калитке, и Брака подала о себе знак, прокричав перепелом. Появилась маленькая девочка, оглядела их, отворила дверь и провела их в погреб, а через погреб вверх по лестнице в светелку, в которую падал свет сквозь дверь соседней комнаты. Брака уверенно прошла в освещенную комнату, где находилась толстая старая женщина, похожая в своем красивом платье из зеленого шелка на гвоздику, потому что из-за него показывались то ее красное лицо и руки, то ее красная шерстяная юбка; старуха стояла на коленях перед маленьким домашним алтарем, украшенным образом богородицы и множеством разноцветных восковых свечек.

— Ну, старое пузо,— заговорила Брака,— ты опять молишься? Видно, так наклюкалась, что продохнуть не можешь?

Госпожа Ниткен,— потому что это она молилась,— оглянулась, махнула рукой и продолжала ревностно перебирать четки. Медвежья шкура пришел тоже в молитвенное настроение и преклонил колени, что сделала и Белла, знавшая много хороших молитв; но Брака, которой были известны все ходы и выходы в доме, достала из стеного шкапа тяжелую кружку пива и выпила за всех. Тем временем альраун пришел в такое удивление от смехотворного хлама, загромождавшего комнату всякими старыми галунами, лоскутами, кухонной посудой, полотном, лежавшими отдельными кучками,— что досыта наглядеться не мог; все было ему ново, но он вскоре уже сумел во всем разобраться. Госпожа Ниткен, которая вела весьма широкие торговые обороты, как старьевщица, собирала всевозможные старинные редкости; в ее доме не было ни одного

предмета домашнего обихода, похожего на соответствующие предметы в других домах; но после вполне естественного отбора покупателями из ее запасов наиболее пригодных для обихода вещей, ей самой остались только самые причудливые порождения прихотей прежней моды и капризов богатых людей. Так, например, стулья в светелке представляли собой деревянных мавров, держащих каждый по пестрому зонтику; они стояли когда-то в саду богатого гентского купца, который вел большую торговлю в Африке. Посреди комнаты была подвешена странная крученая медная корона; некогда она освещала упраздненную еврейскую синагогу в Генте, теперь же в ней горела витая разноцветная восковая свеча в честь богоматери. Алтарем служил заброшенный карточный стол, у которого были отодраны кожаные кошельки, и в него была вделана бывшая солонка, наполненная святой водой. По стенам висели тканые ковры, изображавшие старинные турниры, и обветшалое рыцарское оружие.

Славная госпожа Ниткен, которая для своего промысла,— состоявшего, между прочим, и в укрывательстве краденого, для чего ее дом представлял большие удобства,— пользовалась услугами всех окрестных воров, была связана сердечной дружбой с Бракой, отлично умевшей подольститься к ней своей болтовней. Окончив свое последнее Ave, она поднялась с проворством, неожиданным при ее толщине, подбоченилась перед Бракой и заговорила:

— Ну, что старая шлюха, не до молитв тебе теперь? Твой хозяин, чорт, запретил их тебе? Когда только он тебя унесет? С каждым днем кожа у тебя все больше морщинится. Тьфу, чорт, с твоей образиной я бы не посмела показаться наружу!

— Ты-то молода!— зашипела Брака,— словно старый мой жирный шпиц, когда я его остригу; побрить бы тебе седину на твоей красной роже! Видно, наклюкалась ты нынче перцовки! А ну-ка, спляши нам русскую, старая труба!

— Гайда, за чем дело стало! — протрубила госпожа Ниткен и к общему изумлению пустилась в такой пляс, что, казалось, все ноги себе развихляет; наконец, шлепнув себя по бедрам, она упала на колени, и все разразилось диким смехом, а она закричала, что все кости себе переломала, и потребовала стакан испанского вина.

Только поднеся его к губам, она впервые оглядела своих гостей. Увидев Беллу, она обратилась к Браке:

— Оставь ее у меня, она мне пригодится; что ты с ней замышляешь? Деньжонок добыть с ее помощью?

Брака почтительнейше ей заявила, что это — ее госпожа.

— А это что за жаба? — спросила далее госпожа Ниткен, указывая на Корнелия.

— Я — фельдмаршал Корнелий, — отвечал альраун, — смотри, не зазнавайся, старый петуший гребень!

— Так, так, — продолжала она, — вижу, что ты фельдмаршал из преисподней; ну, а ты кто, ручной медведь? Мне твоя ливрея что-то знакома. Да, да, я же выменяла ее господину фон Флорису за новую, в которой он не хотел хоронить своего старого слугу. В конце концов не так уж она плоха, чтобы не польститься на нее; по всему видно, что ты выкрал ее из могилы!

Медвежья шкура, к которому относились ее слова, вместо ответа хватил ее в зубы так, что старуха мигом протрезвилась и спросила, что им будет угодно.

Тогда Брака рассказала ей, что им требуются нарядные одежды и лучшая ее парадная карета, чтобы спозаранку ехать в Гент и снять там какой-нибудь дворянский дом, сдающийся внаймы.

Госпожа Ниткен сразу смекнула всю выгодную сторону такого дела, мигом разбудила своих людей и принялась бегать по всему дому, выискивая все, что только могла наилучшего. Целые охапки платьев набросала она в комнату, все подходящее было отобрано и набито в два сундука; с бельем дело обстояло хуже, потому что нидерландцы легче расстаются со своими верхними, чем с исподними одеждами. После того как с платьем

все было улажено, госпожа Ниткен притащила жаровню и щипцы, чтобы завить волосы по последней моде. Белле не помогло, что ее волосы вились от природы, тонкому вкусу старухи они не удовлетворяли; бедной девочке показалось, что ее стиснули дьявольские когти, когда горячее железо прижало ее локоны ко лбу. Косы Беллы даже и после стрижки оставались достаточно длинными для модной прически. Царственная осанка Беллы удержала госпожу Ниткен в известных границах; но даже сама Брака, когда умылась и причесалась, приняла более почтенный вид, вроде достойной старой воспитательницы, ибо матерью красавицы Беллы ее все-таки никто бы не признал. И Брака и Белла не могли не шегольнуть своим видом, когда же нарядились в свои шелковые платья, то глаз не могли отвести от зеркала и все охорашивались перед ним.

С фельдмаршалом госпоже Ниткен пришлось больше всего повозиться. Тщетно она подстригала и причесывала его грубые волосы — он оставался все тем же карликом со своим сморщенным лицом, приподнятыми плечами и сдавленным голосом.

— Слушай, малыш, — сказала она, — ежели ты не карлик, то я не почтенная дама!

— Что? — произнес Корнелий, — я — человек, а ты называешь меня карликом? Но что такое карлик?

— Правду сказать, я этого не знаю, — отвечала госпожа Ниткен, — но ты мне представился именно карликом; я думаю, тебя можно было бы за деньги показывать!

— Это, может быть, было бы и неплохо! — сказал Корнелий, подумав при этом, что все, оплачиваемое деньгами, должно обладать большими достоинствами и следовательно любезная собеседница его сделала ему комплимент.

На утро все были полностью снаряжены; Корнелий в своем шлафроке был посажен в красивую вызолоченную карету, его голову поддерживала госпожа фон Брака, девица Брака — его ноги, а Медвежья шкура уселся

на козлах. Так пустились они в путь с бьющимся сердцем, отчасти от страха, отчасти оттого, что платья были им тесны, ибо новые наряды никому сразу не бывают впору; конечно, они были набраны из разной ветопи, но все же так дороги, что Медвежья шкура втайне вздыхал о растрате своего сокровища. Они уже ехали с полчаса, когда Корнелий вдруг принялся громко хотять и сказал:

— Старая кошка думала, что здорово нас надула, но и провел же я ее! В старых сапогах, что она мне надела, зашито замечательное украшение из драгоценных камней; не знаю, как это случилось, но она и не подозревала об этом; распорите-ка осторожно шов этим ножичком!

Брака взялась за работу, взрезала отвороты и нашла драгоценное бриллиантовое ожерелье; от удовольствия она по старому обычаю вцепилась себе в волосы и медленно растрепала всю свою прическу.

— Ах, как восхитительно оно пойдет ко мне! — сказала она и готова была уже надеть его на свою желтую шею. Но Корнелий потребовал, чтобы его носила Белла, и ссора была бы неминуема, если бы только близость города не отвлекла все внимание старухи. Корнелий без помехи надел на прекрасную Беллу ожерелье, которое в будущем оказалось очень важным для нее.

— Смотрите же, смотрите, детки! — восклицала теперь Брака; — сколько нового перед вами, а вам словно и дела нет до того! Смотрите, какое богатство всюду вокруг! Сколько подвод с товарами тянется в город! Нам и не протискаться между ними!

Но Корнелий и Белла, глядели только на красивых всадников, объезжавших своих коней, и на овец, которых мясники гнали на бойню. Подвода с телятами, которые жалобно мычали, лежа друг на друге, испугала Беллу, так же как испугали ее шум и крики в пригородных шинках, где спозаранку уже с руганью и драками пропивались вырученные деньги.

Наконец они подъехали к городским воротам; вышел горожанин с алебардой и спросил, откуда они.

— Из Хадельна!— отвечала, несколько растерявшись, Брака;— я — госпожа фон Брака,— это вот — моя дочь, а это — мой племянник, господин фон Корнелий.

— Проезжайте!— крикнул привратник, и кучер повез их, трепещущих и торжествующих, что стража не учинила им никаких затруднений, к дому на рыночной площади, который госпоже Ниткен было поручено сдать внаймы; там они без дальнейших приключений вылезли и водворились.

Первые два месяца были посвящены обучению хорошему манерам; были взяты учителя и учительницы, и все промахи в поведении старой почтенной госпожи фон Брака валили на Хадельн, где благородные манеры еще недостаточно глубоко привились. Белла уже скоро приобрела весь лоск великосветского общества; она свободно говорила по-испански. Несмотря на свою замкнутую жизнь, она уже стала предметом разговоров молодых людей, которые ежедневно гарцовали перед ее домом, чтобы увидеть ее и привлечь к себе ее внимание. Хуже всего пришлось господину Корнелию в новом его положении; тесный костюм был ему крайне неудобен, а уроки фехтования утомляли его до полной потери сил. В манеже, несмотря на свои яростные гримасы, он не мог избежать насмешек над собой, как над каким-то диковинным зверьком; самые смиренные лошади под влиянием его вечного беспокойства дичали и сбрасывали его с седла. Но его ничем нельзя было напугать, он опять вскакивал на них, и нередко это повторялось по десяти раз в час; никакой другой человек не выдержал бы этого. Успешнее шло остальное его образование; он часто посрамлял своим красноречием учителя риторики и раздражал его своим издевательством. Он ловко мог подражать языку большинства других людей, но своего собственного языка у него не было; все же его злая воля, пользуясь тем, что его пронизательный взгляд умел выведывать затаенные мысли, приобрела ему много

знакомых, которые ему покровительствовали и наладили его отношения с людьми; всякая городская новость докладывалась ему, и он умел так интересно и остроумно развить и пересказать ее, что она начинала передаваться из уст в уста, и по городу пошла о нем молва, которая, наконец, достигла и до эрцгерцога.

В это время эрцгерцог получил известие, что из-за пропущенного им титула в письме к своему деду Фердинанду тот лишил его наследства; это случилось как раз в тот момент, когда он вернулся домой раздосадованный тем, что убил беременную козулю, приняв ее за самца. Оба эти события маленький Корнелий сейчас же связал одно с другим и поручил пажу передать эрцгерцогу, что, чем охотиться за дедушкой, он бы лучше застрелил козла в лесу.

Герцог услышал эти слова и, будучи человеком веселого нрава, приказал пажу пригласить насмешника к столу. Маленький Корнелий вошел в комнату не без внутреннего трепета, но с тем большей дерзостью и бесстыдством; Карл был в расцвете своей молодости, и чувство сострадания умерило смехотворное впечатление, произведенное на него маленьким бодрым пареньком. Карл стал расспрашивать его о его стране, и карлик проявил неисчерпаемое остроумие в описаниях хадельнских крестьян, так что все слушатели поклялись бы, что все это правда. От похвал, которыми пичкали его, как конфетами, он заносился все выше и выше в своем тщеславии, подобно морскому жителю, когда ослабляется нажим сильной руки; он начал хвастаться поединком, в котором бился за честь своих дам с двумя чужими рыцарями и обоих их убил, сам же был ранен в грудь и прибыл в Гент полуумирающим. Когда некоторые задали ему вопрос о пользовавшем его хирурге и с явным недоверием отнеслись к его самоуверенному тону, он расстегнул свой жилет и показал свою рубчатую кожу корнеплода, и все приняли эти рубцы за следы ран.

После этого подвига он стал похваляться своими богатствами и знатным родом; его тетка Брака оказалась

такую родовитую придворной дамой, такую образованной, доброй, нежной, такого тонкого обращения, что в Генте не сыскать подобной. Белла красотой своей, по его описанию, превосходила Елену; при этом он рассказал о ее невинности множество анекдотов, которые, конечно, были справедливы, только им никто не хотел верить, потому что никто не знал ее странного воспитания и натуры. В заключение он намекнул, что женится на ней. Эрцгерцог почувствовал даже своего рода томление по ней, но, привыкши с раннего возраста скрывать свои чувства, он постарался только, не выходя из шутивого тона, убедить малыша появиться когда-нибудь в свете со своею невестой и предложил ему осуществить это на ближайшей ярмарке в Бейке, которую посетит множество как знатных, так и простых жителей Гента. Малыш попался на удочку и указал дом госпожи Ниткен, как место, где он будет принимать гостей со своими родственниками. Уговорившись об этом, они расстались, но в эрцгерцог, который близко не знавал еще ни одной девушки и большинство их находил неинтересными для себя, зародилось такое сильное предчувствие страсти, что он вероятно влюбился бы в невинное и таинственное существо Беллы даже помимо ее красоты, с каждым днем расцветавшей все больше и больше. Обратившись к Ценрио, который не раз и при менее важных обстоятельствах умел завоевать его доверие готовностью пожертвовать ради него своим долгом, он посоветовался с ним, каким образом они могли бы усложнить от строгого надзора главного наставника его, Адриана Утрехтского. Ценрио обещал достать старинную книгу и подделать к ней заглавный лист, чтобы Адриан принял ее за неизвестное ему добавление к Сентенциям Петра Ломбарда, к которым он писал комментарий; он скажет, что эту книгу продает госпожа Ниткен, и тот тотчас же захочет с ней ознакомиться и отпустит их туда, куда влечет их желание. Эрцгерцог очень обрадовался такому предложению. Ничто так не улыбалось молодому князю,

как, удовлетворив свою страсть, в то же время посмеяться над своим мудрым наставником.

Когда вместе с виновными парами, отуманившими голову корневого человечка, несколько рассеялось и опьянение почестями, оказанными ему на приеме у эрцгерцога, он вспомнил все подробности своей беседы с ним,— как он выдал себя за жениха Беллы и как он обещал ее показать на ярмарке. В тщеславном упоении он потирал руки и не мог удержаться, чтобы не рассказать всего Медвежьей шкуре, который, как все слуги, при всей своей глупости был достаточно смыслен, чтобы уметь лестью выманить себе лишний магарыч от хозяина. Это окончательно укрепило малыша в убеждении, созревшем в нем уже из подражания его знакомым, что он влюблен в Беллу, и ее нежность, в которой проявлялось своего рода материнское чувство к нему, принимал он за такое же любовное чувство; он так был уверен в своем успехе, что не находил нужным своими испытующими глазками следить за тем, как все менялось в ней, как она уже не только глазами искала весеннее солнце, но и сердцем своим жаждала любви. Ему неведомо было могущество весны, которая с небес шлет свой зов во все окна: „Девушки, взгляните на юношу, что похож на меня!“

И Белла также слышала голос весны; она то и дело, отрываясь от работы, подбегала к окну, и уже через несколько дней в ней совершилась закономерная и естественная перемена. Однажды в отсутствие малыша, жившего в комнате, выходящей на улицу, она лишь одним глазком выглянула в окошко сквозь плотно занавешивавшие его ковры как раз в ту минуту, когда эрцгерцог со своей свитой проезжал мимо; но ее сердце поразил удар, столь же сильный, как тот, что оглушил ее на холме под виселицей, только не сопровождавшийся тогдашним страхом; память ее прояснилась, и подобно золотому руну, висевшему на крепкой нерасторжимой цепи вокруг шеи эрцгерцога, всей душой своей она, этот нежный, милый агнец, осталась прикованной к его

взорам; и все, что она испытала к нему в своей душе, перед тем как была поражена волшебным ударом на холме под виселицей, вновь полностью ожило под воздействием ясных его очей. Да, как только он скрылся из виду, она всплеснула руками над головой и так горько заплакала о ненавистной своей доле, что Брака поспешила к ней, но долго не могла добиться от нее ни слова и кончила тем, что вместо утешения сама стала выть, вторя ей. Белла должна была, однако, кому-то поверить свои чувства, и потому в конце концов она ей призналась, кого она вновь увидела, как ненавистно стало ей отныне все ее обучение, связанное с городской жизнью, как радовалась бы она теперь в маленьком загородном домике у оконца светелки, любуясь вблизи и вдали весною и летом, которые теперь дают ей о себе знать разве только отдельными древесными ветками и сорванными букетами цветов.

— Матушка,— вздохнула она,— как хотела бы я в одинокие ночные часы тихо, ничем не тревожимая, смотреть на поля и молиться!

Услышав это, Брака весело хлопнула в ладоши и сказала:

— Вот, ты понимаешь теперь, что я тебе говорила в саду, перед тем как мы двинулись в Бейк? Ну, если дело только за этим, то я тебе укажу средство, которое тебе лучше поможет, чем вздохи и молитвы. Ты должна его получить, и ты получишь его, мое дитя,— ведь это давнишний затаенный мой план, одобренный и главарями нашего народа. От этого будущего наследника половины мира у тебя должен быть ребенок, который, пользуясь любовью своего могущественного отца, соберет рассеянные по Европе остатки твоего народа и отведет их в святую египетскую отчизну. Не плачь же, от слез тускнеют твои очи, я ведь желаю только твоего счастья.

— Но каким образом у меня может быть от него ребенок? — спросила Белла.— Достанет он мне его, что ли, из колодца, про который рассказывал мне отец,

что пока один держит лестницу, другой спускается вниз.

— Милое дитя,— с лукавством ответила Брака,— когда ты останешься с ним наедине, ты получишь его попроси об этом, и если он будет в милостивом настроении, он вероятно в одну минуту удовлетворит твою просьбу, а сил-то у тебя хватит, чтобы поддержать ему лестницу!

— Ах, мой Карл такой добрый! Это сказали мне его глаза, его чело, когда, проезжая мимо, он снял свой берет перед старым одноногим инвалидом; он, конечно, сделает мне приятное!— воскликнула Белла;— мы передадим ему это через малыша.

— Ради мозолистых ног нашей пречистой девы, прошу тебя,— сказала Брака, затыкая ей рот рукой,— не говори ему ни слова, потому что имей в виду, что по злобе своей он никогда тебе не простит, что до сих пор ты втирала ему очки, будто он твой милый.

— Мой милый? Нет, он никогда им не был,— сказала Белла,— но, правда, я любила его до этой минуты; а теперь я предпочла бы, чтобы мы его оставили там наверху около редьки: он кажется мне до того непохожим на человека, я сама даже не знаю, почему.

— Ну, что же, дитяtko,— продолжала Брака,— не могу не согласиться с тобой; я и то все время удивлялась, как это ты можешь так ласково позволять садиться верхом к себе на колени этому гадкому сморчку, который причинял тебе столько жгучего горя, рвал твои книги на хлопущки, проливал тебе суп на платье. Но будь умна, слушайся меня и не подавай виду; если мне удастся ухватить его проклятые глазки на затылке, я вырву их ему, так что он не успеет и оглянуться. Он должен нам раздобыть денег и доставить случай увидеться с эрцгерцогом; только хорошенько подольстись к нему со своей любовью.

— Но ведь это же будет нечестно!— возразила Белла.

— Что за глупости!— воскликнула Брака;— добро бы, если бы он был человеком, но что нечестного можно сделать старому корешку. Любой другой, кроме нас

с тобой, и церемониться с ним не стал бы, а изрезал бы его на мелкие кусочки и сварил; хватит с него чести, что мы с ним нянчимся, как с куклой. Знаю, нам нелегко будет от него отделаться, но у меня на этот случай есть свой план с Медвежьей шкурой: он сыт по горло своей службой и только и мечтает улечься опять в могилу, вот он и прихватит его туда со своим сокровищем. Раз эрцгерцог полюбит тебя, нам не нужно никаких этих сокровищ, он не даст нам умереть с голоду.

Сгорая от нетерпения увидеть эрцгерцога, Белла согласилась на все; она обещала проявить как можно больше нежности к малышу, и ей представился к тому случай уже в ближайшие дни, когда он, вернувшись домой от эрцгерцога, впервые заговорил с ней о будущем — как они сыграют свадьбу в Генте и останутся там жить.

Присутствовавшая при этом Брака ехидно его спросила, как же обстоит теперь дело с его военной карьерой, скоро ли произведут его в генералы или в капраны. Он самодовольно усмехнулся и намекнул, что он распоряжается эрцгерцогом, как хочет, и назначение ему обеспечено; затем рассказал он, как уговорился с ним о встрече на ярмарке в Бейке, и заявил, что они должны заказать себе комнату получше у госпожи Ниткен. Брака порадовалась втайне, для виду же возразила, что госножа Ниткен знает, кто они такие, и может их выдать; впрочем и в Генте это, конечно, столь же возможно, но деньгами ее легко заинтересовать в успехе их дела. Итак, увеселительная поездка была решена, и тотчас же была задана портнихам работа сшить им праздничные наряды; такие пошли хлопоты, что даже бедный Медвежья шкура, хоть и был он выкопчен из гроба, а вспотел до седьмого пота. И правда, добрый малый делал все, что только можно было требовать от живого человека, но при этом ел он с таким аппетитом, что его земная природа ожила новой жизнью, и он все больше убеждался, что ему уже не лежать так спокойно в могиле, как прежде, и такая иногда

подымалась в нем распря между живым и мертвым телом, что вся кожа у него ежилась и зудела. Такой же разлад мучил его в вопросе о том, кого ему считать своими господами: мертвое его тело считалось с господином Корнелием, а вновь ожившее было всецело предано госпоже Браке и прекрасной Белле, а того господинчика и в грош не ставило. Поскольку же то та, то другая сторона выступала на первый план, мы увидим, что и работал он то на тех, то на других; впрочем, изменять он никому не изменял.

Все наконец было готово к отъезду. За карету пришлось заплатить втрое — такое множество народу, в другое время жившего тихой трудовой жизнью, вдруг именно в этот день решило проветриться. Сколько залежавшихся платьев было вытащено из сундуков, какой шум подняли дети спозаранку в домах! Но лишь немногие могли насладиться удобством поездки в карете, большинство же длинными вереницами потянулось по полям, чтобы не задохнуться в пыли большой дороги; всё же иные предпочли двинуться по ней, потому что боялись не успеть насмотреться на богато разодетых купцов и дворян в общей толпе, когда они все соберутся на месте, и хотели уже в пути разглядеть каждый наряд в отдельности. Особенно же возбуждено было общее любопытство разнесшимся слухом, что ярмарку в Бейке почтит своим присутствием сам эрцгерцог в полном орденском облачении золотого руна со своими пажамы и всей своей рыцарской свитой, что было беспримерной милостью с его стороны; и местные старшины, воодушевленные этим, приложили все силы, чтобы обставить праздник торжественными речами и церемониями, триумфальными арками и цветочными подношениями. На всех возвышенных пунктах были размещены крестьяне с флагами, чтобы сигнализировать выезд эрцгерцога; около каждого флага собралась толпа путников. Но принц, менее занятый праздником, чем своей любовью, обманул общие ожидания, направившись без всякой свиты с Ценрио и Адрианом по воде

в закрытой гондоле, чтобы подъехать непосредственно к дому госпожи Ниткен, где Ценрио заказал им комнаты. По дороге он в первый раз проявил интерес к уроку диалектики у Адриана, которому доставило большую радость, когда принц построил силлогизм: все юноши влюблены, Кай — юноша, следовательно Кай влюблен. Так называемый Кай был, конечно, сам наш эрцгерцог, чему и смеялся он украдкой с Ценрио. Эрцгерцог уже в мыслях и предчувствиях своих так был влюблен в прекрасную незнакомку, которую в тот день ему предстояло увидеть, что путь ему казался переправой через медленный Стикс к новой жизни, более вольной, чудесной, милой и страшной. Адриан тихомолком думал в то время о книге Петра Ломбарда, про которую Ценрио рассказал ему, что он видел ее у ветошницы, сам же Ценрио помышлял о милостях, ожидающих его в будущем, когда эрцгерцог наследует власть.

Занятые такими мыслями, высадились они у дома госпожи Ниткен, которая, хотя и была обо всем уведомлена Ценрио, сделала вид, будто не знает, кто такие ее высокие гости, и выразила сожаление, что несколько гентских семейств уже сняли ее дом. Адриан спросил, не могут ли они расположиться в библиотеке, на что госпожа Ниткен захохотала так, что у нее шея вздулась: ведь у нее всего-навсего есть разве две-три изъеденные червями ветхие книги, и лежат-то они в чердачной каморке, где человеку и не повернуться. Адриан не отстал от нее, пока она не проводила их туда, и только там сообщил он ей, что сегодня выпало ее дому великое счастье — оказать приют самому эрцгерцогу, и гентские семейства, конечно, рады будут освободить для высокого гостя несколько комнат окнами на улицу. Старая толстуха чуть было не упала на колени в своем почтительном изумлении, поцеловала кончики эрцгерцогской перевязи и поспешила в комнату госпожи Браки, чтобы возвестить ей, что приехал эрцгерцог и что ей придется уступить ему соседние комнаты и оставить двери открытыми.

Тем временем малыш вместе с Медвежьей шкурой уже отправился на главную площадь, чтобы там встретить эрцгерцога, от которого ожидал для себя немало почестей. К своему огорчению, он узнал о его отсутствии от пажей, которые вместо принца выслушали все заготовленные для него приветственные речи старшин перед ратушей, великолепным старинным зданием с большими окнами и башнями, единственным памятником славного прошлого этого городка. Он было уже заторопился домой, чтобы оповестить своих дам о напрасном ожидании принца, но двое приятелей Ценрио знавших его, отозвали его в сторону и выразили удивление, почему он не выхлопочет себе у принца, дружбой и расположением которого пользуется, видной должности в новом его полку. Малыша прямо в жар бросило от гордости при этом лестном для него предложении, которое отвечало затаенным его мечтам; он любезно вступил с ними в беседу и, когда они пригласили его на стакан вина в соседний кабачок, послал верного Медвежьё шкуру к своим дамам с извещением, чтобы они зря не дожидались эрцгерцога, сам же он задержан важными делами с его придворными, по окончании коих вернется развлекать их.

Время прошло очень быстро для малыша, потому что, кроме льстивых друзей и доброго вина, на него оказала опьяняющее действие бесконечная народная толпа, решившая всласть повеселиться эти три дня и потому не желавшая терять даром ни минуты. Сколько тут было запасено мяса, пирогов и хлеба, частью привезенных прибывшими, частью доставленных с постоянных дворов! То был завтрак, что твои розговени, и обжоры непременно забили бы себе глотки чудовищными кусками пищи, если бы не устроены были искусные шлюзные сооружения при помощи вина и пива, благодаря чему все благополучно проплывало вниз к месту своего назначения. Нидерландцы тут мастера своего дела, а в те времена городское население так разбогатело в торговых сношениях со всем миром, что мест-

ные продукты почти ровно ничего не стоили. Для богатого было сущим пустяком даром накормить тысячи людей, оттого в городах в сущности не было нуждающихся и нищенством занимались только лодыри по призванию. Но и эти последние снимали с себя лохмотья в дни народных праздников и в пышных одеждах лицедействовали и потешали зрителей, у которых в прочее время кланчили милостыню. Бочки с положенными на них досками были им сценой, служитель, вооруженный длинной набитой подушкой, насаженной на хворостину, отгонял детей, из любопытства карабкавшихся на подмостки; кроме того на голове он носил козляк с бубенцами и ослиными ушами и в качестве шута выступал в пьесе и болтал со зрителями.

Наш малыш был в полном восхищении от театра. История человека, который, будучи превращен женой в собаку, тщетно пытается доказать, что он такой же разумный человек, как и другие, так увлекла его, что он сам полез на подмостки, за что получил от шута здоровенный удар по спине. Наш малыш почел себя жестоко опозоренным в глазах всего света, выхватил шпагу и бросился на шута, который презабавно стал обороняться против него своей набитой как колбаса подушкой; все завопили от восторга. Многие же, решив, что эта потеха входила в программу спектакля, принялись подзадоривать их обоих; дети вскарабкались на плечи взрослым, другие забрались на столы и на железные перекладки между арками ратуши, залезли на деревья, свешиваясь с их ветвей, словно диковинные плоды. Оба дворянина с необычайным удовольствием смотрели некоторое время на рыцарский подвиг своего зрителя, когда же ему удалось своей шпагой проткнуть маленькую дырку в икре шута, они всерьез встревожились за него, ибо зрители вовсе не оказались довольны таким нарушением театральности, а один крестьянин заявил даже, что обкарнает ему нос и уши. Поэтому, не долго думая, схватили они его, сунули под плащ и, как он ни противился, унесли его в первый

приличный дом, отворивший им свои двери. Случаю было угодно, чтоб то оказался дом славной госпожи Ниткен, которая, сдав комнаты нескольким девицам легкого поведения, должна была оставлять их дверь всегда отпертой, чтобы гости могли проникать к ним как можно незаметнее. Вот обрадовались-то эти девицы обоим красивым дворянчикам и крохотному карлику, ибо они его так называли, пока он с яростью не заявил, что они имеют дело с молодым офицером. Это дало повод к нескончаемым шуткам, которых мы не станем повторять; но задор обоих дворян и дерзость девиц как кубарь подхлестывали высокомерие мальшца и довели его до такого раздражения, что он готов был уже бежать прочь от своих мучителей, но тут они закричали, будто у дверей все еще стоит шут с крестьянами и хочет отрезать ему уши.

Что же делали тем временем влюбленные? Чуть только эрцгерцог вошел к себе, как приложил ухо к двери и обнаружил, что обе женщины находились в соседней комнате; он попросил Ценрио раздобыть ему бурав, и тот немедленно принес ему огромный бурав купора, который на дворе выдеживал винную бочку; он оказался как раз подходящим; тихо-тихо стал принц сверлить дверь, пока тонкий кончик острия не вылез наружу, и тогда он прильнул глазом к широкому отверстию с своей стороны; жаль только, что зря он трудился, так как дверь в его же интересах была отперта. Как билось его сердце,—и он сам не знал, почему,—когда он в первый раз посмотрел насквозь, и как отпрянул он назад и в голове у него помутилось, когда мелькнул перед ним еще более прекрасным образом того самого призрака, который дразнил его в ту ночь в загородном доме!

— Ценрио,—сказал он,—мы в руках каких-то чудесных духов; мы думали, что играем ими, а на самом деле они играют нами; я хотел бы бежать, и не могу—она так прекрасна.

Ценрио был смущен.

— Это тот же дух,— продолжал принц,— что уже тогда, в начале зимы прогнал меня из загородного дома, но он воплотился в человека, и я больше не могу ему противиться; дай совет, как мне поговорить с ней,— я теперь все бы ей высказал.

— Я все уже обдумал,— отвечал Ценрио,— по счастью, времени у нас достаточно; Адриан весь поглощен своей работой, желая доказать, что разысканное мной добавление к Ломбарду не подлинное; к тому же я еще запер дверь его комнаты, чтобы ему не удалось захватить нас врасплох. Теперь, мой дорогой принц, я предлагаю вам следующее: наша девушка страдает головной болью, вы разыгрываете роль врача, останетесь наедине с ней, и когда вы будете щупать ей пульс, то слова сами найдутся.

Действительно, Белла от дорожных сборов, от бессонной ночи и от жары почувствовала себя плохо, и госпожа Ниткен собственно и придумала этот план устройства свидания обоих влюбленных. Через несколько минут эрцгерцог уже облачился в широкую черную докторскую мантию, навесил на себя кровоускательные инструменты, пластыри и клистирный шприц и, робея, вошел в комнату за госпожей Ниткен, которая представила его, как испанского доктора. Белла узнала его с первого взгляда, и любовь и стыд повергли ее в такое же смущение, как Браку непосредственная близость августейшего принца; Белла скрыла лицо покрывалом, Брака с глубокими поклонами ретировалась в соседнюю комнату. Оба влюбленных, наконец, были одни и могли быстро и благополучно объясниться и договориться обо всем; но эрцгерцог, который еще ни с одной девушкой не бывал в близких отношениях, не находил иной темы разговора, кроме пульса:— Дайте пощупать ваш пульс,— только и повторял он. Белла протянула ему свою белую, круглую руку, он прикоснулся к ней кончиками пальцев, поиграл ею, хотел было опять что-то сказать, вероятно о явлении ее в загородном доме, но язык его лепетал только:— Это дух, это дух,

виденный мною! — При этом он надел ей все-таки кольцо на палец, что мы можем рассматривать как триумф его сообразительности.

Тут счастью его пришел конец, потому что проклятый корневой человек, который наклюкался у девиц и ускользнул от наблюдения офицеров, с шумом ворвался в комнату, болтая всякую чепуху о своем будущем полку и не узнавая Беллу, лежавшую на диване. Но эрцгерцог мгновенно овладел собой и попросил его не беспокоить больную, тем более, что вид у него как у умирающего. Малыш сразу опешил, а вошедшие офицеры подтвердили, что он очень изменился в лице и вероятно заразился чумой, потолкавшись сегодня в толпе. От этого предположения он весь поник, от пьяного задора не осталось и следа, ноги его подкосились; эрцгерцог ловко наложил ему на лицо большой кусок пластыря, имевшийся в его докторском снаряжении; малыш же твердил, что ничего не видит. Офицеры с притворным состраданием обещали доставить его домой, ибо он все еще так и не узнал ни комнаты, ни своей возлюбленной, и действительно они выволокли его из комнаты.

Брака тем временем сидела, как на иголках. Любовь эрцгерцога все еще не обнаружилась, щедрость же его вовсе не была несомненной, напротив — от госпожи Ниткен она слышала, что за ним даже держалась слава скряги; с другой стороны, альраун мог открыть столько кладов, сколько их было закопано в земле, и самому ему было решительно все равно, на что тратятся деньги, лишь бы он не чувствовал в них недостатка. Ежели оба любовника не поладят друг с другом, то вот и разлетятся все ее надежды на безмятежную будущую жизнь, и великие планы о судьбе ее народа тоже не осуществятся.

Эрцгерцог вновь был теперь наедине с Беллой, и смелости у него прибавилось, она же была раздражена и озабочена участью своего малыша; она заговорила об этом, и принц выслушал ее не без известной ревности,

С некоторой гордостью спросил он ее, правда ли, что малыш — ее жених, и в ожидании ее нерешительного ответа настолько потерял самообладание, что вышел из своей мнимой роли доктора и представился ей как эрцгерцог. Она была слишком искренна, чтобы изобразить притворное изумление, и таким образом установились между ними доверчивые отношения, прежде чем они успели что-либо доверить друг другу. Наконец Белла сказала, что брака ее с кузеном желает только ее мать, а не она сама. Эрцгерцог заклинал ее не покоряться так всецело воле своей матери и не жертвовать счастьем жизни и красотой горю несчастного замужества; о своей любви он умолчал при этом. Белла пробормотала, как ей было предписано, что ее состояние находится в полном распоряжении ее богатого кузена, что она должна покориться желанию своих родственников, тем более, что она никого на свете не знает, кто бы мог спасти ее от этого принудительного брака. Тогда эрцгерцог стал уверять ее, что малейшее огорчение, причиненное ей, будет беспощадно наказано и отомщено им. Эти слова повлекли за собой объяснение в любви, которое не только у обоих влюбленных, но и у подслушивавшей Браки сняло большую тяжесть с души. Но как же встревожилась старуха, когда вдруг Белла, охваченная любовью к эрцгерцогу, прокляла всю свою лживость, упала к его ногам и стала заклинать его своей любовью не презирать ее за обман, говоря, что она вовсе не дочь ее спутницы, как она себя выдавала, а дочь... здесь ее слова были заглушены хлынувшими слезами.

Один из дворян, сопровождавших малыша, вошел и пригласил эрцгерцога проследовать в его комнату, говоря, что с малышом ничего нельзя поделать; они провели его обходным путем в тот же дом, откуда вывели, и он считает себя смертельно больным. Возмущенный до глубины души, что был обманут в первой своей любви, эрцгерцог бросился вон из комнаты. Белла удалилась в соседнюю комнату, так как в ее душе еще падали капли с листьев после пронесшейся грозы.

Малыш велел внести себя наверх Медвежьей шкуре, который в страхе стал звать свою хозяйку, боясь, что пришел конец его славной службе. Когда Брака появилась, малыш встретил ее жалобными стонами, говоря, что он так ослабел от чумы, что не может стоять на ногах, что все кружится у него перед глазами, что он ничего больше не видит и его язык так ковыляет за его мыслями, что не успеет он начать говорить, как уже теряет их нить. Брака имела вид сострадающий и испуганный; Белла с горестью смотрела на его заметную бледность.

— Ах,— стонал малыш,— почему я только не задержал доктора, который сразу распознал мою чуму? может быть, он знает и средство от нее.

— О,— заявила Брака,— чуму я не раз лечила, я положу одну травку в тепловатую воду, и ты будешь пить ее через каждые пять минут по чашке; тогда все пройдет благополучно.

— Скорей, скорей,— пробормотал малыш и заснул, окончательно опьянев; тогда Медвежья шкура раздел его и уложил на диван, хорошенько укутавши одеялом.

Брака время от времени вливала ему в рот по чашке горячей укропной настойки, как дают маленьким детям. Припадки ужасной тошноты пробуждали его, но наконец, природа его облегчилась от излишка вина, которым нагружился он по обязанности пить за провозглашаемое здоровье; со вздохами и стонами заговорил он тогда:

— Где может быть теперь тот доктор, которого я видел в том доме? Если бы только найти его, он еще мог бы помочь мне; у меня к нему такое доверие, потому что он сразу распознал мою болезнь. Но откройте же дверь,— продолжал он,— здесь так жарко!

— Дверь заперта,— сказала Белла,— там помещается эрцгерцог.

— Эрцгерцог? — и с этими словами малыш, как был, выпрыгнул из постели, но, запатавшись на ногах,

шлепнулся в умывальный таз,—эрцгерцог здесь, и я не могу с ним поговорить о моем назначении! О, я уйду все свое счастье, если умру!

Медвежья шкура снова закатал его в одеяло, но малыш продолжал горько плакать и причитать о враче, которого он мельком видел. Брака пообещала, наконец, приложить все усилия, чтобы его отыскать, и пошла к госпоже Ниткен попросить через нее принца еще раз явиться в качестве врача. Но эрцгерцог, обнажив кинжал, потребовал грозным голосом от госпожи Ниткен, чтоб она рассказала все, что знает о приезжих и не подсланы ли они его погубить каким-нибудь врагом его дома. Госпожа Ниткен так все ему и выложила без утайки. Она сказала, что Брака была давнишняя ее знакомая, старая цыганка, что однажды ночью она явилась к ней с красавицей Беллой и с малышом, прося отвезти их в Гент, где, как известно, они истратили немало денег. Белла, конечно, не дочь старухи — за это она ручается, но не высокого ли происхождения эта девушка — в этом она не может поручиться, впрочем это уже ее собственные домыслы. Во всяком случае, девушка не похищена, потому что обращается со старухой и повелительно и в то же время ласково, а говорят они между собой на каком-то чужом наречии, думается ей, по-французски.

Сказанное госпожей Ниткен заставило принца иначе взглянуть на все дело; сперва он подумал, что попался в сети продажной девки, теперь же у него явилось серьезное подозрение, не есть ли Белла французская принцесса, брака которой с ним добивается французский двор против желания его деда. Как известно, его позднейшие политические дарования мало еще проявились в эти ранние годы его жизни, когда все его внимание было направлено на телесные упражнения, и он полагал возможным многое такое, что другому казалось бы весьма сомнительным, а Ценрио слишком был занят Адрианом, чтобы помочь ему своим советом.

Поэтому к просьбе явиться снова в виде врача он отнесся даже с некоторой почтительной готовностью, что немало поразило трепетавшую госпожу Ниткен.

Теперь он постарался больше изменить свою наружность, проведя углем несколько штрихов у бровей и на лбу, и последовал за госпожей Ниткен в комнату больного. Малыш пришел в восторг, услышав его голос; эрдгерцог очень серьезно расспросил его о всех симптомах болезни. Малыш рассказал о дикой головной боли, о тошноте, об отрыжке, о полном помрачении зрения, о сыпи, которую он чувствует на всем своем лице (свои глаза на затылке он стыдился показывать людям и давно уже отвык ими пользоваться, вращаясь в хорошем обществе); в заключение он сказал, что упустит все свое счастье, если не поправится быстро, так как эрдгерцог ради него поселился в соседней комнате и вероятно в ближайшие дни распределит должности в своем новом полку.

— Ах, дорогой доктор, — воскликнул он в своем воинственном воодушевлении, — если я вдруг помру, мир так и не увидит меня во всем блеске и величии, которые я заслужил и своим происхождением и своей храбростью! Часто мне кажется, словно злые волшебники противятся осуществлению истинного предназначения моей жизни.

Эрдгерцог терпеливо его слушал и опять-таки не мог никак согласовать все это со своей чужеземной принцессой; уж не принц ли это, заколдованный старой феей, один из тех, о которых полны историями испанские романы? От этой мысли в связи с явлением в загородном доме он совсем было растерялся, и его смущение легко бы его выдало, если бы малыш не был так пьян и если бы он пользовался своим задним зрением. Наконец эрдгерцог принял решение и сказал ему, что средство уважаемой госпожи Браки очень хорошее и он должен теперь лучше укутаться одеялами, чтобы сильной испариной побороть болезнь в самом корне. Напрасно охал малыш, что боится до себя

дотронуться, как до раскаленной печки, так ему жарко,— Брака, уговаривая его всякими словечками, набросала на него несколько одеял, запеленала его в них и удалилась с верным Медвежьей шкурой под предлогом, что хочет приготовить прохладительное питье малышу.

Эрцгерцог теперь снова был наедине с Беллой, но, ввиду присутствия закутанного в одеяла больного, они не могли говорить громко; да Белла, кроме того, крайне смуглилась, когда он опустился перед ней на одно колено и сказал ей:

— Что помешало вашей прекрасной откровенности, обожаемая? Я догадываюсь, что вы дочь благородного князя, я догадываюсь обо всем, что вы имеете мне сказать, но я хотел бы слышать истину из ваших уст, истину о вашей любви, которая пожертвовала всем блеском своего положения, дабы избежать ненавистного принуждения политики. Ничто не может нас разлучить. Я знаю моих нидерландцев, а они знают, как постоять за свою свободу, и сумеют защитить и мою свободу, и даже, если бы нас победили силой, море нас унесет в новооткрытый богатейший мир.

Кто поставил бы в вину Белле, что она твердо поверила в то, что эрцгерцог узнал о ее происхождении и избрал ее себе в супруги? Ведь она из всей европейской политики только и знала, что герцога, отца ее, в Европе не почитали, но преследовали. Растроганная, она стояла перед ним, то подымая, то потупляя глаза, и наконец проговорила дрожащим голосом: если один раз она могла притвориться, то впредь этого никогда не будет; она не отрицает своего происхождения, она не может отрицать и того нежного чувства, какое он уже ранее пробудил в ней в ее тайном убежище, и теперь оно ожило и окрепло при взгляде на него.

Она опустила свое милое личико, и эрцгерцог уже хотел прикоснуться губами к краю ее уст, как вдруг малыш задвигался под своими одеялами, завопил от желудочной боли и стал причитать, что задохнется раньше, чем его вылечат. Счастливая любовь не выно-

сит вида страданий: эрцгерцог бросился к больному и раскутал его из одеял; пошел пар, словно сняли салфетку, в которой варился пудинг. Эрцгерцог осмотрел малыша, осторожно снял пластырь с его вспотевшего лица и объявил, что малыш уже излечен; теперь он должен его покинуть, чтобы прислать ему укрепляющих средств, больной же тем временем пусть полежит спокойно.

С этими словами эрцгерцог вышел из комнаты, а малыш, который постепенно протрезвлялся и мог уже видеть окружающие предметы, лежал на своей постели с блаженным ощущением спасенного от смерти, которому жизнь становится особенно мила; он взял руку Беллы, пожал ее и сказал, что мысль о смерти только из-за разлуки с ней была так тяжела ему. Он был так кроток и нежен, что прежнее материнское чувство к нему не позволило Белле поделиться с ним своей новой любовью и своим новым счастьем. Он целовал ее, как привык это делать, что привело в ярость эрцгерцога, который в это время опять подсматривал за ними в пробуравленное отверстие двери, потому что он снова вообразил себя обманутым, вдвойне обманутым, ибо в своей наивной доверчивости к Белле он держал себя непростительно ребячливо и благодушно.

Малыш теперь уже сделал попытку слезть с постели, и обнаружил, что может и ходить и стоять; приведя в порядок свой костюм, он сказал Белле, чтобы она приготовилась получше встретить эрцгерцога, которого юн к ней приведет, и, если тот будет в хорошем настроении, она должна попросить для него место капитана и быть как можно предупредительнее,—ведь счастье его жизни зависит от этого; и тогда уж он непременно на ней женится. Белла молчала в смущении, а малыш за своими воинскими планами настолько забыл о своей болезни и опьянении, что принялся важно расхаживать взад и вперед по комнате, словно перед толпой народа, и даже выставил Браку за дверь, когда та натолкнулась на него, неся горячую воду. Таковы почти все

маленькие люди: сердце у них помещается так близко к голове, что когда оно начинает кипеть, то пары туманят им голову.

Наш корневой человечек больше уже не мог терпеть и стал чиститься и справа и слева; он решил немедленно засвидетельствовать эрцгерцогу свое почтение и появился в его комнате как раз в тот момент, когда в припадке жесточайшей ревности он проклинал день и час своей встречи с Беллой. Не успел он изложить свою просьбу, как эрцгерцог осыпал его проклятиями, обозвал его смехотворным маленьким корешком-мужичком, фальшивомонетчиком, мандрагоркой, так что малыш совершенно опешил от изумления, каким образом мог он узнать историю его происхождения, и бросился вон из комнаты, растерянно крича:— Милостивейший государь, откуда вам это известно?

Возвратившись во-свои, он не проронил ни слова об оказанном ему приеме, но от глаз Браки не укрылся его - крайне обескураженный вид. Он сказал только, что не застал эрцгерцога и что хочет поскорее уехать из этого места, где каждую минуту ему грозит опасность снова заразиться чумой; тут же он осведомился, не присылал ли ему чего доктор. Брака, чтобы успокоить его, сходила сама напротив в лавку странствующего доктора-еврея, купила крепчайший эликсир, который вернул к жизни немало умирающих, и принесла его малышу под видом средства, оставленного для него в доме хваленым его врачом. Чуть только малыш глотнул этого адского снадобья, как к нему вернулась вся его прежняя храбрость. Он клокотал от ярости, что не ответил достойным образом эрцгерцогу; ему пришлось в голову столько всяких едких слов, что только ради того, чтобы хорошенько выместить свою злобу на эрцгерцоге или на ком-нибудь из его свиты, он дал без труда себя уговорить остаться еще на день в Бейке.

Теперь настало самое горячее время праздника. Начались скачки на неоседланных лошадях, причем призом служил гусь, подвешенный к канату на веревке, кото-

рую требовалось на всем скаку перерезать ножницами; ржание лошадей, смех толпы над поверженными в прах самоуверенными смельчаками — влекли всех к месту состязаний; повел на это зрелище своих дам и наш мальш. Не успел он туда притти, как в своем увлечении забыл о спутницах и потерял их из виду, и Брака могла без помехи расспросить свою воспитанницу о происшедшем. Белла сообщила ей, что эрцгерцог желает на ней жениться; Брака нашла, что в этом есть своя дурная сторона и дело может кончиться тюрьмой, Белла же должна прямо и без обиняков дать ему понять, что хочет иметь от него ребенка, который принесет счастье ее народу, и все тогда устроится само собой без всяких обрядов. Белла обещала сделать все по ее указанию, как только представится случай.

Такой случай не замедлил представиться довольно странным образом, и поводом к тому послужил гнев эрцгерцога. Без всякого отлагательства он поведал другу Ценрио о своих бешеных муках ревности, и тому сразу же пришла в голову замечательная идея. В ярмарочном райке повстречался он снова с одним ученым польским евреем, который уже ранее немало забавлял его своим искусством мастерить големов. Эти големы представляют собой глиняные фигурки, воспроизводящие какого-нибудь определенного человека; над ними произносятся таинственные и чудодейственные заклинания, а на лбу у них пишется слово *эмт*, что значит истина, после чего они оживают и могли бы быть использованы для разных дел, если бы они не вырастали с такой быстротой, что скоро начинают превосходить силой своих создателей. Но куда можно достать до их лба, их ничего не стоит умертвить: нужно только стереть со лба первое э, тогда останется лишь мэт, что означает мертвец, и големы мгновенно распадаются как сухая глина.

Старый еврей был приведен к эрцгерцогу, и тот потребовал, чтобы он сделал ему такой слепок прекрасной Беллы, за что обещал вознаградить его по-кня-

жески. Еврей предупредил его, что нужно быть осторожным с таким слепком, ибо на его родине с ними бывало немало всяких бед: у его двоюродного брата, например, голем, который выполнял для него разную домашнюю работу, так высоко вырос, что тот уже не мог достать ему до лба, чтобы стереть букву э; тогда он приказал ему стащить с него сапоги и, когда голем наклонился для этого, изловчился и стер у него со лба э; но глина всей тяжестью упала на несчастного и раздавила его. Эрцгерцог поклялся, что такой неудачи с его заказчиком не произойдет, но трудность заключается в том, как сделать слепок похожим на прекрасную Беллу. Еврей сказал, что надо только, чтобы она разок взглянула в его волшебное зеркало, и образ ее в нем сохранится, как отпечатанный. Волшебное зеркало находилось в райке, и вся задача была лишь в том, чтобы завлечь в него Беллу. Ценрио, знакомый уже с корневым человечком, взял на себя заботу о том, чтобы привести его с его красавицей посмотреть на раек, а переодетый эрцгерцог в это время должен был спрятаться за райком; все поспешили по местам.

Ценрио застал малыша еще на скачках; он шепнул ему на ухо, чтобы он не принимал слишком близко к сердцу гнев принца, так как один тайный его недоброжелатель насплетничал принцу про его недоразумение с актерами; но это неблагоприятное впечатление сгладится, если он расскажет в свое оправдание, что его укусила тут какая-то бешеная собака. Малыш чрезвычайно обрадовался и, представив Ценрио свою невесту, просил его не покидать их общества. Ценрио наговорил ей всяких любезностей и предложил посетить раек, показывающий в пестрых картинах свет в малом виде, всякие города и народы. Они направились туда, и Белла первая стала глядеть, несмотря на то, что любопытный малыш с неудовольствием уступил ей эту честь; она была поражена великолепием картин и охотно посмотрела бы всю их серию еще раз, если бы малыш в своем нетерпении не оттащил ее от стекла. Он

был в полном восторге от всего, что увидел: в каждом городе он воображал себя его князем; глядя на чужеземных солдат, он представлял себе, какой у него был бы вид в мундире их полководца.

Тем временем эрцгерцог вступил в тихий разговор с Беллой. Он пристыдил ее в лживом и притворном признании в любви, сделанном ради того, чтобы хлопотать назначением капитаном для своего маленького женишка. Белла расплакалась и поклялась ему, что все это совсем не так, что любовь ее непритворна и ее честолюбивое желание — иметь от него ребенка, который принесет славу и свободу ее народу. Такая откровенность поставила эрцгерцога в некоторое затруднение (она была непорочна в чистоте своего сердца, он же оставался непорочным только из гордости); запинаясь, он поклялся, что готов на все, чтобы исполнить ее желание, которое к тому же согласуется с его политическими отношениями.

С такими уверениями он без помех увлек ее за собой, незаметно для малыша, по знаку, поданному Бракой. Малыш уже два раза оглядел свет в малом виде, и он понравился ему гораздо больше, чем действительный мир, а еврей тем временем, беседуя с Ценрио, работал над изображением бежавшей Беллы. Ценрио просил еврея объяснить все же ему, как можно оживить подобный слепок.

Еврей сказал: — Как думаете вы, государь мой, почему бог сотворил людей, после того как все остальное было уже сделано? Очевидно потому, что это заключалось в их природе, когда она была создана мыслью божьей. И если это заключается в их природе, то это и остается в их природе, и человек, созданный по образу божию, сам может творить подобное, если он только знает те слова, которые бог произносил при этом. Если бы у нас был еще рай, то мы могли бы наделать столько людей, сколько в нем нашлось бы комков земли, но так как мы изгнаны из рая, то наши

люди настолько же хуже, насколько глина нашей земли хуже райской глины.

С этими словами старый еврей закончил свою работу, дунул на статую, написал у нее на лбу слово, скрыв его под локонами, и перед ними предстала вторая Белла, которая благодаря волшебному зеркалу знала все, что до той минуты было известно Белле, но не имела никаких собственных страстей, кроме тех, что были заложены в мыслях еврея; ее создателя, а именно высокомерия, сладострастия и скупости, то-есть трех грубых, извращенных воплощений прекрасных духовных влечений, каковы и все пороки; то, что они обнаруживались в ней без всякой духовности, отличало ее самое от еврея, как и вообще от всех людей, которых, однако, она так удивительно могла вводить в обман, как та старинная картина плодов вводила в обман птиц, слетавшихся к полотну, чтобы лакомиться ими. Так лакомились этой статуей и Ценрио и старый еврей; каждый из них напечатлел ей поделуи, перед тем как подвести ее к малышу, который, наконец, посмотрелся досыта и под руку со своей Беллой направился домой через вечернюю сутолоку продолжавшей веселиться толпы, в которой уже то тут, то там сверкали ножи подвыпивших крестьян. Брака, как и малыш, не заметила подмены Беллы. Втроем они поужинали в полном молчании, вполне естественном после шума и пестроты такого необычайного дня. После ужина в комнату вошел Медвежья шкура с расцарапанным лицом и сказал:

— Это проклятая госпожа Ниткен так меня отделала. Полюбился я пьяной чертовке так, что отпустить меня не хотела, а у меня-то какие новости есть порассказать! Она разболтала мне, что у эрдгердога виды на нашу барышню,— уж очень он настойчиво о ней спрашивал.

Тут голем Белла, зная про настоящую Беллу лишь до того момента, как она поглядела в зеркало, громко воскликнула:

— Как я рада! Теперь у меня будет от него ребенок, который освободит мой народ.

Брака испугалась такой откровенности, а малыш вскочил с бешеным криком:

— Значит, ты знаешь об этом, Белла, и любишь его?

— Разумеется,— отвечала голем Белла.

Малыш стал рвать на себе свои просынные волосы и чуть было не задохся от уязвленного самолюбия; наконец он излил свою скорбь в следующей речи, построенной по всем правилам риторики, преподанной ему его учителем:

— Зачем отрвала ты меня для людской жизни от покойного лона моего прежнего мира своим адским искусством? Без обмана светили на меня солнце и месяц; в спокойной задумчивости стоял я там днем, а вечерами складывал свои лепестки на молитву; я не видел ничего дурного, потому что у меня не было глаз, я не слышал ничего дурного, потому что у меня не было ушей, но довольство всем, что я в себе чувствовал, делало меня таким уверенным и богатым. Мои глаза я выплачу и лишусь их, со своей жизнью я расстанусь и вечно буду искать ее, но это искание будет тебе мукой; ты будешь думать, что я далеко, а я буду возле тебя. Ты не можешь меня разрушить так же легкомысленно, как, играючи, ты сотворила меня; я останусь у тебя, буду удовлетворять твои корыстолюбивые желания, доставляя тебе деньги, буду добывать тебе сокровища, сколько ты потребуешь, но это будет тебе на гибель. Ты захочешь отбросить меня от себя, уничтожить меня, но я все-таки останусь при тебе, я приворожен к тебе до тех пор, пока какая-нибудь другая, еще более коварная, чем ты, меня не перекупит. Горе всем грядущим поколениям! Ты ввергла меня в этот дьявольский мир, из которого я не освобожусь до дня последнего суда.

Голем Белла совершенно в тон настоящей Белле заговорила о своей нежности, которую она продолжает питать к нему, несмотря на всю любовь свою.

к эрдгерцогу. Малыш удивленно посмотрел на нее и сказал:

— Может быть, ты меня опять обманываешь, Белла; кто знает, о чем ты на эту ночь договорилась с эрдгерцогом? Дай мне доказательство твоей искренности. Луна сияет, по дивной прохладе мы к утру доедем до деревни, где тихо обвенчаемся, и как муж с женой вернемся в Гент, чтобы вслед за тем навсегда его покинуть и избавиться от происков льстивого эрдгерцога. Мы отправимся в Париж, и свой военный талант я предложу в распоряжение королю французскому, который знает цену храбрым людям, хотя бы они и были низенького роста.

Голем Белла молчала: у нее не было ни желания отвечать, ни готового ответа на этот случай. Малыш истолковал ее молчание в свою пользу, и, когда Брака хотела еще вставить несколько слов с своей стороны, он выхватил шпагу и поклялся омочить ее в крови, если старуха будет противодействовать его счастью. Брака затряслась от страха и больше ни куска не могла проглотить. Малыш велел Медвежьей шкуре укладываться и нанять извозчика до ближайшего села за любую цену, так как в Бейке по случаю ночных месс не нашлось бы ни одного священника для совершения брачного обряда. Из страха перед пьяной хозяйкой Медвежья шкура взялся за дело с величайшим усердием и не проронил ни слова. Карета была подана, и все уселись в нее, прежде чем госпожа Ниткен успела хоть что-нибудь заметить. Чтобы избежать всяких бессмысленных криков с ее стороны, ей швырнули тройную плату, и странная компания, состоящая из старой ведьмы, мертвеца, принужденного притворяться живым, глиняной красавицы и молодого человека, вырезанного из корня, сидела в торжественном и сосредоточенном настроении, лелея высокие мечты о счастье жизни, ожидающем их впереди, о сокровищах, геройских подвигах и чаевых деньгах, на которые Медвежья шкура немало рассчитывал по случаю праздничка. Сколь на-

прасно мучает нас отношение наше к тому или другому человеку! Представим себе, что он — мертвец, комок земли, корень,— и наша печаль и наш гнев рассеются, как и всякая скорбь о нашем времени рассеялась бы, если бы мы только сознали наконец, что мы лишь грезим.

Когда в бурную ночь случится вдруг на цветочной грядке, что две разъединенных цветочных чашечки склонятся одна к другой и не узнают друг друга, пока снова не выглянет месяц, то радость немеет, и только кузнечики поют о том всю долгую ночь до утра, когда их сменят птицы. Эрцгерцог хотел мстить за измену своей любви и потому оставался глух ко всем беспокойствам Беллы, которая не знала, что с ней происходит, когда он тайком привел ее к себе в комнату и уложил в свою постель. Оба они заснули, как вдруг их пробудило пение: *De profundis clamavi ad te, Domine: Domine! exaudi vocem meam* *, раздававшееся из церкви неподалеку, пение, к которому присоединились голоса толпы на улицах, не поместившейся внутри церкви. Была светлая летняя ночь, и оба они подбежали к окну. Только теперь Белла очнулась от своего самозабвения:

— Великий боже, неужели уж такая поздняя ночь? Как доберусь я до своей постели? Где я, что случилось, что будет со мной?

Эрцгерцог слишком был влюблен в нее, радость любви была слишком нова для него, чтобы омрачить ее воспоминанием о ее лживости.

— Ты ведь навсегда теперь со мной, мы не расстаемся друг с другом, как тело и душа?— воскликнул он.

— Неужели это правда?— чистосердечно спросила Белла:— тогда я очень счастлива!

Эрцгерцог удивился:— А как же твой предстоящий брак с Корнелием? или ты хочешь отказаться от него?

— Но разве я не принадлежу тебе?— спросила она.— Разве у меня не должно быть от тебя ребенка, который поведет мой народ на родину?

* „Из глубины воззвал я к тебе, господи: господи! услышь голос мой!“ (начало 129-го псалма). М. И.

— Кто твой народ, милая девушка?— спросил эрцгерцог;— не обманывай меня; все обличает в тебе княжескую кровь, но я хотел бы знать, была ли справедлива к тебе судьба и правда ли ты княжеского рода.

— Мой отец был Михаил, князь Египетский,— взволнованно сказала Белла,— я— последний отпрыск древнего рода, который, то победоносный, то гонимый, претерпел много превратностей судьбы, но всегда сохранял свою независимость: так говорил мне отец. Я— последнее дитя моего рода; мой отец умер жертвой преследований, обрушившихся на наш народ; древнее предсказание гласит, что ребенок, рожденный от меня и властелина мира, поведет последние несчастные остатки наших гонимых подданных к благословенному Нилу.

— Я вполне доверяю твоим словам,— ответил Карл,— только скажи мне: как ты, носительница такой великой идеи, могла объединиться против меня с твоим маленьким приятелем? Как могла ты отдаться мне ради того, чтобы устроить ему назначение? Сейчас, когда гляжу на тебя, стоящую передо мной прекрасною и непорочной в сиянии месяца, я готов не верить ушам своим; но ведь я это слышал, когда сквозь дверь украдкой любовался твоей красотой и, наслаждаясь ею, мечтал о мести; но прелести твои покорили меня, и теперь я признаюсь тебе в своей ярости.

Белла не понимала его, он казался ей воплощенной добротой. Она смеялась над его подозрительностью и с такой естественностью рассказала ему про то, как Брака уговорила ее уступить странной прихоти мальчика; тут же она доверилась ему, взяв с него слово никому не сообщать об этом, тайну происхождения мальчика. Эрцгерцог, в одну ночь вырванный из привычной, естественной последовательности жизни и перенесенный в чудесный мир наслаждения и тайных сил, погрузился в глубокую, сосредоточенную задумчивость; его душа, словно звезда, вознеслась над миром, вместе с которым он рос до сих пор; все его будущие поступки и слова приобретали для него особое значение. Он обладал

важной тайной, которую решил свято хранить, не доверяя ее даже своему Ценрио; его серьезно заботило, как ему быть в дальнейшем со своей любовью.

— Разве ты не испытываешь счастья, как я?— спросила Белла;— все так мне удивительно, и я не понимаю даже, как все это могло случиться! Ведь у меня и в мыслях не было, что я могу быть с тобой; и вот, как в лунном свете ясно блестят паутины в деревьях, а там, в темной дали нельзя различить снастей корабля, так ощущаю я высокий путь перед собой и все же не предчувствую того, что предстоит мне в ближайшие дни. Малыш будет злиться, если заметит, что я вся отдалась тебе; все наше богатство зависит от него, и он откажет нам в нем; можешь ли ты тогда прокормить меня?

Слеза скатилась из глаз эрдгерцога:— Ах, милое дитя, я очень ограничен в средствах из-за суровости моих родителей; безумная страсть к лошадям ввела меня в большие долги; моим наставникам запрещено впредь давать деньги мне на руки, но они должны сами оплачивать мои расходы. Но для тебя я достану денег, пусть даже под залог моего будущего царства.

Белла поцеловала его в глаза и поклялась, что если она проявила такую озабоченность о своем будущем, то тут она лишь вторила своей тетке, говоря же чисто-сердечно, ей тягостно все это щегольство, что она видела вокруг себя в Генте, ее наряды мучают ее, и каждый час ее жизни ведь был отведен ненавистным для нее занятиям.— Зачем мне нужно говорить по-испански и по-латыни? К чему мне заучивать: ато— я люблю, амас— ты любишь? Ведь я знаю только одно,— что я тебя люблю и ты меня любишь.

Они нежно обнялись, как вдруг за дверью раздался голос Ценрио; он говорил им, что Адриан спешно уезжает, потому что он открыл удивительное сочетание светил на небе. Вслед за тем послышался сильный кашель Адриана, принц толкнул Беллу в соседнюю комнату, ту, где дежал раньше больной малыш, а сам

поспешил укротить пыл упрямого Адриана. Но наставник его был совершенно вне себя: он клялся, что в эту ночь зародился чудесный сын Венеры и Марса и ему необходимы его книги, чтобы продолжать свои наблюдения; уверенный, что эрцгерцог столь же заинтересован его наблюдениями, он почти не слушал его возражений. Как истый наставник, он не допускал, чтобы его ученик мог думать по-иному, чем он, и пользовался им для своих собственных целей. Принц же был всецело предоставлен его прихотям и потому должен был в конце концов послушно одеться, чтобы возвратиться с ним в Гент. Ему очень бы хотелось взглянуть в соседнюю комнату и попрощаться со своей милой Беллой, но он боялся выдать этим связь с ней ее родственникам, ибо впопыхах Ценрио не успел ничего сообщить ему ни о дальнейшей судьбе голема Беллы, ни об отъезде его соседей. И этот день, когда его сердце упивалось радостями первой любви, он не хотел осложнять никакими заботами. Весь мир по-новому раскрылся перед ним, он не думал ни о лошадях, ни об охотничьих собаках, впервые зазвучала нежная струнка его сердца, отзвук которой на склоне его лет в лагере под Регенсбергом еще пробудила в нем своей игрой красавица-арфистка, когда болезнь и тоска о несбывшихся любимых мечтах уже отдалила его от мира. Быть может, никогда не стал бы он тем вечным искателем, хватающимся за все, домогающимся всего, если бы судьба не порвала так быстро эту связь, которая могла бы удовлетворить всю его душу.

Когда затих шум его отъезда, во время которого Белла едва посмела проводить его взглядом сквозь мутное оконное стекло, корабль закачался в темноте, белые паруса расправились, и гребцы всколыхнули наконец воду.

— Ах, — подумала она, — могучая сила снастей, скрытых раньше от нашего взора, уже так скоро обнаружилась, разлучая нас! проявится ли также когда-нибудь невидимая сила, которая вновь соединит нас?

Насытив и подкрепив свою душу мыслями о нем, она тихонько отворила дверь в соседнюю комнату, где вместе с Бракой должна была она спать, и удивилась, видя, что окна отворены, постели не оправлены, а дорожных сундуков нет на месте. Она подошла к постели старухи, кликнула ее сначала тихо, потом громче, но все молчало, и теперь при свете месяца она увидела, что от их присутствия не осталось и следа, кроме грязной воды в умывальнике и нескольких мокрых полотенец, развешанных на стульях. Белла никак себе этого не могла объяснить, но и страха при этом никакого не испытывала. Наконец тихо и нерешительно прошла она в третью комнату, занятую Корнелием, но и здесь не нашла никого. Только теперь она встревожилась своим одиночеством: она никого ведь не знала в доме, кроме противной госпожи Ниткен; но она предпочла бы тайно бежать, чем обратиться к ней за помощью.

Случай, однако, привел ее самое к Белле. Двум старичкам-дворянам захотелось повеселиться с девицами за вином и игрой, а у госпожи Ниткен не оказалось других свободных комнат, кроме тех, что были ранее заняты семейством Браки и эрцгерцогом. Она вошла со свечой, чтобы прибрать их, и, увидав Беллу, в страхе отступила перед ней, как перед привидением.

— Что с вами, госпожа Ниткен? где моя мать?—спросила Белла.

— Ах ты, господи Иисусе,—завздохала старуха,—что же это я так испугалась? Верно, вы что-нибудь забыли тут, милая барышня? Ай-ай, это надолго вас задержит! Далеко ли вы уже отъехали? У меня ведь все было бы в полной сохранности, будь то даже целая мерка чистого золота.

Белла не могла взять себе в толк ее слов; она спросила опять о своей матери, куда та уехала, и была немало смущена, когда госпожа Ниткен заявила ей, что ничего о том не знает. Вспомнив при этом о допросе, учиненном ей эрцгерцогом, старуха смекнула,

нет ли тут какой-нибудь тайной договоренности с ним, и так как она маловато получила с него, или вернее с Адриана, который распоряжался деньгами, то постаралась воспользоваться своим открытием, чтобы вознаградить себя за убытки.

— Эх,— сказала она в заключение, со странной суровостью посмотрев на Беллу,— вот уж не ожидала я такого дурного поведения от такой приличной барышни! Чорт возьми, я не потерплю, чтобы из-за этого страдало мое доброе имя, девичья скромность должна быть на страже; не избежать тебе публичного наказания в предупреждение другим!

Белла вся задрожала от стыда и досады. Она больше ничего не видела и не слышала; только что она была счастлива, и вот ее, беспомощную, неискuschenную жизнью, поносят, как презренную тварь; ей прямо не верилось, что она та же самая, прежняя Белла,— так ужасалась она своему положению. Не несчастье, но позор, казавшийся ей таким близким и неизбежным,— вот что лишало всякой уверенности благородную ее душу; плача, она опустилась на стул.

Госпожа Ниткен ждала, когда отчаяние еще глубже овладеет душой Беллы, чтобы подготовить ее к предложению остаться здесь для развлечения двух старых почтенных особ. Услышав это, Белла не заподозрила ничего дурного и, думая, что она должна будет им только прислуживать и подавать на стол, охотно согласилась на это, чтобы, избегнув всяких дальнейших оскорблений, на следующий день возвратиться к старой Браке. И, затаив пока свои обиды, она решила потом отвести свою душу старой Браке.

Госпожа Ниткен была очень довольна таким любезным согласием Беллы. Увидав Беллу, оба старичка глаза вытаращили на дивную ее красоту и стали извиняться, что вошли в ее комнату: кто мог бы ожидать найти в распоряжении госпожи Ниткен такую юную, цветущую красавицу? Когда же Белла рассеяла это заблуд-

ждение, робко заметив, что она приставлена им прислуживать, то носы и щеки обоих старичков покраснели от мгновенно охватившего их любовного жара и ревнивой боязни, что не он, а другой ухватит этот лакомый кусочек; каждый из них поднял брови и стал замышлять разные хитрости, как бы устранить другого, заплатив лишнее госпоже Ниткен или иным способом. Покуда они попивали вино из высоких бокалов и играли в шашки, то один, то другой пользовался моментом, когда противник обдумывал ход, чтобы украдкой перекинуться словечком с госпожей Ниткен, которая, в блаженном ожидании все большей и большей надбавки цен на бедную Беллу в этом аукционе, выдумывала всякие препятствия для обладания ею. Белла была слишком умна по природе, чтобы не видеть опасности, какой подвергается ее любовь и свобода; старички уже позволяли себе с ней некоторые вольности, и она стала обдумывать способы ускользнуть из дома. Но что ни приходило ей в голову, за ней слишком зорко смотрели, и ей нельзя было ни под каким предлогом покинуть комнату.

Чем больше пили старички, тем больше расходились; они говорили о своих военных подвигах и уже начинали пререкаться друг с другом. Хозяйка опасалась, как бы не схватились они за свои старые ржавые шпаги и не перебили ее чашек и стаканов; поэтому она очень обрадовалась, услышав под окном бродячих музыкантов, часто посещавших в те времена ярмарки в Нидерландах, которые распевали под стук ступок и рашперей, и позвала их зайти. Веселая толпа в масках и широких плащах вошла в комнату, оглядела присутствующих и, видя, как два старичка нежно взирали на юную девушку, запела о счастье старости, которая еще может любить и быть любимой:

Дедушка, тебе ль не люб
Сок кроваво-алых губ?
Меду подмешай в вино,
Будет сладостно оно;

Пусть огонь горит живей,
Им амура отогрей:
Глянь, малыш беспутный вот
На ходульках к нам идет!

При этих словах Белла сделала вид, будто хочет особенно угодить старичкам, подошла к музыкантам и, сказала, что хочет участвовать в их пении, а поет она хорошо, но только просит их одолжить ей костюм и маску. Госпожа Ниткен пришла в восторг, видя, что Белла так легко примирилась со своей судьбой.

— Станцуй, милочка,— сказала она,— так, чтобы юбки развевались над головой, а я поднесу гостям по стаканчику малаги.

Белла воспользовалась этой минутой, чтобы предложить одной из певиц драгоценное бриллиантовое ожерелье, которое Корнелий тогда нашел в сапоге и надел на нее, и попросить взамен дать ей скрыться под ее маской, оставшись самой на ее месте. Женщине весьма улыбнулось такое предложение, несмотря на то, что дело могло кончиться немалым скандалом; но музыкантов было шестеро человек, для которых драки были столь же привычным занятием, как причесывание для других людей, и сами они ничего не теряли, кроме старых лоскутов, а выручить могли много. Переодевание быстро совершилось за ширмой, и Белла успела исчезнуть, куда оба старых влюбленных дурака глаз не сводили с ее богатого золотого чепца и ожерелья, сверкавших на замаскированной женщине; женщина плясала, и ее прыжки так увлекали их обоих, что один за другим они повскакали с мест и бросились ей на шею. В конце концов они так ее растормошили, что маска с нее упала, и оба старичка пришли в немалый ужас, увидев незнакомое, поношенное лицо, злобно над ними насмеявшееся.

— Куда девалась Белла, мошенники?— вскричала госпожа Ниткен, но вместо ответа тяжелый удар кулака сбил ее с ног. Оба старика бросились ей на помощь, но с ними расправа была еще короче; дюжие парни

заткнули им рты, отобрали у них туго набитые кошельки, которыми они хотели расплатиться с госпожей Ниткен, заперли двери снаружи и убежали из затихшего дома, где раннее утро застало все в полном разгроме после этого сумасшедшего дня; они достаточно разбогатели, чтобы не бояться преследования.

Тем временем Белла с такой быстротой бежала по хорошо знакомой ей тропинке в Гент, что не прошло и часу, как совсем выбилась из сил и тогда укрылась за кустом терновника, чтобы немножко передохнуть. Пьяный народ, возвращавшийся с ярмарки, проходил мимо нее, но никто ее не замечал, только собаки обнюхивали и облаивали ее; но так как кустарник, служивший межевой границей, ее скрывал и множество костей выдавали также назначение этого места, то долгое время никто не обращал на нее внимание. Она впала в глубокий сон, от которого очнулась лишь на следующий вечер. Словно сведенная судорогой, она не могла все еще пошевелить ни одним членом, ни открыть глаз, но в отдельные мгновения слышала доносившиеся до нее с дороги разговоры. Она слышала лай собаки, подобно тому как в темную, туманную ночь сбившийся с пути корабельщик вдруг с удивлением слышит его с незаметно приблизившегося судна; теперь она слышала также и голоса людей и догадалась по тому, как они говорили, что то были два полевых сторожа из смежных деревень. Один сказал:

— Слышь, Петр, мертвая баба лежит на твоей полосе!

— Будь так,— отвечал другой,— и придется нам хоронить ее на наш счет, уж я вкопаю большой камень здесь в землю, и земля, значит, наша, а граница пойдет по ту сторону.

— Нет, чорт возьми! — сказал первый; — смотри, как понатерся, а еще молоко на губах не обсохло. Я бы охотно навьючил ее на вас, ну, да уж верно придется обеим общинам вместе заплатить за похороны; много с этим возни и расходов, дойдет дело до ссоры.

— Слышь, старина,— сказал другой,— прежний наш

сторож, рыжий Бенедикт, научил меня, что нужно тут делать; он говаривал так: найду я мертведа, так сейчас же смотрю, какое у него лицо; ежели глядит он угрюмо, значит не хочет, чтобы у нас его хоронили; хорошо, воля его! сотворю крестное знамение над Шельдой, да и брошу его в нее: где прильет его к берегу, там, значит, и место ему,—только смотри, паренек, чтобы никто того не видал!

— Слышь, Петр, а ведь он не дурак! взгляни, ежели по близости нет никого, так давай вместе подыдем ее и снесем в воду.

Белла хотела закричать, но попрежнему не могла подать ни малейшего признака жизни; оба мужика уже ухватились за нее, но тут молодой сторож крикнул:

— Стой, клади ее скорей наземь! Чорт несет какого-то встрепанного молодца прямо к нам сюда с висельной горы, походим пока по дугам, через два часа смеркнется, и тогда нас никто не увидит.

С этими словами они разошлись каждый в свою сторону, а Белла от состояния несказанного ужаса перешла в состояние какого-то странного сна, в котором ей пригрезился отец, с дивной короной на голове, восседающий на египетской пирамиде, которую так часто он рисовал ей; но его ноги точно срослись вместе, а руки были положены вдоль тела, и она тихо спросила его:

— Ты уж не можешь протянуть мне руку, как в былое время?

— Нет,— отвечал он,— иначе я бы помог тебе, иначе я удержал бы тебя, раньше чем ты вырыла альрауна. Но радуйся, ты освободилась от него! Небо благословило тебя ребенком, который приведет на родину наш народ. Тебе еще предстоят страдания, но будь безбоязненна, как ночная роса, которая выступает навстречу солнцу и взирает на него, чающая, что оно возьмет ее отсюда.

Сонное видение исчезло, и она пробудилась. Солнце спускалось к закату; она уже могла встать на ноги, только все еще чувствовала усталость во всех членах.

Медленно направилась она к городу и вздохнула, проходя мимо покинутого загородного дома, служившего верным убежищем ее юности; маленьким, тесным показался он ей теперь, и она поспешила к дому, из которого три дня тому назад выехала, волнуемая странными ожиданиями. Доверчиво постучала она дверным молотком, ей отворила знакомая служанка, и она кинулась ей на шею; но та отступила, не узнавая ее. Когда она назвала себя, девушка вскрикнула, уронила подсвечник и бросилась вверх по лестнице к хозяевам, громко крича:

— Господи Иисусе, Мария-дева! да ведь тут еще другая Белла!

Брака, Корнелий и молодая его жена, голем Белла, выбежали из комнаты взглянуть на гостью. Как описать их обоюдное изумление! Брака не могла прийти в себя; голем Белла смотрела равнодушно, слишком уверенная в себе, чтобы усумниться в своей личности. Белла плакала; в полном изнеможении от усталости, от голода, она почти не в силах была поднять глаза. Корнелий, который вдруг увидел себя обладателем сразу двух жен и совершенно не мог понять, как это случилось, раз женился он на одной, прыгал словно горящая лягушка, как это называется в фейерверке, от одной к другой, с руганью и проклятиями, сам толком не зная, что сказать. Служанка и Брака первые высказались за то, что наша Белла и была подлинная Белла, но Корнелий с жаром стал возражать им, потому что разряженная голем Белла нравилась ему больше, чем настоящая, одетая в лохмотья бродячей певицы. Белла скромно попросила лишь приютить ее на ночь и накормить, так как она изнемогает от усталости, а на другое утро, конечно, сможет двинуться дальше, если она их стесняет. Но даже этого не хотела допустить голем Белла, которая, как мы знаем, кроме немногих мыслей истинной Беллы, переданных ей зеркалом и как бы наизусть заученных ею, унаследовала настоящее еврейское сердце и теперь, опасаясь, что

незнакомка оттеснит ее или же потребует на себя лишних расходов, вскричала: если она сейчас же не покинет добровольно их дом, если она намерена воспользоваться во вред ей своим мнимым с ней сходством, чтобы поделить с ней любовь ее мужа, то она собственными ногтями раздерет ее фальшивую, лживую физиономию.

— Хорош муж! — воскликнула она, угрожающе повернувшись к Корнелию; — ты все стоишь и не свернул до сих пор ей шею? Это доказывает мне всю твою подлость и твою связь с ней. Вот стукну я вас головами друг о друга, чтобы навек отбить у вас, прелюбодеев, охоту целоваться!

Корнелий, не на шутку испугавшись ее угроз, решил изобразить еще большую ярость, чем на самом деле испытывал, поднял свою палочку и закричал:

— Несчастливая, заплатишься ты у меня за это!

Брака еле удерживалась от смеха, глядя на его дурацкую физиономию разъяренного рогоносца; но Белла уже успела украдкой сбежать вниз по лестнице, а Корнелий, ударив по перилам, отступил в комнату и сказал:

— Я-таки хватил ее разика два, будет всю жизнь помнить!

Голем поцеловала его в награду за это и назвала своим милым муженьком, а он и не догадался, что выгнал прочь дивную Беллу ради глиняной куклы, ибо, увы! в свадебную ночь голем Белла раздавила по неведению оба его затылочных глаза, так как не подозревала, что у него на затылке — глаза. Такие беды часто имеют место при наличии каких-нибудь необычайных свойств; я вспоминаю одного оратора, отличавшегося необычайным одушевлением, который совершенно лишился этого свойства, после того как слушатели в виде опыта однажды облили его холодной водой в самый разгар его вдохновения.

Белла решила теперь искать приюта у эрдгерцога; она уже издали узнала его замок, который возвышался над всеми другими домами, и хотя сильно билось ее

сердце, и дрожали колени, и язык почти отказывался ей служить, все-таки ей удалось объяснить привратнику, что ей необходимо говорить с эрцгерцогом. Старик-привратник был всецело предан старому Адриану, который тщательно оберегал невинность своего принца в интересах его здоровья и долголетия. Он проводил Беллу в одну из комнат, а сам, не говоря ни слова, пошел к Адриану и донес ему, что какая-то подозрительная девица спрашивает эрцгерцога. Адриан только что расположился поужинать жирным жареным петухом в своем рабочем кабинете, где любил вечером закусить в одиночестве; гневно нахмутив брови, он приказал ввести девушку. Войдя, Белла сначала встревожилась отсутствием принца, но вид крепкого, почтенного Адриана очень успокоительно на нее подействовал. Она взглянула на него и могла только произнести: — Любопытно, любопытно!

Она увидела жаркое и, не в силах бороться с голодом, пододвинула стул к столу, села против Адриана, отрезала себе кусок и принялась есть с аппетитом человека, два дня ничего не бравшего в рот. Адриан покачал головой, повторил в свою очередь: — Любопытно, любопытно! затем предложил ей вареных плодов в виде гарнира и налил стакан вина.

— Странная ты девушка! — продолжал Адриан; — скажи, когда ты родилась? Я бы хотел исследовать твой гороскоп.

— Ах, государь мой, — отвечала Белла, — я хорошенько сама не помню, слишком ли глупа в то время.

— Любопытно, любопытно! — сказал Адриан; — но как же звали твоего отца?

— Ах, бедный мой отец, — сказала Белла, — если бы он сам знал это!

— Любопытно, любопытно, — сказал Адриан; — ну, да мне нет дела до твоих тайн.

— Но скоро ли придет эрцгерцог? — спросила Белла.

— Любопытно, любопытно, — сказал Адриан, — ты, верно, хочешь, чтобы я привел тебя к нему; этого нельзя.

— О, батюшка,— стала улеживать его Белла,— ну, сделай это! Я должна поговорить с ним, проводи меня к нему, он наверное обрадуется, я ведь так его люблю.

— Странная девушка!— прошептал про себя Адриан;— она смотрит на меня как на любовного гонца; как знать, если я сведу с ней моего легкомысленного принца, не привяжется ли он к ней; вряд ли еще долго удастся держать его в стороне от женщин, и сколько их только и ждут, чтобы совратить его, а эта, повидимому, еще совсем юна и невинна.

Чтение древнеримских поэтов научило Адриана мудрой религии природы.

— Что ты там говоришь про себя, милый батюшка?— спросила Белла.

— Я тебя скоро отведу к эрцгерцогу,— сказал Адриан,— только подожди немного, а если устала, отдохни на моей постели и расскажи мне доверчиво, откуда ты; поверь, я сохраню это в тайне.

Белла почувствовала к нему полное доверие; она откровенно рассказала ему все о своей судьбе, одно только утаила— как она встретилась с принцем в Бейке, объяснив, что потеряла старую Браку в толпе. Выслушав ее рассказ, Адриан погрузился в глубокое раздумье и занялся разными вычислениями, во время чего Белла заснула. Когда вычисления опять указали ему на какое-то замечательное предназначение Беллы, он подошел к ее постели, тихо склонился над ней и с изумлением стал смотреть на нее; странно вообще было ему видеть, как на его твердом аскетическом ложе спала девушка.

Наконец он услышал шум возвращения эрцгерцога, который был на ужине у графа Эгмонта; выждав несколько времени, он неприметно для Беллы покинул ее и направился в его спальню. Ценирю, удивленный его появлением, сделал ему знак ступить тихо, потому что принц вернулся очень утомленным и сразу же погрузился в глубокий сон. Адриан приблизился к постели, взглянул на светлорусые волосы принца, стя-

нутые по обыкновению золотой сеткой, и отошел на дышочках, делая рукой знак, призывающий к тишине. Ценрио еле сдерживал смех, кусал себе палец, хватался за живот и даже ногу поднял от восторга; рискованный обман удался, и Адриан принял чучело за настоящего эрцгерцога, который тем временем, упустив свою живую Беллу, напрасно искал любовных утех, которыми так щедро она его одарила, у этой безжизненной куклы, ее голема. Дело в том, что еще утром он при посредничестве Ценрио уговорил голема Беллу, которая, кроме любовных мечтаний настоящей Беллы, обладала также низменной еврейской душой, принять его у себя ночью, усывив предварительно переданным ей сонным зельем своего корневого человечка. Брака также участвовала в заговоре и должна была занять ее место на постели, потому что малыш был настолько ревнив, что даже во сне держал все время ее за палец; любовные ласки его выражались единственно только в том, что он иногда целовал этот палец.

Эрцгерцог пробрался в дом, когда малыш, все еще упоенный своей второй Беллой, только-только стал засыпать; и ему пришлось долго ждать, пока голем Белла смогла, наконец, освободиться и выйти к нему; он сгорал от любопытства узнать, как все произошло, как она вышла замуж за господина Корнелия и как получилась голем Белла, которую он заказал сделать тому еврею, чтобы обмануть ее мужа. Голем Белла отвечала на все вопросы так естественно, что не возбудила в нем ни малейшего подозрения, что она-то сама и есть эта кукла, особенно же потому, что он не допускал возможности, чтобы какое-либо притворство способно было своей обманчивой внешностью обмануть его проницательное зрение. Она рассказала ему, что Корнелий, подозревая ее в связи с эрцгерцогом, сначала был очень зол на нее, а затем насильно заставил ее обвенчаться с ним в ближайшем селе, но она надеется, что любовь эрцгерцога вознаградит ее за это. Впрочем, таинственный час свидания не располагал к дальнейшим

объяснениям; сам эрцгерцог легкомысленно прибегнул к колдовству, чтобы удовлетворить свои вождедения, и вот он же на этот раз стал его жертвой; в любви все должно быть благородно, и любой обман, подобно фальшивому камню в драгоценном кольце, может вызвать чувство недоверия; да разве эрцгерцог сам не обманул Беллу, овладев ею с помощью колдовства? Не только любовь, но и жажда мести за воображаемый обман заставила его так дико и несдержанно принести ее в жертву своей страсти.

Когда забрезжило утро, закаркали вороны, эти единственные певчие птицы больших городов, и Ценрио его разбудил, то он не мог понять, чего ему недоставало в его наслаждении; на сердце у него было печально и тяжело, не было того ликования, какое он испытал при расставании с Беллой в Бейке; у него было даже такое ощущение, словно рядом с ним спало какое-то другое существо, и если бы она еще раньше не покинула ложа, то он наверное приподнял бы с чела ее темный локон и обнаружил бы на нем знак смерти. Он проклял эту ночь и поклялся никогда больше не возвращаться по этой дорожке, по которой прокрался он обратно в свой замок; тут только Ценрио рассказал ему, какой опасности он избежал и как Адриан чуть было не открыл его проделки.

Тем временем старый Адриан находился в еще худшем затруднении; не успел он покинуть набитую куклу эрцгерцога, как им овладели угрызения совести за повторство любовной связи эрцгерцога. И если бы он раньше не распорядился, чтобы привратник запер все двери и ворота замка, так как он уже выпроводил подозрительную девицу через заднюю дверь, то он без всякого сострадания выгнал бы Беллу. По всем корридорам стояла ночная стража, и он не избежал бы злых сплетен, выпустив из своей комнаты какую-то девушку в такой поздний час; итак, ему пришлось смириться и предложить бедной, усталой Белле собственную постель на ночь, сам же он решил успокоиться

на жестком ложе, дабы уберечь себя от всяких искушений. Но затруднения его возобновились, когда его непреодолимо потянуло к стакану воды, который Белла поставила у своей постели: то был единственный стакан воды, и жажда заставила его подняться на ноги и увидеть Беллу, которая, разгоряченная крепким сном, лежала в пленительной позе, зарумянившись и быстро дыша. Никогда еще не приходилось ему созерцать такую красоту, и он сам не мог понять, почему так долго пьет свою воду и все никак не может отогнать одинокую муху, назойливо садящуюся на этого спящего ангела; наконец он весь проникся своеобразным религиозным чувством, которое до той поры лишь внешне было перенято его риторикой от римских поэтов. Сама Венера во плоти лежала перед ним; он тихо зашептал ей горадиевы строки, и как знать, куда бы завела его эта изнеженная школьная мудрость, если бы, увлеченный ролью Адониса, он не увидел в зеркале своей тонзуры и седых волос. Он содрогнулся, ему представилось, будто он видит святого, который напился пьян перед смертью. Вздыхая, он улегся на свои жесткие доски, но не мог заснуть, ибо неотвязные мысли, то покаянные, то греховные, не покидали его; то придумывал он, как ему выйти из своего затруднительного положения, как избавиться от Беллы и в то же время позаботиться о ней, то казалось ему, что он не может расстаться с ней. Блуждая взглядом по комнате, он увидел одежду мальчика, который долго прислуживал ему, но в конце концов был им прогнан за баловство; она показала ему подходящей, чтобы в ней незаметно вывести девушку из замка.

Когда Белла проснулась, протерла свои большие глаза, спросила испуганно, где она находится, и готова была уже разрыдаться,— только тогда мог успокоиться добрый старик. Он прочел над ней *Ave Maria*, слова которой она благочестиво повторила за ним, затем сказал ей, что она должна запастись терпением и что совесть не позволяет ему провести ее к эрцгерцогу; но

он позаботится о ней, только она должна указать ему, где можно было бы устроить ее, так как сам он никого не знает. Его прежний служка жил у бедных родственников и приходил по утрам и по вечерам, чтобы исполнять разные его поручения; если она согласна носить его платье, то в costume мальчика могла бы оказывать ему те же услуги, потому что чваные придворные лакеи плохо ему прислуживают. Белла согласилась на все, что предложил ей старик, ибо таким образом ей представлялась возможность переодетой видеть эрцгерцога, а это было ее единственное желание; она поспешила облачиться в новую ливрею, но совершенно не знала, как надеваются эти штаны и камзол со всеми своими прорезями, петлями и крючками, так что престарелый прелат, смеясь, принужден был помочь ей. Она сказала ему, что намерена возвратиться в загородный дом и там укрыться; своей коже она умеет придать такой смуглый оттенок посредством разных растительных соков, что никто не примет ее за девушку. Адриан мог оценить мудрость ее народа, сказывавшуюся во всех ее словах, но он все еще продолжал опасаться какого-нибудь предательства и вздохнул облегченно, лишь когда увидел, как, выйдя из замка, она пошла через площадь, где мальчишки, гонявшие обручи, стали звать ее, думая, что это их старый товарищ, прежний служка Адриана.

Тем окончились его страхи на сей день; теперь он поспешил к эрцгерцогу и, застав его еще спящим после бессонной ночи, стал трясти его за плечо и произнес ему длинное назидание о лени и о том, что в ней, как в бездонном море, добродетели негде бросить якорь и спастись от гибели. С вечера он не хотел его беспокоить, ибо полуночные часы — лучшее время для сна, когда один час более ценен для тела и души, чем два последующих; теперь же, когда солнце светит ему прямо в ноздри, храпеть в высшей степени неприлично.

Он мог бы часами продолжать свою речь, а герцог только поворачивался с одного бока на другой, не ду-

мая просыпаться, так что почтенный старец, наконец, поднялся в недовольстве и стал приводить Ценрио доказательства, что предполагаемое сочинение Петра Ломбарда, найденное им в Бейке, либо подложно, либо относится к тому периоду жизни философа, когда тот уже расстался с своими идеями и утратил свой гений. Ценрио притворился крайне изумленным; в душе же плут потешался, что это книжное барахло вызвало столько ученых изысканий; затем он спросил Адриана о замечательном сочетании светил, которое тот наблюдал в Бейке, и Адриан разъяснил ему, что в ту ночь был зачат могучий властитель на Востоке, но где именно — он не может узнать. Ценрио подумал про себя, что и в этом отношении он гораздо лучше осведомлен, хотя некоторые вещи путались у него в голове и ему не удавалось срифмовать их друг с другом, может быть, потому, что природа хотела в данном случае ограничиться только ассонансами; не мог он разгадать, где же осталась голем Белла, не знал он также о возвращении Беллы к старой госпоже фон Брака после того, как она покинута была ею в объятиях эрцгерцога. Все это были вещи, которые за недостатком времени и из-за постоянного присутствия свидетелей он еще не имел возможности обсудить с эрцгерцогом.

После того как старик оставил комнату со словами: любопытно, любопытно! дорого бы я дал, чтобы открыть, кто такое это чудесное дитя,—Ценрио обратился с расспросами к эрцгерцогу, который немало изумился тому, что он даже в пылу наслаждения не переставал тосковать по какой-то другой, утраченной Белле.

— Конечно, утрачена та, которую я любил, которая у врат моей жизни, как нежная заря, исчезла в лучах солнца; вместо ее божественного образа я обнимал земное создание, которое возбуждает во мне низменную страсть, но отвращает мое сердце. Ах, почему на меня устремлены глаза миллионов! Был бы я бедным пилигримом, странствовал бы по миру, ветры внимали

бы моим жалобным песням, и пустился бы я в поиски за ней, которой принадлежу навеки, а не нашел бы ее — уединился бы со своей печалью в тихих часовнях Монсерата! Вот о чем я мечтаю, Ценрио, и раз не могу достигнуть этого, то и не выполню многого, чего мир ждет от меня.

Ценрио принадлежал к разряду превратно мыслящих придворных наставников, которые хотели бы убедить, как от сквозняка, от всякой серьезной мысли вверенную им молодую жизнь. Они считают, что воспитывать следует в удовольствиях, но сколь мало удовольствий доступно принцу и от сколь многого должен он отрекаться! Шутка остается за дверью, серьезность же, как старый домовый, господствует в замке. Ценрио обещал эрцгерцогу собрать в Бейке все сведения, необходимые для разрешения загадки, и спешно отправился туда.

Тем временем господин Корнелий явился в замок, приказал доложить о себе эрцгерцогу, и последний принял его, так как обещал голему, для того чтобы упрочить связь с ней, дать какое-нибудь назначение мальшцу, ежели тот представит свидетельство от многих особ своего сословия в том, что он действительно — человек.

Наш паренек бегал уже все утро по городу, собирая от дворян письменные подтверждения того, что он — человек, причем, однако, к своему удивлению видел, что у всех в большей или меньшей степени тут оставались сомнения на его счет. Свидетельства всегда выдавались ему только в условной форме. Так, барон Вандерлоо сказал о нем: сидя за столом, он, правда, может сойти за порядочного человека, но только он никогда не должен вставать из-за стола, ввиду несообразной короткости своих ног, которая придает ему вид одетой в платье таксы. Господин фон Мейлен заявил, что он был бы во всех отношениях безупречен, но только его мать, должно быть, обладала чрезмерно жаркую утробой, поэтому и случилось, что он, как слиш-

ком перепеченный и засушенный хлеб, потрескался и съезжился. Граф Эгмонт написал в виде циркуляра: поскольку во время военных действий иногда бывает чрезвычайно важно скрыть от врага свои силы, то господин Корнелий мог бы с немалой пользой быть помещен в карман любого бравого солдата и оттуда, положив свой мушкет на пуговицу штанины, спугивать неприятеля совершенно неожиданными выстрелами из штанов солдата.

Такие и подобные отзывы с любезными пожеланиями успеха, выданные ему каждым, к кому он обращался, представил теперь малыш эрцгерцогу, который прочел их, еле удерживаясь от смеха, и затем обещал дать ему приличествующее назначение в новом своем полку, для которого он придумал особого рода каски, хорошо слышимые благодаря приделанным к ним бубенчикам и хорошо видимые благодаря двум длинным ушам по бокам их. Малыш был в полном восторге, что близится исполнение его желаний; шута он видел один единственный раз, только в Бейке, и тогда принял его за военную персону и померился с ним оружием. Поэтому, когда эрцгерцог осведомился о его молодой супруге и пожелал с ней познакомиться, он почтительно пригласил его к себе. Торжественный прием в доме господина Корнелия был назначен на тот же день. Несмотря на неудовлетворенность свою последней ночью, несмотря на подозрение, что какой-то волшебный призрак потешался его любовью, эрцгерцог чувствовал непреодолимое влечение к этому голему. То было стремление иного рода, чем чаял он, но все же он не мог отрицать его, ни побороть в себе; для него было так же очевидно, что это его чувство требовало чего-то определенного, чего-то осуществимого, тогда как то, другое чувство, как греза, растворялось в бесконечности; и в этом душевном его разладе то бесплотное, то неуловимое, что питало его высокое, блаженное чувство, казалось ему пустым и презренным рядом с этой торжествующей победою чувственностью.

Печально брела в то утро Белла к загородному дому, надеясь незаметно пробраться в него через известные ей одной отверстия в садовой ограде. Но близ кладбища повстречался ей бедный Медвежья шкура, который несколько замешкался на могиле, пересчитывая заработанные свои деньги; при виде Беллы он не мог сдержать слезы, схватил ее за руку и спросил, как поживает его милая, молодая госпожа, он-то ведь сразу заметил, что ее оттеснила та фальшивая кукла — ее копия, но из боязни лишиться службы не посмел ничего сказать. Белла просила его молчать об этом: после приема, оказанного ей по возвращении домой, она почувствовала такое непреодолимое отвращение к Браке, к Корнелию и ко всем, что впредь ни за что не поступится своей княжеской независимостью для городской жизни со всеми ее принуждениями; теперь она опять заживет в своем старом доме, пока не увидит своего народа свободным. Затем она спросила его, как все произошло и почему он не появился накануне вечером. Тогда он рассказал ей, что фальшивая Белла его выставила, чтобы позднее ввести эрцгерцога через заднюю дверь. При этих словах Белла заткнула рот Медвежьей шкуре; она не хотела дальше ничего слушать, раз эта гадкая обманщица отняла у нее последнее земное утешение — любовь эрцгерцога. Скорбь охватила ее душу, и только когда слезы хлынули у нее из глаз, она почувствовала, словно камень свалился у нее с сердца; она обняла Медвежью шкуру и больше часу не отпустила его от себя; счастье, что мало было прохожих, нето бы эта сцена обратила на себя внимание. Медвежья шкура скоро вновь принялся высчитывать в уме, сколько ему осталось еще служить, предоставив Белле лить на него слезы, подобно мельнице, которой нет дела до красоты водопада, лишь бы он двигал ее колесо. В конце концов, однако, спохватившись, что запоздает домой, и не находя никакого способа высвободиться, он раздавил упавшую с соседнего дерева подточенную червем сливу и сказал:

— Насколько счастливее такой вот червячок, нежели мы, грешные; чем дольше живет он, тем слаще становится плод на дереве; велика только его неблагодарность, раз все свои дела делает он в своей комнатке и тем губит собственное наслаждение жизнью.

Простоватый малый не подумал о том, что в своем собственном скопидомстве он недалеко ушел от червяка, поселившегося в благородном плоде. Белла была слишком опечалена, чтобы указать ему на это; но она выпустила его из объятий, и он поспешно ее покинул, свято пообещав ей на прощанье за небольшую плату каждую ночь приходить к ней и приносить, что ей понадобится.

Она не думала о том, что ей могло бы понадобиться, — ведь ей всего недоставало. Равнодушная ко всему на свете, пошла она, не заботясь ни о каких предосторожностях, к дому с привидениями и отомкнула дверь известным ей способом. Ее не тревожили никакие мысли об изменчивости ее судьбы; с тех пор, как эрцгерцог разлюбил ее, она чувствовала себя совершенно обесчещенной, лишившейся всякой уверенности и достоинства; она готова была его забыть и все же тревожилась о том, где он сейчас. И мысль о нем, еще больше, чем голод, привела ее вечером опять к замку, где, однако, на сей раз она нашла Адрианову комнату запертой, так как он занят был в ней диспутом с несколькими прелатами.

Покуда она стояла в нерешительности в темном замковом коридоре, подошел эрцгерцог и при слабом освещении принял ее за прежнего Адрианова служку, которого он давно привязал к себе разными маленькими подарками; он кликнул его, чтобы он взял факел и осветил ему по дороге к дому господина Корнелия. Белла поспешно исполнила его приказание, зажгла факел и пошла вперед. Эрцгерцог был в большом возбуждении: тайный друг его прибыл из Испании с достоверным известием, что дни его деда сочтены; тщетно старался избежать он смерти, переезжая из одного го-

рода в другой, как другие больные перебираются из одной кровати в другую. Карвахаль, Запара и Варгас возвестили ему в конце концов приближение смерти, и, желая исправить свою несправедливость по отношению к Карлу, он назначил регентом вместо Фердинанда кардинала Унненеса и признал бесспорным законное наследование Карла. В магнетическом кругу близкого владычества властный дух Карла не мог успокоиться, подобно магнитной игле при северном сиянии; вместе с тем он так был погружен в свои думы, что ни одного взгляда не бросил на Беллу, но, не обращая больше на нее внимания, пошел за светом факела и у входа в дом приказал Белле дожидаться его возвращения.

Бедная Белла! Она потушила свой факел, словно добрый гений, который уже ничем не может помочь. Суровый взгляд и тон эрцгерцога отняли у нее всю смелость, и она не решилась ни слова сказать ему; она отчаялась вернуть себе его любовь и погрузилась в тихую задумчивость; крики толпы музыкантов пробудили ее от горестного забытья. Она не слышала слов песни, в которой они просили о подачке, остановившись под освещенными окнами дома; воспоминание о ее спасителях из рук старухи встало в ее сердце вместе с воспоминанием о пережитом ею тогда страхе; она дрожала за свое будущее и вместе с тем не знала, что ей осталось еще потерять. Но в людях, предназначенных высшей десницей к великому общему делу и еще не сознающих этого, живет сдерживающая их внутренняя сила, которая на окружающих может производить впечатление робости; предчувствуя свой великий путь, они боятся подпасть под давящую силу порока, и лишь твердая сознательная вера может среди житейской суеты придать им ту смелость и уверенность, которые никогда не покидают их в великих событиях жизни. И Белла чувствовала при всем своем унижении попрежнему крепкую волю в себе. Она пугалась своей беспомощности, пугалась того, что может с ней случиться в толпе людей, шатающихся ночью по большому городу; она

укрылась между колонн маленькой часовни богоматери, которая стояла рядом с ее бывшим домом, запущенная и неосвященная. Труша музыкантов, что распевала теперь перед домом, сильно отличалась, однако, в свою пользу от тех грубых бродячих певцов на ярмарке. Это не были ни нищие, ни воры, но молодые люди разных сословий, которые по вечерам собирались со своими лютнями и распевали всякие песни, кто какие знал. То, что они получали, они или сообща прокучивали под утро, перед тем как разойтись по домам, или же дарили той девушке, которую удавалось уговорить погулять вместе с ними. Эти певцы пользовались такою любовью в городах, что родители вечером не раньше могли уложить детей в постель, чем их шествие пройдет мимо дома, и если мальчики предпочитали барабан, возвещавший по вечерам замыкание городских ворот, и бежали за ним, то маленькие девочки любили больше слушать певцов и сопровождали их до угла улицы.

Много песен, веселых и печальных, пронеслось мимо ушей Беллы, не затронув ее, когда один молодой странствующий студент остановился перед образом богоматери, так что ярко освещенные окна дома осветили его печальное лицо; и тут он запел песню, распевавшуюся в те времена повсюду, выдавая своей трогательной интонацией, быть может, собственную судьбу:

Ночь вольная — на небосклоне,
Все потонуло в темном лоне,
И слезы катятся незримо,
Когда иду к окну любимой.
Слышны удары колотушки,
Больного бредовые речи,
Любовник плачет о подруге,
У гроба замерцали свечи.

Любимой нет на свете боле:
Сопернику супругой стала,
Храню любовь в сердечной боли,
Звезда сквозь слезы заблестала.
Свет за окном таит печали,

Свет звезд — любовных мук забвенья,
 Густой туман окутал дали,
 Меня опутали виденья.

Там в доме шум и ликованье,
 Меня ж не приглашают к пиру,
 Тому удел — лишь состраданье,
 Кто бродит одиноком по миру.
 Ночь черная дала свободу,
 Ночь черная дала свободу,
 Встает заря на радость милой,
 А мне сулит одну невзгоду.

Как радостно на месте этом
 Зари всю ночь я ждал, бывало!
 Теперь забыт я целым светом,
 Как милой у меня не стало.
 Все чуждо мне, дуга и доли,
 Под солнцем всюду я — бездомный,
 Какой свет месяца тяжелый!
 Ночь — слез источник неумный.

Здесь он остановился, откинул плащ на руку, вытащил маленький фонарик, вынул из него горящую свечу и поставил ее перед образом богоматери; затем запел на другой лад:

Где я — то неизвестно матери,
 Где я — не ведает отец,
 Но возжигаю свет я богоматери,
 Но верую в тебя, небесный мой отец.

Когда свет упал на юношу, то Белла припомнила, что видела его не раз перед своим домом, случайно выглядывая из окна на улицу. Не без оснований сочла она себя самое причиной его печали, догадываясь, что он считал ее замужней. И эта верная любовь оставалась ей неизвестной, тогда как любимец ее сердца, которому она так беззаветно предалась, легкомысленно обманул и покинул ее. Уж не отдать ли ему свою любовь, как милостыню? Она ведь больше ничего не стоила в ее глазах! и она бы спасла своей любовью благочестивую жизнь. Уже она готова была броситься к молящемуся юноше и открыть ему, кто она, и отречься от своего долга и своего народа, когда месяц, как свет

маяка, показался из-за высокой пирамидальной колокольни, которая, как тень, стояла перед ней, и она подумала о пирамидах Египта и о своем народе и в этих мыслях почти забыла о собственной участи.

В это время мальчик, обходивший всех с тарелкой, к которой была прикреплена свеча, подошел также и к ней; на тарелке она не увидела ничего, кроме нескольких груш и яблок, детских подарков, маленьких сбережений от ужина. Она чувствовала мучительную жажду и, думая, что ей предлагают, взяла несколько груш и отправила их в рот. Мальчик удивленно взглянул на нее, потом попросил заплатить за них. В смущении она схватилась за карманы, думая найти в них деньги; но там оказалась только оторванная пуговица, забытая прежним служкой. Когда она положила ее на тарелку, мальчик рассмеялся и подозвал к себе всю веселую компанию. Те сейчас же порешили, что если ему нечем заплатить, то он должен поподчевать их песней. Белла чуть не умерла со страху; все песни вылетели у нее из головы, а ее тянули и толкали. Наконец она ударилась о камень и тогда с болью душевной запела:

Кто ударился о камень,
Скачет вверх, а на устах
И ох и ах:
Пляской это назовете ль?
Сжег кого любовный пламень,
Шлет к небу вздох
И ах и ох:
Пеньем это назовете ль?
Как, боль, о тебе спою я?
Слишком пылает кровь!
Сердце кому отнесу я?
Кто возьмет его вновь!
Погибли и честь, и любовь.

Белла с такой тоской выжала эти слова из своего горла, что печальный певец поднялся с молитвы и, не взглянув на нее, вытряс всю тарелку с плодами и монетами ей в берет, который она смущенно поднесла к лицу, словно чашу со святой водой, и ее слезы сте-

кали в него; узнай ее юноша — он бы дал ей еще больше, он бы отдал ей все, ибо он принадлежал ей. Но так прекрасна чистая любовь, что даже тогда она творит добро, когда высокая рука судьбы не сулит ей никакого успеха. Бедный студент почувствовал, сам не зная почему, душевное облегчение после своего доброго поступка. Скромность не позволяла ему взглянуть в глаза благодетельствованному им человеку, и, запев свою прекрасную песню, он увлек прочь всю толпу, чтобы они не приставали больше, требуя новых песен, к бедному служке, за которого принимал он Беллу.

Оставшись одна, Белла опустилась на землю там, где стоял коленопреклоненным бедный студент, где он оставил свою свечу и букет. Цветы так нежно благоухали, а богоматерь так любовно смотрела на нее, что в ее взгляде она прочла прощение своему народу.

— О мать божия, — простонала она, — отпустила ли ты нам наше прегрешение? Примешь ли ты нас в лоно свое, нас, изгнавших тебя?

Тут почудилось ей, что богоматерь кивает ей ласково, и сердце ее забылось в благочестивом созерцании, так что она почти и не услышала, когда около полуночи гости шумной толпой стали расходиться.

Двое подвыпивших пажей эрцгерцога рассказывали, что, когда маленький Корнелий заснул, усыпленный маковым соком, они засунули его под печь и подвесили за руки и за ноги, привязав их к четырем ножкам печи; жаль только, что ее не затопили, а то пренатурально мог бы он затянуть песнь отроков в печи огненной. Так прошли они мимо Беллы, не заметив ее, да и она не взглянула на них; когда же, наконец, угасла свечечка студента, Белла словно перенеслась в другой мир, хотя глаза ее были попрежнему широко открыты. Она увидела у себя на коленях ребенка, похожего на эрцгерцога, а перед ним преклонялись толпы народов; и она забылась, ослепленная этим видением.

Но от экстаза пробудил ее милый ей голос эрцгерцога:

— Ну, просыпайся, мальчик, зажигай факел и свети мне!

Шатаясь вскочила она на ноги и увидела голема Беллу, которая со свечой в руках стояла в дверях, провожая эрцгерцога. Она была закутана в черный плащ. Эрцгерцог, для которого больше значили его чувственные привычки, чем высшие требования долга и любви, мало его заботившие, приблизился к ней и сказал:

— Значит, завтра вечером я опять буду у тебя, и послезавтра опять, и так все ночи, и даже дни, лишь только я стану свободным властелином могущественного народа, который, как и мы, забудет в радостных наслаждениях о глупостях жизни.

— Не забудь о жемчуге, что ты мне обещал,— сказала юлем.

Белла уже засветила свой факел. Ее берет, наполненный фруктами, все еще лежал в часовне, и так как ее мальчишеский костюм был прикрыт плащом, то герцог вздрогнул от испуга, вдруг узнав и вспомнив ее такую, как он ее видел на рассвете в Бейке; он провел рукою по лбу и воскликнул:

— Великий боже, да их, ведь,— две!

— Как, ты опять здесь, ты, божье создание? так, опять я должна дрожать за свою жизнь? — вскричала голем и ринулась к Белле, намереваясь проткнуть ее золотой булавкой для волос, острой, как стрела.

Но эрцгерцог, перед которым в одно мгновение сразу открылась страшная правда, казавшаяся ему до той поры невероятной, удержал голема Беллу, схватив ее за разметавшиеся ее волосы; он увидел надпись *эмет* в верхней части ее лба, быстро стер первый слог, и в то же мгновение она вся распалась. Бывает, что работницу, копающую яму с песком, отзовут куда-нибудь, и она набросит плащ на свою песочную кучку, чтобы другие не трогали ее,— так и плащ голема Беллы прикрывал теперь только какую-то бесформенную массу.

Но ни эрцгерцог, ни Белла не проявили заботы об этом брэнном сокровище. Эрцгерцог быстро подхватил

Беллу, так что факел выпал у нее из рук, и в плаще своем понес к соседнему источнику, где окунул лицо и руки в свежую чистую влагу, чтобы стереть всякий след соприкосновения с этой лживой земляной куклой. Очищенный омовением, поцеловал он любимые губы своей настоящей Беллы, признался ей во всех своих заблуждениях и попросил ее в свою очередь рассказать ему, что с ней случилось и как она оказалась в этом платье. Белла снова обладала своим потерянными сокровищем, но все еще не могла отдышаться и только всячески старалась казаться веселой и радостной. То были прежние любимые черты, но их не покрывала та яркая цветочная пыльца, которая так легко стирается с невинного существа прикосновением любопытствующего мира, подобно тому как случается с бочкой благородного вина, которую долили несколькими каплями дешевого вина: вино не замутилось, оно сохраняет свой букет, но уже без прежней чистоты. Карл был весел, но больше старался быть веселым, чтобы вытравить в себе досаду на свою ошибку, которая все же нет-нет и напоминала о себе, когда минутами он не мог бороться с зевотой; в рассказе Беллы его так поразило ее приключение со старым Адрианом, что он больше ни о чем и не слушал, и Белле так и не удалось поведать ему о своем несказанном горе, о своей покорности судьбе и о тоске по Египту. Тревожимый радостными заботами о близкой власти, которые несколько охладили его любовный пыл, Карл решил в то же время сыграть веселую шутку с Адрианом, которого он намеревался для наблюдения за Хименесом послать в Испанию, дабы после своего торжественного назначения он хорошенько почувствовал, что его наставничество кончилось.

Как раз в эту самую ночь заседал государственный совет под председательством Адриана; к концу заседания Белла должна была войти в залу, принести жалобу на Адриана, что он ее бросил, и потребовать суда любви над ним. Видя эрцгерцога в таком веселом на-



строении, Белле и самой захотелось вместе со своим Карлом забыть обо всех печалях, хотя и слишком тяжело было у нее на сердце для подобных шуток; но она чувствовала свой долг забыть о всех обидах, особенно после того, как эрцгерцог обещал ей в дальнейшем позаботиться о ней и о ее рассеянном по миру народе.

Договорившись обо всем, они тихо прокрались в замок через заднюю дверь. Эрцгерцог предложил Белле подкрепиться и отдохнуть на его постели и долго не мог с ней расстаться, чтобы впервые принять участие в совещании о судьбах мира. На совете присутствовали Адриан, Шьевр, Вильгельм де Круа, его племянник и Соваж. Когда эрцгерцог вошел, то не без некоторого тщеславия заметил разницу в том, как его приветствовали. Каждый в душе соображал, какие выгоды сулит ему близкая смена правления. Для них Фердинанд, его дед, был не только болен, но уже мертв, погребен и забыт; все старались возбудить слепое доверившегося им молодого эрцгерцога против испанцев, у которых всегда на первом месте их права и честолюбие, а не слава и могущество их государей. Эрцгерцога легко было убедить в том, что он и сам всегда думал; по высказанному уже ранее совету Шьевра было теперь постановлено приставить к Хименесу твердого и верного Адриана, и уже на следующее утро он должен был отплыть в Испанию, не дожидаясь подтверждения известия о смерти старого короля.

Когда с этим было покончено и все уже собирались расходиться, Карл внушительно произнес, что, став ныне сам себе господином, он принужден учинить суд над бывшим своим наставником Адрианом, дабы расследовать, соблюдал ли он по совести свой обет целомудрия. Все в изумлении взглянули друг на друга, Адриан же, который никогда не слышал, чтобы герцог говорил в таком тоне, и уверен был в своей невинности, настолько потерял всякое самообладание, что в гневе потребовал духовного суда и строжайшего следствия над собой.

— Судить мы не будем,— заявил Карл,— но только

выслушаем свидетелей, ибо духовный суд может и не привлечь их к делу по своей хитрости.

С этими словами он подал условный знак, и Белла в ливрее кардинальского служки, робея, вошла в залу. У всех на глазах кардинал в то же мгновение густо покраснел; все прочие не понимали, зачем появился этот мальчик, пока эрцгерцог не потребовал от кардинала по совести ответить на вопросы: его ли это слуга? мальчик ли это? знал ли он, что это девушка? не спала ли эта девушка в его постели?

Адриан настолько растерялся, что не мог произнести ни слова; вся его софистика, так помогавшая ему во всех спорах, вылетела у него из головы. Беспомощно он заявил наконец, что не намерен отвечать, так как он — жертва какого-то заговора и жестоко поплатился за свое добродушие. Ни эрцгерцог, ни Белла не могли дольше выдержать это зрелище. Эрцгерцог, смеясь, обнял Беллу и реабилитировал Адриана перед собравшимися, сказав, что он сам устроил свою возлюбленную на службу к Адриану, чтобы иметь ее ближе к себе. Адриан вздохнул свободно после его речи. Собравшиеся поздравляли эрцгерцога с так рано проявившейся в нем любовной изобретательностью, а Шьевр, охотно бы сделавший Карла любовником своей жены, чтобы еще больше забрать его в свои руки, громко и уверенно уверял, что впредь ни за что не оставит жены наедине с эрцгерцогом. Тем временем эрцгерцог попросил Беллу пройти к госпоже де Шьевр, жившей в замке, и, распорядившись, чтобы ее одели в блестящие наряды, вернуться вместе с ней в залу совета; сам же он должен подписать несколько бумаг в связи с отъездом Адриана.

Эти бумаги служили лишь предлогом, чтобы получить время на размышление; противоположные желания боролись в его душе. Его волновали вопросы: к чему его обязывает любовь, к чему обязывает его положение, должен ли он жениться на герцогине Египетской, не поколеблет ли это его престола? Он не пришел еще

ни к какому решению, как в комнате появилась Белла в сопровождении госпожи де Шьевр. Одета в роскошное серебряное платье, узоры которого производили впечатление, словно все оно усеяно алыми цветами, с маленькой золотой короной на голове, она вызвала всеобщее восхищение своей уверенной осанкой, так что Соваж и Круа стали шептаться друг с другом о том, что вероятно это какая-нибудь принцесса, на которой Карл тайно решил жениться. Карл склонился перед ней, подвел ее к своему почетному креслу, но не мог ни слова произнести от волнения. Шьевр заметил его колебания и, желая угодить, дав ему время овладеть собой, подошел к нему и рассказал, что Адриан спешно удалился, потому что боязнь за свое доброе имя повлияла на состояние его желудка. Такой забавный успех его шутки мгновенно рассеял глубокую озабоченность Карла. Борьба чувств показалась ему несущественной и ненужной. Возможно, что подействовало на него и изнурение от всех хлопот этой ночи, когда он обратился к окружающим со словами:

— Торжественно объявляю Изабеллу, дочь Михаила, герцога Египта, единственной наследницей сей страны, повелительницей всех цыган во всех землях по сю и по ту сторону моря и разрешаю ей отправить их всех на родину в Египет, при условии, что она сама останется здесь как возлюбленная наша.

Белла, которая почти не вслушивалась в его речь и только с любовью смотрела на него, стараясь в то же время сохранить свою осанку и достоинство, при последних словах бросилась к нему на шею; теперь Карл мог уже больше не тревожиться, что Белла потребует бракосочетания с ним, и с сугубой нежностью поцеловал ее. Присутствовавшие испросили позволения облобызать ее руку, а Шьевр, старавшийся предупредить все желания своего повелителя, ходатайствовал, чтобы жене его дарована была милость оказывать и впредь гостеприимство принцессе Египетской, пока у нее не будет своего собственного двора. Карл милостиво дал

согласие на то, о чем недавно еще сам просил как о милости у госпожи Шьевр. Белла пошла со своей новой матерью в другую часть замка, а Карл обменялся еще несколькими словами с присутствующими. Было уже позднее утро, когда они разошлись. Птицы пели, а государственные люди отправились по своим постелям. Но Карл растянулся на дерновой скамье в замковом саду, где Белла увидала его из окна своей комнаты, и не мог заснуть.

В доме господина Корнелия тем временем уже началось великое смятение; очнувшись от своего тяжелого хмеля, он так стал бесноваться под печкой, что все домашние сбежались в самых легких костюмах. Все были более или менее пьяны, и потому никто не позаботился о хозяине дома, а Медвежья шкура даже забыл в эту ночь сходить к себе в могилу посмотреть на свои сокровища. Мальш, который висел, покачиваясь, и видел под собой изразцы, изображавшие море с кораблями, вообразил с перепоя, что он летит над морем, и уже готов был прихвастнуть этим. Когда же его отвязали и он шлепнулся носом в это море, то он вообразил, что погиб. И даже после того, как его подняли и пообчистили, он долго еще не мог отделаться от своих страхов. Наконец он пришел в себя и потребовал, чтобы его отвели в спальню. Но тут возникло новое замешательство, когда хватились его жены, от которой только и осталось следу, что сбитая постель. Ее исчезновение было для всех загадкой, даже для старой Браки и служанки, которые знали некоторые обстоятельства дела.

— Ей-богу, она взята на небо за свою добродетель, окно-то ведь отворено! — воскликнула Брака, и корневой человечек, вытаращив глаза, стал глядеть вместе с ней в окно, не увидит ли где-нибудь в небе пару ног. А Брака утешалась надеждой, что эрцгерцог где-нибудь приютил ее. Корневой человечек, которому пролетавшая ласточка уронила нечто в разинутый рот, отскочил от окна в припадке любовного отчаяния и, как

безумный, принялся забавнейшим образом бегать и прыгать по всему дому. Обнаружив, что входная дверь еще отворена, он обрушился на Медвежью шкуру; когда же он увидел наружи плащ своей возлюбленной, прикрывавший кучу самой обыкновенной глины, то, сам не зная почему, почувствовал такой прилив любви к этой земле, точно она и была его утраченная; он тщательно собрал все комочки, отнес в свою комнату, стал без конца целовать их и старался опять слепить из них фигурку, которая была бы похожа на его утраченную. Это занятие дало ему некоторое утешение, а тем временем бесчисленные гонцы были разосланы им во все стороны, чтобы они обыскали всю страну и разузнали о ее местопребывании или, по крайней мере, о дороге, по какой она бежала. Однако никто не мог доставить ему никаких сведений, пока, наконец, Брака, решив, что больше ей нечего ждать никакой выгоды от любви эрдгерцога к голему Белле, сообщила ему, что Изабелла, принцесса Египетская, которая сейчас находится в замке и ради которой всем цыганам даровано свободное право открыто всюду показываться и зарабатывать себе хлеб, и есть его пропавшая жена. Маленький человечек прямо остолбенел от изумления, затем опоясался мечом и устремился в замок, чтобы потребовать от эрдгерцога объяснения.

Эрдгерцог милостиво принял его, выслушал, сказал, что призовет к ответу принцессу, и велел созвать совет. Малыш был чрезвычайно горд, что ради него поднялся такой шум; он с такой рыцарственной осанкой выступил на суде, так надменно смотрел, словно сквозь двойные очки, что едва даже узнал Изабеллу, когда она в красном бархатном платье, опушенном горностаем, а госпожа де Шьевр в белом камчатном, на котором спереди вытканы были Адам и Ева под яблоней, вошли в залу и заняли свои места. Эрдгерцог предложил господину Корнелию Непоту изложить свою жалобу. Наш истец не напрасно брал уроки риторики и вознамерился это всем показать и доказать; весьма патетически воззвал

он к сочувствию женатых особ среди присутствующих, заговорил о счастье новобрачных и о блаженном, беззаботном покое, в котором обретают себе исход все стремления, дабы воплотить в первенце прекраснейшее, что только может произвести на свет молодая нетронутая сила в порыве ничем не тревожимой страсти, вследствие чего в людском обществе принято не делить родительское наследство между детьми сообразно их дарованиям, каковые всегда остаются под сомнением, но нераздельно предоставлять его перворожденному, жизненное превосходство коего основано на общих законах природы. И этого-то будущего его первенца, радость страны Хадельнской, грозит отнять у него легкомыслие его бежавшей супруги, не говоря уже о том, сколь пагубно должны отразиться на этой возникающей жизни все таковые тревожения.

— Дьявол говорит языком этого карлика,— тихо произнес Шьевр;— меня не так-то легко растрогать, но в его устах жалобы его звучат довольно-таки убедительно.

Мальш продолжал:

— Но как опишу я все мое горе, когда в ту ночь, что похищено было у меня счастье моей жизни, я на тревожном ложе своем плыл по широкому океану, а на другом ложе потерпел кораблекрушение,— конечно, то было предзнаменование судьбы моего брачного ложа,— отчего и пробудился я затем. Как орел, распростерший крылья, паря над морем, созерцал я солнце, которое, однако, несомненно означает восстановление моего счастья.

— Да, правда,— воскликнула тут госпожа фон Брака, вызванная в качестве свидетельницы,— дурная то была проделка со стороны этих молодых вертопрахов, что привязали его под печкой. Взгляните только на него, какой он слабенький, скрюченный человек, как он еще уцелел, когда его так вывернули наизнанку!

Эта добросердечная речь вызвала общий смех присутствующих, мальш же так разозлился, что обнажил свою

шпагу, которую, однако, во-время отняла у него стража. После этого он, равно как и Брака, были по всей форме допрошены Ценрио, пока они не признались, что проживали в городе под вымышленными именами. Однако от притязаний на Беллу ни один из них не хотел отказаться; они потребовали, чтобы был вызван священник, который совершил брачный обряд. Долее Белла уже не могла сдерживаться; она с негодованием спросила их, забыли ли они, как выгнали ее из дома, после того как она была оставлена ими в руках у гнусной сводни в Бейке; она спросила затем, заслужила ли она это от малыша, которого своими стараниями превратила из бесформенного корешка в маленького человечка.

Малыш и Брака попали в крайне тяжелое положение; но Брака мигом сообразила, как выйти из затруднения; не долго думая, она стала на сторону Беллы и заявила: все, что она говорила, было внушено ей страхом перед маленьким человечком, теперь же она принуждена сознаться, что под мнимым именем Беллы с альрауном была обвенчана некая другая особа, которая ныне неизвестно куда исчезла; присутствующую же здесь подлинную Беллу ей надлежит почитать, как принцессу, которой она и служила с самого ее детства. При этом она завывала, как стая голодных псов, и бросилась на колени перед Беллой.

Тут корневой человечек пришел в полное бешенство, швырнул оземь перчатку и поклялся, что будет биться с любым, кто посмеет оспаривать у него жену или называть его альрауном. Шьевр выступил тогда с заявлением, что, прежде чем допустить его к рыцарскому поединку, необходимо проверить, точно ли он является человеком, а затем дворянского ли он происхождения и христианского ли вероисповедания. Малыш отвечал, что у него есть слуга, по имени Медвежья шкура, который может подтвердить все, что здесь в отношении его оспаривается, и потому он ходатайствует о позволении привести его в суд. Это было ему разрешено.

Тем временем Брака успела разболтать, что альраун обладает свойством обнаруживать скрытые клады и уже не раз находил их. Шьевр весь насторожился и сказал эрцгерцогу:

— Сам бог посылает вашему высочеству министра финансов в лице этого малыша-альрауна, который может упрочить будущее ваше могущество; независимо от капризов Генеральных штатов, он дает в руки вашему высочеству средства обращать в вашу пользу всякую деятельную силу. Он будет душой государства; его гений сможет примирить вечно враждующие между собой божественные права и человеческие желания. Да здравствует эрцгерцог и его государственный альраун!

В эту минуту в эрцгерцогe сказалаcя та будущая мудрость, которая впоследствии руководила всеми его действиями; он милостиво кивнул Шьевру и задумался о том, как привлечь к себе это маленькое полезное существо. Его благоволение и доверие к Шьевру все возрастало благодаря неисчерпаемой изобретательности его ума.

На этот раз эрцгерцог очень радушно встретил малыша, когда тот вошел вместе с Медвежьей шкурой, который нес с собой брошенные одежды и начатое изваяние голема Беллы. Малыш пообещал бедному малому сразу выдать ему все остальные его сокровища, ежели тот клятвенно засвидетельствует, что существует лишь одна единственная Белла и что она без всякого с их стороны повода скрылась из дому после бракосочетания, оставив за собой только кучу глины, завернутую в ее платя и плащ; кроме того он должен был поклониться, что знал родителей альрауна, которые известны были в Хадельне как добрые христиане и дворяне древнего рода. Старый, мертвый, скаредный Медвежья шкура все это ему обещал; он выступил вперед и начал рассказывать по уговору свою вымышленную историю. Но когда и Брака, и Белла пристали к нему с вопросами, то недавно обглоданная часть его тела, как бы улучшенное издание его природы, стала давать ясным голо-



сом совершенно противоположные ответы: человек — не человек, женился на Белле — прогнал Беллу из дому; все это так противоречило одно другому, что судьи, исписав целые кипы бумаги, признали его свидетельство ровно ничего не стоящим.

Мальш был вне себя от раздражения; он вырвал из рук совершенно растерявшегося Медвежьей шкуры платья и глиняное изваяние, вытолкнул его пинками ноги за дверь и поклялся, что вместо того, чтобы отдать ему его сокровища, он по мелочам раздаст их нищим, — что Медвежья шкура до дня страшного суда тщетно будет служить то одному господину, то другому, чтобы скопить их опять, — что тщетно он будет из-за какого-нибудь старого талера изменять одному господину ради другого, — тщетно он будет во время войны вербоваться то в одно, то в другое войско, чтобы только получить лишнее, — его лучшая свежая натура будет к великому мучению его прежнего тела раздавать и расточать все эти позорно приобретенные деньги, и так ко дню страшного суда он останется все тем же бедным, безутешным оборванцем, каков он теперь*.

После того как мальш изрек свое проклятие, в досаде и отчаянии повернулся он к глиняному изваянию. Шьевр спросил его, кого оно должно изображать. Мальш указал на Беллу и горько заплакал; но кто мог бы в длинном огурце, вылепленном посреди широкой глиняной глыбы, узнать тонкий, изящно изогнутый нос красавицы Беллы. Впрочем, его любовь готова была пока удовлетвориться и таким личиком; нужно было удивляться, с какой нежностью потрогивал он увлажненную его слезами глину. Бедный Прометей! Он то и дело так свирепо взглядывал на Беллу, что эрцгерцогу стало страшно, как бы он не вырвал пламень ее

* Проклятие было несколько длинновато, но его следовало привести полностью, дабы, в случае если зайвится где-нибудь такой слуга или такой солдат с подложными документами, каждый мог бы его распознать по двуличным его речам и послать его прочь.

очей, чтобы привить его своей глиняной глыбе. И еще опасался эрцгерцог, как бы не врос он своими ручками в глину и не вернулся бы в первобытное состояние корнеплода, унеся с собой в недра земли свое дарование добывать клады. И он и Белла давно уже догадались, что то были бранные остатки голема, и с жутью смотрели на них*.

Старания малыша создать из своей глины подобие Беллы не вызывали в ней смеха. Доброе сердце Беллы испытывало сострадание; она просила поскорее прекратить торжественное заседание, ибо в конце концов она должна была себя самое винить в его несчастной участи, ибо ее дерзновенное любопытство вызвало его на свет из покойного ложа земли.

— Чорта с два! хорошенький покой там в земле! — вдруг взял да и проговорился малыш из духа противоречия; — кроты, медведки, муравьи, право, терзали меня еще почище, чем все вы тут, вместе взятые!

Шьевр заявил, что этого признания более чем достаточно, и покинул залу вместе с другими придворными. Эрцгерцог же похлопал малыша по плечу и сказал ему, что он должен теперь серьезно поразмыслить

* О, жалкие болтуны об искусстве, заглушающие вечно пустыми перепевами греческой культуры глубокую жизнь нашей собственной своеобразной природы, к вам я, рассказчик, здесь обращаюсь. Вы, пожалуй, с высокомерным презрением отнесетесь к работе альрауна, но, клянусь вам, пустыми глазами смотрите вы на древние изваяния богов, пустота чувства выражается в тысяче ваших обветшалых слов по поводу них, и в дивных творениях древности видите вы гораздо меньше, нежели бедный малыш в своей полуоформленной глыбе; ибо тем, что она есть, что она стала его руками, и, достигнув этого, он достигнет и большего. От вас же ничего не перешло к богам и от богов — к вам. Для вас художественно-живые изваяния богов — те же големы, и ежели я сотру слова на челе их, то вот они и распались в прах. Станете вы отрицать это? Хорошо! тогда создайте что-нибудь свое, такое, чтобы можно было поставить его в один ряд с теми статуями, не вызвав вашего же собственного смеха. Но нет! ваши руки бедны творчеством, а ваши уста обильны словами.

о всей разнице происхождения из корня и из княжеского рода, которая разделяет его и Беллу; и, конечно, ему невозможно было бы быть мужем Беллы, ибо, как сказано в Библии: жена да боится своего мужа, и народ, который ей повинуетя, ни за что бы не потерпел его подле нее; но, правда, было бы возможно, и гораздо лучше для него, обручиться с ней морганатическим браком и жить с ней в одном доме в звании ее фельд-маршала, только не разделяя с ней ни стола, ни ложа; однако, чтобы заслужить такое высокое отличие, должен он обещать с неустанным рвением выискывать все скрытые сокровища и передавать их ему, эрцгерцогу, как покровителю будущего цыганского государства.

Мальш призадумался, затем воскликнул:

— Браво, вот это мне по вкусу, и я прыгнул бы вашему высочеству на шею, если бы вы были пониже ростом. Когда у меня будет собственная спальня, я, наконец, посплю спокойно; до сих пор я не знавал еще, что такое сон. Моя погибшая жена,—если она не та, что здесь,—не давала мне ни минуты покоя и стояла мне двух совершенно новеньких глаз, которые находились у меня на затылке и которыми я мог бы все предвидеть, если бы сумел их опять себе завести. Общий стол с моей прежней женой,—если она не та, что здесь,—также никогда мне не был особенно приятен; сколько бы я ни кричал, она всегда брала себе лучшие куски, и если я не сидел спокойно, то била меня горячими костями, равно как и суповой ложкой, по лицу.

Белла также не стала возражать против этого предложения, и тогда эрцгерцог послал к тому самому священнику, который уже раз обвенчал альрауна, и велел ему пригрозить, что посадит его на хлеб и на воду за совершение тайного бракосочетания, если он откажется повторить обряд в торжественной обстановке. Несчастный на все согласился с готовностью, и вечером, в присутствии немногих близких к эрцгерцогу лиц, была отпразднована морганатическая свадьба, которая в такой же мере обещала установить мирные и спо-

кожные отношения между второстепенными лицами нашей повести, именно Бракой, Корнелием Непотом и скаредным священником, как и между нашими героями, эрцгерцогом и Беллой. Белла, однако, ничего с собой не могла поделать и так разрыдалась во время совершения обряда, что не могла выговорить своего согласия; тщетно Карл нежно спрашивал ее о причине ее слез,— она не могла привести иной причины, кроме той, что ей вспомнилась маленькая кошечка, которую она однажды утопила ради альрауна: в этом грехе она забыла покаяться. Так как это обстоятельство не составляло препятствия для свадебного обряда, то положили считать брак заключенным, и малыш уже в тот же вечер засвидетельствовал свою благодарность эрцгерцогу тем, что из одной замурованной ниши замка достал клад монет и золотых цепей, лежавший там свыше двухсот лет.

Эрцгерцог, оставшись вечером наедине с Беллой, совершенно неожиданно расстроился, вспомнив, как голем Белла рассыпалась в прах, а Белла с своей стороны не находила, в себе прежнего всецело доверчивого чувства к нему, так что оба даже порадовались, что их кровати были сдвинуты не так тесно, как в Бейке. Эрцгерцог погрузился в дивный сон: ему грезилось, будто перед ним простерты ниц, в золотых цепях, найденных для него альрауном, испанские гранды, которые даже пред лицом короля дерзают не снимать шляп с головы; ему грезилось, что этими цепями он мог увлечь за собой многие тысячи солдат и всюду, где он с ними появлялся, всюду перед ним преклонялись. Между тем его соперник никак не мог заснуть от волнения, и его опять потянуло к глине, единственному оставшемуся у него сокровищу; вдохновленный своим счастьем, он с гораздо большим успехом принялся за работу; на этот раз все так похоже лепилось под его руками, что в восторге он отдал полное предпочтение этому своему собственному созданию перед любой богом сотворенной женщиной, которая, конечно, не могла бы подойти к

прихотливым требованиям такого существа, рожденного в Фомино воскресение. Но наивысшее счастье из всех трех в эту ночь испытала Белла, когда в полночь какие-то дивные звуки привлекли ее к окну. Она услышала речь своего народа, вожди которого, рассеянные по белу-свету, теперь, когда эрцгерцог даровал им право свободного проживания в Нидерландах, поспешили к признанной своей государыне, чтобы приветствовать ее ночным пением и присягнуть ей в верности и любви до гроба.

Мы попытаемся передать в переводе это сердечное их приветствие, но прежде скажем еще несколько слов об их пляске. Они омочили свои руки и одежды в растворе фосфора, который в те времена был только им одним известен; они светились в облаках тумана, а там, где касались друг друга или терлись друг о друга, это свечение переходило в яркий блеск, который длился затем некоторое время, и в это время и началось пение:

Свершилось искупленье,
Нас возродило пламя,
Царица наша с нами,
И близко возвращенье;
Проснись, дорогая,
Напеву внимая,
Пускай о корону
Ударит твой скипетр,
Веди нас в Египет,
Внимая их звону,
По царскому праву,
По божью уставу!

В дыхании осеннем
Горят слезами очи,
И сердце страстно хочет
К родным вернуться теням.
Волна отливает,
Нам путь очищает.
Час творческой мощи
Настал для природы,
Покинули воды
Цветущие рощи,
И в песне любимой
Поют дети зиму.

Приди скорее, Белла,
Ты к верному народу,
Веди нас на свободу,
Покинь свой замок смело!
Черны его стены,
Он полон измены,
Брядает оружие
Встревоженной стражи,
Но весело спляшем
В предутренней стуже!
Не страшно тенет нам,
Гусям перелетным.

Белла тоже принадлежала к породе перелетных птиц, которых ничто не может удержать, когда они услышат в воздухе голоса своих братьев, какой бы нежной заботой и любовью ни окружали их люди. Есть же ведь в полярных странах такие несчастные народы, которых не прельщают никакие радости и выдумки нашей зоны и которые, чуть завидят лебедя, бросаются в воду, воображая, что поплывут за ним в свою отчизну; и насколько сильнее этот порыв в человеке, более высокого и своеобразного склада, когда, как у Беллы, он одушевляется гордым царственным чувством. Она росла в Европе, как чужеземный цветок, который раскрывается лишь по ночам, ибо на его родине в эти часы бывает утро. Ее томление, ее тоска переполюбливали ей сердце, она не могла оставаться на месте, сама не понимая — почему; она любила эрдгерцога, любила его как в былое время, но с тех пор что он и к другой испытал любовное влечение, как к ней, она чувствовала, что уносит с собой в даль его первую любовь; и лишь теперь она впервые стала сознавать, что это мнимое обручение, хотя оно и не нарушало нравственной ее чистоты, все же глубоко оскорбило ее, ибо отсюда явно обнаружилось, что намерения Карла жениться на ней были не столь святы и вечны, как ранее говорило ей ее царственное сознание. Какую цену имела для нее его мудрая рачительность о богатстве? Она знала лишь богатство бедности, которая всем обладает, ибо всем может пренебречь; она знала лишь свой народ, который

презирал всякую награду от ее властителей и выше всего ценил всякий подвиг, содеянный ради нее.

Чувства боролись в ее душе, когда она приблизилась теперь к постели эрцгерцога и поцеловала его; проснулся он — и она не смогла бы покинуть его, но во сне он оттолкнул ее от себя: ему грезилось, будто золотая цепь, на которой он вел за собой народы, все теснее и теснее опутывала его собственные ноги, так что он начал спотыкаться, и, боясь упасть, он оттолкнул ее от себя. Но она иначе поняла это в своем возбужденном состоянии и, подбежав к окну, выпрыгнула из него к своим, не задумываясь, высоко ли оно от земли; но, на счастье своего народа, она осталась цела и невредима. Ее комнаты были в первом этаже, и странствующий студент, которого любовная тоска по ней, после того как он узнал, что она находится в замке, привела в эту ночь под ее окно, принял ее падающую в свои объятия. Цыгане узнали ее, надели ей на голову корону, дали ей в руку скипетр и, незаметно для стражи, в полном молчании двинулись с ней и со странствующим студентом, которого они увлекли с собой, опасаясь, чтобы он их не выдал, за городские ворота, где сели на быстрых своих коней и по укромным тропинкам умчались прочь, спасшись от всякого преследования.

Когда эрцгерцог пробудился от своих сонных мечтаний о власти, которые так жутко закончились, и утренний свет улыбнулся ему, словно говоря: Не верь своим грезам, они ведь не могут бороться со мной! — то он подумал, что действительно все страхи его были только пустыми призраками, сотканными в его воображении. Но кто же тклет их в нашем воображении? Тот, кто двигает звездами на небесном своде в вечной их смене и тождестве. Сокровище эрцгерцога лежало неприкосновенным возле его постели, и он стал тихо перебирать его, чтобы не разбудить Беллу. Однако уличный шум все громче и громче раздавался за окнами, а Белла все еще не просыпалась; он окликнул ее, взглянул на

ее постель, но она была пуста. В тревоге он обежал весь замок, но не мог дозваться ее.

— Уж не рвет ли она цветы для утреннего букета? Не пошла ли она к ранней обеду, чтобы возблагодарить господу за свое счастье?

Но прошел час, а Белла не возвращалась; безуспешно эрцгерцог допрашивал о ней стражу, призвал Браку, но и та ничего не могла сказать. Старая Брака горестно плакала о прекрасной Белле — рушились все ее виды на будущее. Но все женщины одинаковы в неспастии: никакие требования приличий не в силах удержат их ропота, их голова занята только одним своим чувством, и ни с чем другим они не считаются. Вместо того, чтобы утрашиться гневного нетерпения эрцгерцога, Брака осыпала его упреками за жестокость, которую он проявил к Белле, обвинив ее с мальшеш, что и повлекло за собой ее бегство. Пристыженный герцог молчал, он чувствовал, что она права, что его глупое благоразумие вырвало у него самое драгоценное, что было у него в жизни; он чувствовал, что старуха должна с таким презрением глядеть на него, с каким он сам никогда не глядел даже на маленького альрауна. Он приказал Браке удалиться, а затем положил ей пенсию, прося ее остаться жить при дворе, дабы у него было с кем говорить о своей Белле.

Бесчисленные гонцы, разосланные им по всей Германии, вернулись ни с чем: дед его Максимилиан, до которого дошли слухи о его страстной любви, приказал отовсюду их выпроваживать. Лишь гораздо позднее, когда Изабелла была уже далеко со своими цыганами, узнал он, что в Богемском лесу она разрешилась от бремени маленьким принцем, получившим при крещении имя Лрак (обращенное имя своего отца Карла), и что странствующий студент, скрывшийся вместе с цыганами, милостью Беллы стал одним из их вождей под именем Слейпнера. Ожидание этих известий послужило причиной непонятной отсрочки отъезда Карла из Нидерландов в Испанию, где дед его тем временем умер

и грубая мудрость Хименеса легко могла бы вызвать гражданскую войну в его отсутствие.

Получив эту весть об Изабелле, он очень бы хотел поехать вслед за ней, но где он мог найти ее? И мог ли он отказаться от своих юношеских мечтаний о власти? Все же тяжела стала ему теперь корона, которой любовался он до сих пор как украшением, и придворные празднества, прежде развлекавшие его, казались ему потерянными временем, подобно ударам часов, прерывающим своим звонком спокойное течение мечтательных мыслей. Если мы не ошибаемся, то многие его особенности, о которых разбились важнейшие его начинания, объясняются этим первым промахом его благоразумия: его равнодушие, с которым он начал править государством, предоставив Шьевру и его присным развратить Испанию своим взяточничеством; чувственные наслаждения, в которых он часто искал забвения, чем рано подточил крепость своего организма; вся неудовлетворенность и неудовлетворительность его жизни. Потребовалось много времени, потребовались великие события, как завоевание Новой Испании, коронование его императором, потребовался неутомимый противник, чтобы он не почувствовал полного отвращения к государственным делам; потребовался, наконец, альраун, чтобы нашла себе применение вся его кипучая деятельность.

Что же случилось с этим соперником его любви? Малыш приложил все усилия, чтобы отыскать след вторично утраченной своей супруги, но напрасно; впрочем, он раньше, чем Карл, обрел успокоение, неустанно трудясь над окончанием изваяния прекрасной Беллы. В тревожной своей тоске зашел Карл однажды утром в его комнату, испустил изумленный крик при виде необычайно похожей статуи и унес ее, не обращая внимания на мольбы и угрозы малыша, к себе в комнату. Пока он украшал ее там цветами и коленопреклоненный восхищался ею, обитатели замка слышали невыносимый шум, доносившийся из комнаты малыша; началось с проклятий малыша, но скоро стало слышаться все больше

и больше голосов. Когда стража взломала дверь, раздался страшный удар, в комнате запахло серой, а маленький корневой человечек оказался лежащим на полу, разорванный на куски и без движения. Когда его тайно похоронили, Карл решил, что избавился от него, и все думали, что он окончательно уничтожен, на самом же деле в ярости своей он превратился в демона, и уже вскоре императору пришлось убедиться, что без великого покаяния ему не освободиться от его тягостнейшего присутствия.

Тщетно менял он резиденции и одеяния, тщетно предпринял он даже путешествие в Африку. Когда он полагал, что навсегда уже от него отделался, стоило только какому-нибудь дурному вожделению овладеть его мыслями, как сейчас же возникал рядом с ним альраун: то в виде сверчка, зовущего его из-за печки, указывая где он мог бы найти деньги и случай для осуществления своего намерения, то в виде паука, спускающегося с потолка на его письменный стол, то в виде жабы, пересекавшей ему дорогу, когда он гулял по саду; нередко жужжал он, пролетая в виде жука, вечерами и ночью кричал он голосом ночной птицы. Карл прислушивался и слишком часто слушался его голоса — горе нам, потомкам его эпохи! Если многое стало для него возможным благодаря этому духу, добывавшему ему деньги, то, с другой стороны, это привело к тому, что он рано окончил свое царское поприще и ему пришлось праведной жизнью, покаянием и молитвой отгонять от себя всякие дурные вожделения.

Будучи в Генте, подавленный воспоминаниями о своей первой любви и о ее закате, решил он торжественно проводить солнечный закат своей собственной жизни. Здесь со слезами благословил он своего сына Филиппа, простился с послами при своем дворе и до своего отъезда в Испанию зажил отныне уединенной жизнью отшельника. В день своего рождения стал он настоятелем учрежденного для него иеронимитского монастыря св. Юста в Испании; он думал о том, что в этот же день

появился на свет и альраун, так губительно повлиявший на его жизненный путь, и говорил себе, что именно в этот день, в который он родился на землю, он должен вновь родиться для царства небесного. Его искренняя молитва была услышана, и его окровавленный бич, сохраненный по смерти его, как святыня, показывает каких трудов ему стоило освободиться от своей привычной излюбленной мысли; нас же, предки которых столь пострадали от его политики, все время возмущаемые и угнетаемые презренным сребролюбием альрауна и, наконец, погубленные разъединением Германии, которое он вызвал, как ни старался тому помешать, не обладая достаточным патриотическим чувством,— нас примиряет с его личностью повесть о неудачах его первой любви и его раскаяние, и мы видим, что только святой на троне мог бы побороть все превратности той эпохи.

Так и он сам почувствовал себя оправданным, когда, чтобы испытать, готово ли его сердце к великому переходу, который захватывает врасплох даже дряхлую старость, и в том случае, если она свыклась с мыслью о нем, и в том случае, если она нарочитой деятельностью старается отогнать о нем всякую мысль,— он приказал воздвигнуть себе в монастырском храме по своему собственному плану великолепное надгробие, изумительно выполненные галереи которого, расписанные портретами его предков, увенчивались склепом, где должна была стоять его гробница. Он почувствовал себя оправданным, когда живым лег в эту гробницу, приказал поставить ее наверх, под похоронное пение, колокольный звон, в окружении черных свечей, и там сквозь земную крышу храма узрел Изабеллу, которая, неся ему утешение и любовь, встречала его на полях предвечных идей, где заблуждения человека вместе с телесным его бременем рассыпаются во прах. Она кивала ему, и он последовал за ней и узрел в светлых утренних лучах Изабеллу, указывавшую ему путь к небесам, и спросил присутствующих, неужели уже такой позд-

ний день. Но архиепископ ответил, что еще — ночь. Тогда предал он свою душу в руки божии и умер.

Спросим свое сердце, как мы хотели бы умереть: конечно, смертью Карла, с возлюбленной нашей юности, подобно ангелу парящей между нами и солнцем, от которого мы отстраняемся, потому что оно слепит нас, — подобно цветному занавесу, так что даже тени рук, срывающих призрачные цветы, кажутся окрашенными. Это погребение Карла не должно нас пугать странной своей театральностью. Та же самая мысль, воплощенная в действие властителем мира, тревожит многие души, прожившие строгую жизнь; но она остается лишь мыслью и кроме того часто претворяется в заботу о распорядке действительного погребения, в которой не столь выражается тщеславие, сколь желание подобающим образом завершить жизнь, проведенную согласно определенным твердым принципам. Наше суетное время с пренебрежением относится ко всякому торжественному похоронному обряду, наши же благочестивые предки часто давали в единственное приданое невесте приличный саван, и пышная гробница завершала скромную жизнь. Кто дерзнет порицать это как причуду? Это было одним из выражений того единства, которое впечатляет нас во всей их истории, но живет всего — в памятниках многовекового их религиозного благоговения, которое воплощается в церковных зданиях старой Германии. Какое единство и согласованность всех отношений, как крепко все зиждется на земле, и, в то же время, все устремлено к небу, все ведет к нему, в дивной красоте завершаясь на грани его! Ввысь к небу устремляет церковь, словно руки молящихся, бесчисленные цветы и возвышенные изображения, все они направлены вверх ко кресту, который увенчивает здание, как эмблема завершения божественной жизни на земле, который, как высшее великолепие земли, вдохновляющее ее собой к бесконечным подвигам, только один и сверкает золотом, и никакое другое изображе-

ние или эмблема во всей священной истории, представляемой зданием храма, не дерзает им украситься.

Не только над погребением императора Карла, но и над жизнью его держало свой долгий посмертный суд потомство, однако лишь современники могут оценить властителя к концу его жизненного поприща, и сколь поучительными представляются тут суды над мертвыми древних египтян; но они не имеют отношения к нашему европейскому миру. Еще и поныне встречаем мы их в Абиссинии, еще и поныне потомки нашей Изабеллы на следующий день по смерти открыто выставляются на троне при входе в пирамиду, служащую им местом упокоения, и каждый обязан высказать, что думает он об умершем. Также и над Изабеллой был произнесен этот посмертный суд; еще и поныне абиссинцы говорят об этом суде, который она еще при жизни велела держать над собой и вписать его в книгу; они показывают и поныне у истоков Нила ее изображение, где она всех их вместе держит в некоем решете, сквозь которое, словно бесчисленные ручьи, они сбегают на землю, в знак того, что хотя она и объединила разрозненные племена абиссинцев, или цыган, однако не могла помешать тому, чтобы вследствие внутренних раздоров они не разбежались в разные стороны. Мы обязаны этими сведениями знаменитому путешественнику Тавринию, подлинные слова которого мы здесь приводим.

Славная королева Изабелла призвала сына своего Лрака, зачатого ею от Карла согласно Адрианову предсказанию, своего полководца Слейпнера, последовавшего за ней бедным странствующим студентом, далее, всех сановников и старшин народных ко входу большой пирамиды у истоков Нила, которую она воздвигла себе для гробницы. Это было 20 августа 1558 года, в тот самый день, когда ее возлюбленный Карл живым созерцал свое собственное торжественное погребение, и она словно предчувствовала это, желая предварить свое расставание с жизнью подобным же суровым об-

рядом. Тогда объявила она, дружественно простившись со всеми, указав безутешному Слейшнеру на небеса, где его любовь получит богатое воздаяние, и прижавши своего сына к сердцу. Тогда, говорю я, ибо много раз слышал этот рассказ, объявила она, что чувствует себя слишком больной и дряхлой, чтобы дольше стоять во главе правления, и так как она теперь перестает властвовать и как бы уходит из мира, то ее горячее желание и последняя ее просьба, чтобы древний священный обычай суда над умершими не откладывали до ее действительной телесной смерти, но чтобы каждый ныне же, куда она будет лежать в своем гробу, прошел мимо нее и высказал о ней свое мнение, клятвенно подтвердив его и ничего не утаивая. Так объявила она, и так как никакие мольбы, никакие слезы не могли заставить ее изменить свое решение, то тут же все были приведены к присяге. Королева легла, всеми оплакиваемая, в свою гробницу, и каждый подошел к ней по достоинству и согласно обычаю и громко огласил для записи в королевскую книгу свое глубоко продуманное суждение. О блаженный день для праведницы! Сколь легки были порицания по сравнению с теми упреками, которыми так часто она сама себя осыпала! Священнослужитель, сообщивший мне об этом все подробности, прочел мне из старого пергаментного свитка, что с ней было при этом и как блаженно она скончалась во время сего суда над ней; из этого свитка я тотчас же дерзнул перевести этот рассказ на наш родной немецкий язык, причем, однако, мне иногда не хватало *coria verborum**, по каковой причине я дал снова пересмотреть свой перевод магистру Узену, который весьма его улучшил: „Она погрузилась во время суда в радостно-созерцательное состояние. Из тумана, все еще окутывавшего прекрасную страну, созданную ею, выступили перед ней сначала ближние блаженные сады, а в них снова спокойно играли счастливые дети

* Запаса слов.

ее гонимого народа; и фонтаны били там, где прежде крокодилы на сухом песке грелись на солнце; и красные и синие птицы пели там, где прежде шипели змеи. Далее показался перед ней зеленый луг, полный цветов, и ягнята, звеня колокольчиками, медленно двигались между стеблей, там, где прежде смерть подстерегала все живое в бездонных топях. И тогда потекла перед ней великая Река, река рек, девственный металл земного мира, блестяще полированный, как меч, и весла кораблей ее бороздили там, где прежде лишь рыба в мелкой воде дерзала плавать. Но прекраснейшее находилось по ту сторону, и как в затаенных мыслях своей души она мечтала неутомимыми стараниями для своего возлюбленного народа обтесать все отдельные камни в дворцы будущего могущества, так теперь уже воссияли ей по ту сторону замки и храмы будущих властителей, в свете восходящего солнца. Изумленная, она приблизилась к реке и стала смотреть только на ту сторону, где то, что в своих грезах чаяла она воплощенным, явилось ей осуществленным в действительности, и бросилась она в реку, и волна унесла ее, и вот она уже была по ту сторону — этим образом пытался благочестивый свидетель ее кончины выразить и объяснить блаженство ее умирающего лица“.

Любвеобильная Изабелла! Невинной обрели мы тебя в малом кругу твоей юной любви, почему должны мы сомневаться, внимая рассказам путешественников, в том, что ты, и с высоты трона обзревая целый мир, осталась верной себе? Ибо что такое мир сей против той верности, которая, испытанная однажды, пребывает вовек неизменной? Твоя любовь не закатилась, будучи отвергнутой; единственный твой не понял, не оценил, не сохранил ее, и она обратилась к народу, который в твоей любви обрел свое освобождение. Никакое страдание, никакое раскаяние, никакое сомнение не отвратит твоего взора назад к тому, кого ты оставила, ибо он отказался от тебя; то, что чистую душу вдохновляет в одно мгновение, пребывает в ней непреложным за-

коном навеки. Чистый образ юной жизни! мы обращаем взоры к тебе и молим: очисти нас от воображаемых страданий любви и от мнимых грехов нашего времени; посмертный суд людской не должен нас пугать, но кто не страшится судей в себе самом, неумолимой строгости мыслей, не поддающихся ни на какой обман, которым мы можем удовлетворить других, но не свою собственную духовную силу! Святая Изабелла, овей небесным дыханием пылающее мое чело, когда я буду держать суд над самим собою!— В небе стоит грозящая комета и накаляет осень до летнего жара, до какой же раскаленности доведет она весну! Утешься, душа, утешься и ты, мир,— тебе много обещано от господ!

КЛЕМЕНС БРЕНТАНО

РАССКАЗ О ЧЕСТНОМ КАСПЕРЛЕ И ПРЕКРАСНОЙ АННЕРЛЬ

Лето только начиналось. Соловьи пели по дорогам всего только несколько дней и умолкли нынешней ночью, обвеянной свежестью отдаленных гроз. Ночной сторож возвестил одиннадцать часов. Возвращаясь домой, я увидел перед дверью большого здания кучку разного рода людей, по дороге из пивной собравшихся вокруг кого-то, сидящего на ступеньках крыльца. Их участие показалось мне столь живым, что, заподозрев какой-нибудь несчастный случай, я подошел.

На ступеньках сидела старая крестьянка и, как горячо ни хлопотали собравшиеся вокруг нее, не обращала на их любопытные вопросы и добродушные предложения никакого внимания. Было что-то поразительное, чуть ли не величественное в том, как твердо эта добрая старушка знала, чего хотела, и устраивалась на ночлег при людях и под открытым небом так, как будто бы была одна в своей каморке. Она накинула на себя фартук, натянула глубже на глаза большую черную клеенчатую шляпу, пристроила свой узелок себе под голову и не отвечала ни на какие вопросы.

„Что с этой старой женщиной?“ — спросил я одного из присутствующих. Со всех сторон посыпались ответы: „Она прошла шесть миль из деревни, она не в состоянии идти дальше, она не знает города, у нее есть

друзья на противоположном конце города, и она не найдет к ним дороги". — „Я охотно бы её проводил, — сказал один, — но путь туда далек, а у меня нет с собой ключа от моего дома. Кроме того, она, верно, не знает и дома, куда направляется“. „Здесь-то все же нельзя этой женщине оставаться ночевать“, — сказал один из вновь подошедших. „Но она уперлась на этом, — ответил первый; — я давно ей сказал, что доведу ее до дому; впрочем, она говорит совсем бессвязно, может быть, она даже пьяна“. — „Она, по-моему, слабоумна. Но здесь ей ни в коем случае нельзя оставаться, — повторил тот, — ночь долга и прохладна“.

Во время всей этой болтовни старуха, совершенно не стесняясь, точно она была глуха и слепа, закончила свои приготовления, когда же последний еще раз повторил: „Здесь ей все же нельзя оставаться“, — она ответила удивительно низким и серьезным голосом:

„Почему мне здесь не остаться? Разве это не герцогский дом? Мне восемьдесят восемь лет, и меня герцог наверное не прогонит со своего порога. Три моих сына умерли на его службе, и мой единственный внук простился с жизнью; бог простит ему это, наверное, а я не хочу умереть, пока он не будет с честью предан земле“.

„В восемьдесят восемь лет отмахать шесть миль! — сказали окружающие; — она утомлена и ребячлива, в таком возрасте человек слабеет“.

„Но здесь, матушка, вы можете получить насморк и сильно заболеть, да и скучно вам будет“, — сказал один из народа и наклонился к ней поближе.

Тут старуха промолвила снова своим низким голосом, полупросительно, полуповелительно:

„Ах, оставьте меня в покое и не будьте неразумны; что мне насморк, что мне скука? Время уже позднее, мне восемьдесят восемь лет, скоро наступит утро, и я тогда пойду к своим друзьям. Когда человек набожен, испытал удары судьбы и может молиться, то провести еще какие-то несколько жалких часов он и подавно сможет“.

Собравшийся народ постепенно разошелся, и последние из стоявших еще вокруг поспешили удалиться, увидев проходившего по улице ночного сторожа, которого они намеревались просить отпереть входные двери в их жилища. Только я один еще оставался. Улица стихла. Я ходил задумчиво взад и вперед под деревьями находившейся передо мною площади; характер крестьянки, решительный, серьезный тон ее речи, ее стойкость в жизни, которая проходила в круговороте своих времен года восемьдесят восемь раз перед ее глазами и на которую она смотрела лишь как на преддверие храма, меня глубоко потрясли. „К чему все страдания, все вождения моей души? Звезды следуют беззаботно по своему вечному пути. Зачем ищю я утешения и успокоения, от кого жду я их и для кого? Все, что я здесь ищю и люблю и чего добиваюсь, приведет ли меня к тому, чтобы я, подобно этой доброй, благочестивой душе, в состоянии был провести ночь у порога дома, пока не наступит утро, и найду ли я тогда, подобно ей, друга? Увы, мне не дойти до города, я упаду от усталости перед его врагами, если еще раньше не попаду в руки разбойников“. Так разговаривал я сам с собой и, приближаясь по липовой аллее снова к старухе, услышал, что она молится про себя вполголоса с поникшей головой. Меня это страшно тронуло, я подошел к ней и сказал: „Храни вас бог, благочестивая матушка, помолитесь немного и за меня!“ — с этими словами я бросил ей талер в фартук.

На это старуха сказала совершенно спокойно: „Тысячу раз благодарю тебя, милосердый, что ты услышал мою молитву“.

Я вообразил, что это она мне говорит и сказал: „Матушка, разве вы меня о чем-нибудь просили? Я этого не знал“.

Тут старуха встрепелулась и сказала: „Милый господин, ступай-ка домой, помолись хорошенько и ложись спать. Зачем шляться так поздно по улицам? Это во все не полезно молодежи, так как враг бродит вокруг

и старается поймать кого-нибудь в свои сети. Много погибло от такого ночного гуляния. Кого ищешь ты? Господа? Он пребывает в сердце человека, живущего добродетельно, а не на улице. Но если ты ищешь врага, то ты уж обрел его; ступай-ка по добру по здорову домой и помолись, чтобы от него избавиться. Доброй ночи!“

С этими словами она совершенно спокойно повернулась на другой бок и сунула талер в свой дорожный мешок. Все, что старуха делала, производило на меня странное, серьезное впечатление, и я сказал ей: „Милая матушка, вы, наверно, правы, но ведь вы же сами меня здесь и удерживаете. Я услышал, что вы молитесь, и обратился к вам с просьбой помянуть и меня в вашей молитве“.

„Это уже исполнено,— сказала она.— Когда я увидела, что ты бродишь по липовой аллее, то помолилась, чтобы бог внушил тебе хорошие мысли. Теперь они к тебе явились, а потому иди-ка ты спать!“

Но я подсел к ней на ступеньку крыльца, взял ее иссохшую жесткую руку и сказал: „Позвольте мне просидеть здесь с вами всю ночь и расскажите мне, откуда вы и что вам нужно здесь в городе; вам здесь некому помочь, в вашем возрасте бывают ближе к богу, чем к людям; свет переменился с тех пор, как вы были молоды“.

„Не думаю,— отвечала старуха,— я за всю мою жизнь не заметила никакой разницы. Ты еще слишком молод, а в молодости люди всему удивляются; в моей жизни все так часто повторялось, что я гляжу на все с радостью только потому, что бог устроил это ко благу. Не следует, однако, отвергать доброго пожелания, хотя нам в нем и нет особой нужды, иначе можно остаться без доброго друга, когда в другой раз в нем будет большая нужда; ну, оставайся, посиди со мной, да посмотри, чем можешь ты мне помочь. Я расскажу тебе, что погнало меня в этакую даль, в город. Никак не думала, что придется мне побывать здесь еще раз.

Семьдесят лет прошло с тех пор, как была я служанкой в доме, на пороге которого я сижу; с тех пор я так и не бывала в городе. Как время-то идет! Не быстрее руку повернуть. Как часто сидела я здесь по вечерам семьдесят лет тому назад и поджидала моего дружка, служившего в гвардии! Здесь мы друг другу и слово дали. Когда он здесь... но тише, идет дозор!

Тут она запела сдержанным голосом, как обычно поют молодые служанки и слуги у дверей дома в прекрасные лунные ночи, и я прослушал с истинным наслаждением следующую старинную песню:

Когда настанет страшный суд,
 Все звезды наземь упадут.
 Вы, покойники, покойники, восстанете от сна.
 Перед страшным судом вы предстанете сполна.
 Взойдете вы вверх к высоким чертогам,
 Туда, где сидят ангелочки пред богом.
 Проходил там господь Иисус Христос,
 Большую радугу пронес.
 Проходили там еврей-злодеи,
 Что в дни оны распяли Христа в Иудее.
 Деревья засветились все,
 Камни искрошились все.
 Кто эту молитву читать горазд,
 Пусть читает на дню единый раз.
 Его душа будет навек чиста,
 Когда все мы придем пред Иисуса Христа!
 Аминь.

Когда дозор подошел к нам ближе, добрая старушка растрогалась. „Ах,— сказала она,— ведь сегодня шестнадцатое мая, но все-таки все осталось попрежнему, совсем как тогда, только что у них другие фуражки и нет больше кос. Все равно, лишь бы сердце было доброе!“ Офицер, командовавший дозором, остановился около нас и уже собирался спросить, что мы здесь так поздно делаем, как я узнал в нем знакомого мне прапорщика, графа Гроссингера. Я рассказал ему вкратце, в чем дело, и он сказал мне несколько взволнованно: „Вот вам для старухи талер и роза,— которую он нес в руке,— эти деревенские старушки любят цветы. По-

просите старушку продиктовать вам завтра текст песни и принесите его мне. Я давно добивался этой песни, но нигде не мог ее достать“. На этом мы расстались, так как часовой расположенной по близости гауптвахты, до которой я его проводил через площадь, крикнул: „Кто идет?“ Он сказал мне еще, что состоит в карауле у дворца и чтобы я его там навестил. Я вернулся к старухе и передал ей розу и талер.

Розу она схватила с трогательной пылкостью и прикрепила ее к своей шляпе, причем произнесла несколько более высоким голосом и почти плача следующие слова:

Вы, розы-цветочки, на шляпе моей!
 Каб денег побольше, я б жил веселей
 Меж роз с моей любимой.

Я сказал ей: „Э, матушка, да вы совсем чувствуете себя молодцом!“.

Она ответила:

Молодцом, молодцом
 Ходил ходуном:
 Весь дом — вверх дном.
 А потом, потом —
 Кувырком, кувырком.
 Нет чуда в том.

„Взгляните-ка, милый человек, разве не хорошо было, что я осталась здесь сидеть? Все идет по-старому, верьте мне. Сегодня исполнилось семьдесят лет, как я сидела здесь у дверей, была проворной служанкой и любила петь всякие песни. Тогда я тоже пела песню про страшный суд, как и сегодня, когда мимо проходил дозор, и один гренадер бросил мне, проходя, розу на колени — лепестки ее и посеичас хранятся в моей библии — это было мое первое знакомство с моим покойным мужем. На другое утро я пошла, прикрепив эту розу, в церковь, и там он меня встретил, и скоро все уладилось. Вот почему меня так обрадовало, что мне сегодня снова досталась роза. Это означает, что я должна придти к нему, чему я сердечно радуюсь. Четверо сыновей

и дочь у меня умерли, а третьего дня простился с жизнью и мой внук — помоги ему господи и смилостивись над ним! Завтра меня покинет еще одна добрая душа. Но что я говорю: завтра, разве уже не прошла полночь?”

„Двенадцать часов уже пробило“, — ответил я, удивленный ее речью.

„Да дарует ей бог утешение и покой на оставшиеся ей четыре часэчка!“ — сказала старуха и смолкла, сложив молитвенно руки. Я не мог говорить, так потрясли меня ее слова и все ее поведение. Но, видя, что она остается неподвижной и что талер, данный офицером, продолжает лежать у нее на фартуке, я сказал ей: „Матушка, спрячьте талер, а то как бы вы его не потеряли!“

„Его мы не спрячем, его мы подарим моей приятельнице в час ее крайней нужды! — возразила она. — Первый талер я возьму завтра домой, он принадлежит моему внуку, он должен им воспользоваться. Видите ли, он всегда был отличным парнем и не пренебрегал ни своим телом, ни своей душой — ах, боже мой, своей душой! Я молилась всю дорогу, это невозможно, милосердный бог не даст ему погибнуть. Из всех ребят он был самый чистенький и прилежный в школе, и удивительно, как он стоял за честь. Его лейтенант всегда говаривал: „Если в моем эскадроне сидит честь, то квартирует она у Финкеля“. Он служил в уланах. Когда он в первый раз вернулся из Франции, то рассказывал всякие примечательные истории, но речь в них всегда шла о чести. Отец его и сводный брат служили в ополчении и часто спорили с ним о чести, так как чего у него было слишком много, в том у них был недостаток. Бог да простит мне мой тяжкий грех, не хочу говорить о них плохо, каждому приходится нести свое бремя; но дочка моя покойная, его мать, доработалась до смерти из-за этого лентяя; она не могла осилить его долгов. Улан рассказывал про французов, и когда отец и сводный брат хотели их совсем очернить,

улан сказал: „Отец, вы этого не понимаете, в них все же сидит много чести“. Тут сводный его брат сказал ехидно: „Как смеешь ты болтать перед твоим отцом такой вздор о чести? Ведь он был унтер-офицером в Н-ском полку и должен понимать это лучше, чем ты, простой солдат“. „Да,— сказал старый Финкель, который тут тоже заартачился,— я был унтер-офицером и не одному хвастливому парню всыпал двадцать пять; жаль, что у меня не было французов под командой, вот они бы это здорово почувствовали со всей их честью!“ Слова эти очень огорчили улана, и он сказал: „Я расскажу вам кое-что об одном французском унтер-офицере, что мне больше по вкусу. При прошлом короле вздумали вдруг ввести во французской армии палки. Приказ военного министра объявлен был в Страсбурге на большом параде, и войска выслушали его в строю, затаив злобу. Но так как по окончании парада какой-то рядовой допустил бесчинство, то его унтер-офицеру было приказано дать ему двенадцать ударов. Это было ему строго приказано, и пришлось повиноваться. Но, когда он кончил свое дело, он взял ружье у человека, которого бил, поставил его перед собой на землю и нажал ногой на курок, так что пуля пронзила ему голову и он пал мертвым. Это было доложено королю, и приказ наказывать палками был немедленно отменен. Смотри, отец, вот это был парень, в котором сидела честь!“ — „Дурак он был“,— сказал брат.— „Жри сам свою честь, если проголодался!“ — проворчал отец. Тут внук мой взял саблю, вышел из дому и пришел ко мне в домик, рассказал мне все и горько заплакал. Мне нечем было ему помочь. Хотя я и не могла опровергнуть историю, которую он и мне рассказал, но все-таки постоянно повторяла ему: „Честь воздавай одному богу!“ Затем я дала ему свое благословение, потому что отпуск его истекал на следующий день, а ему хотелось еще захватить в одно местечко на расстоянии мили, где в помещицьем доме жила в услужении моя крестница, которая была ему очень по душе; он собирался на ней

когда-нибудь жениться. Конечно, они вскоре и будут вместе, если бог услышит мою молитву. Он уже вышел в отставку, а крестница моя получит ее сегодня; приданое мною уже все собрано, и на свадьбе кроме меня никого не будет“. Тут старушка снова умолкла и, повидимому, молилась. Я погрузился в размышления о чести и о том, может ли крестьянин считать смерть этого унтер-офицера прекрасной. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь дал мне по этому поводу достаточные разъяснения.

Когда сторож возвестил час ночи, старуха сказала: „Ну вот, мне осталось еще два часа. Э, да ты еще здесь, что же ты спать не идешь? Завтра ты не сможешь работать, и тебе попадет от твоего мастера; какое твое ремесло, добрый человек?“

Я не знал хорошенько, как объяснить ей, что я писатель. Сказать ей, что я ученый, я не мог, не соврав. Удивительно, что немец всегда несколько стыдится признаться, что он писатель. Перед людьми низших сословий в этом неохотнее всего признаются, так как им при этом обычно приходят на мысль библейские книжники и фарисеи. Звание писателя у нас не получило такого права гражданства, как *homme de lettres* у французов, у которых писатели принадлежат к особой профессии и в своих работах более подчиняются установленным правилам; у них можно даже спросить: *où avez vous fait votre philosophie?*—где проходили вы вашу философию? К тому же француз и сам производит впечатление более сложившегося человека. Впрочем, не один только этот, чуждый немцам, обычай затрудняет нас произнести слово „писатель“, когда нас у ворот спрашивают, чем мы занимаемся,—нас удерживает от этого какое-то внутреннее чувство стыда, чувство, присущее каждому из тех, кто торгует свободными и духовными благами, непосредственным даром небес. Ученым приходится меньше стыдиться, чем поэтам, ибо они обыкновенно вносят плату за свое ученье, находятся частью на службе у государства, расщепляют толстые

колоды или работают в шахтах, где приходится откачивать много подземной воды. Но так называемый поэт чувствует себя хуже всего, ибо он большей частью удирает на Парнас со школьной скамьи, да и вправду есть что-то подозрительное в том, когда поэт бывает таковым по профессии, а не между прочим. Ему очень легко можно было бы сказать: „Милостивый государь, каждый человек обладает от природы не только мозгом, сердцем, желудком, селезенкой, печенью и т. п., но и поэтической жилкой; но если кто перекармливает, упитывает или откармливает одну какую-нибудь из этих частей и отдаст ей предпочтение перед всеми остальными, или даже делает ее орудием наживы, то он должен стыдиться перед лицом всех остальных людей. Тот, кто живет за счет поэзии, теряет чувство равновесия, да и гусиная печенка чрезмерной величины, как она ни вкусна, объясняется болезнью гуся“. Всем людям, не зарабатывающим свой хлеб в поте лица, приходится до известной степени смущаться; это-то и чувствует тот, кто еще не целиком окунулся в чернила, когда ему приходится сказать, что он писатель. Такого рода мысли мелькали у меня, и я соображал, что мне сказать старухе, которая, удивленная моим колебанием, посмотрела на меня и сказала:

„Я спрашиваю, каким ремеслом ты занимаешься? Отчего ты не хочешь мне это сказать? Если ты не занимаешься честным ремеслом, то можешь еще им заняться, почва ведь тут золотая. Ведь не палач же ты или шпион, намеревающийся меня выспросить? Мне все равно, чем бы ты ни был, скажи только, кто ты такой! Если бы ты этак днем здесь сидел, я бы подумала, что ты просто лентяй, дармоед, прислоняющийся к стенам домов, чтобы не свалиться от лени“.

Тут мне пришло в голову слово, которое могло бы, может быть, послужить мостом ко взаимному пониманию: „Я писец, милая матушка“, — сказал я. — „Так зачем же ты этого сразу не сказал? — молвила она. — Ты, стало быть, пером работаешь; для этого нужна хорошая

голова, быстрая рука и доброе сердце, а не то нагорит. Так ты пишешь? Не можешь ли ты в таком случае составить для меня прошение герцогу, чтобы оно наверняка было удовлетворено, а не осталось лежать среди многих других?”

„Прощение, милая матушка,— сказал я,— разумеется, я могу написать и буду всячески стараться, чтобы оно было составлено как можно убедительнее“.

„Ну, это хорошо с твоей стороны,— ответила она.— Да вознаградит тебя господь, и дарует он тебе в старости такое же спокойное мужество и такую же прекрасную ночь с розами и талерами, как мне, а также и друга, который составит тебе прошение, если оно тебе понадобится. А теперь ступай-ка домой, милый друг, купи себе лист бумаги и пиши прошение; я тебя здесь подожду. Через час я пойду к моей крестнице; ты можешь пойти со мной; она тоже обрадуется прошению. У нее, знаю, доброе сердце, но пути господни неисповедимы!“

С этими словами старуха снова умолкла, опустила голову и, повидимому, молилась. Талер все еще лежал у нее на коленях. Она плакала. „Что с вами, милая матушка, что вас так огорчает? Вы плачете?“ — сказал я.— „А почему же мне не плакать? Я плачу о талере, плачу о прощении, обо всем я плачу. Но ничто не помогает; на земле, тем не менее, все гораздо лучше, чем мы, люди, этого заслуживаем, и горькие, как желчь, слезы все же еще слишком сладки. Взгляни-ка на золотого верблюда там у аптеки! Как великолепно и чудно сотворил все господь! Но человек этого не сознает. И такой верблюд скорее пройдет через угольное ушко, чем богатый в царство небесное.— Но что же это ты все тут сидишь? Ступай, купи лист бумаги и принеси мне прошение“.

„Милая матушка,— сказал я,— как могу я составить для вас прошение, когда вы мне не говорите, что я должен в нем написать?“

„Я должна тебе это сказать? — возразила она; — зна-

чит, в том нет никакого искусства, и я уж не удивляюсь, что тебе стыдно было назвать себя писцом, раз мне приходится тебе все говорить. Ну, сделаю, что могу. Поставь в прощении, что двое любящих должны покоиться друг с другом и что не надо их отправлять в анатомию, дабы части их тела оказались все вместе, когда послышится глас: „Вы, покойники, покойники, восстанете от сна, перед страшным судом вы предстанете сполна!“ — Тут она снова принялась горько плакать.

Мне чуялось, что над ней тяготеет жестокое горе, но что от бремени своих лет она лишь минутами чувствует всю его силу. Она плакала, не жалуясь, слова ее были все время одинаково спокойны и холодны. Я еще раз попросил ее рассказать мне обстоятельно о том, что побудило ее к путешествию в город, и она сказала:

„Ведь мой внук, улан, о котором я тебе рассказывала, горячо любил мою крестницу, как я тебе раньше уж говорила, и постоянно твердил красотке Аннерль, как люди ее называли за ее смазливое личико, о чести и о том, что она должна беречь свою честь и его честь. Благодаря этой чести у девушки появилось что-то особенное в лице и в одежде. Она держала себя лучше и скромнее, чем все остальные девки. Всякое платье сидело на ней лучше, чем на других, а когда бывало какой-нибудь парень грубовато обхватит ее, танцуя, или приподнимет ее повыше подставки у контрабаса, то она способна была горько мне о том плакаться и твердила, что это против ее чести. Ах, Аннерль была всегда девушкой на свой лад! Иногда, не успеешь оглянуться, как она схватится обеими руками за фартук и сорвет его с себя, точно он загорелся, и сейчас же начинает отчаянно плакать. Но на то есть своя причина, ее схватило зубами, враг не спит. Ах, если бы дитя мое не стояло бы так всегда за свою честь, а больше надеялось на нашего господа бога, не забывало его в минуты нужды и ради него выносило стыд и пре-

зрение, вместо этой своей людской чести! Господь, наверное, смиловившись бы тогда над ней, да и теперь еще сжалятся. Ах, они еще, наверняка, сойдутся! Да будет божья воля!

„Улан снова был во Франции, он долго не писал, и мы уж почти считали его умершим и часто его оплакивали. Но он, оказалось, лежал в госпитале тяжело раненный, и, когда вернулся к товарищам и был произведен в унтер-офицеры, ему вспомнилось, как два года назад сводный брат накинулся на него, говоря, что он простой солдат, а отец его капрал; вспомнил он и расказ о французском унтер-офицере и как он много толковал своей Аннерль о чести, когда с ней прощался. Тогда он потерял свой покой, и схватила его тоска по родине, и сказал он своему ротмистру, который спросил о его горе: „Ах, господин ротмистр, меня точно зубами домой тянет“. Тогда его отпустили домой со своей лошадью, потому что все офицеры доверяли ему. Он получил отпуск на три месяца и должен был вернуться вместе с ремонтом. Он спешил, насколько мог, не причиняя вреда лошади, за которой ходил лучше, чем когда-либо, потому что она была ему доверена. В один день особенно его потянуло поспешить домой. Это было накануне дня смерти его матери, и ему все время мерещилось, будто она бежит перед его лошадью и восклицает: „Каспер, окажи мне честь!“ Ах, я в тот день сидела совсем одна на ее могиле и думала: хоть бы Каспер был со мной! Я сплела венок из незабудок и повесила на покосившийся крест, вымерила близлежащее место и подумала: здесь вот я лягу, а тут Каспер пусть ляжет, если ему богом суждена могила на родине, чтобы мы были вместе, когда раздастся: „Вы, покойники, покойники, восстанете от сна, перед страшным судом вы предстанете сполна!“ Но Каспера не было, да я и не знала, что он был так близко и мог бы вероятно притти. И его страшно тянуло поспешить, потому что он, наверное, часто вспоминал этот день во Франции; он вез с собой оттуда маленький венок

из прекрасного златоцвета, чтобы украсить могилу матери, а также венок для Аннерль, который она должна была сберечь ко дню своей свадьбы“.

Тут старушка умолкла и покачала головой; когда же я повторил ее последние слова: „который она должна была сберечь ко дню своей свадьбы“,— она продолжала:— „Как знать, не смогу ли я это вымолить; ах, еслибы мне только дали разбудить герцога!“ — „Зачем?— спросил я;— о чем это вы хотите его умолять, матушка?“ На это она серьезно ответила: „О, какая цена была бы всей жизни, если бы она не имела конца? Какая цена была бы жизни, если бы она не была вечна?“— и затем продолжала свой рассказ:

„Каспер отлично мог бы добраться к полудню до нашей деревни, если бы утром хозяин, у которого он ночевал, не показал ему в конюшне, что у его лошади до крови стерта спина, прибавив при этом: „Приятель, это не делает чести всаднику“. Слова эти глубоко задела Каспера, поэтому он положил седло так, чтобы оно не касалось натертого места, принял все меры для лечения раны и продолжал путешествие пешком, ведя лошадь под уздцы. Так добрался он поздно вечером до одной мельницы, за милю от нашей деревни, и, зная, что мельник—старый приятель отца, завернул к нему и был принят как желанный гость, прибывший из чужбины. Каспер отвел лошадь на конюшню, положил седло и свой ранец там же в углу и пошел к мельнику в комнату. Тут он спросил про своих и услышал, что я, старая бабушка, еще жива, что отец его и брат здоровы и что им отлично живется. Они вчера еще приезжали на мельницу с зерном; отец его занялся торговлей лошадьми и быками и ведет ее очень успешно; к тому же он стал поддерживать свою честь и не ходит больше таким оборвышем, как прежде. Этому добрый Каспер сердечно порадовался, а когда он спросил про красотку Аннерль, то мельник сказал, что ее не знает, но что если это та, что служила в Розенгофе, то она нанялась, по слухам, на службу в столицу, так как

может там чему-нибудь научиться, да и чести от этого больше; об этом он слышал около года назад от одного работника из Розенгофа. Это тоже порадовало Каспера. Хотя он сначала и пожалел о том, что ее не сразу увидит, но все же надеялся вскоре встретить ее в столице изящно и нарядно одетой, так что она доставит ему, как унтер-офицеру, большую честь, гуляя с ним в воскресенье. Тут он рассказал мельнику много про Францию; они вместе ели и пили, Каспер помог ему насыпать зерно, а затем мельник уложил его спать в верхней комнате, а сам улегся внизу на мешках. Стук мельницы и стремление на родину не давали доброму Касперу, хоть и очень устал он, крепко заснуть. Он чувствовал себя очень беспокойно и думал о своей покойной матери, о красотке Аннерль и о том, какая ему предстоит честь, когда он появится перед своими в качестве унтер-офицера. Наконец он тихо задремал и часто просыпался в испуге от страшных снов. Ему несколько раз виделось, что покойная мать приближается к нему и просит, ломая руки, о помощи; затем ему снилось, что он умер и должен быть похоронен, но при этом сам шествует мертвый пешком к могиле, а рядом с ним идет Аннерль; он сильно плачет о том, что товарищи его не провожают, а придя на кладбище, видит, что его могила рядом с могилой матери, а могила Аннерль тут же рядом; он отдает Аннерль привезенный для нее веночек и вешает веночек матери у нее на могиле; затем оглядывается и ничего больше не видит, кроме меня и Аннерль, которую кто-то стащил за фартурк в могилу; тогда он сам спускается в могилу и говорит: „Неужели здесь нет никого, кто бы воздал мне последнюю честь и выстрелил над моею могилой, как подобает для честного солдата?“ И тут он выхватил свой пистолет и сам выстрелил в могиле. При звуке выстрела он проснулся в сильном испуге, потому что ему показалось, что даже задребезжали оконные стекла. Оглядевшись в комнате, он услышал еще выстрел, и сквозь стук колеса до него долетели шум на мель-

нице и крики. Он вскочил с постели и схватился за саблю. В то же мгновение дверь отворилась, и при ярком свете луны он увидел, что на него бросаются с дубинками двое мужчин с вымазанными сажей лицами. Но он стал защищаться и ударил одного из них по руке; тогда они оба выбежали и при этом заперли дверь, которая отворялась наружу и снабжена была с той стороны засовом. Каспер напрасно пытался последовать за ними, но наконец ему удалось выломать одну из дверных досок. Он пролез в отверстие, сбежал с лестницы вниз и там услышал жалобные стоны мельника, которого нашел лежащим с заткнутым ртом среди мешков с зерном. Каспер развязал его и сейчас же поспешил в конюшню за лошадью и ранцом, но и то и другое оказались похищенными. В большом горе побегал он обратно на мельницу и пожаловался мельнику на свое несчастье, потому что у него было украдено все имущество и доверенная ему лошадь, а с последним он уж никак не мог примириться. Но мельник стоял перед ним с мешком, полным денег, который он достал из шкафа в верхней комнате, и говорил улану: „Милый Каспер, успокойся, я обязан тебе спасением своего имущества. На этот мешок, что лежал наверху в твоей комнате, метили разбойники и твоей защите обязан я всем — у меня ничего не украдено. Твою лошадь и ранец нашли в конюшне, верно, разбойники, что стояли настороже; они дали выстрелами знать об опасности, потому что, верно, по седельной сбруе узнали, что в доме ночует кавалерист. Ты никоим образом не должен попасть из-за меня в беду, я приложу все старания и не пожалею денег, чтобы разыскать твоего коня, а если его не найду, то куплю тебе такого же, сколько бы он ни стоил“. Каспер сказал: „В подарок я ничего не приму, этого не позволит мне честь; но если ты мне одолжишь, в случае нужды, семьдесят талеров, то обязуюсь вернуть тебе их через два года“. На том они порешили, и улан расстался с ним, чтобы поспешить в свою деревню, где живет также и судья

окрестных дворян, которого он намеревался известить о происшедшем. Мельник остался дома, чтобы дожидаться жены и сына, которые находились на свадьбе в соседней деревне. Затем он хотел отправиться вслед за уланом и дать свое показание на суде.

„Ты можешь себе представить, милый господин писец, в каком огорчении спешил бедный Каспер, пеший и нищий, в нашу деревню, куда он надеялся гордо въехать верхом; его пятьдесят один талер, добытые на войне, патент на звание унтер-офицера, отпускной билет, венки на могилу матери и для красотки Аннерль — все было у него украдено. Он был в полном отчаянии. И в таком виде прибыл он в час ночи к себе на родину и постучался прежде всего в дверь судьи, дом которого стоял в самом начале деревни. Его впустили, и он дал свое показание и перечислил все, что у него было похищено. Судья поручил ему пойти немедленно к своему отцу, единственному крестьянину в деревне, у которого были лошади, и объехать вместе с ним и братом окрестности, чтобы отыскать след разбойников; сам он тем временем намеревался разослать других людей пешком и допросить мельника, когда он явится, о дальнейших обстоятельствах. Каспер от судьи пошел в отцовский дом. Но так как ему пришлось идти мимо моей хижины и он услышал в окно, что я пою духовную песню, потому что, думая всё о его покойной матери, я не могла заснуть, то он постучал в окно и сказал: „Слава господу Иисусу Христу! Милая бабушка, Каспер здесь“. Ах, слова эти проникли мне до мозга костей, я бросилась к окну, отворила его и принялась целовать и обнимать мальчика моего с бесконечными слезами. Он рассказал мне наспех про свое несчастье и сообщил, какое поручение дал ему к отцу судья, говоря, что он должен немедленно туда пойти, чтобы начать преследование воров, ибо честь его требует, чтобы лошадь была у него.

„Не знаю, но слово честь меня глубоко потрясло, потому что я знала, какие тяжелые суды ему предстоят.

„Исполни свой долг и воздай честь одному только богу!“ — сказала я, а он поспешил к Финкелеву двору, расположенному на противоположном конце деревни. Я опустилась, когда он ушел, на колени и обратилась к богу с молитвой, чтобы он принял его под свой покров. Ах! я молилась с такой тоской, как никогда, и все повторяла: „Господи, да будет воля твоя яко на небеси и на земли“.

„Каспер побежал к своему отцу в ужасной тоске. Он перелез с задворков через забор сада и услышал качивание воды из колодца, услышал на конюшню лошадиное ржание, проникшее ему в душу; он молча остановился. Он увидел при свете луны, что двое мужчин моются; у него сердце готово было разорваться. Один из них сказал: „Проклятая штука не смывается“, — а другой на это: — „Пойдем-ка сперва на конюшню, отрежем лошади хвост и подстрижем гриву. Зарыл ли ты ранец поглубже в навоз?“ — „Да“, — ответил тот. Тут они пошли на конюшню, а Каспер, в бешенстве от отчаяния, подскочил, запер за ними дверь в конюшню и закричал: „Именем герцога! Сдавайтесь! Я застрелю, кто вздумает сопротивляться!“ Ах, он уличил отца и сводного брата в похищении своей лошади. „Моя честь, моя честь погибла! — воскликнул он, — я сын бесчестного вора“. Когда те двое в конюшне слышали его слова, то почувствовали себя очень скверно; они закричали: „Каспер, милый Каспер, ради бога, не губи нас! Каспер, ты ведь все получишь обратно, сжалясь, ради твоей покойной матери, сегодня, в день ее смерти, над твоим отцом и братом“. Но Каспер был словно вне себя от отчаяния, он только все восклицал: „Моя честь, мой долг!“ А когда они начали ломиться насильно в дверь и уже прошибли дыру в глиняной стенке, чтобы убежать, то он выстрелил из пистолета в воздух и закричал: „Караул, караул, воры, караул!“ Разбуженные судьей крестьяне, которые уже приближались, чтобы уговориться насчет разных направлений, по которым преследовать разбойников, напавших на

мельницу, бросились на выстрел и крик к дому. Старый Финкель все еще продолжал умолять, чтобы сын отпер ему дверь, но тот сказал: „Я солдат и должен служить правосудию“. Тут подошли судья и крестьяне. Каспер сказал: „Боже милостивый! Господин судья, мой отец, мой брат оказались этими ворами, о лучше было бы мне на свет не родиться! Здесь в конюшне я их поймал, а мой ранец зарыт в навозе“. Тут крестьяне ворвались в конюшню, связали старого Финкеля и его сына и потащили их в избу. А Каспер откопал свой ранец и, вынув из него те два венка, пошел не в комнату, а на кладбище, к могиле своей матери. Светало. Я уже побывала на лугу и сплела для себя и для Каспера два венка из незабудок, думая про себя: он со мною вместе украсит могилу матери, когда вернется с объезда. Тут мне послышался какой-то непривычный шум в деревне, и так как я не терплю суматохи и люблю быть одной, то и пошла в обход деревни на кладбище. Тут раздался выстрел, я увидела поднимающийся кверху дым, поспешила на кладбище и — о спаситель мой, смилосердуйся над ним! Каспер лежал мертвый на могиле своей матери. Он прострелил пулей сердце, над которым он к пуговице прикрепил веночек, привезенный им для красоти Аннерль; сквозь этот венок выстрелил он себе в сердце. Веночек для матери он уже прикрепил к ее могильному кресту. Увидав это, я думала, земля разверзается у меня под ногами. Я припала к нему, все крича: „Каспер, несчастный ты человек, что ты наделал? Ах, кто же это тебе рассказал про твоё несчастье? О, зачем, я тебя от себя отпустила, не рассказав тебе все! Боже мой, что скажут твой бедный отец, твой брат, когда найдут тебя в этом виде!“ Я не знала, что это он из-за них и покончил с собой; я думала, что этому была совсем иная причина. Тут пошло еще хуже. Судья и крестьяне привели старого Финкеля и его сына, связанных веревками. От ужаса мне так сдавило горло, что я не могла произнести ни слова. Судья спросил меня, не видала ли я своего внука.

Я показала ему, где он лежал. Он подошел к нему, ему представилось, что он плачет на могиле; он потряс его и тут увидел текущую из-под него кровь. „Иисус, Мария! — воскликнул он, — Каспер наложил на себя руку“. Оба арестованные в ужасе переглянулись; тело Каспера подняли и понесли рядом с ними к дому судьи. По всей деревне поднялся плач и крик, крестьянки повели меня вслед за ними. Ах, это был самый ужасный путь в моей жизни!“

Тут старуха снова умолкла, и я сказал ей: „Милая матушка, горе ваше ужасно, но зато бог вас очень любит; он наказует суровее всего своих наиболее любимых детей. Скажите мне теперь, милая матушка, что вас побудило совершить далекое путешествие сюда и о чем вы хотите подать прошение?“

„Эх, ты же сам можешь сообразить, — продолжала она совершенно спокойно; — хочу просить о честном погребении Каспера и красотки Аннерль, которой я принесла веночек ко дню ее торжества. Он весь забрызган кровью Каспера, посмотри-ка!“

Тут она вытащила из своего узла небольшой веночек из сусального золота и показала мне. При свете наступающего дня мне было видно, что он закончен порохом и забрызган кровью. У меня сердце разрывалось при виде горя доброй старушки, а величие и твердость, с которыми она его переносила, наполняло меня уважением к ней. „Ах, милая матушка, — сказал я, — как общите вы бедной Аннерль о ее горе так, чтобы она тут же не умерла от ужаса, и что это за день торжества, к которому вы несете Аннерль этот грустный веночек?“

„Милый человек, — сказала она, — пойдем-ка со мной, ты можешь проводить меня к ней; я ведь не могу быстро ходить, вот мы ее как раз во-время и застанем. По дороге я тебя все расскажу“.

Тут она встала, прочла совершенно спокойно свою утреннюю молитву и привела в порядок платье, а узелок свой повесила мне на руку. Было два часа утра,

начинало светать, и мы побрели по безмолвным улицам.

„Видишь ли,—продолжала свой рассказ старуха,— когда Финкеля и его сына заперли в тюрьму, мне пришлось идти к судье в его камеру. Мертвого Каспера положили на стол и внесли туда, покрытого его уланским плащом, и тут я должна была все рассказать судье, что я про него знала и что он мне сегодня утром сказал в окно. Все это он написал на бумаге, лежавшей перед ним. Затем просмотрел бумажник, найденный у Каспера; в нем оказались разные счета, несколько рассказов о чести, также и тот рассказ о французском унтер-офицере, а за ним было что-то написано карандашом“. Тут старуха передала мне бумажник, и я прочел следующие последние слова несчастного Каспера: „Я тоже не могу пережить своего позора. Мой отец и мой брат—воры, они меня самого обокрали; сердце мое разбилось, и я должен был поймать их и передать суду, ибо я солдат моего герцога и честь моя не допускает никакой пощады. Я предал моего отца и брата возмездью, чести ради. Ах! походатайствуйте все, чтобы разрешено было меня похоронить с честью там, где я пал, рядом с могилой моей матери! Веночек, сквозь который я застрелился, пусть бабушка отошлет красотке Аннерль с приветом от меня. Ах, мне жаль ее всем моим существом, но нельзя же ей было выйти замуж за сына вора, ведь она так высоко ставила свою честь. Милая, прекрасная Аннерль, не слишком пугайся того, что со мной случилось, примиришь с этим, и если ты меня когда-нибудь хоть немного любила, то не говори обо мне худо! Я ведь не виноват в моем позоре! Я так горячо стремился всю жизнь соблюдать свою честь, я уже был унтер-офицером и пользовался наилучшей репутацией в эскадроне, я, наверное, сделался бы когда-нибудь офицером, и тебя, Аннерль, я никогда бы не покинул и не женился бы на более знатной,—но сын вора, который должен был сам поймать и отдать под суд своего отца, не может пережить сво-

его позора. Аннерль, милая Аннерль, возьми же все-таки этот веночек, я был тебе всегда верен, клянусь божьим милосердием! Возвращаю тебе твою свободу, но окажи мне честь и не выходи никогда замуж за худшего, чем я. И если можешь, походатайствуй за меня, чтобы меня честно похоронили рядом с моей матерью. И если бы тебе пришлось умереть здесь в нашей местности, то попроси похоронить тебя рядом с нами; добрая бабушка присоединится к нам, и тогда мы будем все вместе. У меня в ранце пятьдесят талеров, пусть их положат на проценты для твоего первого ребенка. Мои серебряные часы, если меня честно похоронят, пусть отдадут пастору. Мой конь, мундир и оружие принадлежат герцогу, а этот мой бумажник — тебе. Прощай, бесконечно дорогое сокровище моего сердца, прощай, милая бабушка, молитесь за меня и будьте все счастливы! — Да смилуется надо мной господь! Ах, мое отчаяние велико!

Я не мог без горьких слез прочесть этих последних слов несомненно благородного несчастного человека. — „Милая матушка, Каспер был, должно быть, очень хороший человек“, — сказал я старухе, которая после этих слов остановилась, пожала мне руку и сказала глубоко тронутым голосом: — „Да, это был лучший человек на свете. Но последних слов об отчаянии ему бы не нужно писать, он из-за них лишится честного погребения, из-за них он попадет в анатомию. Ах, милый писец, если бы только мог в этом помочь!“

„Как так, милая матушка? — спросил я, — разве могут его последние слова повлечь это за собой?“ — „Ну, конечно, — отвечала она, — судья сам мне это сказал. Отдан был приказ по всем судам, что честному погребению подлежат только самоубийцы-меланхолики; а кто наложит на себя руку с отчаяния, всех тех — в анатомию, и судья сказал мне, что он вынужден Каспера, который признался в своем отчаянии, отослать в анатомию“.

„Да, это чудной закон, — сказал я, — ведь тогда можно было бы заводить после каждого самоубийства целый

судебный процесс для выяснения того, произошло ли оно от меланхолии или от отчаяния, а процесс этот затянулся бы так долго, что судья и адвокаты сами впали бы из-за этого в меланхолию и отчаяние и попали бы в анатомию. Но утешьтесь, милая матушка, наш герцог такой добрый господин, что когда он обо всем узнает, то, наверное, разрешит отвести бедному Касперу местечко рядом с его матерью“.

„Дай бог! — ответила старуха, — ну так вот, милый человек, когда судья все это записал на бумаге, то он отдал мне бумажник и венок для передачи красотке Аннерль; вот я сюда вчера и прибежала, чтобы успеть принести ей в день торжества еще это утешеньице на дорогу. — Каспер во-время умер, если бы он все знал, то помешался бы с горя“..

„Что же случилось с красоткой Аннерль? — спросил я старуху. — То вы говорите, что ей осталось всего несколько часов, то упоминаете о дне ее торжества и о том, что ее утешит ваше скорбное сообщение. Разъясните же мне все: уж не собирается ли она праздновать свою свадьбу с другим, или, может быть, она умерла или больна? Я все должен знать, чтобы упомянуть обо всем этом в прошении“.

На это старуха ответила: „Ах, милый писец, что тут поделаешь! Да будет воля божия! Видишь, когда Каспер явился, я не была чересчур обрадована; когда Каспер лишил себя жизни, я не была чересчур огорчена; я бы не могла пережить это, если бы бог надо мной не смиростивился, послав мне посильнее горе. Скажу тебе по правде: мне лег камень на сердце, словно ледолом, и все горести, что, как лед, на меня обрушивались и, верно, разбили бы мое сердце, ломались об этот камень и холодные проносились мимо. Я расскажу тебе еще погрустнее историйку.“

„Когда моя крестница, красотка Аннерль, лишилась матери, что была мне родственницей и жила в семи милях от нас, я ходила за нею больной. Она была вдовой бедного крестьянина и в юности своей любила

одного охотника, но не вышла за него замуж из-за его беспутной жизни. Охотник этот дошел, наконец, до такого отчаянного положения, что посажен был не на жизнь, а на смерть в тюрьму за убийство. Об этом моя родственница узнала уже на одре болезни, и так это на нее тяжело подействовало, что ей с каждым днем становилось хуже, и, наконец, перед своей кончиной, поручив мне милую красотку Аннерль, как мою крестницу, и простившись со мной, она еще сказала мне в последнюю минуту: „Милая Анна-Маргарита, когда ты будешь проходить через городок, в котором бедный Юрге сидит в заключении, передай ему через тюремного сторожа, что я на смертном одре умоляю его обратиться к богу и что я в мой предсмертный час горячо за него помолилась и шлю ему мой сердечный привет“.— Добрая родственница моя вскоре после того умерла, а после ее похорон я взяла маленькую Аннерль, которой тогда было три года, на руки и пошла с ней домой.

„У въезда в городок, через который шла моя дорога, стоял дом палача, и так как тамошний палач славным был коновалом, то староста наш поручил мне захватить у него кое-какого лекарства. Я вошла в комнату и сказала палачу, что мне нужно, а он предложил мне пойти с ним на чердак, где у него хранились травы, и помочь ему их отобрать. Я оставила Аннерль в комнате и пошла с ним. Когда мы вернулись в комнату, Аннерль стояла перед шкафчиком у стены и сказала: „Бабушка, верно, в нем мышка, послушайте, как она стучит, там внутри мышка!“

„Лицо палача стало очень серьезным, когда он услышал слова ребенка; он распахнул шкаф и воскликнул: „Помилуй нас бог!“ ибо увидел, что меч правосудия, который один висел в шкафу на гвозде, качается взад и вперед. Он снял меч, и мне стало жутко. „Милая женщина,— сказал он,— если вы любите милую крошку Аннерль, то не пугайтесь, если я поцарапаю ей моим мечом кожу вокруг шейки; потому что перед нею меч закачался, ему захотелось ее крови, и если я не по-

дарапаю им ее шею, то ребенка ждет в жизни большое несчастье“. Тут он схватил ребенка, который принялся отчаянно плакать, я тоже вскрикнула и вырвала у него Аннерль. В это время вошел бургомистр городка, возвращавшийся с охоты, и привел к палачу большую собаку на лечение. Он спросил о причине крика. Аннерль закричала: „Он хочет меня убить!“ Я была вне себя от ужаса. Палач рассказал бургомистру, в чем дело. Тот резко и с большими угрозами упрекнул его за его суеверие, как он это назвал. Палач остался спокойно при своем мнении и сказал: „Этого держались мой предки, держусь и я“. На это бургомистр возразил: „Мастер Франц, я мог бы еще простить, если бы вы вообразили, будто ваш меч оттого закачался, что я в настоящую минуту вас извещаю о том, что завтра в шесть часов утра охотник Юрге должен быть вами обезглавлен; но выводить из этого заключение относительно этого милого ребенка — безрассудно и безумно. Человека можно привести в отчаяние, если сказать ему потом, когда он вырастет, что с ним в детстве случилось такое. Не следует никого вводить в искушение“. „Но и меч палача также“, — сказал про себя мастер Франц и повесил свой меч снова в шкаф. Тут бургомистр поцеловал Аннерль и дал ей булочку из своего ягдташа, а так как он меня спросил, кто я, откуда и куда направляюсь и я рассказала ему о смерти моей родственницы и о ее поручении к охотнику Юрге, то он сказал мне: „Вы так ему и передадите, я сам вас к нему отведу. У него жестокое сердце, может быть, в последние часы его тронет эта весточка от доброй умирающей женщины“. Затем добрый господин посадил меня и Аннерль в свой возок, стоявший у двери, и поехал с нами в городок.

„Он велел мне пойти к своей кухарке; там нас хорошо накормили, а к вечеру он отправился со мной к несчастному грешнику. Когда я передала тому последние слова моей родственницы, то он принялся горько плакать и воскликнул: „Ах, боже мой! если бы

она сделалась моей женой, я бы до этого не дошел“. Затем он высказал желание, чтобы к нему снова попросили господина священника, так как он хочет с ним помолиться. Бургомистр обещал ему, похвалил его за перемену мыслей и спросил, нет ли у него перед смертью желания, которое можно было бы удовлетворить. На это охотник Юрге ответил: „Ах, попросите эту добрую старушку, чтобы она завтра, вместе с дочкой покойной своей родственницы, присутствовала при моей казни,— это укрепит мне сердце в предсмертный час!“ Бургомистр обратился ко мне с этой просьбой, и, как ни жутко мне было, я не могла отказать в этом бедному, несчастному человеку. Я должна была дать ему руку и торжественное обещание, после чего он плача опустился на солому. После этого бургомистр отправился со мной к своему другу, священнику, которому мне пришлось снова все рассказать до его ухода в тюрьму.

„Ночь эту мы с ребенком проспали в доме бургомистра, а на следующее утро я совершила тяжкий путь на казнь охотника Юрге. Я стояла у места казни рядом с бургомистром и видела, как он переломил палочку. Затем охотник Юрге произнес еще прекрасную речь, так что все люди плакали; он взглянул растроганно на меня и на маленькую Аннерль, стоявшую передо мной, затем поцеловал мастера Франца, священник помолился с ним, потом ему завязали глаза, и он стал на колени. Тут палач нанес ему смертельный удар. „Иисус, Мария, Иосиф!“ — воскликнула я,— так как голова Юрге отлетела в сторону Аннерль и зубами ухватилась за платье ребенка, который заорал отчаянно. Я сорвала с себя фартук и набросила его на отвратительную голову, а мастер Франц подбежал, оторвал ее от платья и сказал: „Матушка, матушка, что я говорил вчера утром? Я знаю свой меч, он живой!“ Я опустилась от ужаса на землю, Аннерль отчаянно кричала. Бургомистр был очень смущен и велел отвезти меня и ребенка к себе в дом. Там жена его подарила мне и ребенку другие платья, так как наши

были забрызганы кровью Юрге, а после обеда бургомистр подарил нам еще денег, и многие из жителей городка, пожелавшие видеть Аннерль,— тоже, так что я получила для нее около двадцати талеров и много платья. Вечером пришел священник и долго убеждал меня, чтобы я воспитывала Аннерль непременно в богобоязни и не придавала бы никакого значения всяким мрачным предзнаменованиям, которые — только петли сатаны, заслуживающие презрения; и тогда он подарил мне прекрасную библию для Аннерль, которая еще и по сю пору у нее; и тогда добрый бургомистр велел отвезти нас на следующее утро домой, еще за три мили оттуда. Ах, боже мой, и все-таки все исполнилось!“ — сказала старушка и умолкла.

Страшное предчувствие овладело мною, рассказ старушки меня совершенно сокрушил. „Ради бога, матушка! — воскликнул я, — что же это случилось с бедной Аннерль, разве ей никак нельзя помочь?“

„Ее зубами тянуло на это! — сказала старуха. — Сегодня ее казнят, но она сделала это с отчаяния; честь, честь — вот что было у нее на уме. Она осрамилась из честолюбия, знатный человек ее соблазнил и бросил; она задушила своего младенца тем же фартуком, что я тогда набросила на голову охотника Юрге, а она его у меня тайком утащила. Ах, ее тянуло на это зубами, она сделала это в душевном смятении. Соблазнитель обещал на ней жениться и сказал, что Каспер остался во Франции. Тогда она пришла в отчаяние, совершила свое злое деяние и донесла на себя суду сама. В четыре часа будут ее казнить. Она написала мне, чтобы я еще к ней пришла; я это теперь сделаю и принесу ей венок и привет от бедного Каспера и розу, которую я сегодня ночью получила, это ее утешит. Ах, милый писец, если б ты мог только выхлопотать в прошение, чтобы ее тело и тело Каспера разрешено было похоронить на кладбище“.

„Все, все попытаюсь сделать! — воскликнул я. — Сейчас же побегу я во дворец; мой приятель, который вам

дал розу, находится там на карауле, он разбудит для меня герцога. Я брошусь на колени перед его постелью и буду просить о помиловании Аннерль“.

„О помиловании?— сказала старуха холодно.— Ведь ее же зубами на это тянуло; слушай, милый друг, правосудие лучше помилования; не поможет никакое помилование на земле: ведь все попадем мы на суд:

Вы, покойники, покойники, восстанете от сна,
Перед страшным судом вы предстанете сполна.

„Она, видите ли, вовсе не хочет помилования, его ей предлагали, если она назовет отца ребенка. Но Аннерль сказала: „Я умертвила его ребенка и хочу умереть, а не сделать его несчастным; я должна претерпеть наказание, чтобы соединиться с моим ребенком, а его это может погубить, если я его назову“. После того она осуждена была на казнь. Ступай к герцогу и проси у него для Каспера и Аннерль честного погребения! Иди сейчас же! Смотри: вон господин священник идет в темницу; я попрошусь, чтобы он взял меня туда с собой к красотке Аннерль. Если ты поторопишься, то, может, успеешь еще принести нам на казнь утешение — весть о честном погребении для Каспера и Аннерль“.

При этих словах мы встретились со священником. Старушка рассказала ему о своих отношениях с заключенной, и он взял ее с собой в темницу. Я же бросился с такой быстротой, как никогда еще не бегал, во дворец, и на меня произвело отрадное впечатление, явилось как бы предзнаменованием надежды, то, что, когда я пробегал мимо дома графа Гроссингера, то услышал из открытого окна садовой беседки приятный голос, певший под аккомпанемент лютни:

К любви взывала милость,
Но честь не знает сна,
И милости любовью
Желает спать она.
Любовь цветы бросает,
И милость шарф взяла,
Честь милого встречает:
Ведь милость ей мила.

Ах, у меня было еще больше хороших предзнаменований! В ста шагах оттуда я наткнулся на лежащий на улице белый шарф; я поспешно поднял его, он был полон благоухающих роз. Я держал его в руке и бежал дальше с мыслью: „Боже мой, это означает помилование“. Повернув за угол, я увидел человека, который завернулся в свой плащ, когда я мимо него пробежал, и быстро повернулся ко мне спиной, чтобы не быть узнанным. Ему незачем было это делать, ибо я ничего не видел и не слышал; внутри меня звучало только: „Помилование, помилование!“ и я бросился через решетчатые ворота во двор замка. Слава богу, прапорщик граф Гроссингер, ходивший взад и вперед под цветущими каштанами перед гауптвахтой, уже шел мне навстречу.

„Милый граф,— сказал я в волнении,— вы должны отвести меня сейчас же к герцогу, сию же минуту, или будет уже поздно, все пропадет!“

Его, повидимому, смутило мое предложение, и он сказал: „Что это вам вздумалось, в такой неурочный час? Это невозможно. Приходите к параду, тогда я вас представлю“.

У меня почва под ногами горела. „Теперь,— воскликнул я,— или никогда! Это необходимо! Дело идет о жизни человека“.

„В настоящую минуту это невозможно,— возразил Гроссингер строго.— Дело идет о моей чести; мне запрещено являться нынешней ночью с каким бы то ни было докладом“.

Слово честь меня взорвало. Я подумал о чести Каспера, о чести Аннерль и сказал: „Проклятая честь! Как раз для оказания той последней помощи, которой всего-то и осталось от этой чести, мне необходимо видеть герцога. Вы должны обо мне доложить, или я начну громко звать герцога“.

„Попробуйте только пикнуть,— сказал Гроссингер резко,— я сейчас же посажу вас на гауптвахту. Вы — фантазер, не сообразуетесь ни с какими обстоятельствами“.

„О, я знаю обстоятельства, ужасные обстоятельства! Мне необходимо попасть к герцогу, каждая минута неопределима! — ответил я. — Если вы сейчас же обо мне не доложите, то я поспешу к нему один“.

С этими словами я направился было к лестнице, ведущей в покои герцога, как заметил, что к этой же лестнице спешит тот же закутанный в плащ человек, который повстречался мне раньше. Гроссингер насильно повернул меня так, чтобы я не мог его видеть. „Что вы делаете, безумец? — прошептал он мне, — молчите, успокойтесь! Вы меня приводите в отчаяние“.

„Почему вы не останавливаете того человека, который туда пошел? — сказал я. — У него не может быть более срочных дел к герцогу, чем у меня. Ах, это так срочно, мне нужно, мне нужно! Дело идет о судьбе одного несчастного, соблазненного, бедного существа“.

Гроссингер возразил: „Вы видели вошедшего к герцогу человека; если вы пророните об этом когда-нибудь хоть слово, то вам угрожает мой клинок. Вы не можете войти именно потому, что он вошел; у герцога есть к нему дело“.

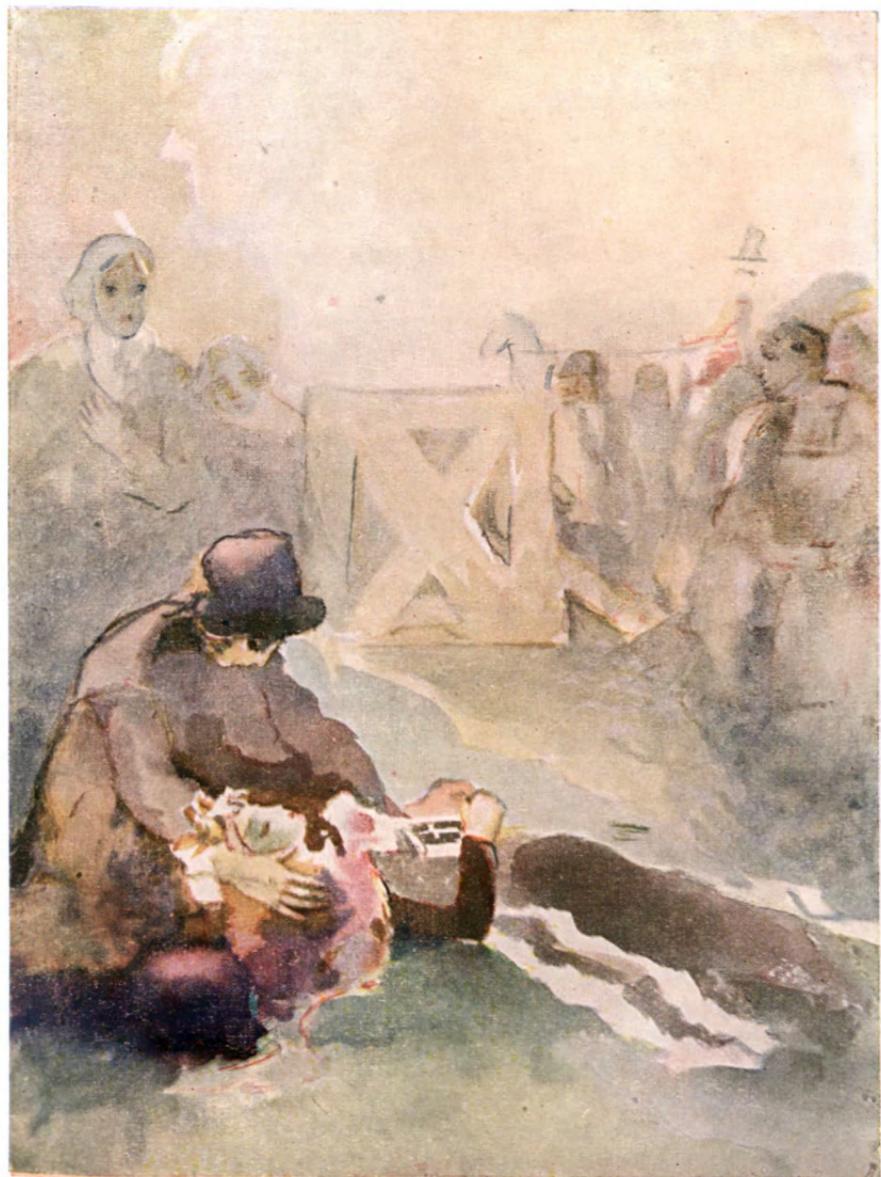
Тут окна герцога осветились. „Господи, у него свет, значит он не спит! — сказал я. — Я должен с ним говорить, ради самого неба, пустите меня, или я закричу о помощи“.

Гроссингер схватил меня за руку и сказал: „Вы пьяны, ступайте на гауптвахту; я — ваш друг, проспите и скажите мне ту песню, что старуха пела сегодня ночью на крылечке, когда я вел дозор; эта песня меня очень интересует“.

„Как раз об этой старухе и ее близких мне и нужно говорить с герцогом!“ — воскликнул я.

„О старухе? — ответил Гроссингер. — Относительно нее поговорите со мной, важные господа такими вещами не интересуются. Идемте скорее на гауптвахту!“

Он хотел потащить меня за собой, но тут дворцовые часы пробили половину четвертого. Звон этот пронзил



мне сердце, как крик о помощи, и я закричал изо всех сил в сторону окон герцога:

„Помогите! Ради бога помогите несчастному, соблазненному существу!“ Тут Гроссингер прямо взбесился. Он хотел зажать мне рот, но я от него вырвался; он толкнул меня в спину, он ругался, я ничего не чувствовал, ничего не слышал. Он вызвал караул; капрал с несколькими солдатами подбежали, чтобы меня схватить. Но в эту минуту окно у герцога распахнулось, и он крикнул вниз: „Прапорщик граф Гроссингер, что это за скандал? Приведите ко мне немедленно этого человека!“

Я не стал дожидаться прапорщика; я бросился наверх по лестнице, я пал к ногам герцога, который смущенно и недовольно велел мне встать. На нем были сапоги со шпорами, но вместе с тем и халат, который он старательно придерживал на груди.

Я доложил герцогу настолько кратко, насколько того требовали обстоятельства, все, что мне старуха рассказала о самоубийстве Каспера и о том, что случилось с красоткой Аннерль, и умолял его, чтобы казнь была хотя бы отложена на несколько часов и чтобы, если помилование окажется невозможным, обоим несчастных разрешено было бы предать честному погребению.— „Ах, помилуйте, помилуйте ее!—воскликнул я, вынимая при этом из-за пазухи найденный мною белый шарф, полный роз.— Мне казалось что этот шарф, который я нашел по дороге сюда, предвещает помилование“.

Герцог порывисто схватил шарф и был сильно взволнован; он сжимал шарф в руках, пока я произносил слова: „Ваша светлость! Эта бедная девушка — жертва ложного честолюбия; одно знатное лицо соблазнило ее и обещало на ней жениться. Ах, она так добра, что предпочитает умереть, нежели его назвать“.— Тут герцог прервал меня со слезами на глазах и сказал: „Молчите, ради самого неба молчите!“— Затем он повернулся к прапорщику, стоявшему у двери, и поспешно сказал: „Ступайте скорее, поезжайте верхом с этим человеком;

гоните лошадь хоть до смерти, лишь бы поспеть вовремя к месту казни. Прикрепите этот шарф к вашей шпаге, машите ею и кричите: „Помилование, помилование!“ Я последую за вами“.

Гроссингер взял шарф. Он совершенно преобразился и походил на призрак от страха и торопливости. Мы бросились в конюшню, сели на лошадей и поскакали галопом; он ринулся как безумный из ворот. Прикрепляя шарф к острию своей шпаги, он воскликнул: „Господи Иисусе, моя сестра!“ Я не понял, что он хотел сказать. Он вытянулся на стременах, размахивал шарфом и кричал: „Помилование, помилование!“ Мы увидели толпу, собравшуюся на холме вокруг места казни. Лошадь моя испугалась развевающегося шарфа. Я — плохой наездник и не в состоянии был догнать Гроссингера; он летел во весь карьер, я напрягал все свои силы. Печальная судьба! Поблизости упражнялась артиллерия; грохот пушек не дал услышать наш крик издали. Гроссингер спрыгнул с лошади, толпа раздалась, я увидел место казни, увидел блеск стали в лучах утреннего солнца — боже мой, это сверкнул меч палача! — Я подскочил и услышал жалобный вопль толпы. „Помилование, помилование!“ кричал Гроссингер и ринулся как сумасшедший с развевающейся вуалью к месту казни. Но палач протянул ему навстречу окровавленную голову красотки Аннерль, грустно ему улыбающуюся. Тогда он закричал: „Боже, смилуйся надо мной! — и припал к трупу на земле. — Убейте меня, убейте меня, люди! Я ее соблазнил, я ее убийца!“

Жажда мщения охватила толпу. Женщины и девушки протеснились вперед, оторвали его от трупа и начали топтать его ногами, он не сопротивлялся; стража не в состоянии была сдержать разъяренный народ. Тут поднялся крик: „Герцог, герцог!“ — Он подъехал в открытой коляске; рядом с ним сидел очень еще юный человек, низко надвинувший шляпу на лицо и закутанный в плащ. Люди подтащили Гроссингера к экипажу. „Иисусе, мой брат!“ — закричал совершенно женским го-

лосом молодой офицер. Герцог сказал ему в смущении: „Молчите!“ — Он выпрыгнул из экипажа, молодой человек хотел за ним последовать; герцог оттолкнул его почти грубо назад; но благодаря этому обнаружилось, что молодой человек не кто иной как переодетая офицером сестра Гроссингера. Герцог распорядился положить избитого, окровавленного, бесчувственного Гроссингера в экипаж; сестра перестала скрываться и набросила на него свой плащ. Все увидели ее в женском одеянии. Герцог был смущен, но оправился и приказал, чтобы экипаж тотчас же повернул и отвез графиню и ее брата в их дом. Это происшествие несколько успокоило ярость толпы. Герцог сказал громко офицеру, командующему стражей: „Графиня Гроссингер видела, как ее брат проскакал мимо их дома, неся помилование, и захотела присутствовать при этом радостном событии; когда я проезжал мимо с тою же целью, она стояла у окна и попросила меня захватить ее с собой в экипаже. Я не мог отказать в этом добросердечному ребенку. Она взяла, чтобы не обращать на себя внимания, плащ и шляпу своего брата, но, застигнутая врасплох несчастным случаем, превратила как раз благодаря этому все в романтический скандал. Но как же это вы, господин лейтенант, не смогли защитить несчастного графа Гроссингера от черни? Ведь это ужасно, что он опоздал из-за падения с лошади; но ведь он в этом не виноват. Я хочу, чтобы люди, избившие графа, были арестованы и наказаны“.

В ответ на речь герцога поднялся общий крик: „Он негодяй, он соблазнитель, он убийца красотки Аннерль; он сам это сказал, негодяй, подлец!“

Так как это раздавалось со всех сторон и было подтверждено священником, офицером и судейским персоналом, то герцог был этим так глубоко потрясен, что мог лишь промолвить: „Ужасно, ужасно, и злощастный человек!“

После этого герцог подошел совсем бледный к месту казни; ему хотелось взглянуть на тело красотки Ан-

нерль. Она лежала на зеленой траве в черном платье с белыми лентами. Старая бабушка, не обращавшая никакого внимания на все, что происходило вокруг, приложила ее голову к туловищу и прикрыла место ужасного разреза своим фартуком. Она занята была тем, чтобы сложить ей руки над библией, которую священник подарил в маленьком городке маленькой Аннерль; золотой веночек она повязала ей вокруг головы, а розу, подаренную ей ночью Гроссингером, не знаящим, кому он ее дает, она приколола ей на груди.

При виде этого герцог сказал: „Прекрасная, несчастная Аннерль! Подлый соблазнитель, ты опоздал! — Бедная, старая матушка, ты одна осталась ей верна до самой смерти!“ Увидав меня при этих словах близости от себя, он обратился ко мне: „Вы говорили мне о завещании капрала Каспера; при вас оно?“ Я обратился к старушке и сказал: „Бедная матушка, дайте мне бумажник Каспера; его светлость хочет прочесть его завещание“.

Старушка, которая ни на что не обращала внимания, сказала ворчливо: „Ты опять тут? Ты бы лучше вовсе оставался дома. Прощение у тебя? Теперь уже поздно. Я не могла утешить бедное дитя тем, что она будет честно похоронена рядом с Каспером; ах, я солгала ей это, но она мне не поверила!“

Тут герцог прервал ее и сказал: „Вы не солгали, добрая матушка. Тот человек сделал все от него зависящее; виновато во всем падение лошади. Пусть она будет похоронена с честью рядом со своей матерью и Каспером, который был честный малый. На их погребении пусть будет произнесена проповедь на слова: „Воздавайте честь одному богу!“ Каспер пусть будет похоронен как прапорщик, его эскадрон даст три залпа над его могилой, а шпага погубителя Гроссингера будет возложена на его гроб“.

С этими словами он схватил шпагу Гроссингера, которая все еще лежала вместе с шарфом на земле, снял

с нее шарф, покрыл им Аннерль и сказал: „Этот несчастный шарф, который должен был принести ей помилование, пусть возвратит ей честь. Она умерла честной и помилованной, пусть шарф будет погребен вместе с нею“.

Шпагу он передал караульному офицеру со словами: „Вы еще получите от меня на параде приказания относительно похорон улана и этой бедной девушки“.

Затем он громко и с большим чувством прочел последние слова Каспера. Старая бабушка обняла, радостно плача, его ноги, как будто она была счастливейшая из женщин. Он сказал ей: „Успокойтесь, вы будете получать пенсию до самой вашей кончины; вашему внуку и Аннерль я прикажу поставить памятник“. Затем он велел священнику отправиться со старухой и с гробом, в который была положена казненная, к себе на квартиру, а потом отвезти их на родину и позаботиться о погребении. Тем временем прибыли его адъютанты с лошадьми, и он сказал, обращаясь ко мне: „Сообщите моему адъютанту ваше имя, я вас вызову. Вы обнаружили прекрасное, гуманное рвение“. Адъютант записал в памятной книжке мое имя и сказал мне любезный комплимент. После этого герцог поскакал, сопровождаемый благословениями толпы, в город. Тело красотки Аннерль доставлено было вместе с доброй старой бабушкой в дом священника, с которым она вернулась следующей же ночью на родину. Офицер прибыл туда же на другой вечер со шпагой Гроссингера и эскадроном улан. После этого честный Каспер похоронен был, со шпагой Гроссингера на гробу и патентом на чин прапорщика, вместе с красоткой Аннерль, рядом со своей матерью. Я также поспешил туда и вел под руку старую матушку, которая радовалась, как дитя, но была мало разговорчива; а когда уланы дали третий залп над могилой Каспера, она упала мертвой мне на руки. Она похоронена была

также рядом со своими. Да дарует им всем господь радостное воскресение!

Взойдут они вверх к высоким чертогам,
Туда, где сидят ангелочки пред богом.
Проходил там господь Иисус Христос,
Большую радугу пронес.
И душа будет навек чиста,
Когда все мы придем пред Иисуса Христа!
Аминь.

Вернувшись в столицу, я услышал, что граф Гроссингер умер — он отравился. У себя дома я нашел письмо от него. В нем было написано:

„Я вам многим обязан. Вы выявили на свет божий мой позор, которым уже давно терзалось мое сердце. Песню, которую пела старуха, я знал хорошо: Аннерль часто ее мне певала, она была невыразимо благородное существо. Я же был подлый преступник. В ее руках находилось мое письменное обещание на ней жениться, и она его сожгла. Она была в услужении у моей старой тетки, она часто страдала меланхолией. Я овладел, при помощи особых медицинских средств, отличающихся какими-то магическими свойствами, ее душой.— Боже, буди милостив ко мне грешному!— Вы спасли также и честь моей сестры. Герцог ее любит, я был его фаворитом — это происшествие потрясло его — помоги мне, господи! Я принял яд.

Граф Иосиф Гроссингер“.

Передник красоти Аннерль, в который вцепилась зубами голова охотника Юрге после ее отсечения, хранится в герцогской кунсткамере. Говорят, герцог возводит сестру графа Гроссингера в княжеское достоинство под фамилией „Voile de Grace“, что значит „шарф помилования“, и женится на ней. Во время ближайшего смотра в окрестностях Д... будет освящен на деревенском кладбище памятник на могилах обеих несчастных жертв чувства чести. Герцог и княгиня будут сами при этом присутствовать. Он чрезвычайно доволен памятником;

говорят, что идея его придумана была княгиней и герцогом сообща. Памятник изображает собою ложную и истинную честь, которые с двух сторон преклоняются до земли пред крестом; правосудие стоит с обнаженным мечом по одну сторону, а милость — по другую, и простирает шарф. В чертах лица правосудия находят сходство с герцогом, а в чертах лица милости — сходство с чертами княгини.

ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ

МАРКИЗА О...

В М., одном из крупных городов Верхней Италии, вдовствующая маркиза О., женщина, пользовавшаяся превосходной репутацией, и мать нескольких прекрасно воспитанных детей, напечатала в газетах, что она, сама того не подозревая, оказалась в положении и просит отца ожидаемого ею ребенка явиться и что она из семейных соображений решила выйти за него замуж.

Женщина, которая с такой уверенностью, под давлением неотвратимых обстоятельств, сделала столь странный, вызывающий всеобщую насмешку шаг, была дочь господина Г., коменданта цитадели в М. Около трех лет тому назад она потеряла мужа, маркиза О..., которого искренно и нежно любила; маркиз скончался во время путешествия, предпринятого им в Париж по семейным делам. По желанию своей почтенной матери, госпожи Г., она покинула после смерти мужа свое поместье, где дотоле проживала, близ города В. и вновь вместе с двумя детьми поселилась у своего отца в комендантском доме. Здесь провела она ближайшие годы, занимаясь искусством, чтением, воспитанием детей и уходом за родителями в полном уединении до тех пор, пока вспыхнувшая война не наводнила окрестностей войсками почти всех держав, в том числе и русскими. Полковник Г., получивший приказ защищать крепость, предложил жене и дочери переехать либо

в имение последней, либо в имение его сына, расположенное близ города. В. Но раньше чем женщины успели взвесить опасности, которым они могли подвергнуться в осажденной крепости, и ужасы, угрожавшие им в открытой местности, и решиться на тот или другой выбор, цитадель уже оказалась быстро окруженною русскими войсками, и коменданту ее было предложено сдаться. Полковник объявил своему семейству, что теперь он поступит так, как если бы их здесь не было, и ответил ядрами и гранатами. Неприятель с своей стороны стал бомбардировать цитадель. Он поджег склады, овладел одним из наружных укреплений, и, когда на новое предложение сдаться комендант заколебался, то произвел ночную атаку и взял крепость штурмом.

Как раз в то самое мгновение, когда русские под жестоким гаубичным огнем врывались в цитадель снаружи, левое крыло дома коменданта загорелось, что вынудило женщин покинуть его. Жена полковника, следовавшая за дочерью, которая со своими детьми поспешно спускалась с лестницы, крикнула ей, чтобы она вместе с нею спасалась в подвальное помещение; однако граната, разорвавшаяся в это самое мгновение внутри дома, довершила царившее в нем смятение. Маркиза оказалась с обоими детьми на площади перед замком, где выстрелы кипевшего кругом боя сверкали во мраке ночи, и снова ее, обезумевшую и не знавшую, куда спастись, загнали в горящее здание. Здесь, к несчастью, как раз в то мгновение, когда она собиралась ускользнуть через заднюю дверь, ей встретился отряд неприятельских стрелков, которые, увидев ее, вдруг остановились, перекинули ружья за плечо и с отвратительными жестами потащили ее за собой. Напрасно маркиза, в то время как ужасная шайка дерущихся между собою солдат рвала ее то в одну, то в другую сторону, звала на помощь своих трепещущих служанок, которые спасались через ворота. Ее притащили на задний двор замка, где она под гнетом жесточайших на-

силый готова была упасть на землю, когда, привлеченный отчаянными криками женщины, появился русский офицер, который жестокими ударами разогнал этих псов, жадных до такой добычи. Маркизе он показался ангелом, ниспосланным с небес. Последнего озверевшего злодея, который охватил рукой ее стройный стан, он ударил эфесом шпаги по лицу так, что тот шатаясь отошел, выплевывая кровь; затем, обратившись с любезной французской фразой к даме, он предложил ей руку и провел ее, утратившую от всего пережитого способность говорить, в другое, не охваченное огнем крыло дворца, где она упала, потеряв сознание. Здесь, куда вскоре сбежались ее перепуганные служанки, он распорядился вызовом врача и, надев шляпу, уверил, что она скоро придет в себя, после чего снова вернулся в бой.

Крепость вскоре была окончательно взята, и комендант, который уже только оборонялся, так как ему не хотели дать пощады, отступил, теряя силы, к воротам замка, когда русский офицер с разгоряченным лицом вышел оттуда и крикнул ему, чтобы он сдался. Комендант отвечал, что он только и ждал этого предложения, передал ему свою шпагу и испросил разрешения войти в замок, чтобы разыскать свое семейство. Русский офицер, бывший, судя по роли, которую он играл, одним из предводителей приступа, позволил ему это под охраной конвоира и, поспешно став во главе одного из отрядов, решил исход боя там, где он еще был сомнителен, и наскоро занял вооруженными силами важнейшие пункты крепости. Вскоре затем он вернулся на сборное место, приказал остановить все более и более распространявшийся пожар, причем сам проявлял чудеса энергии, когда его распоряжения исполнялись не с достаточным усердием. То взлезал он с кишкой в руках по горящим крышам, направляя струю воды, то, наполняя ужасом сердца азиатов, задерживался в арсеналах и выкатывал оттуда бочки с порохом и начиненные бомбы. Комендант, тем временем вошедший в дом, был страшно перепуган, узнав об ужасном слу-

чае с маркизой. Маркиза, которая и без помощи врача совершенно очнулась от своего обморока, как то предсказывал русский офицер, была чрезвычайно рада увидеть всех своих живыми и здоровыми и оставалась в постели лишь для того, чтобы успокоить их чрезмерную тревогу; она уверяла, что единственное желание ее — встать, чтобы выразить всю свою признательность своему избавителю. Она уже знала, что то был граф Ф., подполковник Т-ского стрелкового батальона и кавалер многих орденов. Она просила отца настоятельно убедить его не покидать дитадели, не зайдя, хотя бы на минуту, в замок. Комендант, уважая чувства дочери, немедленно вернулся в дитадель и, не найдя более удобного случая, так как граф Ф. все время переходил с места на место, будучи занят всевозможными военными распоряжениями, передал ему желание своей растроганной дочери на валу, где тот производил смотр поредевшим в бою ротам. Граф уверил его, что он только и ждет той минуты, когда ему удастся освободиться от своих занятий, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение. Он осведомился, как себя чувствует маркиза, когда подошедшие в это время с донесениями офицеры снова вовлекли его в сумятицу военных действий. Когда наступил день, прибыл начальник русских войск и осмотрел дитадель. Он выразил коменданту свое уважение, высказал сожаление, что счастье не оказало его мужеству надлежащей поддержки, и отпустил его на честное слово, предоставив ему отправиться, куда ему будет угодно. Комендант выразил ему свою признательность, добавив, что он за этот день многим обязан русским вообще, особенно же молодому графу Ф., подполковнику Т-ского стрелкового батальона. Генерал спросил, что собственно произошло, и, когда ему рассказали о преступном покушении на дочь коменданта, он выразил сильнейшее негодование. Он вызвал графа Ф. Высказав ему в кратких словах свою похвалу по поводу его благородного поведения, причем все лицо графа вспыхнуло горячим румянцем, он в за-

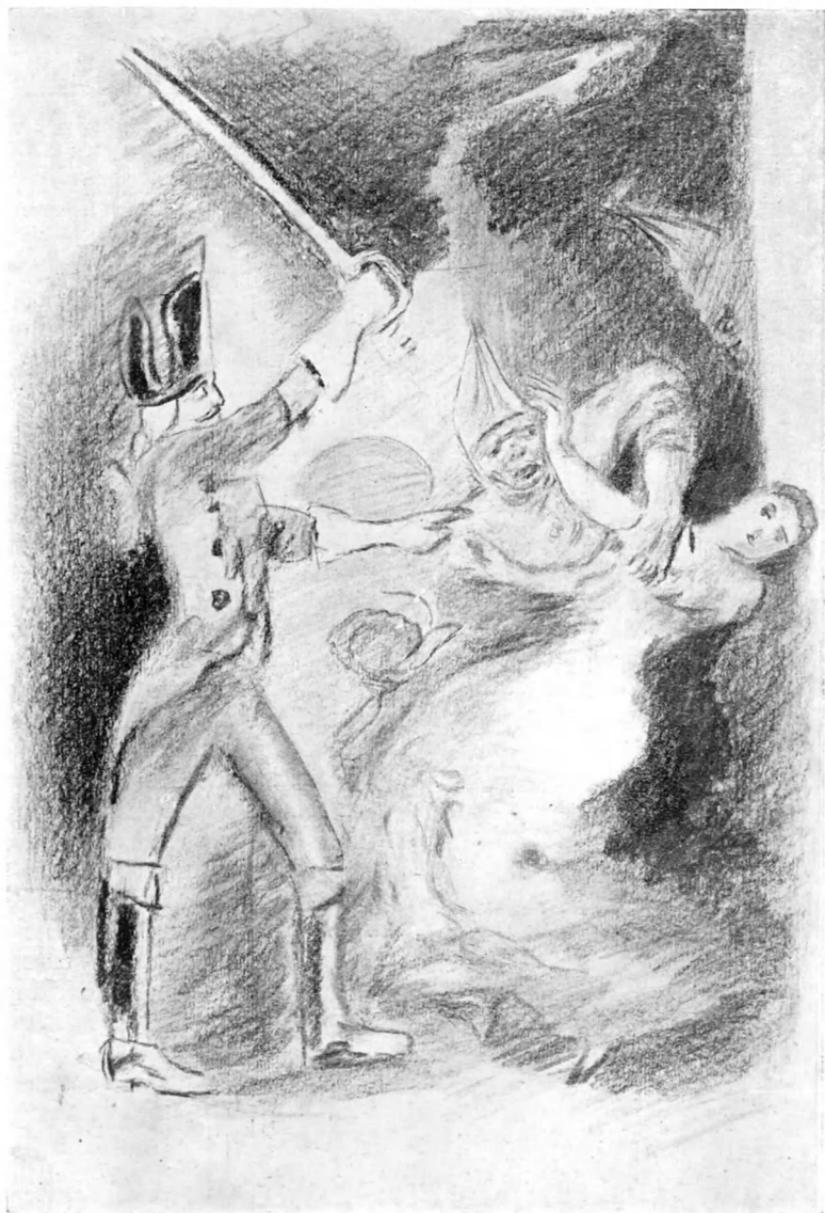
ключение заявил, что велит расстрелять мерзавцев, порождающих имя своего императора, и велел указать, кто они.

Граф Ф. смущенно и сбивчиво заявил, что он не в состоянии назвать их имена, так как при слабом мерцании фонарей во дворе замка он не мог разглядеть их лиц. Генерал, слышавший, что в то время замок уже был охвачен пламенем, выразил по этому поводу свое удивление; он заметил при этом, что даже ночью можно признать хорошо знакомых людей по голосу, и приказал, когда граф в смущении только пожал плечами, произвести с возможной энергией строжайшее расследование этого дела. В это время кто-то, протеснившись вперед из задних рядов, доложил, что одного из раненных графом Ф. злодеев, упавшего в коридоре, слуги коменданта перетащили в отдельную каморку и что он все еще там находится. Генерал тотчас приказал привести его под конвоем, коротко допросить и расстрелять всю шайку, состоявшую из пяти человек, после того как тот назвал всех пятерых по именам. Покончив с этим делом, генерал, оставив в цитадели небольшой гарнизон, отдал остальным войскам приказ о выступлении; офицеры поспешно разошлись к своим частям; граф Ф. среди суматохи и спешки подошел к коменданту и выразил ему сожаление, что при таких обстоятельствах он должен просить передать его почтение маркизе, и менее чем через час русские покинули крепость.

Семейство коменданта подумывало о том, как бы в будущем найти случай тем или иным образом выразить графу свою признательность; но как велик был их ужас, когда они узнали, что граф в тот самый день, когда он покинул цитадель, был убит в стычке с неприятельскими войсками. Курьер, привезший это известие в М., видел собственными глазами, как его, смертельно раненного в грудь, переносили в П., где, по достоверным сведениям, он скончался в то мгновение, когда принесшие его солдаты хотели снять его с носилок. Комендант, лично отправившийся в поч-

товую контору и расспросивший о подробностях этого происшествия, узнал еще, что в тот самый миг, когда пуля поразила его на поле битвы, он воскликнул: „Джюльетта! эта нуля отомстила за тебя!“; после чего его уста сомкнулись навеки. Маркиза была безутешна, что упустила случай броситься к его ногам. Она упрекала себя, что после его отказа зайти в замок, обусловленного, как она полагала, его скромностью, она сама его не разыскала; она пожалела о своей несчастной теще, о которой он вспомнил перед самой смертью; тщетно пыталась она ее разыскать, дабы сообщить ей об этом печальном и трогательном происшествии, и прошло несколько месяцев, пока она сама о нем забыла.

Семейству Г. пришлось теперь очистить дом коменданта для русского начальника. Сначала подумывали о том, чтобы перебраться в одно из поместий коменданта, чего очень желала маркиза, но так как полковник не любил деревенской жизни, то семейство заняло дом в городе и стало в нем устраиваться на постоянное жительство. Все вошло теперь в прежнюю колею. Маркиза после продолжительного перерыва снова принялась за обучение своих детей, а в свободные часы опять садилась за свой мольберт и книги; но тут, будучи вообще самой богиней здоровья, она вдруг стала испытывать повторное недомогание, которое целыми неделями делало ее неспособной бывать в обществе. Она страдала тошнотами, головокружениями и обмороками, решительно не понимая, что с нею делается. Однажды утром, когда вся семья сидела за чаем и отец на минуту отлучился из комнаты, маркиза, очнувшись от продолжительного забытья, обратилась к своей матери со словами: „Если бы какая-нибудь женщина мне сказала, что она испытывает то, что я только что ощутила, взяв в руку чашку чая, я бы подумала про себя, что она в положении“. Госпожа Г. ответила, что не понимает ее. Тогда маркиза пояснила, что у нее только что было точно такое же ощущение, какое она испытывала тогда, когда была беременна своей второй дочерью. Госпожа



Г. засмеялась и сказала, что, пожалуй, она родит Фантаза*. „В таком случае, по крайней мере, Морфей, или какой-либо сон из его свиты, оказался бы его отцом“, — отвечала шутливо маркиза. Но вошедший в эту минуту полковник прервал этот разговор, а так как маркиза через несколько дней оправилась, то весь этот случай скоро был забыт.

Немного времени спустя, как раз когда сын коменданта, лесничий Г., приехал к ним, вся семья была напугана вошедшим в комнату лакеем, который доложил о прибытии графа Ф. „Граф Ф.!“ — в один голос воскликнули отец и дочь, и все онемели от удивления. Лакей заверил, что он хорошо видел и слышал и что граф Ф. уже здесь и ждет в передней. Комендант сам вскочил, чтобы отворить ему дверь, и граф, прекрасный, как молодой бог, хотя немного побледневший, вошел в комнату. После первых минут общего изумления, на восклицание родителей, что ведь он умер, граф отвечал, что он жив, и, обратившись с глубоко растроганным выражением на лице к дочери, прежде всего спросил ее, как она себя чувствует. Маркиза уверила его, что превосходно, и только хотела от него узнать, каким образом он воскрес. Однако, продолжая настаивать на своем вопросе, граф возразил, что она говорит ему неправду: ее лицо носит отпечаток чрезвычайной усталости; или он ошибается, или она должна испытывать недомогание и страдает. Маркиза, тронутая той сердечностью, с которой он это высказал, отвечала, что ее утомленный вид, пожалуй, объясняется нездоровьем, которое она испытала несколько недель тому назад; однако она не опасается, чтобы это имело какие-либо дальнейшие последствия. На это он отвечал, радостно вспыхнув, что также не опасается этого, и прибавил: не согласится ли она выйти за него замуж? Маркиза не знала, что ей и думать по поводу такого выступления. Она, покраснев до корней волос, взглянула на

* Фантаз — сын Морфея, бог сна (Греч. миф.). М. II.

мать, которая в свою очередь в смущении глядела на сына и мужа; между тем граф подошел к маркизе, взял ее руку, словно собираясь ее поцеловать, и повторил: поняла ли она его? Комендант предложил ему присесть и любезно, хотя и с несколько серьезным выражением лица, подвинул ему стул. Полковница промолвила: „В самом деле, мы не перестанем считать вас за призрак до тех пор, пока вы не откроете нам, каким образом вы встали из гроба, в который вас положили в П.“.

Граф, выпустив руку маркизы, сел и сказал, что он вынужден по некоторым обстоятельствам быть очень кратким: получив смертельную рану в грудь, он был доставлен в П., где, в течение нескольких месяцев, сам сомневался, выживет ли он; что в это время маркиза была единственным предметом его мыслей; что он не в силах описать то упоение и то страдание, которые сплетались в его душе при воспоминании о ней; что, поправившись, наконец, он вернулся в строй; что там он испытывал сильнейшее волнение и беспокойство; что он не раз брался за перо, чтобы излить свое сердце в письме господину полковнику и маркизе; что внезапно его отправили с депешами в Неаполь; что он не знает, не пошлют ли его оттуда дальше в Константинополь, что ему, пожалуй, придется даже поехать в Петербург; что между тем он не может дольше жить, не уяснив себе положения дела в связи с одним непреложным требованием его души; что проезжая через М., он не мог удержаться, чтобы не предпринять некоторых шагов к этой цели; словом, что он питает надежду быть осчастливленным рукою маркизы, а потому он почтительнейше и настоятельнейше умоляет дать ему по этому поводу благосклонный ответ.

Комендант после продолжительного молчания отвечал, что предложение графа, если оно — в чем он не сомневается — серьезно, чрезвычайно лестно для него. Однако дочь его после смерти своего супруга, маркиза О., решила не вступать вторично в брак. Но так как граф

еще недавно оказал ей такую огромную услугу, то возможно, что решение ее изменится в желательном для графа смысле; поэтому он от ее имени просит дать ей некоторое время на спокойное размышление. Граф стал уверять, что хотя этот милостивый ответ и удовлетворяет всем его надеждам, что при других обстоятельствах он бы его вполне осчастливил и он сознает всю неуместность того, что не довольствуется им, но что тем не менее известные обстоятельства, изложить которые он не имеет возможности, вынуждают его просить о более определенном ответе, который является для него крайне желательным; что лошади, которые должны его отвезти в Неаполь, уже впряжены в его карету и что он убедительно просит, если в этом доме что-либо говорит в его пользу,—при этом он взглянул на маркизу,—не дать ему уехать без благосклонного ответа.

Полковник, несколько смущенный таким выступлением, ответил, что признательность к нему, испытываемая маркизой, хотя и дает ему право рассчитывать на многое, однако — до известного предела; она не предпримет шага, от которого зависит счастье всей ее жизни, без надлежащего благоразумия. Необходимо, чтобы его дочь, раньше чем дать окончательный ответ, имела счастье ближе с ним познакомиться. Поэтому он приглашает графа, по окончании его командировки, вернуться в М. и погостить некоторое время в его доме. Если после этого у маркизы появится надежда, что граф может составить ее счастье, то и он в таком случае с радостью услышит, что она дала ему окончательный ответ на его предложение.

Граф, покраснев, отвечал, что всю дорогу он предсказывал такую судьбу пламенным желаниям своего сердца; что тем не менее это повергает его в глубочайшую скорбь; что при той невыгодной роли, которую он в настоящее время вынужден играть, ему условно представляется желательным, чтобы с ним ближе познакомились; что за свою репутацию,—если только

эта крайне сомнительная принадлежность человека заслуживает внимания,— он может поручиться; что единственный недостойный поступок, который он в своей жизни совершил, никому неведом и в настоящее время он приступил к искуплению его; что он вполне честный и порядочный человек и просит верить, что это его утверждение безусловно соответствует истине.

Комендант с улыбкой, но без малейшей иронии, отвечал, что он готов обеими руками подписаться под всем им сказанным. До сих пор ему не приходилось встречать молодого человека, который в такое короткое время проявил бы столько превосходных черт своего характера. Он почти уверен, что непродолжительное размышление рассеет последние имеющиеся сомнения; однако, пока он не переговорит со своим семейством и не снесется с семейством графа, другого ответа, кроме данного им, последовать не может. На это граф отвечал, что родителей у него нет и что он совершенно самостоятелен. Дядя его — генерал К., за согласие которого он ручается. К этому он добавил, что у него значительное состояние и что он готов сделать Италию своим отечеством.

Комендант с любезным поклоном вновь высказал ему свою волю, прося его не возвращаться к этому предмету до окончания его путешествия. Граф после непродолжительного молчания, во время которого у него наблюдались все признаки глубочайшего волнения, сказал, обратившись к матери маркизы, что он сделал все от него зависящее, дабы избежать этой командировки, что шаги, предпринятые им с этой целью перед главнокомандующим и перед дядей, генералом К., были самые решительные, какие только можно было сделать, но что последние надеялись, что это путешествие рассеет ту меланхолию, которая якобы оставалась от его болезни; между тем он, именно благодаря этому, чувствует себя глубоко несчастным.

Семья недоумевала, что ответить на эти слова. Граф потер лоб рукой и продолжал, что если есть какая-

нибудь надежда, что это приблизит его к исполнению его желания, он мог бы отложить свой отъезд на день, а может быть, и больше, чтобы сделать еще попытку. При этом он поочередно взглянул на коменданта, на его жену и на маркизу. Комендант с неудовольствием опустил глаза и ничего ему не ответил. Полковница сказала: „Поезжайте, поезжайте, граф, съездите в Неаполь; по возвращении подарите нас на некоторое время своим присутствием, и все устроится наилучшим образом“.

Граф с минуту сидел и, казалось, раздумывал, что ему предпринять. Затем, поднявшись и отодвигая стул, сказал: так как он видит, что надежда, с которой он вошел в этот дом, оказалась преждевременной и они настаивают на более близком знакомстве, что, впрочем, он не может не одобрить, то он отошлет порученные ему депеши в главную квартиру в Ц. для отправки их с другим курьером и с благодарностью примет любезное предложение погостить несколько недель в этом доме. Сказав это, он еще промедлил несколько мгновений со стулом в руке, стоя у стены и глядя на коменданта. Комендант сказал ему, что его крайне огорчило бы, если бы страсть, которой он, видимо, воспылил к его дочери, сделалась причиной серьезных неприятностей для него; что, однако, он сам должен знать, как ему поступить, а потому не соблаговолит ли он, отослав депеши, занять предназначенные для него комнаты. При этих словах граф видимо побледнел, почтительно поцеловал руку у матери, поклонился остальным и удалился.

Когда он вышел из комнаты, все семейство находилось в полном недоумении, не зная, как объяснить это явление. Мать высказала мнение, что ей представляется невозможным, чтобы граф решился отослать в Ц. депеши, с которыми он был послан в Неаполь, только потому, что ему при проезде через М. не удалось в пятиминутном разговоре добиться от почти незнакомой ему дамы согласия на брак. Лесничий заметил, что за

столь легкомысленный поступок ему грозит не менее как заключение в крепости. „Да, и увольнение со службы“, — добавил комендант. „Впрочем, эта опасность не грозит, — продолжал он, — это лишь холостой выстрел в бурю: раньше чем отослать депеши, он, верно, одумается“. Мать, узнав о том, что грозит графу, высказала свое живейшее опасение, что он отошлет все же депеши. Его бурное, направленное к одной цели волеустремление, полагала она, может как раз увлечь его на этот поступок. Она убедительно просила лесничего немедленно последовать за ним и отговорить его от угрожающего бедою шага. Последний возразил, что это приведет как раз к противоположному результату и лишь усилит в нем надежду одержать победу при помощи военной хитрости. Маркиза была того же мнения, хотя уверяла, что без его вмешательства отсылка депеш произойдет непременно и что он скорее предпочтет навлечь на себя беду, чем обнаружить свою слабость. Все сошлись на том, что поведение его было чрезвычайно странное и что, видимо, он привык завоевывать дамские сердца приступом, как крепости. В эту минуту комендант заметил запряженную карету графа у подъезда. Он подозвал семью к окну и с удивлением спросил у вошедшего в это время слуги, находится ли граф все еще в доме. Слуга отвечал, что граф с адъютантом находится в лакейской, где он пишет письма и запечатывает пакеты. Комендант, скрыв свое беспокойство, поспешил с лесничим вниз и, застав графа за работой у неудобного для писания стола, спросил его, не хочет ли он перейти в свою комнату и вообще не прикажет ли он чего-нибудь. Граф, продолжая поспешно писать, отвечал, что он покорно благодарит, но что он покончил со своими делами; запечатывая письмо, спросил еще, который час, и, передав адъютанту весь портфель, пожелал ему счастливого пути. Комендант, не веря своим глазам и вида, что адъютант выходит из дома, сказал: „Граф, если вы не имеете на то крайне важных оснований...“ — „В высшей степени веские!“ —

прервал его граф; проводил адъютанта до кареты и отворил дверцу.— „В таком случае,— продолжал комендант,— я бы по крайней мере депеши...“ — „Это невозможно!“ — ответил граф, подсаживая адъютанта в карету.— „Депеши без меня не имеют никакого значения в Неаполе. Я и об этом подумал. Трогай!“ — „А письма вашего дядюшки?“ спросил адъютант, высовываясь из окна кареты.— „Застанут меня в М.“ — отвечал граф.— „Пошел!“ — крикнул адъютант, и карета укатила.

Затем граф, обратившись к коменданту, спросил его, не будет ли он настолько любезен распорядиться, чтобы ему отвели предназначенные для него комнаты. Смущенный комендант поспешил ответить, что он сам почтет за честь провести его; он крикнул своим и графским людям, чтобы несли его вещи, и провел его в комнаты, предназначенные для гостей; здесь он оставил его, сухо ему поклонившись. Граф переоделся, вышел из дома, чтобы представиться местному губернатору, и весь день не показывался, вернувшись домой лишь незадолго перед ужином.

Тем временем семья коменданта пребывала в крайнем волнении. Лесничий отметил, как определенно отвечал граф на некоторые доводы коменданта, и полагал, что поведение графа носило характер вполне обдуманного шага; он спрашивал себя в полном недоумении, какая могла быть причина такого сватовства, проводимого словно на курьерских. Комендант заявил, что он ровно ничего не понимает, и предложил остальным членам своей семьи прекратить при нем всякие разговоры на эту тему. Мать каждую минуту выглядывала из окна, не вернется ли граф, раскаявшись в своем легкомысленном поступке, с тем, чтобы исправить его. Наконец, с наступлением темноты, она под села к маркизе, которая весьма прилежно занималась за столом своим рукодельем и, казалось, избегала вмешиваться в разговор. Она вполголоса спросила маркизу, в то время как отец ходил взад и вперед по комнате, представляет ли она себе, чем все это может кончиться? Маркиза, застен-

чиво взглянув на коменданта, отвечала: „Если бы отец добился, чтобы граф поехал в Неаполь, все было бы благополучно“. — „В Неаполь! — воскликнул комендант, услышавший это. — Что же мне было делать? Послать за священником? Или его арестовать и взять под стражу и под конвоем отправить в Неаполь?“ — „Нет, — отвечала маркиза, — но ведь живые, настоятельные доводы не могут не оказать своего действия!“ — и с выражением некоторой досады снова опустила глаза на работу.

Наконец, уже к ночи, появился граф. Все ждали лишь того, чтобы после первых любезных фраз начавшийся на эту тему разговор возобновился и дал им возможность общими силами постараться убедить его взять назад свое рискованное решение, если это еще возможно. Однако напрасно ожидали они в продолжение всего ужина этого мгновения. Старательно избегая всего того, что могло навести разговор на этот предмет, граф беседовал с комендантом о войне, а с лесничим об охоте. Когда он упомянул о бое под П., в котором был ранен, мать маркизы вовлекла его в рассказ об его болезни, спрашивала, как он себя чувствовал в этом маленьком городке и пользовался ли он там необходимыми удобствами. Тут он сообщил несколько интересных подробностей, характеризующих его страсть к маркизе: как неотступно она сидела у его постели во время его болезни; как в горячечном бреду, вызванном его раной, у него все время путалось представление о ней с представлением о лебеде, которого он еще мальчиком видел в поместье дяди; что особенно трогало его одно воспоминание, как он однажды забросал этого лебеда грязью и как тот, тихо погрузившись в воду, вынырнул из воды совершенно чистым; что она постоянно представлялась ему плавающей по огненным волнам, а он звал ее „Тинка“, по имени лебеда, но что ему не удавалось ее приманить, так как она находила усладу лишь в том, что плавала, рассекая грудью волны; внезапно, вспыхнув, он стал заверять, что любит ее безумно; снова опустил глаза в тарелку и умолк.

Пришлось, наконец, встать из-за стола, и так как граф после краткого разговора с полковницей тотчас же раскланялся с обществом и удалился к себе в комнату, то члены семьи опять остались в недоумении. Комендант полагал, что надо предоставить дело собственному течению. По всей вероятности, он, приняв такое решение, рассчитывает на своих родных. В противном случае ему предстояло бы позорное увольнение со службы. Госпожа Г. спросила свою дочь, что она, в конце концов, о нем думает и согласилась ли бы она высказаться в таком смысле, чтобы предотвратить несчастье. Маркиза отвечала: „Дорогая матушка! это невозможно. Мне жаль, что моя благодарность подвергается столь жестокому испытанию. Но ведь я приняла решение не вступать вторично в брак; мне не хотелось вторично рисковать своим счастьем и притом столь необдуманном образом“. Лесничий заметил на это, что если таково ее твердое решение, то объявление о нем также может быть для графа полезным, и что представляется почти необходимым дать ему какой-либо определенный ответ. Полковница возразила, что раз этот молодой человек, за которого говорят столь выдающиеся его качества, заявил о своем желании окончательно переселиться в Италию, то, по ее мнению, нельзя не считаться с его предложением, и решение маркизы подлежало бы проверке. Лесничий, присев около сестры, спросил ее, насколько граф, в конце концов, ей лично нравится? Маркиза с некоторым смущением отвечала: „Он мне и нравится и не нравится“, и сослалась на впечатление других. „Когда он вернется из Неаполя,— сказала полковница,— и если справки, которые мы о нем наведем, не будут противоречить общему впечатлению, которое ты от него получила, как бы ты ответила ему, если бы он возобновил свое предложение?“ — „В таком случае,— отвечала маркиза,— так как, повидимому, его желания столь настойчивы, эти желания...— тут маркиза зашунлась, и глаза ее заблестели, когда она это говорила,— я бы удовлетворила ради той признательности, которой

ему обязана“. Мать, всегда желавшая, чтобы ее дочь вышла во второй раз замуж, с трудом могла скрыть свою радость по поводу этого заявления и стала обдумывать, как бы его тут же использовать. Лесничий, в волнении встав со стула, сказал, что раз маркиза допускает мысль, что она когда-нибудь осчастливит графа своей рукой, необходимо немедленно же предпринять какой-либо шаг в этом направлении, дабы оградить его от последствий безумного поступка. Мать была того же мнения и полагала, что, в конце концов, риск был бы невелик, ибо после того как в ночь, когда русские взяли штурмом цитадель, он проявил столько прекрасных качеств, едва ли можно предполагать, что дальнейшие его поступки будут им противоречить. Маркиза опустила глаза с выражением величайшей тревоги. „Можно было бы,— продолжала мать, взяв ее за руку,— обещать ему, что ты до его возвращения из Неаполя не примешь иного предложения“. Маркиза отвечала:— „Такое обещание я могу ему дать, милая магушка; боюсь только, что оно его не успокоит и запугает нас“. — „Это уж моя забота!“ — возразила мать с живейшей радостью и оглянулась на мужа: „Лоренцо! — спросила она, — что ты об этом думаешь?“ и хотела было подняться со стула. Комендант, который все слышал, стоял у окна, глядел на улицу и ничего не отвечал. Лесничий заявил, что он берется выпроводить графа из дома при помощи этого безобидного заявления.— „Ну, делайте, делайте, делайте! — воскликнул отец оборачиваясь; — видно мне придется вторично сдаться этому русскому!“ Мать радостно вскочила, поцеловала дочь и мужа, улыбнувшегося ее суетливости, и спросила, как передать немедленно графу это заявление. Было решено, по предложению лесничего, передать ему просьбу от имени всей семьи, чтобы он, если еще не успел раздеться, на минуту спустился к ним.

Он сейчас будет иметь честь явиться! — последовал ответ графа; и не успел посланный лакей вернуться с этим извещением, как сам граф быстрыми шагами,

окрыленный радостью, вошел в комнату и в живейшем волнении опустился к ногам маркизы. Комендант хотел что-то сказать, но граф, вставая, заявил, что знает достаточно, поцеловал руку у него и у матери, обнял брата и просил лишь об одном,— чтобы ему помогли достать тотчас же дорожный экипаж. Маркиза, хотя и была тронута таким поведением, все же сказала: „Я не опасаясь, граф, что ванны торопливые надежды слишком далеко...“ — „Ничего! Ничего! — перебил ее граф, — ничего не произошло, если наведенные обо мне справки окажутся в противоречии с тем чувством, под влиянием которого я был снова приглашен к вам в эту комнату“.

После этих слов комендант самым сердечным образом обнял его, лесничий тут же предложил ему свою дорожную карету, посланный слуга поспешил на почту заказать курьерских лошадей с обещанием особого вознаграждения, и отъезд сопровождался такою радостью, какая редко бывает даже при встрече.

Он надеется, сказал граф, догнать свои депеши в Б., оттуда он поедет теперь более короткой дорогой в Неаполь, чем через М.; в Неаполе он сделает все, что от него будет зависеть, дабы избавиться от дальнейшей командировки в Константинополь; а так как в крайнем случае он решил даже сказатья больным, то, если не встретится непреодолимых препятствий, не более как через четыре-шесть недель, непременно снова будет в М. В это мгновение его курьер доложил, что карета подана и что все готово для отъезда. Граф со шляпой в руке подошел к маркизе и взял ее руку. „Ну, Джульетта, теперь я несколько успокоился, — сказал он, пожимая ее руку; — хотя я страстно желал повенчаться с вами еще до отъезда“. — „Повенчаться!“ — воскликнули все члены семьи. „Да, повенчаться“, — повторил граф, поцеловал руку маркизы и, на ее вопрос, не сошел ли он с ума, отвечал, что настанет день, когда она его поймет. Семья готова была на него рассердиться, но он сейчас же распростился со всеми самым сердечным

образом, попросил их не задумываться слишком над его словами и уехал.

Прошло несколько недель, в течение которых все члены семейства с самыми разнообразными чувствами напряженно ожидали исхода этого необыкновенного дела. Комендант получил от генерала К., дяди графа, любезное письмо; сам граф написал из Неаполя; справки, наведенные о нем, в достаточной мере говорили в его пользу; словом, все считали уже помолвку как бы решенным делом, но вот недомогания маркизы возобновились в более резкой форме, чем когда-либо. Она заметила совершенно необъяснимую перемену в своей фигуре. Вполне откровенно поведав обо всем этом своей матери, она сказала, что решительно не знает, что и думать о своем состоянии. Мать, крайне встревоженная столь странными явлениями за здоровье дочери, потребовала, чтобы она пригласила врача. Маркиза, надеясь преодолеть свое нездоровье собственными силами, воспротивилась этому; не слушаясь совета матери, она провела еще несколько дней, испытывая тяжкое недомогание, пока ряд все повторяющихся необычайных ощущений не вызвал в ней сильнейшего беспокойства. Она послала за врачом, пользовавшимся доверием ее отца; тот прибыл в отсутствие ее матери; она усадила его на диван и, после краткого вступления, шуточно сообщила ему, что думает о своем состоянии. Врач устремил на нее пытливый взгляд; затем, произведя подробный осмотр и помолчав некоторое время, он совершенно серьезно заявил, что маркиза пришла к безусловно правильному заключению. После того как на вопрос своей собеседницы, что он этим хочет сказать, он совершенно ясно выразил свою мысль и с улыбкой, которую не мог подавить, добавил, что она вполне здорова и не нуждается в помощи врача,— маркиза дернула звонок, строго взглянув на него со стороны, и попросила его удалиться. Вполголоса, словно не удостоивая его разговора, она пробормотала, что ей неохота поддерживать с ним шутливый разговор на такую тему.

Доктор обиженно ответил, что хорошо бы было, если бы она всегда была столь же мало расположена к шуткам, как в настоящую минуту; взял свою палку и шляпу и собирался откланяться. Маркиза заверила его, что она сообщит отцу о нанесенном ей оскорблении. Врач отвечал, что он готов подтвердить сказанное им под присягой на суде, отворил дверь, поклонился и хотел покинуть комнату. В то время как он, уронив перчатку, задержался, чтобы ее поднять, маркиза спросила: „Как же это могло произойти, доктор?“ На это доктор отвечал, что ему не приходится разяснять ей первоначальные причины всего; еще раз поклонился и ушел.

Маркиза стояла, как громом пораженная. Взяв себя в руки, она хотела было поспешить к отцу; однако необычайная серьезность доктора, которым она чувствовала себя оскорбленной, парализовала ее члены. В сильнейшем волнении она бросилась на диван; не доверяя самой себе, она пробежала в памяти все моменты истекшего года и сочла себя помешанной, когда подумала о последнем. Наконец пришла мать и на ее тревожный вопрос, чем она так взволнована, дочь рассказала то, что ей только что сообщил врач. Госпожа Г. обозвала его наглым негодяем и поддержала дочь в ее решении сообщить о нанесенном ей оскорблении отцу. Маркиза уверяла, что врач говорил совершенно серьезно и, по видимому, готов повторить при отце свое безумное утверждение. Сильно перепуганная госпожа Г. спросила тогда, допускает ли она возможность такого состояния. „Скорее будут оплодотворены гроба, и в лоне трупов разовьется новая жизнь!“ — отвечала маркиза. „Ну, чудачка моя дорогая, чего же ты беспокоишься? — сказала полковница, крепко обняв ее. — Если ты сознаешь себя чистою, какое тебе дело до суждения хотя бы целого консилиума врачей? Не все ли тебе равно, по ошибке ли или по злобе высказал этот врач свое заключение? Однако нам следует все же об этом сказать твоему отцу“. — „О боже! — воскликнула маркиза с судорожным

движением,— как я могу успокоиться? Разве собственные мои внутренние ощущения, слишком знакомые мне, не свидетельствуют против меня? Разве сама я, зная, что другая испытывает то, что я ощущаю, не решила бы, что это действительно так?“ — „Какой ужас!“ — воскликнула полковница.— „Злоба! Ошибка! — продолжала маркиза.— Что могло побудить этого человека, которого мы до сих пор ценили и уважали, что могло его побудить нанести мне такое низкое, такое ничем не вызванное оскорбление? Мне, которая никогда ничем его не обидела, которая приняла его с доверием, с готовностью в будущем сердечно отблагодарить его, и который сам, судя по его первым словам, пришел с чистым и неподдельным желанием помочь, а не причинить страдания более жестокие, чем те, которые я доколе испытывала? А если бы,— продолжала она, в то время как мать пристально на нее глядела,— вынужденная выбирать между ошибкой и злобой, я хотела бы поверить в ошибку, то разве возможно допустить, чтобы врач, даже и не очень искусный, мог ошибаться в подобных случаях?“ Полковница сказала немного резко: „А все же приходится принять то или другое объяснение“.— „Да! — отвечала маркиза,— да, дорогая матушка! — при этом, вспыхнув горячим румянцем, она с чувством оскорбленного достоинства поцеловала руку матери,— да, это должно быть так! Хотя обстоятельства складываются столь необычайно, что я в праве сомневаться. Клянусь, раз от меня требуется заверение, что моя совесть так же чиста, как совесть моих детей; даже ваша совесть, досточтимая, не может быть чище. Тем не менее прошу вас послать за акушеркой, дабы я удостоверилась в своем действительном положении и, каково бы оно ни оказалось, могла бы успокоиться“.— „Акушерку! — воскликнула госпожа Г. в негодовании.— Чистая совесть и акушерка!“ Она не могла договорить. „Да, акушерку, дорогая мать,— повторила маркиза, опустившись перед ней на колени,— и притом — немедленно, если вы не хотите, чтобы я сошла с ума“.— „Охотно,— отвечала

полковница,— только прошу, чтобы роды не происходили в моем доме“. С этими словами она встала, готовая выйти из комнаты. Маркиза, следуя за ней с распростертыми руками, упала ниц и охватила ее колени. „Если безупречная жизнь когда-либо,— с красноречием страдания воскликнула она,— образцом для которой служила ваша жизнь, дает мне право на ваше уважение, если в вашем сердце еще говорит хотя бы какое-либо материнское чувство, до той поры, пока вина моя не станет очевидной, как божий день,— не покидайте меня в это ужасное мгновение!“ — „Что же, в конце концов, тебя тревожит?— спросила мать;— только заключение врача? Только твое собственное внутреннее ощущение?“ — „Только это, мать моя!“ — отвечала маркиза, положив руку на грудь. „Ничего более, Джульетта?— продолжала мать.— Подумай хорошенько. Проступок, как бы тяжело он меня ни огорчил, можно простить, да я бы его и простила в конце концов, но если бы ты оказалась способной, во избежание справедливого укора матери, сочинить сказку, противоречащую всем законам природы, и нагромождать кощунственные клятвы, чтобы навязать их моему и без того слишком верящему тебе сердцу, то это было бы позорно; этого я бы никогда тебе не простила“. — „Пусть царство небесное будет таким же открытым передо мною, как открыто мое сердце перед вами!— воскликнула маркиза;— я ничего от вас не скрывала, мать моя!“ — Это было сказано с таким глубоким чувством, что мать была потрясена. „Боже!— воскликнула она,— дорогое дитя мое, как ты меня трогаешь!“ Она ее подняла, поцеловала и прижала к своей груди. „Ну, чего же ты, в конце концов, боишься? Пойдем, ты, верно, сильно больна“. Она хотела довести ее до постели. Но маркиза, у которой слезы текли градом, стала ее уверять, что она совершенно здорова и ничем не страдает, за исключением того странного и непонятного состояния.— „Состояние!— снова воскликнула мать;— какое там состояние? Раз ты твердо помнишь все прошлое, что за сумасшедший страх тебя

обуял? Разве внутреннее ощущение, которое всегда бывает такое смутное, не может тебя обмануть?“ — „Нет! нет! — сказала маркиза, — нет, я не обманываюсь! и если вы пошлете за акушеркой, то вы услышите от нее, что то ужасное, уничтожающее меня, — сушая правда.“ — „Пойдем, моя дорогая дочка, — сказала госпожа Г., начинавшая опасаться за ее рассудок; — пойдем со мной и ложись в постель! Как понимаешь ты, что сказал тебе врач? Почему пылает твое лицо? Почему ты вся дрожишь? Ну, так что же собственно сказал тебе врач?“ И с этими словами она увлекла маркизу за собою, окончательно перестав верить всему рассказанному дочерью. Маркиза сказала: „Дорогая моя! хороша! — улыбаясь сквозь слезы, — я в полном сознании. Врач мне сказал, что я в таком положении. Пошлите за акушеркой! и как только она мне скажет, что это неправда, я тотчас успокоюсь.“ — „Хорошо, хорошо! — отвечала полковница, подавив свой страх; — она сейчас придет; она немедленно появится, раз ты желаешь, чтобы она над тобой посмеялась, и скажет тебе, что ты неразумна и видишь сны наяву“. С этими словами она позвонила и послала сейчас же одного из людей за акушеркой.

Маркиза все еще лежала в объятиях матери, и грудь ее трепетала от волнения, когда вошла акушерка и полковница рассказала ей, какой странной фантазией мучительно одержима ее дочь. Маркиза клянется, что она невинна, и тем не менее, введенная в заблуждение необъяснимыми ощущениями, которые она испытывает, считает нужным подвергнуть себя исследованию опытной женщины. Акушерка, исполняя свое дело, говорила о том, как порою молодая кровь играет и как коварен свет, а закончив осмотр, заметила, что подобные случаи ей не раз встречались: молодые вдовы, попав в такое положение, всегда воображают, будто они жили на необитаемом острове; успокоила тем временем маркизу и уверила ее, что веселый корсар, высадившийся ночью к ней на остров, наверное съестся. При этих словах маркиза потеряла сознание. Полковница, не в силах

преодолеть материнского чувства, привела ее с помощью бабки в сознание. Но, когда маркиза очнулась, негодование матери взяло верх, и, удрученная горем, она воскликнула: „Джюльетта! откройся мне! назови мне отца!“ И, казалось, она склонна была еще примириться. Однако, когда маркиза сказала, что сойдет с ума, мать, поднявшись с дивана, воскликнула: „Прочь! прочь, презренная! пусть будет проклят час, в который я тебя родила!“ и покинула комнату.

Маркиза, у которой снова потемнело в глазах, привлекла к себе акушерку и, дрожа всем телом, положила ей голову на грудь. Прерывающимся голосом она спросила, как в таких случаях действуют законы природы и возможно ли бессознательное зачатие.—Акушерка с улыбкой распустила ее шаль и отвечала, что едва ли это могло случиться с маркизой. Нет, нет! отвечала маркиза, она зачала сознательно, но ей только вообще хочется знать, существует ли такое явление в природе. На это акушерка отвечала, что, кроме пречистой девы, это еще не случилось ни с одной женщиной. Дрожь маркизы становилась все сильнее; ей показалось, что роды немедленно начнутся, и она стала умолять акушерку, еще крепче прижавшись к ней в судорожном страхе, чтобы та ее не покидала. Акушерка ее успокоила. Она уверяла, что до родов еще далеко, указала ей средства, как в подобных случаях оградить себя от людского злословия, и выразила мнение, что все еще устроится. Но так как эти утешения пронзали сердце несчастной дамы, как ножом, то она взяла себя в руки, заявила, что ей лучше, и попросила свою собеседницу оставить ее.

Не успела акушерка оставить комнату, как маркизе принесли письмо от матери следующего содержания: „Господин Г. выражает желание, чтобы при настоящих обстоятельствах она покинула его дом; он отправляет ей при сем документы, касающиеся ее имения, и выражает надежду, что бог оградит его от горя свидеться с нею“. Письмо это, однако, носило явные следы слез, и в углу

стояло смазанное слово: „продиктовано“. Горькие слезы брызнули из глаз маркизы. Оплакивая заблуждение родителей и несправедливость, которую эти прекрасные люди невольно совершали, она направилась в комнаты, занимаемые ее матерью. Ей сказали, что та — у отца. Шатаясь, пошла она к отцу. Найдя дверь запертою, она опустилась перед ней на колени и, призывая в свидетели всех святых, с рыданием заверяла о своей невинности. Так она пролежала несколько минут, когда дверь отворилась, и вышел лесничий с пылающим лицом и сказал: разве она не слыхала, что комендант не желает ее видеть. Маркиза воскликнула, горько рыдая: „Мой милый брат!“ — ворвалась в комнату, восклицая: — „Дорогой отец!“ — и простирая к нему руки. При виде ее, комендант повернулся к ней спиной и поспешно удался в спальню. Когда она последовала за ним, он воскликнул: „Прочь!“ и хотел захлопнуть за собою дверь; но так как она с воплями и мольбами мешала ему ее запереть, то он внезапно отпустил дверь и бросился к задней стене, в то время как маркиза входила в спальню. Она бросилась к его ногам и с трепетом охватила его колени, в то время как он повернулся к ней спиной; в эту минуту пистолет, который он схватил со стены, выстрелил в его руке, и заряд с грохотом ударился в потолок. „Боже милосердный!“ — воскликнула маркиза, побледнев, как полотно, поднялась с колен и выбежала из комнаты отца. „Сейчас же запрягать!“ — сказала она, входя к себе; в полном изнеможении она опустилась в кресло, поспешно одела детей и приказала укладывать вещи. Она держала между колен меньшую девочку и закутывала ее в платок, собираясь, так как все было готово к отъезду, сесть в карету, когда вошел ее брат и от имени коменданта потребовал, чтобы она оставила детей и передала их ему. „Моих детей? — спросила она и встала. — Скажи своему бесчеловечному отцу, что он может сюда прийти и меня застрелить, но не может отнять у меня моих детей!“ С гордым видом, в сознании своей невинности, она взяла

на руки детей, отнесла их в карету, причем брат не посмел ее задержать, и уехала.

Познав собственную силу в этом красивом движении напряженной воли, она вдруг словно сама подняла себя из той пучины, куда ее низвергла судьба. На свежем воздухе волнение, терзавшее ее грудь, утихло; она осыпала поцелуями детей, свою драгоценную добычу, и с самодовольством вспоминала о победе, одержанной ею над братом силою сознания своей невинности. Ее расступок, достаточно сильный, чтобы не помутиться среди этих странных обстоятельств, всецело преклонился перед великим, святым и необъяснимым порядком мира. Она поняла всю невозможность убедить семью в своей невинности; ей стала ясна необходимость с этим примириться, чтобы не погибнуть, и прошло лишь немного дней со времени ее прибытия в В., как горе уступило место героическому решению гордо противостоять всем нападкам света. Она решила окончательно замкнуться в себе самой, посвятить себя с сугубым усердием воспитанию обоих детей и со всем пылом материнской любви заняться уходом за дарованным ей богом третьим ребенком. Она сделала все необходимые приготовления к тому, чтобы в несколько недель, тотчас после родов, восстановить свое прекрасное, но немного запущенное поместье; и, сидя в беседке за вязанием маленьких чепчиков и чулочков для маленьких ножек, обдумывала, как всего удобнее распределить комнаты, а также о том, какую комнату она наполнит книгами и в какой удобнее всего поставить мольберт. Таким образом, еще не истек срок, в который граф Ф. должен был вернуться из Неаполя, а она уже успела окончательно примириться со своей судьбой — проводить жизнь в вечном монастырском уединении. Привратник получил приказ никого не впускать в дом. Только одна единственная мысль была для нее невыносима: она не могла примириться с тем, что юное существо, зачатое ею в совершенной невинности и чистоте, самое происхождение которого, благодаря своей таинственности, представлялось ей более

божественным, чем происхождение других людей, что это существо в глазах гражданского общества будет отмечено клеймом позора. Ей пришло в голову странное средство отыскать его отца; средство, которое так ее испугало, когда пришло ей в голову, что вязанье выпало у нее из рук. Целые ночи, проведенные в беспоконной бессоннице, она обдумывала и передумывала свой замысел, чтобы приучить себя к этой мысли, оскорблявшей ее внутреннее чувство. Все в ней еще противилось тому, чтобы вступить в какие-либо сношения с человеком, так коварно надругавшимся над нею: ведь она совершенно правильно заключила, что он должен был принадлежать к отребьям человеческого рода и очевидно мог выйти лишь из последних подонков и грязи, к какой бы стране или народу он ни принадлежал. Однако, все более и более сознавая свою самостоятельность и понимая, что самоцветный камень сохраняет свою цену, в какой бы оправе он ни был, она однажды утром, снова почувствовав, как внутри ее зашевелилась зарождающаяся жизнь, собралась с духом и отправила для напечатания в м-ских газетах то странное объявление, с которым читатель ознакомился в начале этого рассказа.

Граф Ф., которого задерживали в Неаполе неотложные дела, тем временем написал маркизе второе письмо, в котором настаивал на том, чтобы, какие бы посторонние обстоятельства ни возникли, она осталась верна молчаливо данному ею слову. Как только ему удалось уклониться от командировки в Константинополь и покончить с прочими делами, он немедленно покинул Неаполь и, действительно, опоздав против намеченного им срока всего лишь на несколько дней, прибыл в М. Комендант встретил его с смущенным видом и сославшись на неотложное дело, заставляющее его отлучиться из дома, предложил лесничему тем временем занять графа. Лесничий пригласил его в свою комнату и после краткого приветствия спросил, знает ли он, что в его отсутствие произошло в доме коменданта. Граф, слегка

поблуднев, отвечал: „Нет“. Тогда лесничий сообщил ему о том позоре, которым маркиза покрыла их семью, и рассказал ему все то, что только что узнали наши читатели. Граф ударил себя рукою по лбу. „Зачем мне ставили столько препон! — воскликнул он в полном самозабвении. — Если бы брак был тогда же заключен, весь позор и несчастье были бы избегнуты!“ Лесничий вытаращил на него глаза и спросил: неужели он до такой степени обезумел, чтобы желать вступить в брак с этой негодной женщиной? На это граф отвечал, что она выше и достойнее всего света, презирающего ее; что ее заявление о ее невинности внушает ему безусловное доверие; и что сегодня же он отправится в В. и возобновит свое предложение. И, действительно, он тут же взял шляпу, раскланялся с лесничим, который смотрел на него, как на помешанного, и удалился.

Сев на лошадь, он поскакал в В. Когда, сойдя с лошади у ворот, он хотел войти в передний двор, привратник заявил ему, что маркиза никого не принимает. Граф спросил, касается ли это распоряжение, отданное по отношению к посторонним посетителям, также и друзей дома, на что слуга ответил ему, что ни о каком исключении ему не известно, двусмысленно добавив: уж не граф ли он Ф.? Бросив на него пристальный взгляд, граф ответил: „Нет! — и, обратившись к своему слуге, сказал так, чтобы и привратник мог его слышать: — В таком случае я остановлюсь в гостинице и оттуда письменно сообщу маркизе о своем прибытии“. Но едва граф скрылся из глаз привратника, как, обогнув за угол, он стал красться вдоль стены обширного сада, простиравшегося позади дома. Проникнув в сад через калитку, которую он нашел отпертою, и пройдя по аллеям, он только что собрался взойти на заднее крыльцо, как увидел в беседке, стоявшей в стороне, очаровательный и таинственный облик маркизы, прилежно занимавшейся рукодельем за маленьким столиком. Он приблизился к ней так, чтобы она не раньше могла его увидеть, чем когда он будет стоять в трех

шагах от нее у входа в беседку. „Граф Ф.!“ — сказала маркиза, подняв глаза, причем ее лицо от неожиданности покрылось румянцем. Граф улыбнулся и некоторое время оставался неподвижно у входа; затем, чтобы не испугать ее, подсел к ней с скромным, но настойчивым видом и, раньше чем она могла опомниться и принять какое-либо решение в этом странном своем положении, он нежно обнял рукою ее стан. „Откуда вы, граф? возможно ли?“ — спросила маркиза и застенчиво потупила глаза. — „Из М., — ответил граф и тихо прижал ее к себе; — через заднюю калитку, которая была не заперта. Я понадеялся на то, что вы меня простите, и вошел.“ — „Разве вам не рассказали в М.?“ — спросила она, все еще неподвижная в его объятиях. — „Все — дорогая! — отвечал граф; — но будучи убежден в вашей невинности...“ — „Как! — воскликнула маркиза, вставая и высвобождаясь от него; — и вы все же пришли?“ — „Да, наперекор всему свету, — продолжал он, удерживая ее, — наперекор вашей семье и даже наперекор вам, очаровательное существо!“ — добавил он, напечатлев пламенный поцелуй на ее груди. — „Прочь!“ — воскликнула маркиза. — „Уверенный в тебе, Джульетта, — сказал он, — так, словно я всеведущ, словно моя душа живет в твоей груди...“ — Маркиза воскликнула: „Оставьте меня!“ — „Я пришел, — договорил он, не выпуская ее, — повторить мое предложение и получить из ваших рук жребий блаженства, если вы готовы внять моей мольбе“. — „Оставьте меня сейчас же! — воскликнула маркиза, — я вам приказываю!“ Она с силой вырвалась из его объятий и убежала. „Любимая! дивная!“ — шептал он, поднявшись и следуя за ней. „Вы слышите?“ — воскликнула маркиза и, увернувшись, ускользнула от него. „Одно лишь шопотом произнесенное слово!“ — сказал граф и быстро схватил ее гладкую, ускользавшую от него руку. — „Я ничего не хочу знать!“ — возразила маркиза, с силой оттолкнула его в грудь, взбежала на крыльцо и скрылась.

Он уже почти достиг крыльца, дабы, во что бы то

ни стало, заставить ее выслушать его, когда перед ним захлопнулась дверь и, при его приближении, загремел задвигаемый с взволнованной поспешностью засов. Несколько мгновений он стоял в нерешительности, обдумывая, что ему делать при создавшемся положении: ему приходило в голову влезть в находившееся сбоку открытое окно и добиться намеченной цели; но как ни тягостно было для него во многих отношениях обратиться вспять, в данном случае это казалось неизбежным, и, глубоко досадуя на самого себя, что он выпустил ее из объятий, он уныло сошел с крыльца и, покинув сад, отправился разыскивать своих лошадей. Он почувствовал, что попытка объясниться у нее на груди потерпела окончательную неудачу, и поехал шагом назад в М., обдумывая то письмо, написать которое он теперь был обречен. Вечером, когда он в отвратительном состоянии духа пришел в ресторан, он встретился там с лесничим, который тут же спросил, удалось ли ему успешно выполнить задуманное им дело в В. Граф коротко ответил „нет“ и был настроен отделаться резкой фразой от своего собеседника, но, выполняя долг вежливости, он через несколько мгновений добавил, что решил обратиться к маркизе письменно и вскоре рассчитывает выяснить свое положение. Лесничий сказал, что с сожалением видит, как страсть графа к маркизе лишает его рассудка, а между тем он должен его уверить, что она собирается сделать иной выбор. Он позвонил, потребовал последнюю газету и передал графу листок, в котором было напечатано объявление с вызовом отца ее будущего ребенка. Граф пробежал глазами объявление, причем кровь бросилась ему в лицо. Противоречивые чувства волновали его. Лесничий спросил, думает ли он, что лицо, которое маркиза разыскивает, найдется. „Несомненно!“— отвечал граф, всем своим существом погрузившись в листок и жадно вникая в его внутренний смысл. Затем, отойдя к окну и сложив газету, он сказал: „Ну, вот и прекрасно! теперь я знаю, что мне делать!“— обернулся, любезно спросил лесничего,

скоро ли они опять увидятся, и, простившись с ним, вышел, совершенно примирившись со своей судьбою.

Тем временем в доме коменданта происходили бурные сцены. Полковница была крайне раздражена пагубной вспыльчивостью мужа и собственной слабостью, с которой подчинилась ему в минуту варварского изгнания дочери из дома. Она, когда грянул выстрел в спальне коменданта и оттуда выбежала дочь, потеряла сознание; правда, она скоро пришла в себя; но в минуту ее пробуждения комендант сказал лишь, бросая разряженный пистолет на стол, что жалеет, что напрасно ее напугал. Затем, когда речь зашла об отобрании детей, она отважилась робко заметить, что на такой шаг они не имеют никакого права; еще слабым после обморока и трогательным голосом она просила избегать резких и насильственных выступлений в их доме; но комендант ей ничего не ответил и только с бешенством, обратившись к лесничему, крикнул: „Иди и добудь их мне!“ Когда пришло второе письмо графа Ф., комендант велел отослать его маркизе в В., которая, по словам посланного, отложила его в сторону, сказав: „хорошо“. Полковница, для которой все в этих событиях представлялось непонятным, особенно же готовность маркизы вступить в новый брак с человеком совершенно для нее безразличным, тщетно пыталась заговорить об этом предмете. Комендант всякий раз высказывал просьбу, скорее напоминавшую приказание, чтобы она молчала; при этом, сняв однажды со стены еще оставшийся портрет маркизы, он заявил, что желал бы окончательно стереть в душе память о ней, говоря, что у него больше нет дочери. Тут появилось в газетах странное объявление маркизы. Крайне пораженная им полковница пошла с газетой, которую ей принесли от коменданта, к нему в комнату и, найдя его работающим за столом, спросила, что он, в конце концов, об этом думает. Комендант, продолжая писать, отвечал: „О! она невинна!“ — „Как?— воскликнула в крайнем изумлении г-жа Г.— невинна?“ — „С нею это случилось во

сне“,— сказал комендант, не подымая головы.— „Во сне?— воскликнула госпожа Г.,— и такое чудовищное событие могло...“ — „Дура!“ — крикнул комендант, бросил бумаги в кучу и вышел из комнаты.

В следующем номере газеты, еще влажном после выхода из-под станка, полковница прочитала, сидя с мужем за утренним завтраком, нижеследующий ответ:

„Если маркиза О... соизволит прибыть в дом ее отца, господина Г., 3-го в 11 часов утра, то человек, которого она разыскивает, падет там к ее ногам“.

Полковница,— не успела она прочитать и половину этой неслыханной заметки,— потеряла способность к речи; она пробежала конец и передала газету коменданту. Полковник три раза перечитал объявление, как бы не веря своим глазам. „Скажи, ради бога, Лоренцо,— воскликнула полковница,— что ты об этом думаешь?“ „Негодяйка! — ответил, вставая со стула, комендант,— о, коварная лицемерка! Десятикратное бесстыдство суки вместе с десятикратной хитростью лисицы все еще не сравняются с нею, а какой вид! какие глаза! чище глаз херувима!“ — так он вопил и не мог успокоиться. „Но если это хитрость, то скажи, ради бога, какую цель может она при этом преследовать?“ — спросила жена. „Какую цель? Она хочет насильно навязать нам свой обман,— отвечал полковник.— Они уже наизусть выучили басню, которую оба — он и она — намерены нам здесь навязать 3-го в 11 часов утра. А я на это должен сказать: дорогая дочка, а я-то этого не знал, кто бы мог подумать, прости мне, прими мое благословение и будь снова ко мне ласкова. Нет, пуля тому, кто переступит мой порог 3-го утром! Впрочем, приличнее приказать лакеям выгнать его из дома“. Вторично перечитав объявление, госпожа Г. сказала, что если приходится верить одной из двух непонятных вещей, она охотнее поверит в неслыханную игру случая, чем в такую низость ее доселе безупречной дочери. Но не успела она договорить, как комендант закричал: „Сделай одол-

жение, замолчи!“ и вышел из комнаты: „Мне невыносимо даже слышать об этом!“

Несколько дней спустя комендант получил по поводу этой газетной заметки письмо от маркизы, в котором она почтительно и трогательно писала, что, будучи лишена милости появиться в отцовском доме, она просит направить к ней в В. того, кто придет 3-го числа утром. Полковница как раз находилась в комнате, когда комендант получил это письмо; и так как она прочла на его лице выражение смущения и недоумения (ибо какой мотив мог он теперь ей приписать, если бы здесь был обман с ее стороны, раз она, видимо, вовсе и не рассчитывает на его прощение), то, ободренная этим, она решилась предложить план действия, с которым давно уже носилась, тая его в своем сердце, терзаемом сомнениями. В то время как полковник ничего не говорящим взглядом все еще смотрел на письмо, она сказала, что ей пришла в голову одна мысль: не разрешит ли он ей съездить на день, на два в В. Если маркиза, действительно, знает то лицо, которое ответило ей через газету, как незнакомое, то она сумеет поставить дочь в такое положение, в котором та невольно себя выдаст, будь она самой завязатой обманщицей. Комендант, разорвав внезапным резким движением письмо, ответил, что ей известно, что он не хочет иметь никакого дела с дочерью и что он запрещает жене вступать с нею в какие-либо сношения. Он запечатал разорванные лоскутки письма в конверт, надписал адрес маркизы и отдал посланному вместо ответа.

Полковница, ожесточенная в душе его крайним упорством, уничтожавшим всякую возможность выяснения этого дела, решила осуществить свой план против его воли. Она взяла с собой одного из егерей коменданта и на другое утро, когда муж еще не вставал с постели, отправилась в В. Подъехав к воротам усадьбы, она услышала от привратника, что маркиза никого не принимает. На это госпожа Г. отвечала, что ей это известно, тем не менее пусть он пойдет и доложит, что приехала

полковница Г., на что привратник возразил, что это будет бесполезно, так как маркиза ни с кем в мире не хочет разговаривать. Госпожа Г. ответила, что с нею маркиза будет говорить, так как она ее мать, а потому пусть он не медлит и тотчас выполнит свое дело. Но едва успел привратник направиться в дом, чтобы сделать эту, как он полагал, напрасную попытку, как сама маркиза вышла из дому, поспешила к воротам и упала на колени перед каретой полковницы. Госпожа Г., поддерживаемая егерем, вышла из кареты и с некоторым волнением подняла маркизу. Взволнованная до глубины души маркиза низко склонилась над рукою матери и, обливаясь слезами, почтительно повела ее к себе в дом. „Дорогая матушка! — воскликнула она, усадив мать на диван, сама же стоя перед нею и утирая слезы; — какой счастливой случайности обязана я вашим драгоценным посещением?“ Госпожа Г., ласково обняв дочь, сказала, что она приехала просить у нее прощенья за ту жестокость, с которой ее выгнали из родительского дома. „Прощенья?“ — перебила ее маркиза и пыталась поцеловать у нее руки. Но мать, уклонившись от поцелуя, продолжала: „Ибо не только напечатанный в газете ответ на твою публикацию убедил и меня, и твоего отца в твоей невинности, но я должна еще тебе открыть, что сам он, к великой нашей радости и удивлению, появился вчера в нашем доме“. — „Кто появился? — спросила маркиза и под села к матери; — кто этот сам он?“ и все лицо ее выражало напряженное ожидание. „Да он, автор ответа, — отвечала полковница, — тот самый человек, к которому ты обращалась в своем призыве“. — „Ну так кто же это? — воскликнула маркиза с трепещущей от волнения грудью. — Кто?“ еще раз повторила она. „Мне хотелось бы, — возразила госпожа Г., — чтобы ты это мне сама сказала. Ибо вообрази себе, что вчера мы сидели за утренним чаем и только что прочли ту странную заметку в газете, как в комнату врывается человек, близко нам известный, с выражением страшного отчаяния и бросается сначала к ногам твоего отца, а за-

тем и к моим. В полном недоумении, что бы это могло означать, мы предлагаем ему высказаться. Тогда он говорит, что совесть ему не дает покоя, что это он — тот негодий, который обманул маркизу; он должен знать, как смотрят на его преступление, и если ему уготовано возмездие, то вот он сам пришел принять его“.

„Но кто же, кто, кто?“ — повторяла маркиза. „Это, как я сказала, — продолжала полковница, — вообще вполне благовоспитанный молодой человек, от которого никак нельзя было ожидать такого гнусного поступка. Только не пугайся, когда ты узнаешь, дорогая дочь, что он — человек низкого происхождения и вообще не отвечает ни одному из тех требований, какие можно было бы предъявить к твоему мужу“.— „Как бы то ни было, дорогая матушка, — сказала маркиза, — он не может быть вполне негодным человеком, так как он, раньше чем броситься к моим ногам, бросился к вашим. Но кто? кто? Скажите же мне, наконец, кто это?“.— „Ну, так знай же, — ответила мать, — это Леопардо, егерь, которого твой отец недавно выписал из Тироля и которого, если ты заметила, я привезла с собою, чтобы представить его тебе, как жениха“.— „Егерь Леонардо!“ — воскликнула маркиза и в отчаянии прижала руку ко лбу. „Что тебя пугает? — спросила полковница. — Или у тебя есть какие-либо основания сомневаться в этом?“.— „Но как? где? когда?“ — в смятении спрашивала маркиза. — „Это, — отвечала полковница, — он хочет открыть только тебе одной. Стыд и любовь не позволяют ему говорить об этом с кем-либо другим, кроме тебя. Но если хочешь, отворим дверь в прихожую, где он с бьющимся сердцем дожидается исхода нашего разговора; и тогда ты сама увидишь, сможешь ли ты выведать у него его тайну, пока я удалюсь в соседнюю комнату“.— „Боже милосердый! — воскликнула маркиза; — однажды в полуденный зной я заснула, и когда проснулась, то увидела, как он отходит от дивана, на котором я лежала“.— И она закрыла пылавшее от стыда лицо своими маленькими ручками. При этих словах мать опустилась перед нею на колени.—

„О дочь моя! — воскликнула она, — о чудная!“ и заключила ее в свои объятия. „А я-то, негодная!“ и припала лицом к ее коленям. Маркиза в испуге спросила: „Что с вами, матушка?“ — „Пойми же, всех ангелов чистейшая, что во всем, что я тебе сейчас говорила, нет ни слова правды; что моя испорченная душа не способна была верить в такую невинность, какая сияет в твоей душе, и что мне сперва понадобилась эта гнусная ложь для того, чтобы убедиться в этом.“ — „Дорогая моя матушка!“ — воскликнула радостно тронутая маркиза, склоняясь над нею, чтобы ее поднять. Мать ответила: „Нет, я встану не раньше, чем ты мне скажешь, что прощаешь мне всю низость моего поступка, о ты, прекрасное, неземное создание!“ — „Мне вас прощать, мать моя! Встаньте, — воскликнула маркиза, — заклинаю вас!“ — „Ты слышишь? — сказала госпожа Г., — я хочу знать, сможешь ли ты еще меня любить и так же искренно уважать, как прежде?“ — „Моя обожаемая матушка! — воскликнула маркиза и опустилась рядом с матерью на колени. — Ни на одно мгновение я не переставала вас любить и уважать. Да и кто бы мог мне поверить при таких неслыханных обстоятельствах? Как я счастлива, что вы убедились в моей невинности!“ — „В таком случае — отвечала госпожа Г., подымаясь при поддержке дочери, — я тебя буду носить на руках, дорогое мое дитя. Ты у меня будешь рожать, и если бы обстоятельства даже так сложились, что я ожидала бы от тебя маленького князя, я и тогда не ходила бы за тобой с большей нежностью и достоинством. До конца дней моих я не отойду от тебя. Я бросаю вызов всему свету, мне *не нужно* иного почета, кроме твоего позора, лишь бы ты вернула мне свою любовь и позабыла ту жестокость, с которой я тебя оттолкнула“. Маркиза пыталась ее успокоить своими горячими ласками и мольбами, но настал вечер и пробило полночь, раньше чем ей это удалось.

На следующий день, когда волнение старой дамы, вызвавшее у нее ночью приступ нервной лихорадки, не-

сколько улеглось, мать, дочь и внучата с триумфом двинулись обратно в М. Ехали они очень довольные и шутили по поводу егеря Леонардо, сидевшего на козлах; мать говорила дочери, что замечает, как та краснеет всякий раз, как взглянет на его широкую спину. Маркиза отвечала не то со вздохом, не то с улыбкой: „Кто знает, однако, кого мы увидим в нашем доме в 11 часов утра 3-го числа!“ Но чем ближе они подъезжали к М., тем серьезнее настраивались их души в предчувствии решающих событий, которые им еще предстояли. Госпожа Г., не сообщая пока дочери своего плана, как только вышли из экипажа, тотчас провела ее в ее прежние комнаты; сказала, чтобы маркиза устраивалась, как ей будет удобно, сама же она скоро вернется, и поспешно удалилась.

Через час она возвратилась с разгоряченным лицом. „Ну и Фома!—сказала она, скрывая свою радость.—Подлинно—Фома неверный! Битый час потребовался мне, чтобы его убедить. Но зато теперь он сидит и плачет“.—„Кто?“—спросила маркиза.—„Он,—отвечала мать.—Кто же, как не тот, у кого все к тому причины?“—„Но не отец же?“—воскликнула маркиза.—„Как ребенок плачет,—отвечала мать;—если бы мне самой не пришлось утирать слезы, я готова была рассмеяться, выйдя за дверь“.—„И все это из-за меня?—спросила маркиза и встала;—и вы хотите, чтобы я здесь...?“—„Ни с места!—сказала госпожа Г.—Зачем он мне продиктовал письмо? Он должен сюда к тебе притти, если хочет меня еще раз увидеть, пока я жива“.—„Милая матушка!“—умоляла маркиза.—„Я—неумолима!—перебила ее полковница.—Зачем он схватил пистолет?“—„Заклинаю вас...“—„Нет, ты не должна...—отвечала госпожа Г., снова, почти насильно, усаживая дочь на кресло.—А если он до вечера не придет сегодня, я завтра же уеду с тобой“. Маркиза назвала это поведение жестоким и несправедливым. Но мать отвечала: „Успокойся!—ибо в это время слышались приближающиеся издалека рыдания.—Вот уже он идет!“,—„Где?“—сказала маркиза, при-

слушиваясь.— Есть кто-нибудь за дверью? Это сильное...?— „Разумеется! — ответила госпожа Г., — он хочет, чтобы мы ему отворили двери“. — „Пустите меня!“ — вскрикнула маркиза и сорвалась со стула.— „Убедительно прошу тебя, Джульетта, сиди спокойно“, — сказала полковница, и в это мгновение в комнату уже входил комендант, держа перед лицом платок.

Мать стала перед дочерью, загоразивая ее собой, и повернулась спиною к нему. „Отец! дорогой мой отец!“ — воскликнула маркиза, простирая к нему руки.— „Ни с места! — сказала госпожа Г., — ты слышишь?“ — Комендант стоял посреди комнаты и плакал.— Он должен повиниться перед тобою, — продолжала госпожа Г., — зачем он так вспылчив! и зачем так упорен! Я люблю его, но и тебя также, я уважаю его, но и тебя также. И если мне нужно выбирать между вами двумя, то я нахожу, что ты лучше его, и остаюсь с тобою“. Комендант весь согнулся и взвыл так, что стены задрожали.— „О боже!“ — вскрикнула маркиза, сразу покорилась матери и схватила платок, дав волю слезам. Госпожа Г. сказала: „Он только не в состоянии произнести ни слова!“ — и отошла немного в сторону. Тогда маркиза поднялась, обняла коменданта и просила его успокоиться. Она сама заливалась слезами. Она спросила, не присядет ли он; хотела усадить его в кресло; она пододвинула ему кресло, чтобы он сел, но он не отвечал; он не хотел двинуться с места; не хотел и садиться, но стоял на одном месте, низко склонив голову, и плакал. Маркиза сказала, стараясь его поддержать, наполовину обернувшись к матери, что он заболел; казалось, саму полковницу покидает ее стойкость при виде его судорожных телодвижений. Когда же комендант, уступая повторным уговорам дочери, опустившейся к его ногам, наконец сел, осыпаясь ее нежнейшими ласками, мать опять заговорила, что поделом ему и что теперь он уже, верно, образумится, удалилась из комнаты и оставила их одних.

Едва выйдя за дверь, она утерла слезы и подумала,

не повредит ли мужу то потрясение, которое она ему причинила, и не следует ли послать за врачом. К вечеру она приготовила ему на кухне все, что только могла придумать укрепляющего и успокаивающего, оправила и согрела постель, чтобы уложить его, как только он появится об руку с дочерью, но так как он все еще не появлялся, хотя ужин уже был накрыт, то она подкралась к комнате дочери, желая подслушать, что там происходит. Приложив осторожно к двери ухо, она услышала слабый, замирающий шопот, исходивший, как ей казалось, от маркизы; заглянув в замочную скважину, она увидела, что маркиза сидела на коленях у коменданта, чего раньше никогда бы в жизни он не допустил. Наконец она отворила дверь, и сердце ее переполнилось радостью: дочь, запрокинув голову, закрывши глаза, лежала в объятиях отца, который, сидя в кресле, жадно, продолжительно и горячо, как влюбленный, целовал ее в губы, а в широко раскрытых его глазах блестели слезы. И дочь молчала, молчал и он; склонив лицо над нею, как над девушкой — своей первой любовью, он искал ее губы и целовал ее. Мать испытывала полное блаженство; незамечаемая ими, стоя позади его кресла, она медлила нарушить восторг радостного примирения, выпавшего на долю их дома. Наконец она приблизилась к отцу и сбоку поглядела на него, перегнувшись над спинкой кресла, в то время как он с несказанным упоением пальцами и губами ласкал уста своей дочери. Комендант при виде ее снова весь сморщился и опустил голову, видимо, желая ей что-то сказать; но она воскликнула: „Ну, что еще за лицо ты строишь!“ — с своей стороны поделуем разглядила на нем морщины и шуткой положила конец трогательным излияниям. Она пригласила их обоих ужинать и повела в столовую, куда они пошли, словно жених и невеста. За столом комендант был очень весел, хотя время от времени всхлипывал, мало ел и мало говорил, глядя в тарелку и играя рукой дочери.

Но вот с наступлением следующего дня перед ними

встал вопрос, кто же, наконец, появится завтра в 11 часов утра, ибо завтра было как раз грозное третье число. Отец, мать, а также и брат, пришедший для того, чтобы, с своей стороны, примириться, единогласно стояли за брак, если эта особа окажется мало-мальски приемлемой; решено было сделать все, что возможно, дабы обеспечить счастье маркизы. Однако, если бы положение этого человека, даже при всяческом содействии и поддержке, оказалось бы значительно ниже положения маркизы, то родители высказывались против брака, предполагая оставить ее, как и прежде, у себя в доме и усыновить ребенка. Маркиза же, повидимому, была склонна сдерживать во всяком случае слово и доставить, во что бы то ни стало, ребенку отца, при одном лишь условии,—чтобы неизвестный не оказался отъявленным злодеем. Вечером полковница возбудила вопрос, как обставить прием ожидаемого на следующий день лица. Комендант высказался за то, чтобы к 11 часам оставить маркизу одну. Маркиза же настаивала на том, чтобы при свидании присутствовали ее родители и брат, так как она не желает иметь никаких тайн с этим человеком. К тому же она говорила, что, повидимому, таково было желание и самого лица, напечатавшего ответ, в котором прямо был указан дом коменданта, как место свидания; благодаря этому обстоятельству,—заявляет она открыто,—ей понравился и самый ответ. Мать указала на неловкую роль, какую при этом будут вынуждены играть отец и брат, и просила дочь освободить мужчин от необходимости присутствовать при свидании, сама же она исполнит ее желание и останется с нею во время приема посетителя. После краткого размышления дочери остановились, наконец, на этом последнем предложении.

И вот после ночи, проведенной в напряженнейшем ожидании, наступило утро рокового третьего числа. Когда часы били одиннадцать, обе дамы в праздничных нарядах, как для сговора, сидели в гостиной; сердца у обеих стучали так сильно, что, казалось, можно было

бы слышать их биение, если бы дневной шум не заглушал его. Еще не отзвучал одиннадцатый удар, как вошел Леопардо, егерь, выписанный отцом из Тироля. Обе женщины при виде его побледнели. „Прибыл граф Ф.,— сказал он,— и велит о себе доложить“.— „Граф Ф.“— воскликнули обе зараз, переходя от испуга к испугу.— „Заприте двери!— воскликнула маркиза,— для него нас нет дома“. Она встала, чтобы самой запереть комнату, и хотела уже вытолкнуть стоявшего на дороге егеря, когда перед ней предстал граф в том самом мундире, при ордене и шпаге, как был он одет при штурме цитадели. Маркиза от смущения готова была провалиться сквозь землю; она схватила платок, оставленный ею на стуле, и хотела скрыться в соседнюю комнату; однако госпожа Г., схватив ее за руку, воскликнула: „Джувьетта!“ и, словно задыхаясь от нахлынувших на нее мыслей, умолкла. Она устремила пристальный взгляд на графа и повторила: „Прошу тебя, Джувьетта!— привлекая к себе дочь.— Кого же мы ждем?“— „Но не его же?“— воскликнула маркиза, быстро обернувшись и метнув на него взгляд, сверкнувший, как молния; в то же время смертельная бледность покрыла ее лицо. Граф опустился перед нею на колени; правую руку он прижал к своему сердцу; тихо склонив голову, глядел он в землю с пылающим лицом и молчал. „Кого же еще?— воскликнула полковница,— кого же, как не его, о мы, слепые и безумные!“— Маркиза стояла над ним в оцепенении и сказала: „Я сойду с ума; матушка!“— „Глупая!“— отвечала мать, привлекая ее к себе и шепча ей что-то на ухо. Маркиза отвернулась и, закрыв лицо руками, упала на диван. Мать воскликнула: „Несчастная! что с тобою? что случилось такого, чего бы ты не ожидала?“ Граф не отходил от полковницы; все еще стоя на коленях, он схватил край ее платья и целовал его: „Дорогая! Милостивая! Достоянейшая!“— шептал он; слеза скатилась у него по щеке. Полковница сказала: „Встаньте, граф, встаньте! Утешьте ее, и тогда все мы примиримся, все будет прощено и забыто“. Граф

в слезах поднялся; он снова склонился перед маркизой, взял ее за руку бережно, словно она была из золота и может потускнеть от его прикосновения. Однако, вскочив: „Уйдите, уйдите, уйдите! — вскричала она; — я приготовилась встретиться с человеком порочным, но не... с дьяволом! — отворила дверь, обходя его, как зачумленного, и сказала: — Позовите полковника!“ — „Джюльетта!“ — воскликнула изумленная полковница. Маркиза смотрела убийственным, диким взглядом то на графа, то на мать; грудь ее вздымалась, лицо пылало: фурия не могла бы иметь более страшного лика. Полковник и лесничий вошли. „За этого человека, отец, я не могу выйти замуж!“ — сказала она, едва они успели переступить порог. Она опустила руку в сосуд со святой водой, прикрепленный к стене за дверью, широким взмахом руки окропила ею отца, мать и брата и скрылась.

Комендант, пораженный столь странным выступлением дочери, спросил, что случилось, и побледнел, увидав в комнате в это решительное мгновение графа Ф. Мать, взяв графа за руку, сказала: „Не спрашивай ни о чем; этот молодой человек от всего сердца раскаивается в том, что случилось; дай свое благословение, дай, дай его, и тогда все еще окончится благополучно“. Граф стоял, как уничтоженный. Комендант возложил на его голову руку; веки его дрогнули, губы побелели, как мел. „Да отвратится проклятие небес от их чела! — воскликнул он; — когда думаете вы повенчаться?“ — „Завтра, — отвечала за него мать, ибо сам граф не мог говорить ни слова, — завтра или сегодня, как тебе будет угодно; графу, проявившему такое похвальное и горячее стремление загладить свою вину, конечно, ближайший час будет наилучшим“. — „В таком случае я буду иметь удовольствие встретиться с вами в церкви августинцев завтра в 11 часов утра!“ — сказал комендант, раскланялся с ним и, пригласив жену и сына вместе направиться в комнату дочери, оставил его одного.

Тщетны были попытки выведать у маркизы причину

ее странного поведения; она лежала в сильнейшем жару, не хотела и слышать о браке и просила лишь оставить ее одну. На вопрос, что ее заставило вдруг изменить свое решение и что делает графа для нее ненавистнее всякого другого человека, она рассеянно взглянула на отца большими глазами и ничего не ответила. Полковница спросила: разве она забыла, что она мать? На это маркиза отвечала, что в данном случае она обязана больше думать о себе, чем о ребенке, и, снова призывая в свидетели всех ангелов и святых, стала уверять, что ни за что не выйдет замуж. Отец, видя, что она находится в состоянии чрезмерного возбуждения, заявил, что она должна сдержать свое слово, оставил ее и, снесясь письменно с графом, сделал все необходимые распоряжения для завтрашнего венчания. Он предложил графу брачный контракт, согласно которому тот отказывается от всех супружеских прав, а в то же время принимает на себя все обязанности супруга, исполнения которых от него потребуют. Граф вернул этот документ, весь залитый слезами, скрепив его подписью. Когда на другое утро комендант вручил эту бумагу маркизе, ее волнение несколько улеглось. Она перечла ее несколько раз, сидя еще в постели, задумчиво сложила, снова развернула и перечла; затем объявила, что прибудет в церковь августинцев к 11 часам. Она встала, оделась, не говоря ни слова, села, когда раздались удары колокола, со своими родными в карету и поехала.

Лишь у входа в церковь разрешено было графу присоединиться к семейству. Маркиза во все время, пока совершался торжественный обряд, глядела неподвижно на запрестольный образ; она не уделила даже мимолетного взгляда человеку, с которым менялась кольцами. Граф по окончании венчания предложил ей руку; но как только они вышли из церкви, графиня ему поклонилась; комендант спросил его, будет ли он иметь честь время от времени видеть его в покоях своей дочери, на что граф пробормотал что-то, чего никто

не мог разобрать, снял перед обществом шляпу и исчез. Он нанял квартиру в М. и прожил там несколько месяцев, ни разу даже не заглянув в дом коменданта, где графиня осталась жить. Исключительно своему деликатному, достойному и вполне образцовому поведению во всех тех случаях, когда ему приходилось вступать в какие-либо сношения с семьей жены, он был обязан тем, что, после того как графиня разрешилась от бремени сыном, его пригласили на крестины. Графиня, сидевшая в постели, укрытая коврами, увидала его лишь на мгновение, в то время как он остановился в дверях и издали почтительно ей поклонился. Он бросил в колыбель, где лежали подарки, коими гости приветствовали новорожденного, две бумаги, из коих одна, как то выяснилось после его ухода, содержала дарственную на имя мальчика на 20 000 рублей, а другая — духовное завещание, коим он, в случае своей смерти, назначал мать новорожденного наследницей всего своего имущества. С этого дня, по почину госпожи Г., его стали чаще приглашать; дом для него открылся, и почти каждый вечер он в нем появлялся. Так как его чувство ему подсказывало, что, в силу греховности всего мира, и ему всеми прощен его грех, он снова принялся ухаживать за графиней, своей женой, вторично услышал по прошествии года из ее уст слово „да“, и тогда отпраздновали вторую свадьбу, более веселую, чем первая, после чего вся семья переехала в В. Целая вереница маленьких русских потянулась за первым, и когда однажды в благоприятный час граф решился спросить жену, почему она в то роковое третье число, будучи готова принять любого развратника, бежала от него, как от дьявола, она отвечала, бросившись ему на шею, что он не показался бы ей тогда дьяволом, если бы при первом своем появлении, не представился ей ангелом.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЧИЛИ

В Сант-Яго, столице королевства Чили, в самый момент начала страшного землетрясения 1647 года, в котором погибло много тысяч людей, молодой испанец, по имени Иеронимо Ругера, стоял у столба тюрьмы, куда он был заключен за совершенное им преступление, и собирался повеситься. Дон Энрико Астерон, один из богатейших дворян города, приблизительно за год перед этим удалил его из своего дома, где он исполнял обязанности учителя, за то, что тот вступил в любовную связь с донной Иозефой, его единственной дочерью. Тайная переписка, попавшая в руки старого дона благодаря коварной бдительности его сына, после того как отец сделал строгое предостережение дочери, возбудила в последнем такое негодование, что он заключил дочь в кармелитский монастырь „Пресвятой девы, что на горе“. Благодаря счастливой случайности Иеронимо удалось здесь возобновить свою связь, и однажды в глухую ночь монастырский сад сделался местом его совершенного счастья. Как раз в день празднования тела Христова, в то время как в торжественной процессии выступали монахини, за которыми следовали послушницы, несчастная Иозефа, под звон колоколов, упала в родильных муках на ступеньки собора. Это происшествие вызвало много шума; юную грешницу, невзирая на ее болезненное состояние, тотчас за-

ключили в тюрьму, и едва она встала после родов, как, по приказанию архиепископа, ее предали строжайшему суду. В городе с таким ожесточением заговорили об этом скандале, а злые языки с такой яростью напали на самый монастырь, где он произошел, что ни заступничество семьи Астерон, ни желание самой игуменьи, полюбившей молодую девушку за ее безупречное во всем остальном поведение, не могли смягчить строгости наказания, которым ей угрожал церковный закон. Удалось добиться только лишь одного,— что смерть на костре, к которой она была присуждена к великому негодованию матрон и девиц Сант-Яго, по приказу видя короля заменена была отсечением головы. На улицах, по которым должно было пройти шествие введомой на казнь преступницы, сдавали внаймы окна, сносили крыши с домов, а благочестивые дочери города трогательно приглашали своих подруг присутствовать рядом с ними на зрелище, которое давалось в угоду мстительному божеству. Иеронимо, которого тем временем тоже засадили в темницу, готов был лишиться рассудка, когда узнал страшный оборот, который приняло это дело. Напрасно старался он изыскать какой-либо путь к спасению; куда бы он ни уносился на крыльях самонадеянной мечты, он наткнулся на запоры и стены, а его попытка перепилить оконную решетку повлекла за собою, когда была обнаружена, еще более строгое заключение. Он бросился на колени перед иконою божьей матери и обратился к ней с пламенной молитвой, как единственной заступнице, от которой он мог еще ждать спасения. Но роковой день настал, и вместе с ним в его сердце сложилось убеждение в полной безнадежности его положения. Раздался колокольный звон, сопровождавший Иозефу на ее пути к месту казни, и отчаяние овладело его душой. Жизнь стала для него ненавистною, и он решил покончить с собою при помощи веревки, сохранившейся у него благодаря случайности. И вот, как выше было сказано, он уже стоял у столба и прикреплял к железной скобе, ввра-

вленной в карниз, веревку, которая должна была вырвать его из этой юдоли плача, как вдруг с ужасным грохотом, словно обрушился небесный свод, большая часть города провалилась, похоронив под своими обломками все, что там жило и дышало. Иеронимо Ругера окаменел от ужаса, и, словно все его сознание оказалось разбитым вдребезги, он теперь ухватился, чтобы не упасть, за тот самый столб, у которого он искал смерти. Пол заколебался под его ногами, стены тюрьмы треснули, все здание накренилось, готовое рухнуть на улицу, и только падение противоположного здания, предупредившее его медленное крушение, задержало случайно уцелевшим сводом полное разрушение тюрьмы.

У Иеронимо волосы стали дыбом и колени подкашивались; весь дрожа, он соскользнул по наклонной плоскости пола к отверстию, образовавшемуся в передней стене тюрьмы от столкновения обоих зданий. Но едва он оказался под открытым небом, как от вторичного подземного толчка вся остальная часть уже потрясенной улицы окончательно рухнула. Бессознательно, не отдавая себе отчета, как он может спастись среди этой всеобщей гибели, он поспешно стал пробираться среди мусора и балок к ближайшим городским воротам, в то время как смерть грозила ему со всех сторон. Вот обрушился поблизости дом, далеко разбрасывая вокруг себя обломки, и загнал его в соседний переулок; здесь огненные языки, сверкая сквозь клубы дыма и вырываясь из крыш соседних домов, теснили его, объятых страхом, в другую улицу; там выступившая из берегов река Мапохо катила на него волны и с ревом гнала в третью улицу. Здесь лежала груда тел убитых, тут раздавались из-под обломков стоны, там люди испускали крики с высоты объятых пламенем крыш, там люди и животные боролись с волнами, там мужественный человек старался помочь и спасти, там стоял другой, бледный, как смерть, неподвижно, безмолвно простирая дрожащие руки к небу. Достигнув ворот и взобравшись

на холм, расположенный за ними, Иеронимо упал, потеряв сознание.

Пролежав в глубоком обмороке с четверть часа, он наполовину приподнялся с земли, повернувшись спиной к городу. Он ощупал голову и грудь, еще не зная, в каком он состоянии, и его охватило невыразимое блаженство, когда подувший с моря западный ветер вдохнул в него новую жизнь, а глаза его, озираясь кругом, увидели цветущие окрестности Сант-Яго. Только рассеянные толпы людей, которые были видны повсюду, смущали его сердце; он сразу не мог понять, что могло привести его и их на это место, и, лишь когда он обернулся и увидал позади себя провалившийся город, припомнилось ему пережитое им страшное мгновение. Он склонился так низко, что коснулся головою земли, благодаря бога за свое избавление; и тотчас, словно то единственное ужасное воспоминание, которое запечатлелось в его сознании, вытеснило все остальные, он заплакал от радостного чувства, что может наслаждаться пестрыми явлениями жизни, снова ставшей для него драгоценной. Но вот, заметив на своей руке кольцо, он вдруг вспомнил и об Иозефе, и тут же в памяти его воскресли и тюрьма, и звон колоколов, который он там услышал, и мгновенье, предшествовавшее разрушению. Глубокое уныние охватило его душу; он стал раскаиваться в своей молитве, и страшным показалось ему то существо, которое дарит над облаками. Он смешался с толпой людей, выбегавших из ворот и занятых спасением своего имущества, и отважился робко спросить о дочери Астерона и о том, успели ли ее казнить; однако никто не мог дать ему обстоятельного ответа. Какая-то женщина, тащившая на спине, почти пригнувшись к земле, огромный груз всякой рухляди, а у груди двух маленьких детей, отвечала ему мимоходом, словно она сама при этом присутствовала, что Иозефу обезглавили. Иеронимо пошел назад и, так как по расчету времени он сам не мог сомневаться в том, что казнь успели совершить, то;

сев в одинокой роще, всецело отдался своему горю. Он желал, чтобы разрушительные силы природы снова на него обрушились. Ему казалось непонятным, почему как раз в те минуты, когда смерть казалась ему спасительницей от всех бед, он избежал ее, которой добровольно искала горестная его душа. Он твердо решил на этот раз не отступать, хотя бы окружавшие его дубы были вырваны с корнем и их вершины рушились на него со всех сторон. Затем, выплакав свое горе, и так как среди горючих слез в душе его снова возродилась надежда, он поднялся и стал обходить местность во всех направлениях. Он подымался на каждый холм, где собирались кучки людей; он бродил по всем дорогам, по которым еще двигался поток беглецов; где бы он ни увидал раздуваемое ветром женское платье, он устремлялся туда дрожащей поступью; однако ни одно из них не облакало члены возлюбленной дочери Астерона.

Солнце склонялось к закату, и с ним вместе исчезла его надежда; но вот он подошел к краю скалы, и перед ним открылся вид на широкую долину, в которую забрело лишь немного людей. В нерешительности, что ему предпринять, он окинул взором отдельные группы их и хотел уже повернуть обратно, как вдруг увидал у источника, орошавшего ущелье, молодую женщину, купавшую ребенка в его чистых водах. Сердце его забило при этом зрелище; исполненный предчувствия, он большими прыжками стал спускаться по камням. С криком: „матерь божья, о благодатная!“ он узнал Иозефу, робко оглянувшуюся на шум в это мгновение. С каким восторгом обнялись оба несчастные, которых спасло лишь чудо, ниспосланное небом! Иозефа на своем смертном пути уже совсем приблизилась к лобному месту, когда грохот разрушавшихся зданий разогнал все шествие, направлявшееся к месту казни. В ужасе направила она шаги прямо к ближайшим воротам; однако скоро опомнилась и, повернув назад, поспешила в монастырь, где оставался

ее маленький, беспомощный мальчик. Она нашла весь монастырь уже объятым пламенем, и игуменья, которая в те мгновения, что должны были стать ее последними, обещала ей позаботиться о младенце, стояла у ворот монастыря и звала на помощь, чтобы его спасти. Иозефа неустрашимо бросилась сквозь дым, клубами несшийся ей навстречу, в рушившееся со всех сторон здание и, словно под защитой всех небесных ангелов, вышла снова целая и невредимая из ворот монастыря с ребенком на руках. Она хотела броситься в объятия игуменьи, возложившей ей на голову благословляющие руки, но в это мгновение игуменья и почти все монахини нашли плачевный конец под обрушившейся на них верхушкой дома. Иозефа при этом ужасном зрелище отпрянула назад; поспешно закрыв игуменье глаза, она бросилась бежать, объятая страхом, спасая драгоценного мальчика, которого небо вновь ей даровало. Не успела она еще пройти несколько шагов, как навстречу ей пронесли тело архиепископа, которое только что извлекли раздробленным из-под обломков собора. Дворец вице-короля провалился, здание суда, где ей был вынесен приговор, был объят пламенем, а на месте, где прежде стоял дом ее отца, образовалось кипящее озеро, из которого поднимались красноватые пары. Иозефа собрала все свои силы, чтобы удержаться на ногах. Смело проходила она из улицы в улицу с своей добычей, подавив в сердце печаль, и уже приближалась к городским воротам, когда ей бросилась в глаза обращенная в груды развалин тюрьма, в которой страдал Иероним. При виде ее она зашаталась и готова была упасть в обморок на углу улицы, но в ту же минуту падение позади нее полуразрушенного предшествовавшими толчками здания придало ей самым испугом новые силы и погнало ее вперед. Она поцеловала ребенка, осушила слезы и, не обращая больше внимания на окружавшие ее ужасы, достигла благополучно ворот. Оказавшись под открытым небом, она скоро пришла к заключению, что не все те, кто проживали в разру-

шившихся зданиях, погибли под их развалинами. Она остановилась на ближайшем перекрестке и стала поджидать, не появится ли тот, кто после маленького Филиша был для нее дороже всего на свете. Но так как никто не приходил, а толпы беглецов все нарастали, она отправилась дальше, не раз останавливаясь в ожидании и оглядываясь назад; под конец, проливая обильные слезы, она уныло побрела в темную осененную пиниями долину, дабы помолиться о его душе, отлетевшей, как она предполагала, в иной мир; и здесь-то, в этой долине, обрела его, возлюбленного, и блаженство, словно то была долина Эдема. Все это она, глубоко растроганная, передала Иеронимо и, закончив свой рассказ, протянула ему для поцелуя ребенка.

Иеронимо взял его на руки и стал нянчить с несказанной отеческой радостью, а когда ребенок, при виде чужого лица, заплакал, он закрыл ему рот бесчисленными поцелуями. Тем временем спустилась чудная ночь, полная дивных нежных благоуханий, такая серебристая и тихая, какая могла бы пригрезиться только поэту. Повсюду вдоль ручья, орошавшего долину, в блеске лунного сиянья расположились люди и готовили себе мягкие лежа из мха и листьев, чтобы отдохнуть после столь мучительного дня. И так как несчастные горько жаловались,— один, оплакивая утрату дома, другой — жены и ребенка, третий — потерю всего,— то Иеронимо и Иозефа потихоньку удалились в более густую заросль, дабы не оскорбить кого-либо тайным ликованием, наполнившим их сердца. Они нашли великолепное гранатное дерево, широко раскинувшее свои ветви, увешанные душистыми плодами, на вершине которого сладострастно заливался соловей. Здесь у самого древесного ствола опустил Иеронимо, в его объятиях покоилась Иозефа, держа на руках Филиппа; так отдыхали они, закутавшись его плащом.

Тень дерева с ее изменчивыми бликами уже сошла с них, и лунный свет побледнел с появлением утренней зари, прежде чем они заснули. Ведь у них были не-

скончаемые темы для разговоров и о монастырском саде, и о темницах, в которых они были заключены, и о том, что они выстрадали друг за друга; и их очень трогало, когда они думали, сколько горя должно было излиться над миром для того, чтобы они были счастливы. Они решили тотчас же после прекращения землетрясения отправиться в Ля-Консепсион, где проживала близкая подруга Иозефы, и, заняв у нее, как они рассчитывали, немного денег; сесть на корабль и переехать в Испанию, где проживали родственники Иеронимо с материнской стороны; там они предполагали счастливо закончить свои дни. Затем, среди бесчисленных поделуев, они заснули.

При их пробуждении солнце стояло уже высоко на небе; они увидели неподалеку от себя несколько семейств, занятых у костра приготовлением небольшого завтрака. Иеронимо стал раздумывать о том, как бы ему достать пищи для своих, когда к Иозефе подошел молодой, хорошо одетый человек с ребенком на руках и скромно спросил ее, не покормит ли она грудью бедного малыша, мать которого лежит раненная там, под деревом. Иозефа несколько смутилась, узнав в нем знакомого; но когда, неправильно истолковав ее смущение, он добавил: „Это лишь ненадолго, донна Иозефа, а ребенок с самого того мгновенья, которое всех нас повергло в несчастье, не питался“,— она сказала:— „Я не ответила вам, дон Фернандо, по другой причине; в эти ужасные времена каждый, не отказываясь, должен делиться всем, что у него есть“,— и передала своего ребенка отцу, а чужого взяла на руки и поднесла к своей груди. Дон Фернандо был чрезвычайно благодарен и предложил ей присоединиться к обществу, собравшемуся у костра, где как раз готовился небольшой завтрак. Иозефа отвечала, что весьма охотно принимает это предложение и, так как Иеронимо не возражал, последовала за Фернандо к его семейству, где обе его свояченицы, которых она знала, как весьма достойных молодых дам, приняли ее самым радушным и ласковым

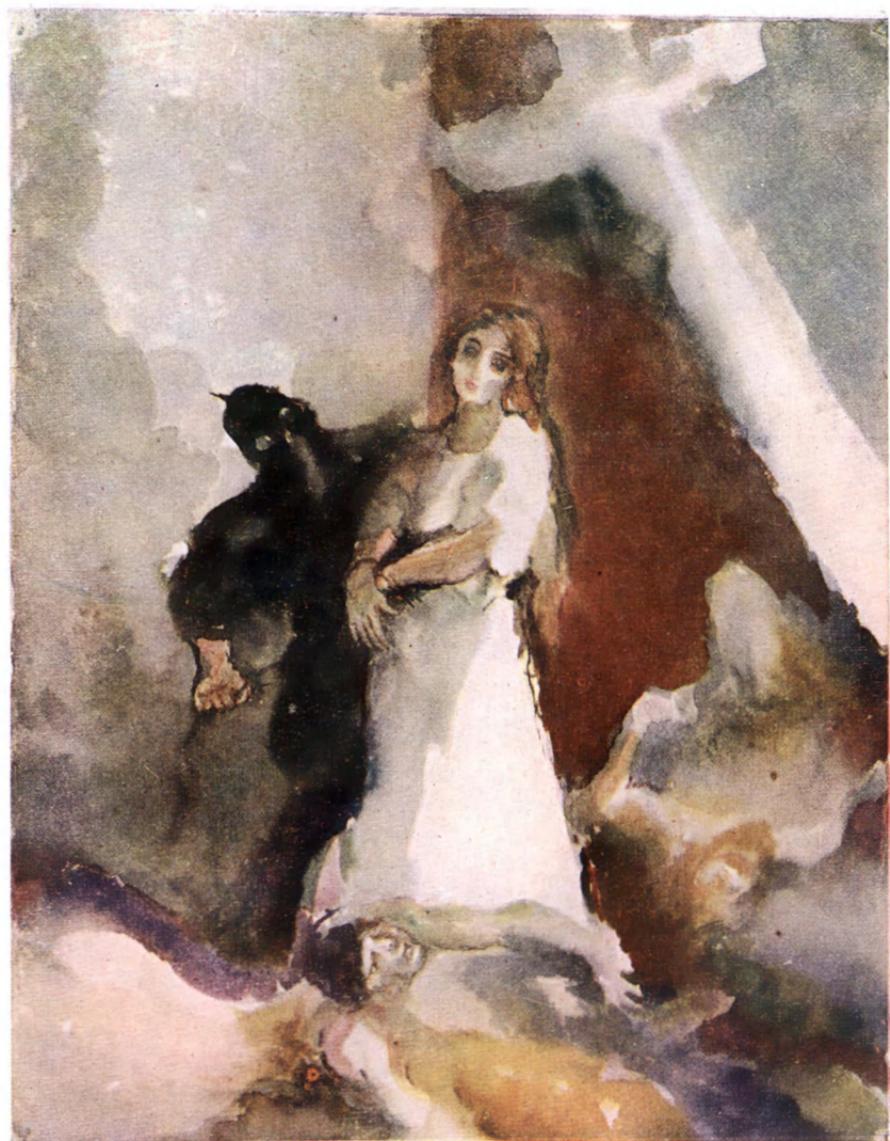
образом. Донна Эльвира, супруга дон Фернандо, получившая тяжкие ранения ног, лежала на земле; увидав своего изнуренного ребенка у груди Иозефы, она ласково привлекла ее к себе. Ее свекор, дон Педро, раненный в плечо, приветливо кивнул ей головою.

У Иозефы и у Иеронимо возникли в душе странные мысли. Замечая доброту и приветливость обращения с ними, они в недоумении вспоминали столь недавнее прошлое, вспоминали и здание суда, и темницу, и звон колоколов, и им приходило в голову, не видели ли они все это во сне. Казалось, что страшный удар, который потряс души людей до основания, всех их умиротворил. Их воспоминания как-то не шли дальше этого мгновенья. Одна только донна Элизабета, которая была приглашена подругой на вчерашнее утреннее зрелище, но приглашения этого не приняла, по временам останавливала задумчивый взгляд на Иозефе; однако новое сообщение о каком-либо ужасающем несчастье возвращало к действительности ее унесшуюся душу. Рассказывали, как при первом же сильном подземном толчке город оказался наполненным женщинами, которые на глазах у мужчин разрешались от бремени, как монахи бегали с крестом в руке и кричали, что настал конец света; как ответили страже, потребовавшей именем вице-короля, чтобы очистили церковь, что в Чили теперь уже нет никакого вице-короля! Как вице-король в самые ужасные мгновенья оказался вынужденным отдать приказ поставить несколько виселиц, дабы положить конец распространившимся грабежам, и как один ни в чем неповинный человек, спасавшийся через черный ход горевшего дома, был схвачен второпях домовладельцем и тут же вздернут, как грабитель. Донна Эльвира, поранениями которой Иозефа была очень занята, как раз в самый разгар перекрестного разговора воспользовалась этим, чтобы спросить, что с нею приключилось в этот ужасный день. Когда же Иозефа с сердечным волнением в общих чертах передала ей свои приключения, то для нее было истинной отрадой увидеть, как

глаза этой дамы наполнились слезами; донна Эльвира схватила ее руку, пожала ее и сделала знак, чтобы она замолчала. Иозефе казалось, что она в раю. Чувство, которое она не могла в себе подавить, говорило ей, что минувший день, который принес столько бед всему свету, был такой милостью, какой небо еще ни разу не изливало на нее. И в самом деле, в эти ужасающие мгновенья, когда гибли все земные блага людей и всей природе грозило разрушение, дух человека, казалось, раскрывался, как дивный цветок. На полях, куда только ни достигал взор, всюду лежали вперемешку люди всех званий и состояний: князья и нищие, знатные дамы и крестьянки, государственные чиновники и поденщики, монахи и монахини, и все жалели друг друга, помогали друг другу, с радостью делиась тем, что каждый из них спас от гибели для поддержания своего существования, словно общее несчастье слило в одну семью всех тех, кто его избежал. Вместо ничтожных разговоров, содержанием которых за чайным столом служили светские пересуды, теперь передавали друг другу примеры великих деяний; люди, на которых дотоле мало обращали внимания в обществе, теперь проявили величие души, достойное древних римлян; передавались тысячи примеров бесстрашия, радостного презрения опасности, самоотречения и дивного самопожертвования, случаи, когда, не колеблясь, жертвовали жизнью, словно самым ничтожным благом, которое можно тут же снова приобрести. В самом деле, так как не было никого, с кем бы не приключилось чего-нибудь умирительного, или кто бы не совершил какого-нибудь великодушного поступка, то в груди каждого из присутствующих к горю примешано было столько улады, что трудно было сказать, не повысилась ли с одной стороны сумма общего благосостояния настолько же, насколько она понизилась с другой стороны. Иеронимо взял Иозефу под руку, после того как они молча поразмыслили на эту тему, и с неизъяснимой радостью они стали прогуливаться в тенистых кущах гранатовой рощи. Он ей сказал, что,

принимая во внимание теперешнее настроение умов и полный переворот мыслей и отношений, он отказывается от своего намерения переселиться в Европу; что он отважится пасть к ногам вице-короля, если он еще в живых, так как последний относился к нему благосклонно, и что он питает надежду (при этом он ее поцеловал) остаться с нею в Чили. Иозефа отвечала, что и ей эти мысли приходили в голову, что и она не сомневается в том, что ей удастся добиться примирения с отцом, если он остался жив, но что она советует вместо того, чтобы лично испросить, пав к ногам вице-короля, прощение, отправиться в Ля-Консепсион, откуда уже письменно хлопотать о помиловании: там ведь, находясь поблизости к гавани, нетрудно вернуться в Сант-Яго, в случае если дело примет желаемый оборот. После краткого размышления Иеронимо признал благоразумие этой меры; еще некоторое время прогуливались они по тропинкам, мысленно переносясь в радостное будущее, а затем присоединились к обществу.

Между тем миновал полдень, и, так как подземные толчки ослабели, бродившие повсюду беглецы несколько успокоились, когда распространилась молва, что в церкви доминиканского монастыря, единственной, которую пощадило землетрясение, будет отслужена торжественная месса самим прелатом монастыря и будет вознесено моление, чтобы небо отвратило от города дальнейшие беды. Народ отовсюду уже начал собираться и потоками устремился в город. В кружке дона Фернандо поднялся вопрос, не принять ли участие в этом торжестве, присоединившись к остальным богомольцам. Донна Элизабета с некоторым волнением напомнила, какой печальный случай имел место накануне в этой церкви, добавив, что подобные благодарственные моления будут еще не раз повторяться и что можно будет отдаться религиозному настроению, когда станет ясно, что опасность окончательно миновала, с тем большей радостью и спокойствием. На это Иозефа, быстро поднявшись, с воодушевлением возразила, что ни разу она



не ощущала с такой силой потребности повергнуться в прах перед создателем, как сейчас, когда он проявил свое высокое и непостижимое могущество. Донна Эльвира с живостью присоединилась к мнению Иозефы. Она настаивала на том, что надо идти к обедне, и предложила дону Фернандо повести все общество, после чего все, не исключая и донны Элизабеты, поднялись с мест. Однако, так как все заметили, что она лишь нерешительно и с вздымающейся от волнения грудью приступила к сборам в путь, а на вопрос, что с нею, отвечала, что сама не знает, какое тягостное предчувствие ее гнетет, то донна Эльвира постаралась ее успокоить, предложив ей остаться с нею и с ее больным отцом. Иозефа сказала: „В таком случае, донна Элизабета, вы, верно, возьмете у меня этого маленького любимчика, который, как видите, снова оказался у меня“. — „Весьма охотно!“ — отвечала донна Элизабета и собралась взять мальчика на руки, но так как он, протестуя против такой несправедливости, поднял жалобный крик и ни за что не хотел согласиться, то Иозефа заявила с улыбкой, что она оставит его у себя и подделуями заставила его успокоиться. После этого дон Фернандо, которому чрезвычайно нравилась ее достойная и привлекательная манера держать себя, предложил ей руку; Иеронимо, державший на руках маленького Филиппа, повел донну Констанцу, а за ними следовали все остальные, присоединившиеся к их обществу, и в таком порядке шествие направилось в город. Но едва они отошли на пятьдесят шагов, как услышали, что донна Элизабета, тем временем с жаром о чем-то по секрету говорившая с донной Эльвирой, закричала: „Дон Фернандо!“ и увидали, что она тревожными шагами спешит за ними. Дон Фернандо замедлил шаг и обернулся; он поджидал ее, не выпуская руки Иозефы, и, когда она, на некотором расстоянии, остановилась, словно ожидая, что он пойдет к ней навстречу, спросил, что ей нужно, донна Элизабета приблизилась к нему, хотя и с видимым неудовольствием, и прошептала

ему несколько слов на ухо так, чтобы Иозефа не могла их слышать. Дон Фернандо спросил: „Ну, а несчастье, которое может из этого произойти?“ Донна Элизабета с расстроенным лицом продолжала шептать ему что-то на ухо. Дон Фернандо покраснел от досады; он отвечал: „Ну ладно, пусть донна Эльвира не беспокоится“,— и повел свою даму дальше.

Когда они прибыли в церковь доминиканского монастыря, в ней уже раздавались великолепные звуки органа и внутри колыхались несметные толпы народа. Толпа теснилась и за порталом на площади перед церковью, а по стенам, держась за рамы икон, висели мальчики в нетерпеливом ожидании с шапками в руках. Яркий свет изливала все паникадила, столбы, подпиравшие своды, бросали в наступающих сумерках таинственную тень, роза из разноцветных стекол в глубине церковной апсиды горела, как само заходящее солнце, освещавшее ее, и когда в это мгновение смолк орган, то воцарилась глубокая тишина, словно вся толпа затаила дыхание. Никогда еще ни одна христианская церковь не излучала к небу столько пламенного благочестия, как в этот день доминиканская церковь в Сант-Яго, и ничье сердце не пылало жарче, чем сердце Иеронимо и Иозефы! Торжество открылось проповедью, которую старейший каноник в праздничном облачении произнес с кафедры. Он сразу начал с хвалы, прославления и благодарения, высоко подняв к небу дрожащие руки, с которых ниспадали складки его стихаря, за то, что в этой разрушающейся части света еще сохранились люди, способные обратиться к богу с молитвой, хотя бы коснеющим языком. Он изобразил то, что произошло по мановению всемогущего; страшный суд не может быть ужаснее; когда же, указывая перстом на трещину в своде, он назвал вчерашнее землетрясение лишь предвестником этого суда, трепет пробежал по всему собранию. Затем, увлекаемый потоком духовного красноречия, он перешел к испорченности городских нравов; кара постигла город за мерзости, каких

не видали в своих стенах Содом и Гоморра; и лишь безграничному божьему долготерпению приписывал он, что город не окончательно был сметен с лица земли. Но как кинжалом пронзило сердца наших двух несчастных, уже без того потрясенных проповедью, когда по этому поводу каноник подробно остановился на преступлении, совершенном в монастырском саду кармелитского монастыря; назвал безбожною ту снисходительность, с которой свет к нему отнесся, и, уклонившись в сторону, среди ужасных проклятий предал души виновников, которых он назвал по имени, всем князьям преисподней! Донна Констанца воскликнула, судорожно ухватившись за руку Иеронимо: „Дон Фернандо!“ Но тот отвечал настолько настойчиво и тихо, насколько это было возможно в одно и то же время: „Замолчите, донна, ни малейшего движения, даже глазом не моргните, но притворитесь, что вам сделалось дурно, и мы тогда покинем церковь“. Однако, прежде чем успела донна Констанца выполнить эту благоразумно придуманную меру для их спасения, чей-то громкий голос, прервав проповедь каноника, воскликнул: „Отступите, граждане Сант-Яго, эти безбожники стоят здесь, среди нас!“ И когда другой голос в ужасе, который передался стоявшим вокруг него, спросил: „Где?“ — „Здесь!“ — отвечал третий и в благочестивом иступлении с такой силой рванул за волосы Иозефу, что она упала бы вместе с сыном дона Фернандо, если бы этот последний ее не поддержал. „С ума вы сошли! — воскликнул юноша, охватив рукою Иозефу; — я — дон Фернандо Ормес, сын городского коменданта, которого все вы знаете!“ — „Дон Фернандо Ормес?“ — воскликнул, став вплотную рядом с ним, башмачник, когда-то работавший на Иозефу и знавший ее так же хорошо, как и ее маленькие ножки. „Кто отец этого ребенка?“ — обратился он с наглым вызовом к дочери Астерона. Дон Фернандо побледнел при этом вопросе; он то кидал робкие взоры на Иеронимо, то оглядывал толпу, не найдется ли среди нее хоть один человек, который бы его знал. Угнетает-

мая ужасом Иозефа воскликнула: „Это не мой сын, как вы думаете, мастер Педрильо!“ — и в несказанном страхе она взглянула на дона Фернандо. „Этот молодой человек — дон Фернандо Ормес, сын городского коменданта, которого все вы знаете“. Башмачник спросил: „Кто из вас, граждане, знает этого молодого человека?“ И многие из стоявших кругом повторили: „Кто знает Иеронима Ругера, пусть выступит вперед!“ Тут случилось, что маленький Хуан, испуганный шумом и смятением, потянулся с рук Иозефы на руки к дону Фернандо. Тогда: „Вот он — отец!“ — завопил какой-то голос; и: „Вот он — Иеронимо Ругера!“ — второй; и: „Вот они — святотатцы!“ — третий; и: „Побейте их камнями! побейте их камнями!“ — весь в храме Иисуса собравшийся христианский народ. На это Иеронимо: „Остановитесь, бесчеловечные люди! Если вы ищете Иеронимо Ругера — так вот он! оставьте этого ни в чем неповинного человека!“

Беснующаяся толпа, смущенная заявлением Иеронимо, остановилась озадаченная; несколько рук отпустили дона Фернандо; в это мгновение морской офицер высокого ранга поспешно к ним подошел и, протеснившись сквозь окружавшую их шумную толпу, спросил: „Дон Фернандо Ормес! что случилось с вами?“ Тот отвечал, уже совершенно освободившись, с истинно героической находчивостью: „Да! Посмотрите-ка, дон Алонзо, на этих злодеев! Я бы погиб, если бы этот достойный человек, для успокоения разъяренной толпы, не выдал себя за Иеронимо Ругеру. Будьте добры, арестуйте его вместе с этой молодой дамой, ради их обоюдной безопасности, а вместе с тем и этого негодяя, — добавил он, хватая башмачника Педрильо, — который поднял весь этот бунт“. Башмачник воскликнул: „Дон Алонзо Онореха! ответьте по совести, разве эта девица — не Иозефа Астерон?“ Так как дон Алонзо, прекрасно знавший Иозефу, медлил с ответом и несколько голосов с вновь вспыхнувшим бешенством завопили: „это — она! это — она!“ и „смерть ей!“, то Иозефа, передав на руки дону Фер-

нандо маленького Хуана и маленького Филиппа, которого до сих пор держал Иеронимо, сказала: „Идите, дон Фернандо, спасайте своих обоих детей и предоставьте нас нашей участи!“ Дон Фернандо, приняв от нее детей, сказал, что он скорее готов погибнуть, чем допустить, чтобы кому-нибудь из бывших с ним причинили зло. Он подал Иозефе руку, после того как выпросил шиагу у морского офицера, и предложил другой паре следовать за ним. Они действительно вышли, так как при таких приготовлениях, толпа расступилась перед ними с достаточной почтительностью; уже они считали себя спасенными, но едва вышли на площадь, также наполненную народом, как из преследовавшей их разъяренной толпы раздался голос: „Это — Иеронимо Рутера, граждане, ведь я — его отец!“ и страшный удар дубины поверг его на землю. Шедшая с ним рядом донна Констанца с криком: „Иисус — Мария!“ бросилась к своему зятю, но уже раздался крик: „монастырская девка“, и удар дубины, нанесенный с другой стороны, поверг на землю рядом с Иеронимо и ее бездыханную. „Чудовище, — закричал неизвестный, — это ведь донна Констанца Ксарес!“ — „Зачем они нас обманывали!“ — отвечал башмачник. — Отыщите настоящую и убейте ее!“ Дон Фернандо, увидав труп донны Констанцы, вспылал гневом; он вынул меч из ножен, взмахнул им и нанес бы фанатику-злодею, вызвавшему все эти зверства, такой бешеный удар, который рассек бы его пополам, если бы тот не уклонился от него. Но так как он не мог бы одолеть наступавшей на него толпы, то Иозефа с криком: „Прощайте, дон Фернандо, и будьте благополучны вы и дети! Вот! убейте же меня, кровожадные тигры!“ — бросилась добровольно в толпу; чтобы прекратить побоище. Педрильо ударом дубины свалил ее с ног. Затем, обрызганный ее кровью, завопил: „Пошлите ее убудка за ней в преисподнюю!“ и ринулся с еще неутоленной жаждой крови снова вперед. Дон Фернандо, этот богоподобный герой, стоял теперь, прислонившись спиной к церковной стене; ле-

вой рукою держал он детей, правой — меч! Каждым ударом он, как молнией, поражал одного из нападавших; лев не мог бы лучше обороняться. Перед ним уже лежали во прахе семь кровожадных псов; сам вождь сатанинской шайки был ранен. Однако мастер Педрильо не успокоился до тех пор, пока ему не удалось за ноги оторвать у него от груди одного из мальчиков; он взмахнул им высоко над головою и раздробил его об угол одной из церковных колонн. После этого настала тишина, и все разошлись.

Когда дон Фернандо увидал перед собою своего маленького Хуана, лежащего на земле с раздробленным черепом, из которого вытекал мозг, то с несказанным страданием возвел он очи к небу. Морской офицер подошел к нему снова, пытался его утешить и уверял, что глубоко раскаивается в своем бездействии во время этой катастрофы, хотя в данном случае многие обстоятельства могли бы служить ему оправданием; на это дон Фернандо отвечал, что его ни в чем упрекнуть нельзя и он только просит его помочь унести тела убитых. Всех их во мраке наступающей ночи перенесли в дом дона Алонзо, куда последовал за ними и дон Фернандо, орошая обильными слезами лицо маленького Филиппа. Он и всю ночь провел у дона Алонзо и долго под разными предлогами не решался сообщить жене о несчастье во всем его объеме, во-первых, потому, что она была больна, а во-вторых, потому, что не знал, как она отнесется к его поведению во время этого происшествия; но вскоре одна посетительница сообщила ей случайно все, что произошло; и эта прекрасная женщина, выплакав втихомолку свое материнское горе, однажды утром бросилась ему на шею с последней, еще невысохшей слезой, блестящей на ее ресницах, и поцеловала его. Дон Фернандо и донна Эльвира взяли после того маленького чужака в приемыши, и когда дон Фернандо сравнивал Филиппа с Хуаном и то, как он приобрел того и другого, ему почти казалось, что он должен радоваться тому, что случилось.

ОБРУЧЕНИЕ НА САН-ДОМИНГО

В городе Порт-о-Пренс, в той части острова Сан-Доминго, которая принадлежала французам, проживал в начале текущего столетия, когда произошло избиение белых неграми, на плантации господина Гильома де Вильнева страшный старый негр по имени Конго Гоанго. Этот человек, родом с Золотого берега Африки, в молодые годы, видимо, отличавшийся верностью и честностью, был осыпан бесчисленными благодеяниями своего господина за то, что спас ему однажды жизнь во время переезда на Кубу. Господин де Вильнев не только даровал ему немедленно свободу, а по возвращении на Сан-Доминго отвел ему отдельный домик и усадьбу, но даже по прошествии нескольких лет, вопреки обычаям страны, сделал его управляющим своего обширного имения и, так как тот не хотел вступать во вторичный брак, уступил ему, вместо жены, старую мулатку со своих плантаций, по имени Бабекан, с которой тот состоял в отдаленном свойстве через свою умершую жену. Более того, когда негр достиг шестидесятилетнего возраста, он назначил ему значительное содержание, уделив его на покой, и увенчал свои благодеяния тем, что даже оставил ему кое-что по духовному завещанию; тем не менее все эти доказательства его признательности не могли оградить господина де Вильнева от ярости этого свирепого человека.

Конго Гоанго при общем опьянении мезью, которое, вследствие необдуманного мероприятия Национального конвента, вспыхнуло на этих плантациях, один из первых взялся за ружье и, вспомнив то жестокое насилие, которое некогда вырвало его из его родины, всадил пулю в голову своего господина. Он поджог дом, в котором укрылась жена убитого со своими тремя детьми и прочими белыми, проживавшими в имении, опустошил всю плантацию, на которую наследники, проживавшие в Порт-о-Пренс, могли предъявить свои права, и, сравнив с землей все постройки поместья, двинулся с неграми, которых он собрал и вооружил, в окрестные поселения, чтобы поддержать своих соотечественников в их борьбе с белыми. То он подстерегал путешественников, разбегавших по стране вооруженными отрядами; то среди бела дня нападал на плантаторов, окопавшихся в своих усадьбах, причем беспощадно вырезывал всех, кого там находил. Мало того, увлеченный бесчеловечной мстительностью, он призывал старую Бабекан и ее дочку, пятнадцатилетнюю метиску, по имени Тони, принять участие в этой свирепой войне, во время которой он как бы сам помолодел; а так как главное здание плантации, в котором он теперь жил, стояло одиноко на большой дороге и нередко в него заходили в его отсутствие беглецы, белые и креолы, в поисках крова и пищи, то он подучил женщин, чтобы они ласковым приемом и помощью задерживали этих белых собак, как он их называл, до его возвращения. Бабекан, вследствие жестокого наказания, которому она подверглась в молодости, болевшая чахоткой, обычно в подобных случаях приказывала Тони, которая, благодаря желтоватому цвету лица, особенно была пригодна для приведения в исполнение этой отвратительной хитрости, нарядиться в лучшее платье; она убеждала девушку не отказывать проезжим ни в каких ласках, кроме последней ласки, запрещенной ей под угрозой смерти; когда же Конго Гоанго возвращался после набегов, совершенных в окружающей местности, со своим отрядом негров,

неизбежная смерть выпадала на долю несчастных, которые дали себя обмануть их хитростями.

Всем, конечно, хорошо известно, что когда, в 1803 году, генерал Дессалин двинулся с 30 000 негров на Порт-о-Пренс, все белые бросились в этот город, чтобы защищать его. Ибо он был последним опорным пунктом владычества Франции над островом и с его падением все белые, находившиеся на нем, были неминуемо обречены на гибель. Случилось, что как раз в отсутствие старого Гоанго, который со своим отрядом чернокожих выступил для того, чтобы подвезти через французские линии транспорт пороха и свинца для генерала Дессалина, кто-то во мраке дождливой и бурной ночи постучался в заднюю дверь его дома. Старая Бабекан, уже лежавшая в постели, поднялась, отворила окно, накинув на бедра одну юбку, и спросила, кто там. „Заклинаю девою Марией и всеми святыми,— тихо сказал неизвестный, став под окном,— ответьте мне на один вопрос, раньше чем я назову себя!“ и с этими словами он протянул в темноте свою руку, чтобы схватить руку старухи, и спросил: „Вы — негритянка?“ Бабекан отвечала: „Вы-то — уж наверное белый, раз предпочитаете глядеть в лицо этой беспросветной ночи, чем в лицо негритянки! Входите,— добавила она,— и не бойтесь ничего; здесь живет мулатка, а единственный человек, который, кроме меня, находится в этом доме, это — моя дочь, метиска!“ Сказав это, она приотворила окошко, словно намереваясь сойти вниз, чтобы отворить ему дверь, а между тем, наскоро захватив из шкафа кое-какое платье, она под предлогом, что не сразу могла найти ключ, пробралась вверх в каморку дочери и разбудила ее: „Тони! — сказала она, — Тони!“ — „В чем дело, мать?“ — „Скорее! — сказала старуха. — Вставай и одевайся! Вот тебе платье, чистое белье и чулки! у дверей стоит белый, за которым гонятся, и просит, чтобы его впустили“. Тони спросила, наполовину приподымаясь на постели: „Белый?“ Она взяла платье, которые старуха держала в руках, и сказала: „А он один, мама?

нам нечего бояться, если мы его впустим?“— „Нечего, нечего!— отвечала мать, зажигая огонь;— он без оружия, один и дрожит всем телом со страху, что мы на него нападём!“ С этими словами, в то время как Тони надевала чулки и юбку, старуха засветила большой фонарь, стоявший в углу комнаты, поспешно завязала девушке волосы на голове, как их носили в этой местности, надела на нее шляпу, затянув предварительно шнуры ее лифа, и, передав ей фонарь, приказала сойти во двор и впустить незнакомца.

Тем временем лай дворовых собак разбудил мальчика, по имени Нанки, внебрачного сына Гоанго, прижитого с одной негритянкой, который спал вместе с братом Сепши в соседнем доме; и так как при свете месяца он увидал одного лишь человека, стоявшего на черной лестнице дома, то поспешил, согласно полученным для подобных случаев указаниям, к воротам, ведущим во двор, через которые тот вошел, чтобы их запереть. Незнакомец, который не мог понять, что означают все эти мероприятия, спросил мальчика, которого он теперь мог разглядеть вблизи и, к своему ужасу, признал в нем негритенка: „Кто живет в этой усадьбе?“ Когда же тот отвечал, что после смерти господина де Вильнева имение перешло к негру Гоанго, он уж готов был сбить мальчика с ног, вырвать у него ключ от ворот, который тот держал в руке, и бежать в поле, когда из дома вышла Тони с фонарем в руке. „Скорей!— сказала она, схватив его за руку и увлекая его к двери,— входите сюда!“ При эгом она старалась так держать фонарь, чтобы свет его прямо падал на ее лицо.— „Кто— ты?“— воскликнул незнакомец, вырываясь от нее и, по многим причинам, с удивлением разглядывая ее прелестную юную фигуру.— Кто живет в этом доме, в котором, как ты говоришь, я найду убежище?“— „Никто, клянусь небесным светом,— отвечала девушка,— кроме моей матери и меня!“ Сказав это, она настойчиво старалась увлечь его за собою. „Как никто?“— воскликнул незнакомец, шагнул назад и вырвав у нее свою

руку.— Не сказал ли мне только что этот мальчик, что здесь проживает негр, по имени Гоанго? — „А я говорю, что нет! — сказала девочка, с выражением досады топнув ногою; — и хотя дом этот и принадлежит злодею, который носит это имя, но его сейчас в нем нет, и он от него не менее как на расстоянии десяти миль!“ С этими словами она обеими руками втащила пришельца в дом, приказала мальчику никому не говорить, кто к ним прибыл, и, дойдя до двери, взяла незнакомца за руку и повела его вверх по лестнице в комнату матери.

„Ну, — сказала старуха, слышавшая из верхнего окна весь разговор и при свете фонаря заметившая, что то был офицер: — что означает эта шпага, которую вы держите под мышкой, словно готовясь к бою? Мы предоставили вам, — добавила она, надевая на нос очки, — с опасностью для жизни убежище в нашем доме; неужели вы вошли в него с тем, чтобы, по обычаю ваших соотечественников, отплатить нам предательством за оказанное вам благодеяние?“ — „Боже упаси!“ — отвечал гость, близко подойдя к ее креслу. Он схватил руку старухи, прижал ее к своему сердцу, робко оглядев комнату, отстегнул шпагу, висевшую у него на боку, и добавил: „Перед вами несчастнейший из людей, но отнюдь не дурной и не неблагодарный!“ — „Кто вы такой?“ — спросила старуха и придвинула ему ногою стул, приказав девушке пойти на кухню и на скорую руку приготовить для незнакомца что-нибудь поужинать. Незнакомец отвечал: „Я — офицер французской армии, хотя, полагаю, вы сами могли заметить, что я — не француз; родина моя — Швейцария, а зовут меня Густав фон дер Рид. Ах! зачем я ее покинул и променял на этот злосчастный остров! Я иду из форта Дофина, где, как вам известно, все белые были перебиты, и направляюсь в Порт-о-Пренс, чтобы достигнуть его, раньше чем генералу Дессалину удастся окружить и осадить его войсками, которыми он командует“.

„Из форта Дофина! — воскликнула старуха, — и вам, с вашим цветом кожи, удалось пройти этот огромный путь по стране негров, охваченной восстанием? — „Бог и все святые, — отвечал гость, — защитили меня! К тому же я не один, добрая матушка, — меня сопровождает почтенный старик, мой дядя, с супругой и пятью детьми, не говоря о нескольких слугах и горничных, входящих в состав семьи, — караван из двенадцати человек, который я должен перевозить при помощи двух жалких мулов тягостными ночными переходами, так как днем мы не решаемся показаться на больших дорогах“. — „Боже ты мой! — воскликнула старуха, нюхая табак и сочувственно покачав головой. — А где находятся в настоящую минуту ваши спутники?“ — „Вам, — отвечал гость, немного подумав, — я могу довериться; сквозь темную окраску вашей кожи просвечивает отблеск собственной моей окраски. Скажу вам, что все мое семейство находится на расстоянии одной мили отсюда, близ пруда Чаек, в чаще прилегающей к нему горной поросли. Третьего дня голод и жажда принудили нас искать это убежище. Напрасно разослали мы прошлую ночь наших слуг, достать хотя бы немного хлеба и вина у окрестных жителей, — страх быть схваченными и убитыми удержал их от решительных шагов в этом направлении, так что сегодня мне пришлось самому отправиться с опасностью для жизни, дабы попытаться счастье. Небо, если не ошибаюсь, — продолжал он, пожимая руку старухи, — привело меня к сострадательным людям, не разделяющим жестокое, неслыханное озлобление, охватившее всех жителей этого острова. Будьте добры, за богатое вознаграждение, наполните несколько корзин продовольствием и вином; нам осталось всего пять дневных переходов до Порт-о-Пренса, и если вы доставите нам возможность достигнуть этого города, то мы вечно будем смотреть на вас, как на спасших нам жизнь“.

„Да, удивительно это дикое озлобление! — лицемерно заметила старуха; — не похоже ли это на то, как если бы руки, принадлежащие одному телу, или зубы одного

рта затеяли между собою войну из-за того, что один член создан иначе, чем другой. Разве виновата я, отец которой родом из Сант-Яго на Кубе, в том светлом оттенке, что виден на моем лице при дневном свете? и разве моя дочь, зачатая и рожденная в Европе, может отвечать за то, что ее кожа отражает полностью сияние дня той части света?" — „Как,— воскликнул гость,— вы, которая по чертам лица — несомненная мулатка и притом африканского происхождения, и эта милая метиска, которая пустила меня в дом, вы также включены вместе с нами, европейцами, в один смертный приговор?" — „Клянусь небом! — отвечала старуха, снимая с носа очки,— неужели вы воображаете, что небольшое имущество, которое мы приобрели горестным и тяжким трудом наших рук, за многие исполненные печали годы, не возбуждает злобу этих исчадий ада, этого свирепого разбойничьего сброда. Если бы нам не удалось обеспечить себя от преследования хитростью и всеми теми средствами, какие самозащита вкладывает в руки слабых, то, конечно, тень кровного родства, разлитая на наших лицах, поверьте, не могла бы нас оградить". — „Возможно ли? — воскликнул гость; — кто же вас преследует на этом острове?" — „Владелец этого дома, — отвечала старуха, — негр Конго Гоанго. Со смерти господина Гильома, прежнего владельца этой плантации, погибшего от его свирепой руки в самом начале восстания, мы, заведывавшие его хозяйством в качестве его родственниц, оказались в полной его власти и подвергаемся произволу и насилиям с его стороны. За каждый кусок хлеба, за каждый глоток вина, который мы из человеколюбия даем тому или другому белому беглецу, проходящему время от времени по большой дороге, он расплачивается с нами ругательствами и побоями; и у него нет большего желания, чем натравить на нас месть чернокожих, как на белых и креольских полусобак, — так он нас называет, — частью, чтобы вообще с нами разделаться, зная, что мы порицаем его за свирепое отношение к белым, частью, чтобы завла-

деть тем небольшим имуществом, которое останется после нашей смерти“.— „Ах, вы, несчастные! — воскликнул гость, — ах, вы, жалкие создания! А где находится в настоящее время этот изверг?“ — „При войске генерала Дессалина, — отвечала старуха; — вместе с прочими чернокожими, принадлежавшими к этой плантации, он доставляет транспорт пороха и свинца генералу, в которых тот нуждается. Мы ожидаем его возвращения, если только он не примет участия в каком-либо новом предприятии, дней через десять-двенадцать; и если он тогда узнает, боже упаси, что мы дали защиту и приют белому, пробиравшемуся в Порт-о-Пренс, в то время как он всеми силами участвовал в предприятии, направленном на полное их истребление на этом острове, то всех нас, поверьте, ждет неминуемая смерть“.— „Бог, который любит человечность и сострадание, — отвечал гость, — оградит вас от пагубных последствий благодеяния, оказанного несчастному! А так как, — продолжал он, ближе подошедши к старухе, — вы уже подали негру повод для гнева, а ваше возвращение к послушанию вам уже не может помочь, то не решились ли бы вы, за любое вознаграждение, какое вы только захотите назначить, предоставить моему дяде и его семейству, чрезвычайно утомленным путешествием, приют в вашем доме на один, на два дня, чтобы они могли хоть немного отдохнуть?“ — „Сударь! о чем вы просите? — воскликнула пораженная старуха, — возможно ли приютить в доме, стоящем на большой дороге, такой большой караван, как ваш, чтобы об этом не узнали окрестные жители?“ — „А почему бы нет? — настойчиво возразил гость. — Если бы я сам сейчас же отправился к пруду Чаек и провел бы всю компанию в усадьбу еще до наступления дня; если бы вы всех нас — и господ, и прислугу — поместили в одной из комнат дома, а на всякий случай из предосторожности хорошенько заперли бы и окна, и двери!“ Старуха отвечала, взвесив сделанное ей предложение, что если он решится в эту ночь провести свой караван из горного ущелья, где он

укрылся, в их усадьбу, то на пути сюда он неизбежно встретится с отрядом вооруженных негров, о прибытии которых по большой дороге предупредили высланные вперед стрелки. „Ну, что же! — сказал гость, — в таком случае мы удовлетворимся пока тем, что пошлем несчастным корзину с съестными припасами и отложим наше предприятие с переводом их в усадьбу до следующей ночи. Согласитесь ли вы на это, добрая матушка?“ — „Ну, так и быть! — отвечала старуха, в то время как гость осыпал поделуями ее костлявую руку; — ради того европейца, отца моей дочери, я окажу эту услугу его соотечественникам, попавшим в беду. На рассвете садитесь и пишите записку вашим родным с приглашением прибыть ко мне в усадьбу; мальчик, которого вы видели во дворе, снесет вашу записку и кое-какую провизию и для их безопасности останется с ними в горах до ночи, а с наступлением ее, если приглашение будет принято, проведет ваш караван сюда“.

Тем временем Тони вернулась из кухни, неся приготовленные ею кушанья, и, с усмешкой поглядывая на гостя, спросила, накрывая на стол: „Ну, что мать, отдохнул ли наш гость от страха, обуявшего его у двери? Убедился ли он, что его здесь не подстерегают ни яд, ни кинжал и что негра Гоанго нет дома?“ Мать отвечала со вздохом: „Дитя мое, пословица говорит, что, обжегшись на молоке, дуют на воду. Наш гость поступил бы безрассудно, если бы он отважился вступить в дом, не убедившись предварительно в том, к какому племени принадлежат его обитатели“. Девушка стала перед матерью и рассказала ей, как она нарочно так держала фонарь, чтобы свет его полностью падал ей на лицо. „Но воображение его было так полно маврами и неграми, — продолжала она, — что даже, если бы дверь ему отворила дама из Парижа или Марселя, он и ту принял бы за негрятянку“. Гость, тихонько обняв ее за талию, сказал смущенно, что шляпа, которая на ней была надета, помешала ему разглядеть ее лицо. „Если бы я тогда имел возможность так заглянуть в твои

глаза, как я сейчас это делаю,— продолжал он, с жаром прижимая ее к своей груди,— хотя бы все остальное в тебе было черно, я готов был бы выпить с тобою из одного отравленного кубка“. Мать принудила его, сильно покрасневшего при этих словах, сесть за стол, после чего Тони опустилась рядом с ним и облокотившись смотрела ему в лицо, пока он ел. Гость спросил, сколько ей лет и какого города она уроженка, на что мать ответила вместо нее, что пятнадцать лет тому назад, во время путешествия по Европе, в котором она сопутствовала жене господина де Вильнева, ее прежнего хозяина, она зачала и родила Тони в Париже. К этому она добавила, что хотя негр, Комар, за которого она впоследствии вышла замуж, и усыновил ее дочку, но что, так как ее подлинный отец был богатый негоциант из Марселя, по имени Бертран, то и девушка по нему называется Тони Бертран.

Тони спросила его, знал ли он такого господина во Франции. Гость отвечал, что нет, что страна велика и за то короткое время, когда он собирался сесть на корабль, отправляясь в Вест-Индию, ему не пришлось встречаться с лицом, которое носило бы такую фамилию. На это старуха заметила, что, по довольно достоверным справкам, которые она навела, господин Бертран не находится более во Франции. „Его честолюбивый и энергичный характер,— сказала она,— не довольствовался скромной деятельностью частного лица; он принял участие в начале революции в общественных делах и в 1795 году отправился с французским посольством к турецкому двору, откуда, насколько мне известно, он до сих пор еще не возвращался“. Гость с улыбкой, взяв Тони за руку, заметил, что в таком случае она — знатная и богатая девица. Он стал ее уговаривать воспользоваться этими преимуществами и высказал предположение, что она может еще надеяться, под руководством своего отца, попасть в более блестящие жизненные условия, чем те, в которых она находится в настоящее время. „Едва ли,— возразила старуха

со сдерживаемым волнением.— Господин Бертран еще в Париже, во время моей беременности, отказался на суде под присягой, из стыда перед своей молодой невестой, на которой он собирался жениться, признать себя отцом будущего ребенка. Я никогда не забуду его присяги, которую он имел наглость бросить мне в лицо. Последствием этого была желчная лихорадка и шестьдесят ударов плети, которые господин де Вильнев велел мне дать, а вскоре — и чахотка, которой я страдаю до сих пор, как последствие плетей“.

Тони, сидевшая задумчиво, подперев голову рукою, спросила гостя, кто он, откуда и куда идет, на что тот после непродолжительного смущения, вызванного в нем ожесточенной речью старухи, отвечал, что он едет из форта Дофина, с семейством своего дяди, господина Штремли, которое он оставил в горных порослях, близ пруда Чаек, под охраной двух молодых двоюродных братьев. По просьбе девушки он рассказал несколько эпизодов, имевших место в этом городе во время вспыхнувшего восстания; как в глухую полночь, когда все было погружено в глубокий сон, по предательски поданному сигналу, началось избиение белых чернокожими; как начальник негров, сержант французских инженерных войск, с сатанинской злобой тотчас поджег все суда в гавани, чтобы отрезать белым пути для бегства в Европу; как его семейство едва успело спастись к городским воротам, захватив с собою лишь кое-какое имущество, и как при одновременной вспышке восстания во всех приморских поселениях им ничего иного не оставалось, как при помощи двух мулов, которых им удалось раздобыть, пересечь весь остров, направляясь в Порт-о-Пренс, единственный город на острове, который под охраной значительных французских войск еще оказывал в настоящее мгновение сопротивление победоносным силам негров. Тони спросила: „Чем же белые возбудили к себе такую ненависть?“ Гость отвечал смущенно: „Общим их отношением к чернокожим, которое они проявляли, господствуя над

островом, отношением, которое я, откровенно говоря, не решусь оправдывать; впрочем, эти порядки существуют уже многие столетия! Безумие свободы, охватившее все эти плантации, побудило негров и креолов разбить тяготившие их цепи и отомстить белым за многочисленные и заслуживающие всяческого порицания обиды, которые им причинили некоторые недостойные представители белой расы. Особенно ужасным и удивительным показался мне поступок одной молодой девушки,— продолжал он после краткого молчания.— Эта девушка, негритянка по происхождению, как раз в то мгновение, когда вспыхнуло восстание, лежала больная желтой лихорадкой, эпидемия которой вспыхнула в это время, усугубляя бедственное положение в городе. Три года перед тем она служила, как рабыня, у одного плантатора-европейца; этот последний, обиженный тем, что она не хотела удовлетворить его желания, сначала жестоко с нею обращался, а затем продал ее одному плантатору-креолу. В день общего восстания девушка узнала, что этот плантатор, ее бывший хозяин, убегая от преследовавших его разъяренных негров, скрылся в расположенном неподалеку дровяном сарае, и, памятуя нанесенные ей обиды, она, с наступлением темноты, послала к нему своего брата с приглашением переночевать у нее. Несчастный, не подозревая, что она больна, а тем более не ведая, какой болезнью она страдает, пришел к ней и, преисполненный благодарности, заключил ее в свои объятия, так как почитал себя уже спасенным; но не успел он провести и получаса в ее кровати среди ласк и нежностей, как вдруг она поднялась с выражением дикой и холодной ярости и заговорила: „Ты деловал зачумленную, которая несет уже смерть в своей груди: иди же и передай всем тебе подобным желтую лихорадку!“

Офицер, в то время как старуха громко выражала по этому поводу свое негодование, спросил Тони, способна ли она совершить такой же поступок? — „Нет“, — отвечала Тони в смущении, опустив глаза. Гость, по-

ложив салфетку на стол, заявил, что, по его внутреннему чувству, ни один тиранический поступок, какой белые когда-либо совершили, не может оправдать столь низкого и отвратительного предательства. „Само небесное возмездие — воскликнул он, вскакивая с места с страстным движением,—этим обезоруживается; даже возмущенные ангелы станут на сторону тех, кто были неправы, и возьмут их дело под свое покровительство для поддержания божеского и человеческого порядка!“ С этими словами он на мгновенье подошел к окну и глянул во мрак ночи, проносившийся в бурных облаках над месяцем и звездами; и так как ему показалось, что мать и дочь переглянулись между собой, хотя он и не заметил, чтобы они подали друг другу какие-либо знаки, им овладело какое-то неприятное и тягостное чувство; он обернулся и попросил, чтобы ему отвели комнату для ночлега.

Мать заметила, взглянув на стенные часы, что к тому же уж близко к полуночи, взяла свечу и предложила гостю следовать за нею. Она провела его длинным коридором в отведенную ему комнату; Тони несла за ними его плащ и несколько других вещей, которые он при входе в дом сложил с себя; старуха указала ему удобную кровать с высоко взбитыми перинами, на которой он должен был спать, и, приказав Тони приготовить гостю ножную ванну, пожелала ему покойной ночи и удалилась. Гость поставил шпагу в угол и положил пару пистолетов, которые носил за поясом, на стол. Пока Тони выдвигала кровать и накрывала ее белой простыней, он оглядел комнату; и так как он, по вкусу и великолепию, с которыми она была убрана, заключил, что эта комната должна была принадлежать прежнему владельцу плантации, то на его сердце, как коршун, напало беспокойное чувство, и ему захотелось снова очутиться, хотя бы голодным и жаждущим, в лесу со своими. Девушка принесла тем временем из неподалеку расположенной кухни сосуд с горячей водой, испускавший аромат душистых трав, и предложила офицеру,

стоявшему прислонившись к окну, омыться, чтобы восстановить свои силы. Офицер, молча освободившись от галстука и жилета, опустил на стул; он уже собирался разуться и, в то время как девушка, стоя перед ним на корточках, заканчивала мелкие приготовления к ванне, принялся разглядывать ее привлекательную фигуру.

Волосы густыми локонами упали на ее молодую грудь, в то время как она наклонилась, став на колени; какое-то особое очарование играло на ее губах и в осененных длинными ресницами глазах; если бы не цвет ее кожи, в котором для него было что-то отталкивающее, он бы готов был поклясться, что никогда не видал ничего более прекрасного. При этом его поразило какое-то отдаленное сходство, с кем — он сам хорошенько не знал еще, замеченное им уже при входе в дом, и это сходство невольно влекло его к ней. В то мгновение, когда она, заканчивая свои дела, поднялась с колен, он схватил ее за руку и, правильно заключив, что существует только одно средство проверить, есть ли у девушки сердце или нет, привлек ее к себе на колени и спросил, есть ли у нее жених? — „Нет!“ — прошептала девушка, опуская свои большие черные глаза с очаровательной стыдливостью. Не пытаясь встать с его колен, она добавила, что, правда, живущий по соседству молодой негр Конелли месяца три тому назад посватался к ней, однако, по причине своей молодости, она ему отказала. Гость, охватив обеими руками ее стройный стан, сказал, что у него на родине, согласно распространной там поговорке, когда девушке минет четырнадцать лет и семь недель, она уже достигла брачного возраста. Он спросил ее, в то время как она разглядывала золотой крестик, висевший у него на груди, сколько ей лет. — „Пятнадцать“, — отвечала Тони. „Вот видишь! — сказал гость; — может быть, его средства ему не позволяют устроить свое хозяйство так, как ты бы того желала?“ Тони, не подымая глаз и выпустив его крест, который она держала в руке, отвечала: „О нет!

Конелли, после недавнего переворота, сделался богатым человеком; его отцу досталась вся плантация, прежде принадлежавшая его хозяину плантатору.— „Почему же ты ему отказала?“—спросил гость. Он ласково пригладил волосы, сбившиеся ей на лоб, и спросил: „Может быть, он тебе не нравился?“ Девушка, слегка встряхнув головой, засмеялась и на вопрос гостя, который тот шутливо шепнул ей на ухо, не решено ли у нее, что только белый должен завоевать ее расположение, она, после краткого мечтательного раздумья, вспыхнув сквозь загар очаровательным румянцем, вдруг прижалась к его груди. Гость, тронутый ее прелестью и лаской, назвал ее своей милой девушкой и, словно по мановению божества, освободившись от всякой тревоги, заключил ее в свои объятия. Ему и в голову не приходило, чтобы все эти движения, которые он в ней заметил, могли быть выражением хладнокровного, отвратительного вероломства. Мысли, тревожившие его, отлетели, как стая зловещих птиц; он порицал себя, что, хотя бы на мгновенье, мог мысленно так оклеветать ее сердце, и, в то время как он баюкал ее на своих коленях, впивая сладостное дыхание, исходившее из ее уст, он, как бы в знак примирения и прощения, напечатлел поцелуй на ее челе.

Тем временем, внезапно прислушавшись, словно чьи-то шаги приближались по коридору к двери, девушка приподнялась; задумчиво и как бы погруженная в мечты, она поправила сбившийся на груди ее платок; и лишь убедившись в своей ошибке, она снова обратилась с ясной улыбкой к гостю и напомнила ему, что вода, если он не поспешит ею воспользоваться, скоро простынет. „Ну!—сказала она смущенно, так как гость молчал и задумчиво на нее глядел,—отчего вы так пристально на меня смотрите?“ Поправляя свой лиф, она старалась скрыть смущение, напавшее на нее, и со смехом воскликнула: „Какой вы чудаки! что вас так поразило в моей наружности?“

Гость провел рукой по лбу и, подавив вздох и ситу-

стив девушку с колен, сказал: „Странное сходство между тобою и одной моей подругой!“ Тони, заметившая, что его веселость развеялась, ласково и участливо взяла его за руку и спросила: „Кто она?“ на что после краткого раздумья тот отвечал: „Звали ее Марианой Конгрев, родом она была из Страсбурга. Я познакомился с нею в этом городе, где ее отец имел торговлю, незадолго до революции, и мне посчастливилось получить ее согласие, а также и предварительное одобрение ее матери. Ах, это было самое верное сердце во всем мире! и глядя на тебя, ужасные и трогательные обстоятельства, при которых я ее утратил, так живо воскресают в моей памяти, что я от грусти не могу удержать слез“.—„Как?—спросила Тони, прижавшись к нему с сердечной и искренней лаской.—Разве ее больше нет в живых?“—„Она скончалась,—отвечал он,— и лишь после ее смерти я узнал всю полноту ее доброты и нравственного совершенства. Бог знает, как это случилось,—продолжал он, горестно склонив голову на ее плечо,— что я, в своем легкомыслии, как-то вечером позволил себе в одном публичном месте высказать суждение о только что учрежденном в городе грозном революционном трибунале. На меня донесли, меня стали разыскивать; более того, не найдя меня, так как мне удалось скрыться в пригороде, шайка моих разъяренных преследователей, которым, во что бы то ни стало, надо было иметь жертву, бросилась в дом моей невесты, и, озлобленные ее вполне правдивым ответом, что она не знает, где я нахожусь, под предлогом, что она состоит со мною в заговоре, они с неслыханным легкомыслием потащили ее вместо меня на место казни. Едва дожда до меня эта ужасная весть, как я тотчас покинул убежище, в котором укрылся, и, прорвавшись сквозь толпу, поспешил к месту казни; прибыв туда, я воскликнул: „Я здесь, бесчеловечные люди, я здесь!“ Однако она, уже стоя на эшафоте, близ гильотины, на вопрос некоторых судей, к несчастью, меня не знавших, отвечала, отводя от меня взгляд, который навеки

запечатлелся в моем сердце: „Этого человека я не знаю!“ После чего, под треск барабанов и шум, поднятый кровожадной толпой, нож гильотины упал, и голова ее отделилась от туловища. Как я спасся,— не знаю. Через четверть часа я оказался в доме одного друга, где переходил из одного обморочного состояния в другое, и, наполовину лишившись рассудка, к вечеру был посажен на телегу и перевезен на другой берег Рейна“. При этих словах, выпустив девушку, гость подошел к окну, и, когда она увидала, что он в чрезвычайном волнении прижал платок к лицу, ею овладело непосредственное человеческое чувство, вызванное самыми различными причинами; она последовала за ним, с внезапным порывом бросилась ему на шею и смешала свои слезы с его слезами.

Что произошло дальше, нам нет надобности сообщать читателям, ибо каждый, кто дойдет до этого места, сам легко догадается. Гость, когда опять пришел в себя, не мог отдать себе отчета в том, куда его приведет совершенное им; между тем одно было ясно для него: что он спасен и что в доме, в котором он находится, ему нечего опасаться со стороны девушки. Он пытался, при виде того, как она, ломая руки, горько плакала, лежа на кровати, сделать все возможное, чтобы ее утешить. Он снял с груди золотой крестик, подарок верной Марианы, его покойной невесты, и, склонившись над девушкой с бесконечными ласками, он его надел ей на шею, назвав его своим обручальным даром. А так как она все обливалась слезами и не слушала его слов, то он присел на край постели и, взяв ее за руку, то глядя, то делая ее, сказал, что на следующее же утро попросит у матери ее руки. Он описал ей свое небольшое, но свободное и независимое поместье на берегах реки Аара, дом, удобный и достаточно поместительный, чтобы в нем могли поселиться они двое и ее мать, если ее преклонные годы не помешают ей предпринять столь длинное путешествие; есть у него и поля, и сады, и луга, и виноградники, а престарелый и почтенный отец

его примет ее с любовью и признательностью, так как она спасла его сына. Когда же она продолжала орошать подушки обильными слезами, он заключил ее в свои объятия и, сам тронутый до слез, спросил, какое зло он причинил ей и может ли она его простить. Он клялся ей, что любовь никогда не угаснет в его сердце и что только в чаду странно спутавшихся ощущений смешанные чувства желанья и боязни, которые она ему внушала, соблазнили его на такой поступок. Наконец он напомнил ей, что на небе уже взошли утренние звезды и что если она еще дольше останется в постели, то придет мать и застанет ее там; он убеждал ее, ради ее здоровья, встать и отдохнуть несколько часов на собственной кровати; он спрашивал, напуганный ее ужасным состоянием, не взять ли ее на руки и не отнести ли ее к ней в комнату; но так как она на все его речи продолжала молчать, а голова ее в судорожно сжатых руках все лежала на измятых подушках, сама же она тихо всхлипывала, то он оказался вынужденным, когда в окнах уже брезжило утро, без дальнейших разговоров поднять ее; пока он нес ее вверх по лестнице в ее комнату, тело ее, как бездыханное, свешивалось с его плеч; опустив ее на кровать, он повторил, осыпая ее ласками, все, что он ей уже говорил, назвал ее еще раз своей милой невестой, крепко поцеловал в щеки и поспешил обратно в свою комнату.

Как только настал день, старая Бабекан поднялась в комнату дочери и, присев к ней на кровать, сообщила свой план относительно их гостя и его спутников. Она полагала, что, так как негр Конго Гоанго должен вернуться не ранее, чем через два дня, крайне важно задержать на это время гостя в их доме, не допуская в усадьбу всей семьи его родственников, присутствие которых при их многочисленности может стать опасным. С этой целью она задумала уверить гостя, что, по только что полученным сведениям, генерал Дессалин предполагает прибыть в эти места со своим войском и что, ввиду слишком большого риска, возможно будет, со-

гласно его желанию, принять в доме его семейство не раньше как на третий день, когда генерал уже пройдет со своим войском. Тем временем, закончила она, чтобы удержать всю компанию на месте, ее надо будет снабжать продовольствием, а также, чтобы впоследствии завладеть ими, поддерживать в них надежду, что они найдут убежище в этом доме. Она заметила, что это дело весьма важно, так как надо полагать, что семейство везет с собою значительное имущество; в заключение она потребовала от дочери, чтобы та всеми силами содействовала ей в осуществлении ее замысла. Тони, приподнявшись на постели, причем краска негодования покрыла ее лицо, возразила, что подло и низко нарушать законы гостеприимства по отношению к людям, которых сами они завлекли в дом. Она заявила, что человек гонимый, который отдался под их защиту, должен быть вдвойне в безопасности в их доме, и заверила мать, что, если та не откажется от своего кровавого замысла, о котором ей сообщила, она немедленно пойдет к их гостю и откроет ему, в каком разбойничьем вертеше он рассчитывал найти надежное убежище.

„Тони!“ — воскликнула мать, подбоченившись и глядя на нее широко раскрытыми глазами. — „Разумеется! — отвечала Тони, понижая голос, — что сделал нам этот юноша, — который к тому же и не француз по происхождению, а, как мы от него узнали, швейцарец, — чтобы мы, как разбойники, напали на него, убили и ограбили? Да и распространяются ли обвинения, которые предъявляют здесь к плантаторам, и на ту часть острова, откуда он пришел? Не видно ли по всему, что он, напротив, — благороднейший, прекраснейший человек и что он отнюдь не сочувствует тем несправедливостям, в которых негры могут упрекнуть его соплеменников?“ Старуха, наблюдавшая странное выражение лица девушки, могла выговорить дрожащими губами лишь, что она удивлена. Она спросила ее, чем же провинился тот молодой португалец, которого еще недавно свалили с ног под воротами ударами палиц. Она спрашивала,

какое преступление совершили те два голландца, которые три недели тому назад пали у них на дворе под пулями негров. Она хотела бы знать, какое обвинение могли предъявить тем трем французам, да и стольким одиночным беглецам из белых, которых с начала восстания казнили в их доме при помощи ружей, копий и кинжалов. „Клянусь небом! — сказала дочь, вскочив в диком порыве, — напрасно напоминаешь ты мне обо всех этих ужасах! Зверства, в которых вы заставляли меня участвовать, давно возмущали мое внутреннее чувство; и чтобы отвратить от себя праведный божий гнев, клянусь тебе, что скорее готова десять раз умереть, чем допустить, чтобы у этого юноши, пока он живет в нашем доме, хотя бы один волос упал с головы“. — „Ну, что же, — сказала старуха с внезапно появившимся выражением уступчивости, — пусть он уезжает! Но когда вернется Конго Гоанго, — добавила она, вставая и собираясь выйти из комнаты, — и узнает, что у нас в доме переночевал белый, то ты будешь отвечать за то сострадание, которое побудило тебя, наперекор его строжайшему приказу, дать ему возможность продолжать свой путь“.

После этого заявления, в котором, несмотря на кажущуюся кротость, прорывалось скрытое озлобление старухи, девушка, немало потрясенная, осталась одна в комнате. Ей слишком хорошо была известна ненависть старухи к белым, чтобы она могла подумать, что последняя добровольно упустит такой случай утолить свою злобу. Страх, как бы та не послала немедленно на соседние плантации за неграми, чтобы захватить их гостя, побудил ее тотчас одеться и поспешить за матерью в нижний этаж. В то время как старуха с расстроенным видом отошла от буфета, у которого она, видимо, чем-то была занята, и села за прялку, Тони стала перед прибитым к двери приказом, в котором, под страхом смертной казни, неграм запрещалось предоставлять белым кров и защиту, и, как бы охваченная страхом и словно сознавая свою вину, вдруг обернулась и упала

к ногам старухи, которая, как она знала, наблюдала за нею сзади. Охватив ее колени, она умоляла простить ей безумные слова, которые она позволила себе произнести в защиту их гостя; оправдывалась своим состоянием еще не полного пробуждения, когда мать, застав ее в постели, неожиданно сообщила ей свой план, как его обмануть, и заявила, что безусловно готова предать его каре, установленной законами страны, согласно которым он должен быть уничтожен. Старуха после минутного молчания, во время которого она пристально глядела на дочь, сказала: „Клянусь небом, это твое заявление спасло ему жизнь на сегодняшний день! Ибо, ввиду твоей угрозы взять его под свое покровительство, кушанье, которое предало бы его, по крайней мере мертвого, в руки Конго Гоанго, согласно его приказу, было уже отравлено“. С этими словами она встала и вылила за окно горшок с молоком, стоявший на столе. Тони, не верившая своим глазам, с ужасом глядела на мать. Старуха тем временем снова уселась и, подняв все еще остававшуюся на коленях девушку, спросила, что могло за одну ночь так изменить весь образ ее мыслей, догло ли она оставалась у гостя вчера после того, как приготовила для него ванну, и много ли с ним говорила. Однако Тони, которая в волнении тяжело вздыхала, ничего не отвечала на эти вопросы или отвечала неопределенно; опустив глаза, стояла она, держась за голову и ссылаясь на приснившийся ей сон; но достаточно для нее одного взгляда на грудь ее несчастной матери, сказала она, поспешно наклоняясь и целуя ее руку, чтобы вспомнить всю бесчеловечность той породы, к которой принадлежал их гость, и, отвернувшись и спрятав лицо в ее фартук, уверяла, что, когда придет негр Конго Гоанго, мать убедится в том, какая у нее преданная дочь.

Бабекан еще сидела, погруженная в раздумье и недоумевая, что могло вызвать непонятную страстность девушки, как в комнату вошел гость с письмом в руке, написанном им у себя в спальне, в котором он при-

глашал своих родных провести несколько дней на плантации негра Конго Гоанго. Он весело и приветливо поздоровался с матерью и дочерью и, передавая записку старухе, попросил немедленно отправить ее в лес и позаботиться о его спутниках, согласно данному ему обещанию. Бабекан встала и с выражением беспокойства сказала, кладя записку в шкаф: „Сударь, мы все попросим немедленно вернуться в вашу спальню. Вся дорога полна отдельными отрядами негров; от них мы узнали, что генерал Дессалин направляется с войском в эти края. Этот дом, открытый для всякого прохожего, не может служить вам безопасным убежищем, если вы не скроетесь в вашей спальне, выходящей окнами во двор, и не затворите самым тщательным образом двери и оконные ставни“.—„Как?—воскликнул гость в удивлении,—генерал Дессалин...“.—„Не спрашивайте,—перебила его старуха, три раза стукнув палкой по полу,—в вашей спальне, куда я последую за вами, я вам все расскажу“. Гость, которого старуха почти вытолкала из комнаты с выражением живейшей тревоги, обернулся еще раз уже в самых дверях и воскликнул: „Но нельзя ли, по крайней мере, послать моим родным кого-нибудь, кто их...?“.—„Все будет сделано“,— снова перебила его старуха, в то время как входил вызванный ее стуком незаконнорожденный мальчик, с которым мы уже познакомились; и тогда мать приказала Тони, стоявшей, повернувшись спиной к гостю, против зеркала, чтобы та взяла из угла корзинку с провизией; после чего мать, дочь, их гость и мальчик отправились наверх, в его спальню.

Здесь, покойно расположившись в креслах, старуха рассказала, как всю ночь на горах, замыкающих горизонт, виднелся блеск костров генерала Дессалина,—обстоятельство, соответствовавшее действительности, хотя до настоящего времени еще не показывался в этой местности ни один негр из армии Дессалина, продвигавшейся к Порт-о-Пренсу с юго-запада. Ей удалось этим возбудить в госте сильнейшую тревогу, которую она,

однако, вслед затем постаралась рассеять заверением, что, даже в случае назначения этого дома под постройку, она сделает все от нее зависящее для его спасения. Она взяла, после повторных напоминаний с его стороны о ее обещании помочь при этих обстоятельствах его семейству хотя бы продовольствием, корзину из рук дочери и, передавая ее мальчику, приказала ему отправиться к пруду Чаек в близлежащие горные поросли и передать корзину расположившемуся там семейству их гостя-офицера; при этом пусть он добавит, что сам офицер жив и здоров и что его сострадательно приняли в свой дом друзья белых, которые, за свое сочувствие им, сами много потерпели от чернокожих. Затем она поручала им сказать, что, как только большая дорога очистится от шаек вооруженных негров, которые ожидаются в скором времени, будут приняты меры к тому, чтобы предоставить убежище в этом доме и всему семейству.—„Ты понял?“—спросила она в заключение. Мальчик, поставив корзину себе на голову, отвечал, что хорошо знает описанный ему пруд Чаек, так как не раз ловил в нем с товарищами рыбу, и что все ему порученное передаст семье господина офицера. Гость, на вопрос старухи, не хочет ли он еще что-нибудь добавить, снял с пальца кольцо и вручил его мальчику, приказав передать его главе семейства, господину Штремми, в знак того, что все, что он сообщит, отвечает истине. После этого мать приняла ряд мер, которые, как она говорила, должны были обеспечить безопасность ее гостя; приказала Тони запереть ставни в окнах, а сама, чтобы рассеять воцарившийся в комнате мрак, при помощи огнива, лежавшего на карнизе камина, не без труда, так как трут не загорался, зажгла свечу. Гость воспользовался этой минутой, чтобы нежно обвить рукою стан Тони, и шопотом на ухо спросил ее, как она спала и не следует ли ему сообщить ее матери о том, что произошло; однако на первый вопрос Тони ничего не ответила, а на второй, увернувшись из его объятий, сказала: „Нет! ни слова, если вы меня любите!“ Она

подавила в себе чувство страха, которое возбуждали в ней все эти лживые меры, и, под предлогом приготовления завтрака для гостя, поспешно бросилась в нижнюю комнату.

Она взяла из шкафа матери письмо, в котором гость наивно предлагал своим родным последовать за мальчиком в усадьбу, и на-авось, в надежде, что мать не заметит исчезновения письма, решившись в худшем случае погибнуть вместе с ним, она уже летела по дороге вдогонку мальчику. Ибо в юноше перед богом и собственным сердцем она теперь уже видела не только гостя, которому дала защиту и убежище, но своего жениха и супруга, о чем и предполагала открыто заявить матери, на испуг которой она рассчитывала, когда численное превосходство в их доме окажется на его стороне. „Нанки,— заговорила она, когда, совершенно запыхавшись, успела догнать мальчика на большой дороге,— мать изменила свой план касательно семьи господина Штремли! Возьми это письмо! Оно адресовано на имя старого господина Штремли, главы их семейства, и содержит приглашение погостить несколько дней в нашей усадьбе со всеми его домочадцами. Будь умником и сделай все возможное, чтобы этот план осуществился; негр Конго Гоанго наградит тебя, когда вернется домой!“— „Ладно, ладно, тетка Тони!“— отвечал мальчик. Тщательно завернув письмо и пряча его в карман, он спросил: „Должен ли я служить проводником каравану на его пути сюда?“— „Конечно!— отвечала Тони,— это ведь само собою понятно, так как они незнакомы с здешней местностью. Однако, ввиду возможного прохождения по большой дороге воинских отрядов, вы должны выступить не ранее полуночи, но в то же время настолько ускорить передвижение, чтобы прибыть сюда до рассвета. Можно ли на тебя положиться?“— спросила она.— „Доверьтесь Нанки!— отвечал мальчик,— я ведь знаю, зачем вы заманиваете этих белых беглецов на плантацию; негр Гоанго останется мною доволен!“

После этого Тони подала гостю завтрак; и когда он был убран, мать и дочь отправились по хозяйственным делам в переднюю жилую комнату. Как и надо было ожидать, мать через некоторое время подошла к шкафу и вполне естественно обнаружила исчезновение письма. Не доверяя своей памяти, она приложила на мгновение руку ко лбу и спросила Тони, куда она могла девать письмо, которое получила из рук гостя. Тони, после небольшой паузы, ответила, опустив голову, что гость, насколько ей известно, на ее глазах снова спрятал его в карман и разорвал в присутствии их обеих наверху, у себя в комнате. Мать широко раскрытыми глазами с удивлением посмотрела на дочь; она сказала, что хорошо помнит, что из его рук получила письмо и положила его в шкаф; но, не найдя его там после продолжительных поисков и не доверяя своей памяти, ввиду неоднократных подобных случаев забывчивости, она вынуждена была поверить тому, что сказала ей Тони. Между тем она не могла подавить в себе чувство сильной досады по этому поводу и сказала, что письмо это чрезвычайно пригодились бы негру Гоанго, чтобы привлечь на плантацию семейство их гостя. В полдень и вечером, в то время как Тони подавала гостю кушанья, старуха присаживалась к углу стола, чтобы занять его разговором, и несколько раз пыталась заговорить с ним о письме; но всякий раз как разговор касался этой опасной темы, Тони искусно отклоняла или запутывала его так, что матери так и не удалось выяснить себе из слов гостя судьбу письма. Так прошел день; после ужина старуха, из предосторожности, как она говорила, заперла комнату гостя; и посоветовавшись еще с Тони, при помощи какой хитрости она могла бы выманить у гостя такое же письмо, она отправилась на покой и приказала девушке также ложиться спать.

Как только Тони пришла к себе в комнату и убедилась, что мать ее заснула, она поставила образ пречистой девы, висевший над ее кроватью, на стул и, сложив руки, опустила перед ним на колени. В пламенной

молитве она просила спасителя, ее божественного сына, ниспослать ей мужество и решимость открыть юноше, которому она отдалась, преступления, лежавшие тяжким бременем на ее юной душе. Она давала обет, чего бы это ни стоило ее сердцу, не скрыть от него ничего, не утаить даже безжалостного и ужасного намерения, с которым вчера заманила его в дом; но ради тех шагов, которые она уже предприняла для его спасения, она надеялась, что он ей простит и, как преданную жену, увезет с собою в Европу. Чудесно подкрепленная этой молитвой, она поднялась и, захватив главный ключ, отпиравший все замки в доме, медленно, не зажигая огня, направилась по узкому коридору, пересекавшему все здание, к комнате гостя. Тихо открыв дверь, она подошла к кровати, на которой он покоился, погруженный в глубокий сон. Месяц освещал его цветущее лицо, и ночной ветер, проникая в открытое окно, играл волосами на его лбу. Она тихо склонилась над ним и, впивая в себя его сладостное дыхание, позвала его по имени; однако он был объят глубоким сном, коего содержанием, новидимому, служила она; по крайней мере, она несколько раз слышала, как его пылающие, трепещущие уста шептали имя: „Тони“. Неопишуемая грусть овладела ею; она не могла решиться низвести его с небесной высоты сладостных видений в пучину пошлой и жалкой действительности: и, будучи уверена, что рано или поздно он сам проснется, она опустила у его кровати на колени и стала осыпать его дорогую руку поцелуями.

Но кто опишет ужас, охвативший ее сердце спустя несколько мгновений, когда она вдруг услышала во дворе говор людей и конский топот и бряцанье оружия и среди этого шума совершенно отчетливо узнала голос негра Конго Гоанго, который неожиданно вернулся со всеми своими людьми из лагеря генерала Дессалина. Избегая лунного света, который мог ее выдать, она бросилась к оконным занавескам и, скрывшись за ними, слышала, как мать сообщала негру обо всем, что без

него произошло, а также о присутствии беглеца-европейца в их доме. Негр приглушенным голосом приказал своим спутникам не шуметь во дворе. Он спросил старуху, где в эту минуту находится их гость; та указала ему комнату и не замедлила передать тот странный разговор, который у нее произошел с дочерью по поводу беглеца. Она уверяла негра, что девушка — предательница и что всему ее замыслу захватить беглеца грозит крушение. По крайней мере, она знает, что негодная обманщица с наступлением ночи прокралась в его комнату и даже сейчас покоится в его постели; по всей вероятности, если чужестранец еще не успел убежать, то она предостерегает его в эту минуту и условливается с ним, как ему осуществить бегство. Негр, уже не раз испытывавший верность девушки в подобных случаях, отвечал, что это едва ли возможно. А затем он в бешенстве крикнул: „Келли и Омра! возьмите ваши ружья!“ и, не говоря ни слова, стал подыматься по лестнице в сопровождении всех своих негров, направляясь к комнате гостя.

Тони, перед глазами которой разыгралась в течение немногих минут вся эта сцена, стояла не в силах пошевелить ни одним членом, словно пораженная громом. Одно мгновение она думала разбудить гостя; но, во-первых, двор был занят неграми и потому бегство было невозможно, а во-вторых, она наперед предвидела, что он сразу схватится за оружие, что, при численном превосходстве противника, привело бы к немедленному его убийству. Кроме того, ей не могло при этом не прийти в голову ужасное соображение, что несчастный, увидев ее в это мгновение у своей постели, сочтет ее за предательницу и, потеряв совершенно голову от этой мысли, вместо того, чтобы слушаться ее советов, сам отдастся в руки негра Гоанго. Среди всех этих невыразимых волнений и страхов ей вдруг попала на глаза веревка, которая, невесть по какой случайности, висела на стеной задвижке. Сам бог, подумала она, срывая веревку, положил ее там для спасения ее

и ее друга. Она обмотала юношу по рукам и по ногам, завязав много узлов, а затем, не обращая внимания на то, что он шевелился и упирался, она притянула и крепко привязала концы веревки к кровати; в радости, что ей удалось овладеть данным мгновеньем, она напечатлела поцелуй на его уста и поспешила навстречу негру Гоанго, уже подымавшемуся по лестнице, гремя оружием.

Негр, все еще не доверявший доносу старухи в отношении Тони, когда увидел ее выходящей из указанной комнаты, остановился пораженный и смущенный в коридоре со своей бандой, сопровождавшей его с факелами и ружьями. Он воскликнул: „Предательница! Изменница!“ и, обернувшись к Бабекан, которая сделала несколько шагов по направлению к двери гостя, спросил ее: „Что чужестранец — убежал?“ Бабекан, найдя дверь отворенною, не заглянув в нее, закричала, как бешеная, возвращаясь назад: „Обманщица! Она дала ему возможность бежать! Скорее! Займите все выходы, пока он не успел выскочить на волю!“ — „Что случилось?“ — спросила Тони с удивлением, глядя на старика и на окружавших его негров. „Что случилось?“ — отвечал Гоанго, и с этими словами он схватил ее за грудь и втащил в комнату. „Вы с ума сошли! — воскликнула Тони, оттолкнув от себя старика, остолебневшего в изумлении от того, что представилось его взорам. — Вот лежит чужестранец, крепко привязанный мною к кровати; и клянусь небом, это не худшее, что я сделала на своем веку!“ Сказав это, она отвернулась от него и села к столу, притворяясь, что плачет. Старик обратился к матери, стоявшей тут же в смущении, и сказал: „О Бабекан, какими сказками ты меня морочила?“ — „Слава богу! — отвечала мать, сконфуженно осматривая веревку, которой был связан чужестранец, — беглец здесь, хотя я не могу понять, в чем тут дело“. Негр, вложив саблю в ножны, подошел к кровати и спросил чужестранца, кто он, откуда пришел и куда направляется. Но, так как тот, судорожно сясь освободиться от

уз, ничего не отвечал и лишь мучительно и горестно восклицал: „О Тони! О Тони!“, то заговорила старуха, заявив, что он — швейцарец, по имени Густав фон дер Рид, и прибыл из приморского города Форт Дофина с целым семейством европейских собак, скрывающихся в настоящее время в горных пещерах близ пруда Чаек. Гоанго, заметив, что девушка сидела, уныло оперев голову на руки, подошел к ней, назвал своей милой девочкой, потрепал по щеке и попросил простить ему слишком поспешное недоверие, которое он проявил к ней. Старуха, с своей стороны подошедшая к ней, подбоченившись и покачивая головой, спросила, зачем она привязала чужестранца веревкой к кровати, хотя он не подозревал о грозившей ему опасности. На это Тони, действительно расплакавшись от горя и бешенства, отвечала, порывисто обернувшись к матери: „Оттого, что у тебя нет ни глаз, ни ушей! Оттого, что он отлично понял, какая опасность ему грозит! Оттого, что он хотел бежать, что он просил меня помочь ему в этом, что он замыслил на твою жизнь и наверное осуществил бы уже утром свой замысел, если бы я не связала его сонного“. Старик приласкал и успокоил девушку и велел Бабекан больше не говорить об этом деле. Он вызвал несколько стрелков с ружьями, дабы выполнить веление закона, под действие которого попал чужестранец; но Бабекан шепнула ему тайком: „Ради бога! не делай этого, Гоанго!“ Она отвела его в сторону и объяснила ему, что, прежде чем казнить чужестранца, надо от него добиться, чтобы он написал приглашение своим родственникам, дабы при его помощи заманить их на плантацию, ибо бой с ними в лесу представляет немало опасностей. Гоанго, принимая во внимание, что чужестранцы по всей вероятности вооружены, одобрил это предложение; ввиду позднего времени, он отложил написание письма, о котором шла речь, и поставил при белом двух сторожей; и после того как для большей достоверности он еще раз исследовал веревку и, найдя ее слишком слабою, призвал двух людей, чтобы потуже

ее стянуть, он покинул комнату со всей своей бандой, и все постепенно успокоилось и погрузилось в сон.

Но Тони,— которая лишь для вида попрощалась со стариком, еще раз протянувшим ей руку, и легла в постель,— едва только убедилась, что все в доме затихло, тотчас встала, прокралась задними воротами на волю и с диким отчаянием в груди побежала по тропинке, пересекающей большую дорогу и ведущей к той местности, откуда должен был подойти господин Штремли со своим семейством. Ибо взгляды глубокого презрения, которые, лежа на кровати, бросал на нее их гость, мучительно, как острые ножи, пронзили ей сердце; к ее любви к нему примешивалось чувство жгучей горечи, и она ликовала при мысли, что в предприятии, затеянном ею для его спасения, она найдет смерть. Опасаясь, как бы не разминуться с семейством, она остановилась у ствола пинии, мимо которой компания господина Штремли должна была пройти, если посланное ей приглашение было принято; и вот, согласно уговору, едва забрезжило утро на горизонте, как послышался вдалеке из-за деревьев леса голос мальчика Нанки, служившего проводником каравану.

Шествие состояло из господина Штремли и его супруги, которая ехала на муле, из пяти детей, из коих два, Готфрид и Адальберт, юноши 18 и 17 лет, шли рядом с мулом, из трех слуг и двух служанок, из коих одна держала на руках грудного ребенка и ехала на другом муле; всего — двенадцать человек. Караван продвигался медленно через корни сосен, пересекавшие своими переплетшимися извилинами дорогу по направлению к пинии, где Тони, как можно бесшумнее, чтобы никого не испугать, выступила из тени дерева и крикнула приближавшемуся шествию: „Стойте!“ Мальчик тотчас ее узнал, и на вопрос, где господин Штремли, радостно представил ее престарелому главе семейства, в то время как мужчины, женщины и дети ее окружили. „Благородный господин! — сказала Тони, твердым голосом прерывая его приветствия, — негр Гоанго совер-

шенно неожиданно явился со всеми своими людьми на плантацию. Вы не можете теперь прибыть туда, не подвергая жизни величайшей опасности; более того, ваш племянник, который, к несчастью, там был принят, погибнет, если вы не возьметесь за оружие и не последуете за мною на плантацию, чтобы освободить его из заключения, в котором его держит негр Гоанго!“— „Боже милостивый!“—воскликнули в страхе все члены семейства, а мать, которая была больна и истощена путешествием, упала без чувств с мула на землю. В то время как на зов господина Штремли горничные сбегались на помощь своей госпоже, Тони, которую юноши закидали вопросами, отвела господина Штремли и остальных мужчин в сторону из опасения перед мальчиком Нанки. Не сдерживая своих слез, стыда и раскаяния, она рассказала мужчинам все, что произошло: каково было положение дела в усадьбе, когда туда прибыл юноша; как после разговора с ним с глазу на глаз оно изменилось непостижимым образом; что она сделала после прибытия негра, почти лишившись рассудка от страха, и как она готова отдать жизнь, чтобы освободить его из того заключения, в которое она его ввергла. „Мое оружие!“—воскликнул господин Штремли, спешно направляясь к мулу своей жены и снимая с него ружье. В то время как его молодцы-сыновья, Адальберт и Готфрид, и трое храбрых слуг тоже вооружились, он сказал: „Кузен Густав многим из нас спас жизнь, теперь настал наш черед оказать ему такую же услугу!“ С этими словами он снова посадил оправившуюся жену на мула, приказал из предосторожности связать мальчику Нанки руки, как своего рода заложнику, и отправил всех женщин и детей под охраною одного лишь тринадцатилетнего своего сына Фердинанда, тоже вооружившегося, обратно к пруду Чаек; затем он расспросил Тони, которая также взяла шлем и пику, о числе негров и об их размещении в усадьбе и, обещав ей пощадить Гоанго и ее мать, насколько то дозvoлят обстоятельства, смело и уповая на бога, ста-

во главе своего маленького отряда и выступил под водительством Тони по направлению к усадьбе.

Как только маленький отряд прокрался во двор через задние ворота, Тони показала господину Штремлю комнату, в которой спали Гоанго и Бабекан; и в то время как господин Штремль без шума входил со своими людьми в незапертый дом и захватывал все сложенное в нем оружие негров, девушка прокралась в конюшню, где спал сводный брат Нанки, пятилетний Сеппи. Ибо Нанки и Сеппи, незаконнорожденные сыновья Гоанго, были ему очень дороги, особенно Сеппи, мать которого недавно скончалась; а так как, даже в случае, если бы удалось освободить юношу, отступление к пруду Чаек и бегство оттуда в Порт-о-Пренс, к которому она предполагала присоединиться, будет сопряжено с большими трудностями, то она решила вполне основательно, что обладание обоими мальчиками, в качестве своего рода заложников, будет чрезвычайно полезным на случай преследования каравана неграми. Ей удалось незаметно вынуть из кровати мальчика и перенести его на руках в полудремотном состоянии в главное здание. Между тем господин Штремль, как можно осторожнее, прокрался со своим отрядом в комнату Гоанго; но вместо того, чтобы застать его и Бабекан в постели, как они предполагали, они их нашли разбуженными шумом, полунагими, беспомощно стоящими посреди комнаты. Господин Штремль, взяв в руки ружье, крикнул им, чтобы они сдавались, иначе им грозит неминуемая смерть! Но Гоанго, вместо ответа, сорвал со стены пистолет и выпалил им в толпу, причем пуля слегка задела лоб господина Штремля. По этому сигналу весь отряд последнего бешено кинулся на негра, и Гоанго, успевший вторично выстрелить и прострелить плечо одному из слуг, был ранен сабельным ударом в руку; его и Бабекан повалили на землю и привязали веревками к ножкам большого стола.

Тем временем негры Гоанго, разбуженные выстрелами, выскочили из своих стойл и, заслышав вопли старухи

Бабекан, бешено устремились к дому, чтобы снова овладеть своим оружием. Напрасно господин Штремли, рана которого оказалась незначительной, расставил своих людей у окон дома и приказал им сдерживать натиск негров, открыв по ним ружейный огонь; нападающие не обратили никакого внимания на двух убитых товарищей, уже лежавших на дворе, и бросились за топорами и ломами, чтобы взломать входные двери, которые господин Штремли успел запереть на засов, — когда дрожащая и трепещущая Тони вошла в комнату Гоанго с маленьким Сепши на руках. Господин Штремли, для которого ее появление было чрезвычайно желанным, вырвал у нее из рук мальчика и, обнажив свой охотничий нож, обратился к Гоанго, клятвенно заверяя его, что он тут же убьет мальчика, если Гоанго не прикажет неграм отказаться от своего намерения. Гоанго, силы которого были надломлены сабельным ударом по трем пальцам его правой руки и который понимал, что собственная его жизнь была в опасности в случае его отказа, отвечал после краткого размышления, что он готов исполнить это требование, если ему помогут подняться с пола; господин Штремли подвел его к окну; и старый негр, взяв в левую руку платок, махнул им во двор и крикнул неграм, чтобы они не трогали дверь и вернулись в свои стойла, так как для спасения его жизни не требуется их помощи. После этого бой несколько затих; по требованию господина Штремли, Гоанго послал захваченного в доме негра, чтобы повторить приказание еще оставшейся во дворе кучке совещавшихся между собой людей; а так как чернокожие, хотя и не понимавшие, что собственно происходит, были вынуждены послушаться приказа, определенно переданного им через посланного, то им пришлось отказаться от своего предприятия, для которого тем временем все уже было готово, и направиться один за другим, хотя и с ропотом и бранью, обратно в свои стойла. Господин Штремли, приказав связать на глазах у Гоанго руки маленького Сепши, заявил ему, что един-

ственная его цель — это освободить офицера, своего племянника, из заключения, которому он был подвергнут на плантации, и что если их бегству в Порт-о-Пренс не будут ставить никаких препятствий, то никакая опасность не грозит ни его жизни, ни жизни его детей, которые будут ему возвращены. Бабекан, к которой Тони подошла, протянув к ней под влиянием непреодолимого чувства на прощание руку, с силой оттолкнула ее. Она обозвала ее низкой изменницей и, повернувшись у ножки стола, около которой лежала, воскликнула, что ее еще настигнет божья кара, раньше чем она успеет порадоваться плодам своего позорного деяния. Тони отвечала: „Я вам не изменяла; я — белая и обручена с тем юношей, которого вы захватили в плен; я принадлежу к расе тех людей, с которыми вы ведете открытую войну, и готова отвечать перед богом за то, что стала на их сторону“. После этого господин Штремли приставил стражу к негру Гоанго, которого для большей безопасности снова приказал привязать к двери; он велел поднять и унести слугу, который лежал в обмороке с раздробленной ключицей, и, сказав Гоанго, что по прошествии нескольких дней он может послать за обоими детьми, Нанки и Сепши, в Сент-Люс, где стоят первые французские аванпосты, он взял за руку Тони, которая под влиянием разнообразных чувств не могла сдержать своих слез, и вывел ее, провожаемую проклятиями Бабекан и Гоанго, из спальни.

Тем временем сыновья господина Штремли, Адальберт и Густав, уже после окончания первой половины главного боя, когда они стреляли из окон, по приказанию отца, отправились в комнату своего двоюродного брата, где им удалось после упорного сопротивления одолеть стороживших его чернокожих. Один лежал мертвым в комнате, другой — с тяжелой огнестрельной раной выполз в коридор. Оба брата, из коих один, старший, и сам был легко ранен в бедро, развязали своего дорогого, любимого кузена; они обняли и поцеловали его и с радостными восклицаниями вручили ему его

ружье и шпагу, приглашая последовать за ними в передние комнаты, где после одержанной победы господин Штремли уже, верно, отдает распоряжения к отступлению. Однако кузен Густав, приподнявшись на постели, ласково пожал им руки, но в общем был молчалив и рассеян, и вместо того, чтобы схватить пистолеты, которые ему протягивали, он поднял правую руку и с невыразимой скорбью на лице провел ею по лбу. Юноши, подсевшие к нему, спросили его, что с ним такое, и так как он, обняв их, молча опустил голову на плечо младшего из братьев, то Адальберт, думая, что с ним дурно, собрался было встать, чтобы принести ему стакан воды; но в это мгновение в комнату вошла Тони с маленьким Сеппи на руках в сопровождении господина Штремли. При виде ее Густав страшно побледнел; пытаясь подняться с постели, он держался за своих друзей и, раньше чем те могли сообразить, что он собирается делать с пистолетом, который теперь взял у них из рук, он, в бешенстве скрежеща зубами, выстрелил из него в Тони. Пуля попала ей прямо в грудь; и в то мгновение, как она, издав жалобный стон, передала мальчика господину Штремли и, сделав несколько шагов по направлению к нему, упала перед ним, он бросил пистолет через нее, оттолкнул ее ногой и снова опустился на кровать, обозвав ее распутной девкой. „Чудовище!“ — воскликнул господин Штремли и его сыновья. Юноши бросились к девушке и позвали, приподымая ее, старика-слугу, который уже не раз оказывал врачебную помощь членам их экспедиции в подобных же отчаянных случаях; но девушка, судорожно зажимавшая рукою рану, отстранила друзей и с усилием проговорила в предсмертном хрипении, указывая на стрелявшего в нее: „Скажите ему...“ и снова повторила: „Скажите ему...“ — „Что мы должны ему сказать?“ — спросил господин Штремли, в то время как смерть уже смыкала ей уста. Адальберт и Готфрид, поднявшись, крикнули виновнику непостижимого, ужасного убийства, знает ли он, что эта девушка — его

спасительница; что она его любит, что она намеревалась бежать в Порт-о-Пренс с ним, ради которого она пожертвовала всем, родителями и имуществом? Они громко кричали ему в уши: „Густав!“ и спрашивали его, не оглох ли он, они трясли его и дергали за волосы, так как он бесчувственно лежал на кровати, не обращая на них никакого внимания.

Но вот Густав поднялся; он бросил взгляд на девушку, валявшуюся перед ним в крови, и ярость, вызвавшая этот поступок, естественно уступила место общечеловеческому чувству жалости. Господин Штремли, орошая свой платок горячими слезами, спросил: „Несчастный! зачем ты это сделал?“ На это его племянник Густав, вставший с постели и разглядывавший девушку, утирая пот, выступивший у него на лбу, отвечал, что она ночью предательски его связала и выдала негру Гоанго. „Ах! — воскликнула Тони, протянув к нему с непередаваемым выражением руку; — я связала тебя, мой драгоценный друг, потому что...“ Но она не могла говорить и не могла дотянуться до него рукой и снова в изнеможении упала на колени господина Штремли. „Почему?“ — спросил побледневший Густав, опускаясь с нею рядом на колени. Господин Штремли после продолжительного молчания, прерываемого лишь предсмертным хрипением Тони, от которой напрасно ждали ответа, заговорил: „Потому, что по прибытии Гоанго не было иного способа тебя спасти, несчастный! Потому, что она хотела избежать той борьбы, в которую ты бы неизбежно вступил, потому, что она хотела выиграть время, пока мы, которые уже спешили сюда, благодаря принятым ею мерам, будем иметь возможность добиться с оружием в руках твоего освобождения“. Густав закрыл лицо руками. „О! — воскликнул он, не поднимая головы, и ему показалось, что земля проваливается под его ногами; — неужели то, что вы мне сейчас сказали, — правда?“ Он обнял ее стан рукою и глядел ей в лицо с сердцем, раздираемым скорбью. „Ах! — воскликнула Тони, и то были ее последние сло-

ва,— тебе следовало довериться мне!“ И на этом от нее отлетела ее прекрасная душа. Густав рвал на себе волосы. „Конечно! — сказал он, в то время как его двойродные братья старались оторвать его от тела усопшей,— я должен был тебе доверять, ибо ты была обручена мне клятвою, хотя мы и не обменялись с тобою по этому поводу ни единым словом!“ Господин Штремли со стоном спустил лиф, облакавший грудь Тони. Он ободрял слугу, стоявшего около него с несколькими несовершенными хирургическими инструментами, уговаривая его вынуть пулю, которая, он думал, засела в грудной кости; однако, как мы уже сказали, все старания были напрасны: пуля пронзила ее насквозь, и душа ее уже отлетела к лучшим звездам.

Тем временем Густав подошел к окну; и пока господин Штремли, проливая тихие слезы, совещался с сыновьями, что делать им с телом и не следует ли позвать ее мать, Густав пустил себе пулю в голову из другого заряженного пистолета. Этот новый ужас совершенно лишил его родственников рассудка. Бросились к нему на помощь, но так как он вложил дуло пистолета себе в рот, то череп несчастного оказался совершенно раздробленным, и части его пристали к стенам. Господин Штремли первый опомнился. Так как уже совсем рассвело и получено было сообщение, что негры снова стали собираться во дворе, то им ничего другого не оставалось, как подумать об отступлении. Оба тела положили на доску, не желая их оставить на произвол негров, и, снова зарядив ружья, все печально двинулись в путь к пруду Чаек. Господин Штремли с маленьким Сешпи на руках шел впереди; за ним шли двое самых сильных слуг, неся на плечах мертвые тела, далее брел, опираясь на палку, раненый, а Адальберт и Готфрид шли по бокам печальной процессии, держа в руках заряженные ружья со взведенными курками. Негры, увидав малочисленность отряда, выступили из своего жилья, вооруженные вилами и пиками, и видимо стали готовиться к нападению; но Гоанго, кото-

рого имели предосторожность развязать, вышел на крыльцо дома и дал знак неграм, чтобы они держали себя смирно. „В Сент-Люс!“ — крикнул он господину Штремлю, проходившему уже с телами в ворота. „В Сент-Люс!“ — отвечал тот, после чего шествие вышло в поле и, не будучи преследуемо, достигло леса. У пруда Чаек, где нашли остальное семейство, для умерших, проливая обильные слезы, вырыли могилу и, обменяв кольца, которые были у них на руках, опустили их тела с тихой молитвой в место их вечного упокоения.

Господину Штремлю посчастливилось через пять дней благополучно добраться с женой и детьми до Сент-Люс, где, согласно своему обещанию, он оставил обоих маленьких негров. Он достиг Порт-о-Пренса незадолго до начала осады и некоторое время сражался за дело белых на валах этого города; когда же после упорного сопротивления город все же оказался в руках генерала Дессалина, он вместе с французскими войсками спасся на корабли английского флота и переправился в Европу, где без дальнейших приключений достиг своей родины, Швейцарии. Там, в окрестностях Риги, он на остатки своего небольшого состояния купил себе имение, и еще в 1807 году среди кустов его сада можно было видеть памятник, который он велел поставить своему племяннику Густаву и его обрученной невесте, верной Тони.

ЛОКАРНСКАЯ НИЩЕНКА

У подножия Альп, близ Локарно, в Верхней Италии, находился старый, одному маркизу принадлежавший замок, который теперь, когда едешь от Сан-Готарда, видишь лежащим в развалинах; замок с высокими и обширными комнатами, в одной из которых некогда на соломе, подостланной для нее, старая, больная женщина, подошедшая к двери, прося милостыню, была уложена из сострадания хозяйкой дома. Маркиз, который, по возвращении с охоты, случайно вошел в комнату, где он обыкновенно оставлял свое ружье, с неудовольствием приказал женщине подняться из того угла, где она лежала, и перебраться за печку. Женщина, в то время как она подымалась, поскользнулась клюкою на гладком полу и опасно повредила себе крестец настолько, что, хотя она еще встала с несказанным трудом и, как ей было приказано, наискось пересекла комнату, но со стоном и оханьем опустилась за печкой и скончалась.

Несколько лет спустя, когда маркиз, благодаря войне и неурожаю, оказался в затруднительных материальных обстоятельствах, к нему прибыл флорентинский рыцарь, который хотел купить у него замок из-за его красивого местоположения. Маркиз, который очень интересовался этой продажей, поручил своей жене поместить гостя в вышеупомянутой, оставшейся пустою комнате, очень

красиво и роскошно отделанной. Но как смущены были супруги, когда среди ночи к ним явился рыцарь, бледный и расстроенный, клятвенно уверяя, что в комнате — привидения, причем нечто, невидимое глазу, с шорохом, словно оно лежало на соломе, поднялось в углу комнаты, ясно слышными шагами, медленно и с трудом перешло комнату и со стоном и оханьем опустилось за печкой.

Маркиз, испугавшись, сам хорошенько не зная чего, высмеял рыцаря с притворной веселостью и сказал, что он сейчас встанет и для его успокоения проведет с ним ночь в той комнате. Но рыцарь просил любезно позволить ему переночевать в его спальне на кресле и, когда настало утро, велел запрягать, простился и уехал.

Это происшествие, которое получило широкую огласку, отпугнуло в высшей степени неприятным для маркиза образом нескольких покупателей; и так как среди его собственной домашней челяди странно и непостижимо распространился слух, будто в комнате в полночный час кто-то бродит, он, дабы решительным действием положить этому конец, решил сам в ближайшую ночь исследовать это дело. Поэтому он приказал поставить свою кровать в названной комнате и, не засыпая, дождался полуночи. Но как потрясен был он, когда на самом деле с боем полуночи он услышал непонятный шорох; казалось, словно человек поднялся с соломы, которая зашуршала под ним, наискось прошел через комнату и среди стенаний и предсмертного хрипения опустился за печкой. Маркиза на другое утро, когда он явился, спросила его, как прошло обследование; и так как он бросил вокруг себя испуганный и нерешительный взгляд и, заперев дверь, стал уверять, что разговоры о привидении отвечают действительности, она испугалась, как еще ни разу в жизни не пугалась, и попросила его, раньше чем он предаст оглашению это дело, подвергнуть его еще раз хладнокровной проверке. Однако они действительно совместно с верным слугою, которого взяли с собой, услышали в сле-

дующую ночь тот же непонятный жуткий шум; и только настойчивое желание отделаться во что бы то ни стало от замка побудило их подавить в себе в присутствии слуги ужас, который их охватил, и приписать происшествие какой-нибудь безразличной и случайной причине, которая несомненно может быть обнаружена. На третий день, вечером, когда оба для того, чтобы добраться до основной причины этого дела, с бьющимся сердцем снова поднялись по лестнице в комнату для гостей, случайно перед дверью ее оказалась дворовая собака, которую спустили с цепи; таким образом оба, не отдавая себе ясного отчета, может быть, с неосознанным намерением иметь при себе, кроме себя самих, еще третье живое существо, взяли собаку с собою в комнату. Оба супруга, при двух свечах на столе, — маркиза, не раздеваясь, маркиз со шпагой и пистолетами, которые он вынул из шкафа, — садятся около одиннадцати часов каждый на свою кровать; и в то время как они по возможности пытаются занять друг друга разговорами, собака, поджав голову и лапы, ложится посреди комнаты и засыпает. Но вот в самую полночь снова слышится ужасный шорох; кто-то, кого не может видеть человеческий глаз, подымается на костылях в углу комнаты; слышится, как солома под ним шуршит, и при первом шаге: топ! топ! просыпается собака, подымается внезапно с полу, настороживши уши, и с рычаньем и лаем, точь в точь как если бы на нее наступал человек, пятится и отходит к печке. При виде этого, маркиза со вставшими дыбом волосами бросается вон из комнаты; и в то время как маркиз, схватившийся за шпагу, кричит: „Кто там?“ и так как никто ему не отвечает, словно безумный, рассекает воздух во всех направлениях, она велит запрягать, решив немедленно уехать в город. Но не успела она собрать и уложить кое-какие вещи и выехать за ворота, как уже видит, что замок со всех сторон объят пламенем. Маркиз, доведенный ужасом до высшей степени возбуждения, взял свечу и, так как жизнь ему опостылела, с четырех кон-

цов поджег замок, повсюду обложенный деревянной панелью. Напрасно посылала она в дом людей спасти несчастного; он уже погиб самым жалким образом, и донныне еще лежат его белые кости, снесенные поселянами, в том углу комнаты, из которого он приказал подняться локарнской нищенке.

НАЙДЕНЫШ

Антонио Пиаки, богатый римский землеторговец, часто должен был совершать большие путешествия по торговым делам. Свою молодую жену Эльвиру он обычно оставлял тогда на попечении ее родственников. Одно из этих путешествий привело его вместе с Паоло, одиннадцатилетним его сыном от первой жены, в Рагузу. Случилось, что края эти только что постигло чумное поветрие, повергшее город и всю окрестность в великий ужас. Пиаки, до которого весть об этом дошла уже в пути, остановился в предместьи, чтобы осведомиться о природе недуга. Но когда он услышал, что бедствие становится с каждым днем все более угрожающим и что уже собираются запираить городские ворота, то забота о сыне взяла верх над его торговыми расчетами; он потребовал лошадей и отправился в обратный путь.

Уже выехав в поле, он заметил рядом со своей каретой мальчика, который протягивал к нему руки, словно обращаясь с мольбой, и, казалось, был в страшном смятении. Пиаки велел остановиться, и мальчик на вопрос, что ему нужно, отвечал в простоте своей, что он заражен; стража преследовала его, чтобы отправить в больницу, где уже умерли его родители; он молил ради всех святых взять его с собой и не дать погибнуть в городе. При этом он хватал за руку старика, сжимал ее и целовал и ронял на нее слезы.

Пиаки в первом порыве ужаса хотел отбросить мальчика далеко от себя; но в тот самый миг мальчик изменился в лице и без чувств упал на землю, и в добром старике проснулось сострадание; он вместе с сыном вышел из кареты, положил в нее мальчика и отправился дальше с новым спутником, хотя и никак не мог себе представить, что он с ним станет делать.

Еще на первой же станции советовался он с хозяевами гостиницы о способе избавиться от него, как уже по приказу полиции, до которой дошли слухи, он был схвачен и под конвоем отправлен в Рагузу вместе с сыном и Николо — так звали большого мальчика. Все доводы, которые привел Пиаки против этой жестокой меры, были тщетны; по прибытии в Рагузу все трое, под надзором стражи, были отведены в больницу, где сам Пиаки, правда, остался здоров, а мальчик Николо оправился от недуга, но сын Пиаки, одиннадцатилетний Паоло, заразился от Николо и на третий день умер.

Наконец ворота были отперты, и Пиаки, похоронивший сына, получил от полиции разрешение выехать. Подавленный горем, он только что сел в карету и, при виде оставшегося рядом с ним пустого места, вынул носовой платок, чтобы дать волю слезам, как Николо, держа в руках шапку, подошел к карете и пожелал ему счастливого пути. Пиаки высунулся из дверцы и прерывавшимся от рыданий голосом спросил его, хочет ли он поехать вместе с ним. Мальчик, как только понял старика, закивал головой и сказал: „Да, хочу!“, а так как больничные надзиратели на вопрос торговца, позволено ли будет мальчику уехать с ним, улыбнулись и стали уверять его, что мальчик этот — божий и что он никому не нужен, то Пиаки, глубоко потрясенный, посадил его в карету и взял его вместо сына в Рим.

Лишь за городскими воротами на большой дороге торговец в первый раз оглядел мальчика. Он был красив необычной, немного неподвижной красотой, черные волосы гладкими прядями свисали на лоб, бросая тень на сосредоточенное и умное лицо, выражение которого

совершенно не менялось. Старик задал ему ряд вопросов, на которые мальчик отвечал очень кратко; неразговорчивый, ушедший в себя, сидел он в углу, заложив руки в карманы, и бросал задумчивые и пугливые взгляды на предметы, пронесившиеся мимо них. От времени до времени он медленным и бесшумным движением вынимал из кармана горсть орехов, которые захватил с собой, и, меж тем как Пиаки утирал слезы, клал их себе в рот и щелкал их.

В Риме Пиаки, после короткого рассказа о случившемся, представил его Эльвире, своей молодой, прекрасной супруге, которая не могла удержаться от слез при мысли о Паоло, ее маленьком пасынке, горячо любимом ею, но все же прижала Николо к своей груди, несмотря на то, что он стоял перед нею чужой и неподвижный, отвела ему постель, в которой спал Паоло, и подарила ему все его платья. Пиаки поместил его в школу, где тот научился читать, писать и считать, и, так как, по вчолне понятной причине, полюбил он мальчика в меру той цены, какой достался он ему, то по прошествии всего нескольких недель усыновил его с согласия доброй Эльвиры, которая уже не надеялась иметь детей от старика. Вскоре он рассчитал одного из своих приказчиков, которым имел разные основания быть недовольным, и, определив Николо на его место в контору, мог с радостью увидеть, что тот ревностно и успешно принялся за сложные дела, которые старику приходилось вести. Отец, заклятый враг всякого ханжества, не находил в нем ничего, достойного порицанья, кроме дружбы его с монахами кармелитского монастыря, очень милостиво расположенными к молодому человеку благодаря тому значительному состоянию, которое должно было перейти к нему в наследство от старика; ничего достойного порицанья не находила в нем и мать, кроме проснувшейся в груди юноши слишком рано, как ей казалось, страсти к женщинам. Ибо еще на пятнадцатом году он стал, благодаря посещению монахов, жертвой оболъщения некоей Ксавьеры Тар-

тини, наложницы епископа, и, хотя, вынужденный к тому строгим требованием старика, он и порвал эту связь, все же Эльвира имела различные поводы полагать, что воздержание его на этом опасном поприще было не очень велико. Но когда Николо на двадцатом году женился на Констанции Парке, юной, достойной любви девушке, родом из Генуи, племяннице Эльвиры, воспитанной под ее наблюдением в Риме, то казалось, что это зло пресечено в корне; родители были вполне довольны им и, чтобы дать ему доказательство того, они наделили его блестящим состоянием, причем ему отведена была значительная часть их красивого и обширного дома. Наконец, когда Пиаки исполнилось шестьдесят лет, он сделал последнее и самое большое, что мог сделать для него: он передал ему законным порядком все свое состояние, лежавшее в основе его торгового дела, за исключением небольшого капитала, который он оставил для себя, а сам вместе со своей верной, добродетельной Эльвирой, у которой в жизни почти не было желаний, удалился на покой.

На душе Эльвиры лежала тихая тень грусти, которая осталась у нее на всю жизнь после одного трогательного события ее детства. Филиппо Парке, отец ее, состоятельный генуэзский красильщик, жил в доме, который, как того требовал его промысел, примыкал своей задней частью к самому берегу моря, выложенному каменными плитами; огромные, прикрепленные одним концом к скату крыши балки, на которых развешивали выкрашенные ткани, тянулись над водой на расстоянии в несколько локтей. В одну роковую ночь, когда дом был охвачен пожаром и вспыхнул весь сразу, как если бы он был сооружен из смолы и серы, тринадцатилетняя Эльвира, со всех сторон устрашаемая пламенем, подымалась с лестницы на лестницу и, сама не зная каким образом, очутилась на одной из этих балок. Бедное дитя, вися между небом и землей, не знало, как ему спастись; за нею осталась горящая крыша, с которой огонь, бичуемый ветром, перебросился на

балку и уже впился в нее, а под нею было огромное, пустынное, ужасное море. Уже она хотела, отдавшись покровительству всех святых, выбрать из двух зол меньшее и броситься в волны, как вдруг у схода на крышу появился юный генуэзец из патрицианского рода, сбросил на балку свой плащ, обхватил девушку и с мужеством, равным его ловкости, соскользнул вместе с нею в море по одной из влажных тканей, развешанных на балках. Здесь их подняли лодки, находившиеся в гавани, и доставили на берег при громком ликовании толпы; но оказалось, что юный герой, еще пробираясь через горящий дом, был тяжело ранен в голову камнем, сорвавшимся с карниза, и вскоре, лишившись чувств, он упал на землю. Так как выздоровление долго не наступало, то маркиз, отец его, в чей дом он был перенесен, созвал со всех концов Италии врачей, которые несколько раз трепанировали ему череп и вынули из мозга много костей, но все искусство их, по непонятному изволению небес, было тщетно; он лишь изредка вставал, опираясь на руку Эльвиры, которую мать его призвала ходить за ним, и после трехлетних мучительных страданий, во время которых девушка не отходила от его ложа, он в последний раз протянул ей приветливо руку и скончался.

Пиаки, который имел торговые сношения с домом маркиза, там познакомился с Эльвирой, ходившей за больным, и через два года после того женился на ней; он всегда остерегался произносить в ее присутствии имя юного чужеземца или чем-нибудь напоминать о нем, ибо знал, что ее прекрасной и чувствительной душе это должно было причинять сильное потрясение. Малейшее, хотя бы самое отдаленное напоминание о том времени, когда юноша ради нее принял муки и смерть, вызывало у нее жгучие слезы, и тогда не было для нее ни покоя, ни утешения; где бы она ни была, она удалялась, и никто не следовал за нею, ибо известно было, что всякие попытки утешить ее тщетны, кроме как дать ей выплакать слезы в одиночестве ее скорби.

Никто, кроме Пиаки, не знал причины этих частых и непонятных потрясений, потому что ни разу в жизни не проронила она ни единого слова о происшедшем; было принято относить эти потрясения на счет крайне возбужденного состояния нервов, которое осталось у нее после горячки, перенесенной вскоре после брака, и тем самым пресекать все поиски истинной причины.

Однажды Николо, тайно и без ведома своей супруги, сказав, что он приглашен к приятелю, был на карнавале вместе с той самой Ксавьерой Тартини, с которой он никогда вполне не порывал связи, несмотря на запрет отца, и в случайно выбранном им костюме генуэзского рыцаря, в поздний час, когда все спало, вернулся домой. Случилось, что старик внезапно почувствовал недомогание, и, так как прислуги не оказалось, Эльвира встала, чтобы помочь ему, и прошла в столовую достать бутылку с уксусом. Она только что открыла шкаф, находившийся в углу, и, стоя на краю стула, перебирала стаканы и склянки, как Николо осторожно отворил дверь и, держа в руке свечу, зажженную еще в сених, в шляпе с перьями, в плаще и со шпагой, прошел по комнате. Спокойно, не замечая Эльвиры, подошел он к двери, которая вела в его спальню, и тут в смущении заметил, что она заперта, как вдруг позади него Эльвира, со стаканом и бутылками, которые держала она в руке, словно пораженная молнией, при виде его упала со стула, на котором стояла, на паркет пола. Николо, бледный от страха, повернулся и хотел броситься к несчастной на помощь, но так как шум, произведенный ею, неизбежно должен был привлечь старика, то опасение быть обнаруженным взяло верх над всеми другими побуждениями; в торопливом замешательстве он сорвал у нее с пояса связку ключей, которую носила она с собой, и, найдя подходящий ключ, бросил связку обратно и скрылся. Когда, через малое время, Паоло, несмотря на свой недуг, прибежал, покинув постель, и поднял Эльвиру, и слуги появились со свечами на его звонок, тогда и Николо вышел в

шаффроке и спросил, что случилось; но, так как Эльвира, онемевшая от ужаса, не могла говорить, а кроме нее лишь он сам мог дать ответ на этот вопрос, то все сплетение обстоятельств осталось навсегда погруженным в тайну. Эльвиру, всю дрожащую, унесли в постель, где она пролежала много дней; все же природная крепость здоровья взяла верх над пережитым потрясеньем, и она как будто оправилась, и только странная задумчивость не покидала ее с той поры.

Прошел год, и Констанция, супруга Николо, должна была родить, но умерла в родах вместе с ребенком. Событие это, прискорбное само по себе, ибо ушло из жизни добродетельное и любезное всем существо, было вдвойне прискорбно: оно давало простор обоим порокам Николо — его ханжеству и его любви к женщинам. Целые дни проводил он снова в кельях монахов-кармелитов, якобы ища утешения, а между тем, было известно, что при жизни жены выказывал он ей мало любви и верности. Мало того: еще Констанция не была похоронена, как Эльвира, занятая приготовлениями к предстоящим похоронам, войдя вечером в его комнату, нашла там принаряженную и нарумяненную девушку, в которой узнала она — увы! — камеристку Ксавьеры Тартини, слишком хорошо известную ей. Эльвира, при виде этого, потушила глаза, повернулась, не сказав ни слова, и вышла из комнаты; никто, даже Пиаки, ничего не узнал об этом: все, что оставалось ей, — со скорбью в сердце опуститься на колени и плакать возле гроба Констанции, которая очень любила Николо. Но случилось, что Пиаки, возвращавшийся из города, входя в дом, повстречался с девушкой и, поняв, зачем она здесь, грозно подступил к ней и наполовину хитростью, наполовину силой отнял у нее письмо, которое она уносила с собой. Он прошел в свою комнату, чтобы прочесть его, и нашел в нем то, что предвидел: настоятельную просьбу Николо к Ксавьере назначить ему время и место для свидания, которого он страстно жаждал. Пиаки сел к столу и, изменив почерк, напи-

сал ответ от имени Ксавьеры: „Сейчас же, еще до ночи, в церкви св. Магдалины“, запечатал записку чужой печатью и велел отнести ее в комнату Николо, как если бы она была прислана этой дамой. Хитрость удалась вполне: Николо тотчас же надел плащ и, не думая о Констанции, лежавшей в гробу, вышел из дому. Тогда Пиаки, глубоко оскорбленный, отменил торжественные похороны, назначенные на другой день, велел факельщикам взять тело покойной так, как оно лежало, и в сопровождении Эльвиры и лишь нескольких родственников отнести его в церковь св. Магдалины и в тишине похоронить там в склепе, предназначенном для того. Николо, который, закутавшись в плащ, стоял в церкви и, к своему удивленью, увидел знакомые лица в погребальном шествии, спросил у старика, шедшего за гробом, что это значит и кого несут. Но тот, держа молитвенник в руке, не поднимая головы, отвечал: „Ксавьеру Тартини“,— после чего, как если бы Николо и не было здесь, гроб еще раз был открыт, чтобы присутствующие могли осенить его крестом, и затем опущен в склеп.

Это происшествие, глубоко устыдившее Николо, пробудило в груди несчастного жгучую ненависть к Эльвире; ибо ее считал он виновной в оскорблении, которое всенародно нанес ему старик. Много дней Пиаки не говорил с ним ни слова; но, так как Николо, по причине оставленного Констанцией наследства, все же нуждался в его расположении и услугах, то он и был вынужден однажды вечером, с видом раскаянья схватив руку старика, обещать ему, что он бесповоротно и навсегда порывает с Ксавьерой. Но он не намерен был держать это обещание. Более того: сопротивление, которое ему оказывалось, лишь увеличивало его упорство и научало его обходить искусно бдительность стариков. Вместе с тем Эльвира никогда не казалась ему прекраснее, чем в тот миг, когда, к его позору, она приоткрыла дверь в его комнату, где была девушка, и тотчас же затворила. Негодование, зажегшее легким

румянцем ее щеки, сообщило бесконечную прелесть ее кроткому лицу, лишь редко оживляемому сильными чувствами; ему казалось невероятным, чтобы она сама, при стольких соблазнах, не вступила на тот путь, на котором он так позорно был ею наказан, срывая цветы, растущие на нем. Он горел желаньем оказать ей в глазах старика ту же услугу, что и она оказала ему, и только ждал и искал случая, чтобы намерение это привести в исполнение.

Однажды, как раз в такое время, когда Пиакки не было дома, он проходил мимо комнаты Эльвиры и, к своему удивлению, услышал, что там говорили. Охваченный внезапной коварной надеждой, приник он зрением и слухом к замочной скважине, и — о небо! — что увидел он? В восторженном самозабвении лежала она у чьих-то ног, и, если он не мог видеть человека, все же он вполне явственно слышал, как она с любовью прошептала имя: Колино. С бьющимся сердцем он приник к окну в коридор, откуда, не выдавая своего намерения, он мог наблюдать вход в ее комнату, и, когда раздался слабый шум отодвигаемой задвижки, он уже решил, что наступает неоценимый миг и что он сможет сорвать личину с притворщицы, но вместо незнакомца, которого он ожидал увидеть, вышла Эльвира, никем не сопровождаемая, с равнодушным и спокойным взглядом, которым она издали окинула его. Она несла подмышкой кусок полотна, вытканного ею самою, и, заперев комнату на ключ, который сняла с пояса, в полном спокойствии стала спускаться по лестнице, держась рукой за перила. Это притворство, это кажущееся равнодушие, казалось ему верхом дерзости и хитрости; как только она скрылась из его глаз, он подыскал ключ и, тревожно осмотревшись кругом, тихо отпер дверь в ее покой. Но как удивился он, найдя его пустым и во всех четырех углах, которые обыскал он, не обнаружив ничего, что хоть немного походило бы на человека, кроме разве висевшего в углублении стены за красной шелковой занавесью и освещенного особым

светом портрета, на котором изображен был во весь рост молодой рыцарь. Николо испугался, сам не зная почему, и множество мыслей промелькнуло в его уме при виде больших глаз портрета, неподвижно смотревших на него; но прежде чем он собрал свои мысли и привел их в порядок, его охватил страх, что Эльвира найдет его и накажет; он в немалом замешательстве запер дверь и скрылся.

Чем больше он думал об этом странном обстоятельстве, тем большую важность приобретал для него портрет, обнаруженный им, и тем жгучей и болезненней становилось желание узнать, кто на нем изображен. Ибо он видел все очертание ее коленопреклоненного тела, и было слишком явно, что тот, перед кем она простиралась на коленях, и был юный рыцарь с портрета. В тревоге, завладевшей его душой, отправился он к Ксавьере Тартини и рассказал ей о странном событии, случившемся с ним. Ксавьера, сходявшаяся с ним в желании погубить Эльвиру,— ибо все препятствия, которые они встречали на своем пути, исходили от нее,—выразила желание взглянуть на портрет, находившийся в ее комнате. Ибо она могла похвалиться обширными знакомствами среди итальянской знати, и если тот, о ком шла речь, хоть раз посетил Рим и обладал хоть некоторой известностью, то она могла надеяться, что знает его. Вскоре и случилось так, что супруги Пиаки, собиравшиеся навестить родственников, в одно воскресенье уехали за город, и Николо, как только узнал, что поле действий свободно, сразу поспешил к Ксавьере и привел ее, вместе с ее маленькой дочерью от кардинала, в комнату Эльвиры, под предлогом, что это — иностранка, желающая осмотреть картины и вышивки. Но как смущен был Николо, когда маленькая Клара (так звали девочку), только он приподнял занавесь, воскликнула: „Боже мой! Синьор Николо! Кто же это, как не вы?“ Ксавьера молчала. В самом деле портрет, чем дольше она смотрела на него, обнаруживал поразительное сходство с Николо, особенно, когда

она, насколько позволяла память, представляла его себе в рыцарском одеянии, в котором несколько месяцев назад он был вместе с нею на карнавале. Николо, отшучиваясь, пытался прогнать внезапный румянец, разлившийся по его щекам; он произнес, целуя девочку: „Право же, милая Клара, портрет так же походит на меня, как ты на того, кто считает себя твоим отцом“. Но Ксавьера, в груди которой зашевелилось горькое чувство ревности, окинула его взглядом; став перед зеркалом, она сказала, что, в конце концов, безразлично, кто этот рыцарь, простилась довольно холодно и покинула комнату.

Николо, как только Ксавьера удалилась, пришел в сильное возбуждение от происшедшего. Он с немалой радостью вспоминал о том странном и глубоком потрясении, в которое он поверг Эльвиру своим фантастическим появлением ночью. Мысль, что он пробудил страсть в этой женщине, прославленной, как пример добродетели, льстила ему почти столько же, сколько и страстная надежда отомстить ей, а так как он видел, что становится возможным одним ударом удовлетворить оба вожделения, то он и начал с великим нетерпением ожидать возврата Эльвиры и того часа, когда, взглянув ей в глаза, он сможет увенчать уверенностью свою колеблющуюся надежду. Ничто не нарушало его упоения, кроме воспоминания о том, что именем Колино называла Эльвира портрет, на коленях перед которым застал он ее, подслушивая в замочную скважину; но в самом звуке этого мало употребительного во всей местности имени, было нечто, погружавшее его сердце в сладкие сны (он сам не мог понять, почему), и стоя перед необходимостью — заподозрить одно из своих чувств — зрение или слух, — он склонен был дать веру тому из них, которое наиболее льстило его надеждам.

Меж тем Эльвира вернулась в город лишь по прошествии нескольких дней, а так как из дома своего двоюродного брата, которого она ездила навещать, привезла она с собой молодую родственницу, желавшую

посетить Рим, и была поглощена заботами о ней, то на Николо, который весьма приветливо помог ей сойти из кареты, бросила она только беглый, ничего не говорящий взгляд. Несколько недель, посвященных принимаемой ими гостью, прошли в суете, необычной в их доме; по городу и окрестностям совершались прогулки в разные места, которые могли быть примечательны для молодой и жизнерадостной девушки, какой была гостья; в душе Николо, которого не приглашали на эти прогулки по причине его занятий в конторе, снова проснулось сильнейшее нерасположение к Эльвире. Он снова стал вспоминать с самым горьким и мучительным чувством о незнакомце, которому втайне посвящала она свое поклонение, и чувство это особенно сильно терзало его ожесточившееся сердце в вечер после страстножданного отъезда юной родственницы, когда, Эльвира, вместо того, чтобы побеседовать с ним, молча просидела целый час за столом в столовой, занятая незначительным женским рукоделием. Случилось, что Пиаки за несколько дней перед этим велел отыскать шкатулку с маленькими буквами из слоновой кости, при помощи которых Николо обучали в детстве и которые старику пришлось в голову подарить соседскому ребенку, так как они больше никому не были нужны. Служанка, которой поручено было отыскать их среди многих других старых вещей, смогла найти всего шесть букв, составлявших имя Николо — должно быть, потому что остальные, не имевшие для мальчика никакого значения, не берегли и как-нибудь выбросили. Когда Николо, после того как они уж несколько дней пролежали на столе, взял их теперь в руку и, облокотившись на стол, погруженный в мрачные мысли, играл ими, он открыл совершенно нечаянно, — ибо он удивился так, как никогда не удивлялся в жизни, — сочетание их, которое образует имя: Колино. Николо, которому это логогрифическое свойство его имени не было знакомо, снова охваченный безумной надеждой, бросил неуверенный и пугливый взгляд на сидевшую возле него Эль-

виру. Совпадение, которое, как оказывалось, сближало эти два слова, представилось ему больше чем простой случайностью; подавив свою радость, пытался он взвесить значение этого необыкновенного открытия и, сняв руки со стола, с замиранием сердца ждал того мига, когда Эльвира подымет глаза от работы и увидит сочетание, составленное из букв. Ожидание, в котором он находился, не обмануло его; ибо не успела Эльвира в перерыве работы заметить расставленные буквы и беспечно и бездумно склониться над ними, чтобы прочесть (она была несколько близорука), как она окинула лицо глядевшего на них с деланным равнодушием Николо каким-то особенно удрученным взглядом, с печалью, которую невозможно описать, снова принялась за свою работу и, как ей казалось, незамеченная им, слегка покраснела, роняя слезу за слезой. Николо, который, не глядя на нее, следил за движениями ее души, не сомневался более в том, что за этой перестановкой букв она скрывает его имя. Он увидел, как она легким движением вдруг смешала буквы, и его дикие надежды достигли вершины уверенности, когда она поднялась, отложила работу и скрылась в спальню. Уже хотел он встать и последовать за нею, как вошел Пиаки и на обращенный к служанке вопрос: „где Эльвира?“ получил в ответ, что ей не по себе и что она легла в постель. Пиаки, не выказывая сильного замешательства, повернулся и пошел взглянуть, что с нею; а когда он через четверть часа вернулся с известием, что она не выйдет к столу, и больше не проронил о ней ни слова, то Николо решил, что ключ ко всем загадочным выходкам, которые ему пришлось наблюдать, найден.

На другое утро, когда с позорной радостью размышлял он о той пользе, какую надеялся извлечь из этого открытия, он получил от Ксавьеры записку, в которой она просила его зайти к ней, так как имела сообщить ему нечто касающееся Эльвиры и любопытное для него. Ксавьера, через посредство епископа, содержавшего ее, находилась в теснейшей связи с монахами кармелитского

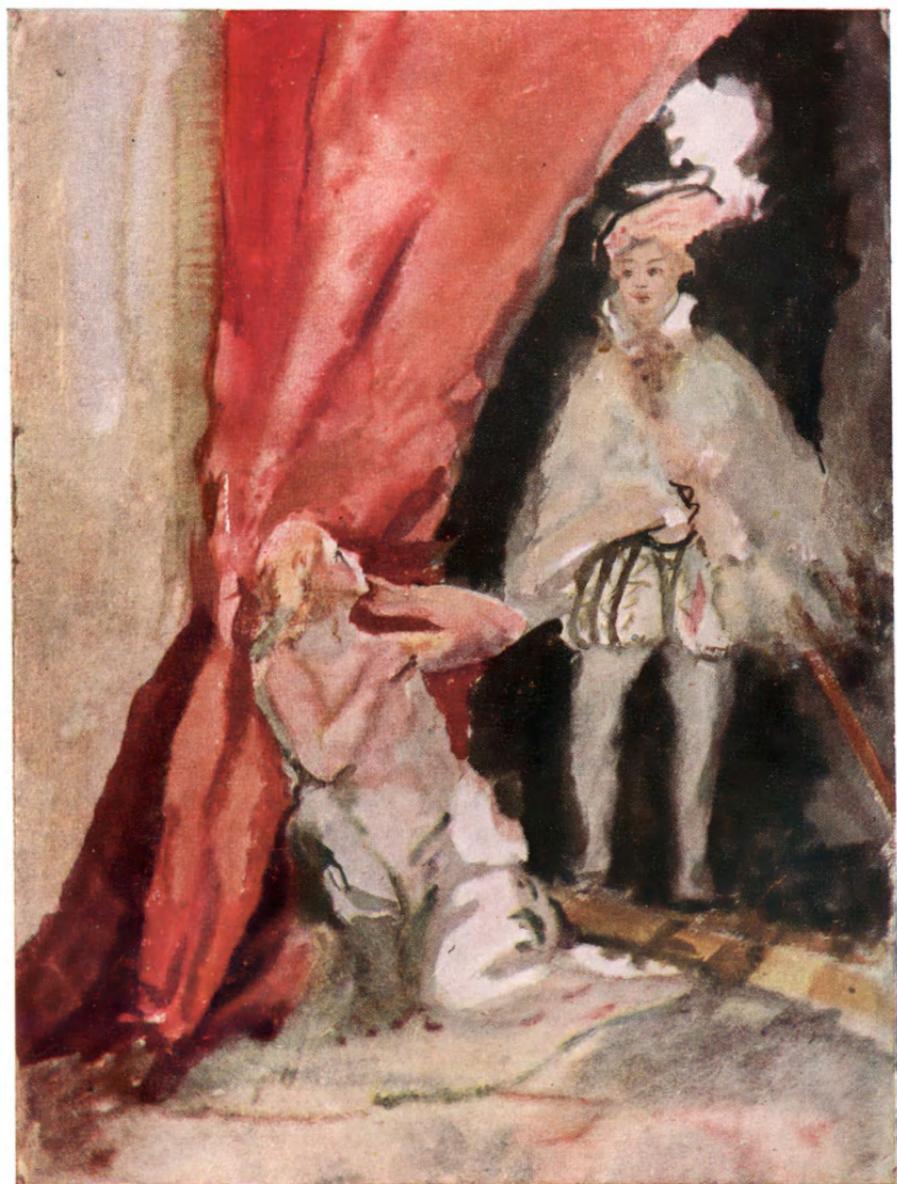
монастыря, а так как Эльвира ходила к исповеди в этот монастырь, то он не сомневался, чтобы Ксавьера не могла выпытать повесть ее сердечных тайн, которая подтвердила бы его преступные надежды. Но как тягостно было его разочарование, когда Ксавьера после лукавого приветствия улыбаясь усадила его на диван рядом с собой и сказала, что предмет любви Эльвиры, как она должна ему открыть,— покойник, двенадцать лет уже спящий в гробу. Алоизий, маркиз Монферрат, получивший от дяди своего, у которого воспитывался он в Париже, к прочим именам своим имя Коллен, в шутку переделанное потом на итальянский лад в Колино, и был оригинал портрета, обнаруженного в комнате Эльвиры за красной шелковой занавесью, тот юный генуэзский рыцарь, который в дни ее детства так отважно спас ее из огня и умер от полученных ран. Она прибавила, что просит в дальнейшем не делать употребления из этой тайны, ибо она доверена была ей особой из кармелитского монастыря, которая собственно и не имела на то права. Николо, меж тем как бледность и краска румянца сменялись на его лице, уверял ее, что ей нечего опасаться, и, не будучи в состоянии скрыть от лукавых взоров Ксавьеры замешательство, в которое его повергло это открытие, сослался на дела, которые призывают его, взял шляпу (верхнюю губу его безобразно при этом подергивало), откланялся и вышел.

Стыд, сладострастие и жажда мести соединились теперь, чтобы замыслить отвратительнейшее деяние, совершенное когда-либо. Он сознавал, что путь к чистой душе Эльвиры может быть найден лишь обманом; и не успел Пиаци отправиться на несколько дней за город, оставив свободным поле действий, как он уже принял меры, чтобы осуществить сатанинский замысел, возникший в его уме. Он достал себе снова то же самое одеяние, в котором несколько месяцев тому назад, возвращаясь тайком в ночную пору с карнавала, явился он Эльвире, и, надев генуэзского покроя плащ, колет и шля-

ну с пером, подобно тому, как все это было изображено на портрете, прокрался в комнату Эльвиры незадолго до ее отхода ко сну, завесил черной тканью стоявший в нише портрет и, с жезлом в руке, в позе нарисованного юного патриция, стал ожидать часа молитв Эльвиры. Он не ошибся в проницательном расчете своей постыдной страсти, ибо не успела Эльвира, вскоре затем вошедшая в комнату, по своему обыкновению, спокойно и тихо раздевшись, отдернуть шелковую занавесь, скрывавшую нишу, и увидеть Николо, как она воскликнула: „Коло! мой любимый!“ и без чувств упала на пол. Николо выступил из ниши; он простоял один миг, погруженный в созерцание ее прелестей, всматриваясь в ее нежное, от поделуя смерти побледневшее лицо, но тотчас же, ибо нельзя было терять время, поднял ее на руки и, сорвав с портрета черную занавесь, снес Эльвиру на стоявшую в углу постель. Когда это было сделано, хотел он запереть дверь на ключ, но нашел ее уже запертою, и в уверенности, что и по возвращении Эльвире ее помутившихся чувств она не станет сопротивляться чудесному, неземной силой явленному ей видению, он вернулся к ложу, пытаясь пробудить ее горячими поцелуями в уста и грудь. Но Немезиде, по пятам преследующей злодейство, угодно было, чтобы Пиаки, которого полагал он уехавшим на несколько дней, неожиданно в тот самый час вернулся домой; думая, что Эльвира, уже спит, тихо прошел он по коридору, а так как ключ всегда имел при себе, то ему удалось сразу, без малейшего шума, который предупредил бы о его приближении, войти в комнату. Николо стоял, словно пораженный громом, и так как его проделку нельзя было скрыть, то он бросился к ногам старика и стал молить о прощении, клянясь никогда больше не подымать взоров к его жене. Старик и сам был склонен к тому, чтобы без шума покончить это дело; безмолвный, каким его сделали несколько слов Эльвиры, очнувшейся в его объятиях и бросившей страшный взгляд на Николо, он, задержав полог по-

стели, на которой почивала она, только снял плеть со стены, открыл перед Николо дверь и указал ему на дорогу, по которой ему сейчас же предстояло идти. Но тот, ничуть не уступая Тартюфу, сразу увидел, что на этой дороге ему нечего ждать, поднялся с пола и объявил, что не он, а старик должен оставить дом, ибо он, введенный во владение документами, имеющими полную силу, хозяин здесь и сумеет защитить свои права от кого бы то ни было.— Пиаки не верил ушам своим; словно обезоруженный этой неслыханной наглостью, он отложил плеть, схватил шляпу и трость, бросился мигом к своему старому поверенному, доктору Валерио, разбудил звонком служанку, которая отворила ему, и, только достигнув комнаты доктора, еще не успев произнести ни слова, упал без чувств у его постели. Доктор, в своем доме давший приют ему, а потом и Эльвире, на другое же утро бросился требовать ареста адского злодея, который на своей стороне имел немало преимуществ; но меж тем как Пиаки своими немощными усилиями пытался лишить Николо владения, укрепленного за ним, тот поспешил с описью всего имущества к своим друзьям монахам-кармелитам, призывая их защитить его от старого дурака, который хочет лишить его всего владения. Когда же Николо выразил желание жениться на Ксавьере, от которой хотел избавиться епископ, злодейство восторжествовало, и правительство, по настоянию этой духовной особы, издало приказ, которым Николо утверждался во владении, а Пиаки предписывалось не докучать ему.

Пиаки только накануне похоронил несчастную Эльвиру, умершую от горячки, которая вызвана была происшедшим. Возбужденный двойным своим горем, с приказом в кармане, пошел он в свой дом и с силой, какую придавала ему ярость, повалил слабого от природы Николо и разможил ему голову об стену. Слуги, находившиеся в доме, заметили его не раньше как это совершилось; они нашли его, когда он, зажав голову Николо меж колен, засовывал ему в рот приказ.



Покончив с ним, он поднялся, отдал все свое оружие, был отведен в тюрьму, подвергнут допросу и осужден кончить жизнь в петле.

В папской области существует закон, по которому ни один преступник не может быть отведен на казнь, прежде чем он не получит отпущения. Пиаки, когда ему был прочитан приговор, упорно отказался принять отпущение. Когда все, чем располагает религия, было тщетно испробовано, чтобы дать ему почувствовать, сколь достойно кары его деянье, рассчитывали хоть видом смерти вызвать в нем раскаянье и привели его к виселице. Здесь стоял священник, который, словно трубным глаголом последнего суда, стал вещать ему все ужасы ада, куда должна низвергнуться его душа, а там другой, вознося в руках тело господне, святое средство искупления, славил обители вечного покоя. „Хочешь ли стать причастен благодати искупления?—спрашивали его они оба.—Хочешь ли вкусить причастия?“—„Нет“,— отвечал Пиаки.—„Почему?“—„Я не хочу блаженства. Я хочу опуститься на глубочайшее дно ада. Я хочу найти Николо, который не будет на небе, и довершить мою месть, которую здесь я не смог довести до полного конца“. И с этим он поднялся на лестницу и потребовал, чтобы палач исполнил свою обязанность. Тогда были вынуждены отложить казнь и обратно отвести в тюрьму несчастного, которого закон брал под защиту. Три дня подряд делали те же попытки, и все с тем же успехом. Когда же и на третий день снова, вместо того, чтобы остаться на виселице, должен был он сойти с лестницы, он в злобе воздел руки, проклиная бесчеловечный закон, не пускавший его в ад. Он стал призывать к себе весь сонм бесов, чтобы они его взяли, клянясь, что его единственное желание — казнь и вечное осуждение, что он схватит за горло первого встречного священника, лишь бы только получить Николо в свою власть. Когда папе доложили об этом, он приказал казнить его без отпущения; священник не сопровождал его; на площади del Popolo вздернули его в полной тишине.

СВЯТАЯ ЦЕЦИЛИЯ, ИЛИ ВЛАСТЬ МУЗЫКИ

Легенда

В последние годы шестнадцатого столетия, когда иконоборчество свирепствовало в Нидерландах, три брата, молодые люди, обучавшиеся в Виттенберге, встретились в городе Аахене с четвертым, который был поставлен проповедником в Антверпене. Они прибыли, чтобы получить наследство, доставшееся им от старого, всем им незнакомого дяди, и остановились в гостинице, так как в этом городе не было никого, к кому они могли бы обратиться. По прошествии нескольких дней, которые они провели в том, что слушали рассказы проповедника об удивительных выступлениях, имевших место в Нидерландах, случилось, что монахини монастыря св. Цецилии, который в те времена находился у ворот этого города, готовились торжественно справлять праздник тела христового; ввиду этого четыре брата, воспламененные фанатизмом, молодостью и примером нидерландцев, решили доставить и городу Аахену зрелище иконоборческого выступления. Проповедник, уже не руководивший подобными предприятиями, собрал накануне вечером некоторое число молодых преданных новому учению купеческих сыновей и студентов, которые провели ночь в гостинице за вином и едою, проклиная папизм; и когда над крышами города занялась заря,

они вооружились топорами и всякого рода орудиями разрушения, дабы приступить к своему буйному делу. Они, ликуя, сговорились относительно сигнала, по которому предполагено было начать с того, чтобы вышибить оконные стекла, расписанные библейскими сюжетами, и, уверенные в значительном числе сторонников, которых найдут среди народа, они, решившись не оставлять камня на камне, отправились в собор в тот час, когда зазвонили колокола. Игуменья, которая уже на рассвете была извещена доброжелателем об опасности, грозившей монастырю, напрасно посылала несколько раз к императорскому офицеру, командовавшему в городе, прося для охраны монастыря стражу; офицер, который сам был враг папства и, как таковой, по крайней мере тайно, был расположен к новому учению, нашел возможность отказать ей в страже под благовидным предлогом, что ей мерещутся пустые страхи и что ее монастырю не грозит ни тени опасности. Тем временем наступил час, когда торжество должно было начаться, и монахини среди страха и молитв и горестного ожидания предстоящих событий стали готовиться к обедне. Никто их не защищал, кроме старого семидесятилетнего монастырского кастеляна, который с несколькими вооруженными слугами стал у входа в церковь.

В женских монастырях монахини, обученные игре на всякого рода инструментах, как известно, сами исполняют свои музыкальные номера, часто с отчетливостью, разумом и чувством, каких недостает в мужских оркестрах (может быть, по причине женственного характера, присущего этому таинственному искусству). Тут к усугублению беды случилось, что капельмейстер, сестра Антония, которая обычно управляла оркестром, за несколько дней перед тем жестоко захворала нервной горячкой; так что помимо угрозы со стороны четырех братьев-богохульников, которых уже видели закутанных в плащи под сводами храма, монастырь находился в крайнем смущении по поводу исполнения подобающего музыкального произведения. Игуменья, которая в вечер

предыдущего дня приказала, чтобы была исполнена одна старинная итальянская месса, творение неизвестного мастера, производившая, благодаря особой святости и великолепию своей композиции, сильнейшее действие в исполнении капеллы, послала, более чем когда-либо настаивая на своем желании, еще раз к сестре Антонии, чтобы узнать, как та себя чувствует; однако монахиня, которая взялась за это поручение, вернулась с известием, что сестра лежит в совершенно бессознательном состоянии и что нечего и думать о ее дирижировании предполагаемым музыкальным исполнением. Тем временем у собора, в котором мало-по-малу собралось более сотни вооруженных топорами и ломами святотатцев всякого состояния и возраста, уже произошли самые серьезные выступления; некоторых слуг, которые стояли у порталов, задели самым непристойным образом и допустили самые дерзкие и наглые выражения по отношению к монахиням, которые время от времени, при исполнении благочестивых обязанностей, показывались в одиночку в проходах; в такой мере, что монастырский кастелян отправился в ризницу и на коленях заклинал игуменью отменить празднество и удалиться в город под защиту коменданта. Но игуменья непоколебимо настаивала на том, что празднество, установленное в честь господина бога, должно состояться; она напомнила монастырскому кастеляну его обязанность защищать, не щадя живота своего, мессу и торжественный крестный ход, который должен был быть совершен в соборе, и приказала, так как только что прозвонил колокол, монахиням, которые в страхе и трепете ее окружали, взять любую ораторию любого достоинства и положить начало исполнением ее.

Монахини уже собрались на хорах у органа; партитура одного музыкального произведения, которое уже часто исполнялось, была роздана, скрипки, гобой и басы были испробованы и настроены, как вдруг сестра Антония, бодрая и здоровая, немного бледная в лице, появилась со стороны лестницы; она несла подмышкой пар-

титору старинной итальянской мессы, на исполнении которой так упорно настаивала игуменья. На изумленный вопрос монахинь, откуда она пришла и как это она так внезапно оправилась, она отвечала: „Нужды нет, подруги, нужды нет!“; раздала партитуру, которую она с собою несла, а сама села, пылая вдохновением, за орган, чтобы взяться за дирижирование этим превосходным музыкальным произведением. Тут снизошло как бы дивное небесное утешение на сердца благочестивых жен; они мгновенно стали со своими инструментами за пульты; самое волнение, в котором они находились, способствовало тому, чтобы пронести их души, как на крыльях, через все небеса гармонии; оратория была выполнена с высочайшим и чудеснейшим музыкальным величием; ни одного вздоха не пронеслось во время всего исполнения в пролетах и на скамьях; особенно во время *Salve regina** и еще более во время *Gloria in excelsis*** казалось, словно весь народ в церкви замер, так что к досаде четырех богом отверженных братьев и их сторонников даже пыль с пола не развеялась, и монастырь простоял до конца Тридцатилетней войны, когда в силу одного из параграфов Вестфальского мира он все же был секуляризован.

Шесть лет спустя, когда это происшествие давно забылось, приехала мать этих четырех юношей из Гааги и, с грустью сославшись на то, что об них окончательно нет никаких вестей, возбудила перед Аахенским магистратом судебное расследование о том пути, который они могли избрать, отправившись отсюда. Последнее известие, которое об них имели в Нидерландах, откуда они были родом, было, как она сообщила, письмо, написанное ранее указанного срока, накануне праздника тела христового, проповедником к его другу, школьному учителю в Антверпене, в котором он с большой веселостью, или, вернее, развязностью делает на четырех

* Радуйся, царица. *М. П.*

** Слава в вышних. *М. П.*

тесно исписанных страницах предварительное сообщение о некоем предприятии, задуманном против монастыря святой Цецилии, о чем, однако, мать не хотела более подробно распространяться. После различных напрасных стараний обнаружить тех лиц, которых искала опечаленная женщина, вспомнили, наконец, что уже в течение целого ряда лет, приблизительно совпадавших с указанным сроком, четыре молодых человека, родина и происхождение которых было неизвестно, находились в недавно учрежденном заботами императора городском доме умалишенных. Однако то, что они страдали извращением религиозной идеи и что их настроение, как суд, по его словам, смутно слышал, было крайне унылым и меланхоличным, чересчур мало подходило к, увы, слишком хорошо знакомому матери душевному строю ее сыновей, чтобы она обратила большое внимание на это сообщение, особенно же потому, что почти выяснилось, будто эти люди были католики. Тем не менее, странным образом пораженная различными приметам, по каким их описывали, она в один прекрасный день отправилась в сопровождении судебного пристава в дом умалишенных и попросила заведующих любезно разрешить ей для проверки посещение тех четырех несчастных сумасшедших, которые там содержались. Но кто опишет ужас бедной женщины, когда тотчас же, с первого взгляда, едва переступив порог, она узнала своих сыновей! Они сидели в длинных черных рясах вокруг стола, на котором стояло распятие, и, молча опершись на доску сложенными руками, казалось, молились на него. На вопрос женщины, которая, лишившись сил, опустилась на стул, что собственно они делают, заведующие отвечали ей, что они заняты исключительно прославлением Спасителя, о котором, по их уверению, они лучше, чем другие, постигли, что он воистину сын единого бога. Они добавили, что юноши вот уже шесть лет ведут такой духовный образ жизни, что они мало спят и мало едят, что ни один звук не исходит из их уст, что они лишь однажды в полуночный час поды-

маются со своих седалищ и что тогда голосами, от которых окна в доме готовы разлететься вдребезги, они затягивают Gloria in excelsis. Заведующие закончили уверением, что молодые люди при этом телесно совершенно здоровы, что им нельзя отказать в известной, хотя и очень серьезной и торжественной, ясности духа; что они, когда их называли умалишенными, с сожалением пожимали плечами и уже многократно высказывали, что если бы славный город Аахен знал то, что знают они, то отложил бы свои дела в сторону и также преклонился бы перед распятием для воспевания Gloria.

Женщина, не будучи в состоянии вынести ужасающего вида этих несчастных, вскоре затем, едва держась на ногах, дала себя отвести домой и утром следующего дня отправилась, чтобы получить сведения о ближайшей причине, вызвавшей это чудовищное происшествие, к господину Фейту Готгельфу, знаменитому торговцу сукном в этом городе; ибо об этом человеке упоминалось в написанном проповедником письме, из которого вытекало, что он принимал горячее участие в предполагавшемся разрушении монастыря св. Цецилии в день праздника тела христового. Фейт Готгельф, торговец сукном, который тем временем женился, народил несколько детей и взял в свои руки значительную торговлю отца, принял чужеземку весьма любезно, и когда он узнал, какое обстоятельство ее к нему привело, то запер дверь и, усадив ее на стул, заговорил следующим образом: „Сударыня! если вы меня, который с вашими сыновьями, тому назад шесть лет, находился в тесной связи, не намерены запутать из-за этого ни в какое следствие, то я готов вам чистосердечно и без утайки признаться: да, мы имели намерение, о котором упоминается в письме. Но благодаря чему это дело, для исполнения которого все точнейшим образом и, поистине, с безбожным остроумием было рассчитано, потерпело крушение,— для меня непонятно; само небо, кажется, взяло под свое святое покровительство мо-

настырь благочестивых жен. Ибо знайте, что ваши сыновья уже позволили себе, как введение к более решительным выступлениям, несколько дерзких, нарушающих богослужение шалостей, более трехсот вооруженных топорами и смоляными венками злодеев из стен нашего, тогда введенного в заблуждение, города ожидали лишь сигнала, который должен был подать проповедник, чтобы сравнять собор с землею. Между тем при начале музыки ваши сыновья, к нашему изумлению, внезапно и одновременным движением снимают шляпы; мало-по-малу, как бы в глубоком неслышимом волнении, они закрывают склоненные лица руками; и проповедник, внезапно обернувшись после потрясающей паузы, призывает нас всех громким, страшным голосом также обнажить головы! Напрасно некоторые товарищи требуют от него шопотом, легкомысленно подталкивая его руками, чтобы он подал сигнал, условленный для иконоборческого погрома; вместо ответа, проповедник опускается со сложенными крестообразно на груди руками на колени и бормочет вместе с братьями, набожно склонив чело в прах, весь ряд еще недавно перед тем осмеянных им молитв; до глубины души смущенная этим зрелищем, стоит толпа жалких фанатиков, лишенная своих вождей, в нерешительности и бездействии до конца оратории, дивно изливавшейся с высоты хор; и так как, по приказанию коменданта, было произведено несколько арестов и некоторые святотатцы, дозволившие себе бесчинства, были схвачены и уведены стражей, то жалкому скопищу ничего не оставалось, как, скрываясь в густой толпе расхоронившегося народа, поспешно удалиться из божьего дома. Вечером, после того как я напрасно несколько раз справлялся в гостинице о ваших сыновьях, которые не возвращались, я снова в ужасном беспокойстве с несколькими друзьями иду за ворота к монастырю, дабы разузнать о них у привратников, которые пришли на помощь императорской страже. Но как описать вам мой ужас, благородная женщина, когда я увидел этих



четыре мужей, как и раньше со сложенными руками, прильнувших к земле грудью и лбом, словно окаменевших, полных горячего благочестия и распростертых перед алтарем! Напрасно подошедший в это время монастырский кастелян, дергая их за плащи и тряся их за руки, предлагает им покинуть собор, в котором наступил уже полный мрак и не оставалось ни одного человека; наполовину приподнявшись, как бы погруженные в грезы, они покоряются ему только тогда, когда он велит своим слугам взять их под руки и вывести за портал; тут они, наконец, последовали за нами в город, хотя и со вздохами и частым душой раздрающим оглядыванием на собор, великолепно сверкавший позади нас в блеске солнца. Мы с друзьями спрашиваем их на обратном пути несколько раз нежно и любовно, что за ужас с ними приключился, который до такой степени перевернул их внутренний душевный строй; они, ласково глядя на нас, пожимают нам руки, смотрят задумчиво в землю и, ах! утирают время от времени слезы из глаз с выражением, которое еще до сих пор раздрает мне сердце. Затем, прибыв на свою квартиру, они связывают искусно и изящно крест из березовых сучьев и ставят его, втиснув в маленький восковой холм, на большой стол посреди комнаты между двумя свечами, с которыми появляется служанка, и в то время как друзья, толпа которых час от часу возрастает, стоят рядом, ломая руки, и, разбившись на группы, безмолвные от горя, глядят на их тихое жуткое колдовское действие, они, словно их чувства замкнуты для всякого другого явления, опускаются вокруг стола и тихо, со сложенными руками, приступают к молитвенному поклонению. Ни в пище они не нуждаются, которую приносит служанка для угощения их товарищей, согласно их распоряжению, отданному еще утром, ни позднее, с наступлением ночи,— в ложе, которое, видя их усталость, она постелила для них в соседней комнате; друзья, дабы не возбуждать негодования хозяина, которого это представление неприятно изумляет, должны усесться

за стол, пышно рядом накрытый, и есть приготовленные для многочисленного общества кушанья, приправленные солью их горьких слез. Тут внезапно часы бьют полночь; ваши четыре сына, прислушавшись на одно мгновение к звуку колокола, вдруг поднимаются одновременным движением со своих мест; и в то время как мы, положив салфетки, следим за ними в беспокойном ожидании, что последует за этими странными и необычными действиями, они ужасными, отвратительными голосами затягивают *Gloria in excelsis*. Так, пожалуй, звучат голоса леопардов и волков, когда они в морозное зимнее время воют в небо; своды дома, уверяю вас, содрогнулись, а окна, под напором видимого дыхания их легких, угрожали со звоном разлететься вдребезги, словно на их поверхность кидали полные пригоршни тяжелого песка. Обезумев при этом жутком выступлении, мы бросились с поднявшимися дыбом волосами в разные стороны; мы рассеиваемся, оставив плащи и шляпы по окрестным улицам, которые в короткое время, вместо нас, заполнились более чем сотней вспугнутых со сна людей; народ теснится, выламывая двери дома, по ступеням к зале, дабы отыскать источник этого ужасающего и возмутительного рева, который словно из уст навеки осужденных грешников из глубочайшей пучины пламенеющего ада, жалобно прося пощады, возносился к ушам господ. Наконец, когда бьет час, то, не вняв ни гневу хозяина, ни взволнованным возгласам обступившего народа, они замыкают свои уста, утирают платком со лба пот, крупными каплями стекающий у них на подбородок и грудь, расстилают плащи и ложатся на пол, чтобы отдохнуть хоть час от столь мучительной работы. Хозяин, который им не препятствует, осеняет их, как только он увидал, что они задремали, знаменем креста и, довольный, что хоть на время избавился от беды, уверяя, что утро принесет делительную перемену, убеждает кучку людей, которые присутствуют при этом и таинственно между собою перешептываются, оставить комнату. Но, увы! уже с

первым пением петуха несчастные встают для того, чтобы снова приняться перед стоящим на столе распятием за тот же пустой, жутко-колдовской монастырский образ жизни, который лишь истощение заставило их прервать на одно мгновение. Они не принимают от хозяина, сердце которого растаяло от их жалостного вида, ни увещаний, ни помощи, они просят его любовно отстранять друзей, которые прежде имели обыкновение собираться у них каждый день по утрам; они ничего другого от него не требуют, кроме воды и хлеба и подстилки, коли то возможно, на ночь; так что этот человек, который раньше извлекал из их веселья много денег, увидел себя вынужденным обо всем этом происшествии доложить суду, прося убрать из его дома этих четырех людей, в которых несомненно вселился злой дух. После этого, по приказанию магистрата, они были подвергнуты врачебному освидетельствованию, и так как их признали сумасшедшими, как вы знаете, их водворили в дом умалишенных, который, по милости последнего покойного императора, на благо такого рода несчастных был основан в стенах нашего города“. Это и многое другое рассказал Фейт Готгельф, суконный торговец, что мы здесь опускаем, ибо полагаю, что для проникновения во внутреннюю связь событий мы сказали достаточно; в заключение он снова убеждал женщину отнюдь не впутывать его, если дело дойдет до дополнительного судебного следствия по этому происшествию.

Три дня спустя, женщина, потрясенная до глубины души этим сообщением, под руку с подругой, вышла за город к монастырю с меланхолическим намерением обозреть на прогулке, так как погода была как раз хорошая, место ужасных событий, на котором бог как бы невидимыми молниями поразил ее сыновей; женщины нашли собор загороженным досками, так как именно в это время производилась перестройка, и, с трудом поднявшись наверх, ничего не могли увидеть внутри сквозь отверстия в досках, кроме великолепно

сверкающего круглого окна в глубине церкви. Многие сотни рабочих, распевавших веселые песни, были заняты на стройных, сложно перекрещивающихся лесах тем, что повышали еще на добрую треть башни и перекрывали крыши и зубцы их, которые до сих пор были покрыты только шифером, прочной, яркой, блистающей в солнечных лучах медью. В это время стояла грозная туча, густо черная, с позолоченными краями, как фон, позади здания; она уже извергла свои громады над окрестностями Аахена и, после того как метнула несколько бессильных молний в направлении собора, с недовольным ворчанием опустилась к востоку, растворившись в туманы. Пока женщины с лестницы обширного монастырского жилого здания глядели вниз на это двойное зрелище, погруженные в разнообразные думы, одна из послушниц, проходившая мимо, случайно узнала, кто такая стоящая под порталом женщина; таким образом игуменья, слышавшая о письме, касающемся дня праздника тела Христова, которое та при себе имела, немедленно послала к ней послушницу, поручив ей пригласить нидерландскую женщину подняться к ней наверх. Нидерландка, хотя и на мгновение смущенная этим, тем не менее собралась почитательно повиноваться переданному ей приказанию; и в то время как подруга, по приглашению монахини, удалилась в боковую комнату, находившуюся рядом со входом, для иностранки, которая должна была подняться по лестнице, открыли двухстворчатые двери изящно построенного бельведера. Там она нашла игуменью, благородную женщину, спокойного царственного вида, сидевшую в кресле, опершись ногою на скамейку, покоившуюся на когтях дракона; рядом с нею на пульте лежала партитура музыкального произведения. Игуменья, приказав поставить госте стул, открыла ей, что она уже слышала от бургомистра об ее прибытии в город; и после того как она самым сердобольным образом осведомилась о состоянии ее несчастных сыновей, ободряя ее и уговаривая по возможности примириться с постигшей их судьбою,

раз ее не изменишь, она высказала ей желание, увидеть письмо, которое проповедник написал своему другу, школьному учителю в Антверпене. Женщина, которая обладала достаточной опытностью, чтобы понять, какие последствия мог иметь этот шаг, почувствовала себя на мгновение поверженной в смущение; но так как почтенное лицо дамы вызывало безусловное доверие и никоим образом нельзя было допустить, чтобы ее намерением было дать содержанию письма официальный ход, то после краткого размышления она взяла письмо со своей груди и, напечатлев горячий поцелуй на руке благородной дамы, протянула его ей. Пока игуменья читала письмо, женщина бросила взгляд на небрежно развернутую на пульте партитуру; и так как, благодаря рассказу торговца сукном, она была наведена на мысль, не сила ли звуков разрушила и спутала в тот роковой день душевный строй ее бедных сыновей, она, робко обернувшись, спросила послушницу, стоявшую за ее стулом, не то ли это музыкальное произведение, которое шесть лет назад, в утро того достопамятного праздника тела христово было исполнено в соборе. На ответ молодой послушницы, что то,— она, помнится, слыхала об этом— и что с той поры, когда в этой партитуре не нуждаются, она обычно находится в комнате досточтимейшей игуменьи,— женщина поднялась, в сильном возбуждении, и стала перед пультом, волнуемая разнообразными мыслями. Она рассматривала незнакомые волшебные знаки, которыми, казалось, некий грозный дух таинственно очертил круг, и готова была провалиться сквозь землю, ибо она как раз нашла открытую страницу с *Gloria in excelsis*. Ей казалось, словно весь ужас музыкального искусства, который погубил ее сыновей, с рокотом пронесется над ее головой; при одном этом виде она чуть было не лишилась чувств и поспешно, в безграничном порыве смирения и покорности перед божьим всемогуществом, прижавшись губами к листу, снова опустилась на свой стул. Тем временем игуменья прочла

письмо до конца и сказала, складывая его: „Сам господь оградил монастырь в тот дивный день от дерзости ваших тяжко заблудших сыновей. Какими средствами он при этом воспользовался, вероятно для вас, как протестантки, безразлично; вы даже едва ли поймете то, что я могла бы вам сказать об этом. Ибо узнайте, что, в конце концов, никто не ведает, кто собственно, под давлением того страшного часа, когда иконоборческий погром должен был над нами разразиться, управляя, спокойно сидя за органом, тем произведением, которое вы видите тут раскрытым. Свидетельским показанием, которое было записано на утро следующего дня в присутствии монастырского кастеляна и нескольких других мужчин и помещено в архив, установлено, что сестра Антония, единственная, которая могла дирижировать этим творением, в течение всего времени его исполнения, больная, без сознания, совершенно не владея своими членами, лежала распростертая в углу своей монастырской кельи; послушница, которая была назначена, как родственница, состоять для ухода при ней, в течение всего того утра, когда в соборе справлялся праздник тела христового, не отходила от ее постели. Более того, сестра Антония несомненно сама подтвердила бы, что столь необычным и удивительным образом появившаяся на хорах органа, была не она, если бы ее совершенно бесчувственное состояние дозволило ее об этом расспросить и если бы больная не скончалась в вечер того же дня от нервной горячки, которая ее уложила в постель и раньше вовсе не казалась опасной для жизни. Да и архиепископ Трирский, которому было донесено об этом происшествии, уже произнес то слово, которое одно его объясняет, а именно, что святая Цецилия сама совершила это страшное и в то же время дивное чудо; а от папы я только что получила грамоту, коей он это подтверждает“. И при этом она дала женщине письмо, которое она выпросила у нее лишь для того, чтобы получить более подробные разъяснения о том, что она уже знала, обещав не давать

ему никакого хода; и после того как она еще расспросила женщину, есть ли надежда на выздоровление ее сыновей и не может ли она поспособствовать этому чем-нибудь, деньгами или другой какой поддержкой, на что та, целуя ее одежду, со слезами дала отрицательный ответ, она ласковым жестом руки отпустила ее.

На этом кончается легенда. Женщина, присутствие которой в Аахене было совершенно бесполезно, оставив маленький капитал, который она внесла в суд в пользу своих сыновей, отправилась обратно в Гаагу, где, год спустя, глубоко потрясенная всем происшедшим, вернулась в лоно католической церкви; сыновья же ее умерли в преклонном возрасте ясной и радостной смертью, после того как они еще раз, согласно своему обыкновению, пропели *Gloria in excelsis*.

ПОЕДИНОК

Герцог Вильгельм Брейзахский, который со времени своей тайной связи с одной графиней, по имени Катарина фон Геерсбрук, из рода Альт-Гюнинген, бывшей ниже его по рангу, жил во вражде со своим сводным братом, графом Яковом Рыжебородым, возвращался в последних годах четырнадцатого века, как раз при наступлении сумерек ночи святого Ремигия*, после свидания в Вормсе с германским императором, во время которого, за неимением законных детей, умерших у него, он выхлопотал у этого властелина узаконение прижитого им со своей супругою еще до брака незаконного сына, графа Филиппа фон Гюнингена. Радостнее, чем в течение всего своего правления, глядя в будущее, он уже достиг парка, расположенного позади его замка, как вдруг из темноты кустов вылетела стрела и пронзила ему тело под самой грудною костью. Господин Фридрих фон Трота, его камерарий, крайне пораженный этим происшествием, доставил его с помощью нескольких других рыцарей в замок, где он в объятиях своей потрясенной супруги еще нашел силы прочитать на собрании имперских вассалов, спешно созванных по распоряжению последней, императорскую грамоту об узаконении; и после того как не без сильного сопро-

* То-есть в ночь на 1 октября.

тивления вассалов, ввиду того, что по закону престол переходил к его сводному брату, графу Якову Рыжебородому, они исполнили его последнее решительное желание, с оговоркой получения согласия императора, и признали графа Филиппа наследником престола, а ввиду его малолетства, мать его опекуншей и регентшей, он опустился на ложе и умер.

Герцогиня вступила без дальнейших задержек на престол, при простом уведомлении о том через нескольких делегатов ее зятя, графа Якова Рыжебородого; и то, что предсказывали некоторые придворные рыцари, думавшие, что достаточно знают замкнутый характер последнего, то, по крайней мере с виду, и случилось: Яков Рыжебородый, мудро взвесив обстоятельства, перестрадал в душе обиду, нанесенную ему братом; во всяком случае он воздержался от каких бы то ни было шагов, направленных на то, чтобы разрушить последнюю волю герцога, и пожелал своему юному племяннику от всего сердца счастья на троне, которого тот достиг. Он описал депутатам, которых он очень радушно и ласково пригласил к своему столу, как после смерти своей супруги, оставившей ему королевское состояние, он, свободный и независимый, живет в своем замке; как он любит жен соседних дворян, собственное вино и охоту в обществе веселых друзей и как крестовый поход в Палестину, которым он рассчитывает искупить грехи бурной юности,—увы, по его собственному признанию, еще более умножившиеся с возрастом,—составляет единственную заботу, о которой он помышляет к концу своей жизни. Напрасно его оба сына, воспитанные в определенной надежде на наследование престола, делали ему самые горячие упреки в бесчувственности и равнодушии, с каким он совершенно неожиданно примирился с этим непоправимым ущербом их притязаниям; он приказал им, как еще безбородым, короткими, насмешливыми и властными словами сидеть смиренно и принудил их в день торжественных похорон последовать за ним в город и там,

как подобает, проводить, идя рядом с ним, до могилы старого герцога, их дядю; и после того как в тронной зале герцогского дворца, он, в присутствии регентши-матери, подобно другим вельможам двора, принес присягу молодому принцу, своему племяннику, он, отклонив все должности и звания, которые последняя ему предложила, и сопутствуемый благословениями сугубо почитавшего его за великодушные и умеренность народа, возвратился в свой замок.

Герцогиня приступила, после этого неожиданно благополучного устранения первых притязаний, к выполнению второй обязанности регентши, а именно к назначению расследования относительно убийц своего мужа, коих, как уверяли, видели целую шайку в парке, и с этой целью сама вместе с господином Годвином фон Герталем, своим канцлером, внимательно рассмотрела стрелу, положившую конец его жизни. Между тем в ней не нашли ничего такого, что могло бы изобличить ее владельца, кроме разве того, что она была сработана необычно изящным образом. Крепкие, завитые и блестящие перья были воткнуты в древко, стройно и крепко выточенное из темного орехового дерева; перекрытие переднего конца было из блестящей меди, и лишь острие, отточенное, как рыба кость, было из стали. Видимо, стрела была изготовлена для оружейной палаты знатного и богатого человека, который либо был запутан в междоусобных войнах, либо был большим любителем охоты; а так как из даты, выгравированной на головке, видно было, что это могло произойти лишь недавно, то герцогиня, по совету канцлера, послала стрелу, снабженную коронной печатью, по всем оружейным мастерским Германии, дабы найти выточившего ее мастера и, если бы это удалось, то узнать от него имя того, по чьему заказу она была выточена.

Пять месяцев спустя, к господину Годвину, канцлеру, которому герцогиня передала все расследование этого дела, поступило заявление из Страсбурга от одного мастера, изготовляющего стрелы, что пучок таких стрел

вместе с принадлежащим к ним колчаном три года тому назад был изготовлен им для графа Якова Рыжебородого. Канцлер, чрезвычайно пораженный этим явлением, задерживал его в течение нескольких недель в своем потайном шкафу; частью он слишком хорошо знал, как ему казалось, несмотря на вольный и разнузданный образ жизни графа, его благородство, чтобы считать его способным на такое отвратительное дело, как убийство брата; частью также он слишком мало знал, несмотря на многие другие ее прекрасные свойства, справедливость регентши, чтобы в деле, кавшемся ее злейшего врага, не считать себя обязанным действовать с величайшей осторожностью. Между тем он тайно повел следствие в направлении, намеченном этим странным показанием, а так как он случайно разведал через чиновников городского суда, что граф, который обычно никогда или крайне редко покидал свой замок, в ночь убийства герцога отсутствовал из него, то он почел своей обязанностью нарушить тайну и на ближайшем заседании государственного совета обстоятельно осведомить герцогиню относительно странного и необычайного подозрения, которое, благодаря этим двум уликам, падало на ее зятя, графа Якова Рыжебородого.

Между тем герцогиня, которая почитала себя счастливой быть на такой дружеской ноге со своим зятем, графом, и ничего так не опасалась, как задеть его чувствительность необдуманными поступками, к удивлению канцлера, не проявила ни малейших признаков радости при этом двусмысленном разоблачении; более того, дважды перечитав со вниманием бумаги, она выразила живейшее неудовольствие, что дело, столь неопределенное и сомнительное, ставят открыто на обсуждение государственного совета. Она была того мнения, что здесь должны иметь место либо ошибка, либо клевета, и приказала отнюдь не пользоваться этим сообщением перед судом. К тому же, при исключительном, почти фанатическом почитании народа, которым

граф по естественному обороту вещей пользовался со времени устранения его от престола, ей казалось, что даже один этот доклад в государственном совете крайне опасен; и так как она предвидела, что городская молва об этом дойдет до его ушей, то послала к нему в сопровождении поистине благородного письма оба обвинительных пункта вместе с теми данными, на которых они должны были опираться, которые она назвала игрою странного недоразумения, с определенной просьбой извинить ее, заранее убежденную в его невинности, от каких-либо опровержений таковых.

Граф, который сидел за столом с компанией друзей, любезно поднялся со своего кресла, когда вошел рыцарь с посланием герцогини. Но едва он прочитал письмо в амбразуре окна, пока друзья его разглядывали торжественно державшего себя человека, который не хотел даже садиться, как он изменился в лице и передал бумаги друзьям со словами: „Братья, смотрите! какое гнусное обвинение в убийстве моего брата смастерили против меня!“ Он взял со сверкающим взором стрелу из руки рыцаря и, скрывая подавленность своего духа, добавил, в то время как его друзья в тревоге обступили его, что в самом деле стрела принадлежит ему и то обстоятельство, что в ночь святого Ремигия он отсутствовал из своего замка, обосновано. Друзья проклинали это злобное и гнусное коварство; они сваливали подозрение в убийстве на самих низких обвинителей и уже готовы были оскорбить посланного, который взял под свою защиту герцогиню, свою повелительницу, когда граф, который еще раз перечитал бумаги, вдруг подойдя к ним, воскликнул: „Спокойствие, друзья!“ — и затем, взяв свой меч, стоявший в углу, передал его рыцарю со словами, что он его пленник. На испуганный вопрос рыцаря, не ослушался ли он и действительно ли граф признает оба обвинительных пункта, которые выставил канцлер, тот отвечал: Да! да! да! но надеется, что будет избавлен от необходимости доказывать свою невинность иначе, как перед трибуна-

лом формально назначенного герцогиней суда. Напрасно доказывали рыцари, крайне недовольные этим заявлением, что в таком случае он не обязан давать отчет в последовательной связи событий никому, кроме императора; граф, настроение которого вдруг так поразительно изменилось, ссылаясь на справедливость регентши, настаивал на том, чтобы предстать перед местным трибуналом, и, вырвавшись из их объятий, уже крикнул в окно, чтобы ему подали его лошадей, намереваясь, как он говорил, немедленно последовать за посланным в приличествующее рыцарю тюремное заключение; но тут его товарищи по оружию преградили ему насильно дорогу, сделав предложение, которое он в конце концов должен был принять. Они все вместе, составив послание к герцогине, потребовали для него, как права, принадлежащего каждому рыцарю, свободный пропуск, и в обеспечение того, что он явится на учрежденный ею суд и подчинится всему тому, к чему последний его приговорит, они предложили ей поручительство в 20 000 марок серебром.

Герцогиня, получив это неожиданное и непонятное заявление, ввиду отвратительных слухов, которые уже распространились в народе относительно повода обвинения, сочла наиболее разумным, с совершенным устранением собственной особы, передать все на разбор императору. Она послала ему, по совету канцлера, все документы, касающиеся этого происшествия, и попросила его, в качестве верховного главы государства, снять с нее расследование дела, в коем сама она является стороною. Император, который в то время для переговоров с союзным советом как раз находился в Базеле, согласился исполнить ее желание; он тут же учредил суд из трех графов, двенадцати рыцарей и двух судебных заседателей; и после того как он предоставил графу Якову Рыжебородому, согласно ходатайству его друзей, по представлению поручительства в 20 000 марок серебра, свободный пропуск, он предложил ему явиться перед названным судом и дать по-

следнему ответ и отчет по обоим пунктам: каким образом стрела, которая, по его собственному признанию, принадлежала ему, попала в руки убийцы, а также в каком третьем месте находился он в ночь святого Ремигия.

То было в понедельник после Троицына дня, когда граф Яков Рыжебородый с блестящей свитой рыцарей, согласно посланному ему вызову, появился в Базеле перед трибуналом суда и, обойдя первый, как он сказал, совершенно неразрешимый для него вопрос, по отношению второго, который был решающим для предмета тяжбы, высказался следующим образом: „Благородные господа!— и при этом он оперся руками о балюстраду и оглядел собрание своими маленькими сверкающими глазами, затененными рыжеватыми ресницами.— Вы обвиняете меня, который представил достаточно доказательств своего равнодушия к короне и скипетру, в самом ужасном поступке, какой только может быть совершен, в убийстве моего, правда, не очень ко мне благосклонного, но из-за этого не менее дорогого мне брата; и как одно из оснований, на котором вы строите ваше обвинение, вы приводите то, что в ночь святого Ремигия, вопреки привычке, многолетними наблюдениями установленной, я отлучился из моего замка. Мне, конечно, прекрасно известно, какова обязанность рыцаря по отношению к чести той дамы, благосклонность которой тайно выпала ему на долю, и право! если бы небо не собрало над моей головой, как грозу из ясной лазури, это странное и роковое стечение обстоятельств, то тайна, которая спит в моей груди, умерла бы вместе со мною, распалась бы прахом и лишь на призыв трубы ангела, отверзающей гроба, со мною вместе предстала бы пред господом. Однако вопрос, который императорское величество вашими устами ставит моей совести, делает ничтожными, как сами вы понимаете, все стеснения и соображения; и раз вы хотите знать, почему является невероятным и даже невозможным, чтобы я принял участие в убийстве моего брата лично или через

другое лицо, то знайте, что в ночь святого Ремигия, следовательно, в то время, когда оно было совершено, я тайно находился у прекрасной, любовно преданной мне дочери областного начальника Винфрида фон Бреда, госпожи Виттиб Литтегарды фон Ауэрштейн“.

Надо знать, что госпожа Виттиб Литтегарда фон Ауэрштейн была и самая красивая и, до того мгновенья, когда было произнесено это позорное обвинение, самая безупречная и незапятнанная женщина в стране. Она жила со времени кончины дворцового коменданта фон Ауэрштейна, ее супруга, которого она потеряла через несколько месяцев после брака, вследствие заразной горячки, тихо и уединенно в замке своего отца; и только, по желанию этого старого господина, который охотно увидал бы ее снова замужем, она соглашалась время от времени показываться на охотничьих праздниках и пиршествах, устраиваемых окрестным рыцарством и, главным образом, господином Яковом Рыжебородым. Многие графы и господа из благороднейших и богатейших родов этой страны в таких случаях окружали ее своим ухаживанием, а среди них господин Фридрих фон Трота, камерарий, который однажды на охоте смело спас ей жизнь, защитив ее от наскока раненного кабана, был *ей всех дороже и милее; между тем из боязни не угодить своим двум братьям, рассчитывавшим на наследственную долю ее имущества, она, невзирая на все уговоры отца, все еще не могла решиться отдать ему свою руку. Более того, когда Рудольф, старший из двух, вступил в брак с богатой девицей из соседнего поместья и у него после трехлетнего бездетного супружества родился к великой радости семьи продолжатель рода, она, под влиянием многих ясных и неясных заявлений, формально простилась со своим другом, господином Фридрихом, в письме, написанном со слезами, и согласилась для поддержания целости дома на предложение брата занять место настоятельницы в одном женском монастыре, который стоял неподалеку от замка ее отца на берегу Рейна.

Как раз в то время, когда этот план представлен был Страсбургскому архиепископу и дело это должно было быть приведено в исполнение, областной начальник, господин фон Бреда, получил через установленный императором суд уведомление о позоре его дочери, Литтегарды, и предложение доставить ее в Базель для ответа по обвинению, взведенному на нее графом Яковом. В послании были точно обозначены час и место, когда граф, согласно его показания, тайно посетил госпожу Литтегарду, и переслано было даже кольцо, доставшееся ей от ее умершего мужа, которое, как граф уверял, он получил из ее рук при прощании на память о прошедшей ночи. Как раз в день прибытия этой бумаги господин Винфрид страдал тяжким и мучительным старческим недомоганием; в крайне раздраженном состоянии он, прихрамывая, бродил под руку с дочерью по комнате, предвидя уже тот предел, который положен всем, кто дышит жизнью; и при прочтении этого ужасного извещения его мгновенно сразил удар, и он, выронив лист, рухнул с парализованными членами на землю. Братья, которые присутствовали при этом, в испуге подняли его с пола и призвали врача, который жил для ухода за ним в соседнем здании; однако все старания вернуть его к жизни были напрасны; в то время как госпожа Литтегарда без памяти лежала в объятиях своих служанок, он испустил дух, и она, очнувшись, даже не имела последнего горестно-сладостного утешения передать ему в вечность хотя бы одно слово в защиту своей чести. Ужас обоих братьев, вызванный горестным происшествием, и их бешенство по поводу приписываемого их сестре и, увы, слишком правдоподобного позорного поступка, который к этому привел, были неописуемы. Ибо они отлично знали, что граф Яков Рыжебородый действительно в продолжение всего прошедшего лета настойчиво ухаживал за нею; несколько турниров и банкетов было устроено им исключительно в ее честь, и уже тогда она крайне непристойным образом была отличаема им среди других при-

глашенных им женщин. Более того, они вспомнили, что Литтегарда как раз незадолго до названного дня святого Ремигия уверяла, что потеряла на прогулке то самое, доставшееся ей от ее мужа, кольцо, которое теперь столь странным образом снова нашлось в руках графа Якова; так что они ни на одно мгновение не усомнились в истинности показания, которое граф дал против нее на суде. Напрасно — в то время как среди плача дворовой челяди выносили тело отца — охватывала она колени братьев, умоляя хотя бы одно мгновение выслушать ее; Рудольф, пылая негодованием, спросил, обратившись к ней, может ли она выставить за себя свидетеля в опровержение обвинения, и так как она с трепетом и дрожью ответила, что, к сожалению, не может сослаться ни на что, кроме безупречности своего образа жизни, ввиду того, что ее горничная, отправившаяся навестить своих родителей, в названную ночь отсутствовала из ее спальни, то Рудольф оттолкнул ее от себя ногою, вырвал меч, висевший на стене, из ножен и, бушуя в безобразной страсти и созывая собак и слуг, приказал ей немедленно покинуть дом и замок. Литтегарда встала с пола бледная, как мел; она просила, молча уклоняясь от его насилий, предоставить ей, по крайней мере, необходимое время для устройства требуемого отъезда; однако Рудольф, кипя бешенством, ничего другого не ответил, как: „Вон из замка!“ И, не слушая собственной жены, которая стала на его дороге, прося о пощаде и человечности, он толчком рукоятки меча, вызвавшим у нее кровотечение, бешенно отбросил ее в сторону, и несчастная Литтегарда, ни жива, ни мертва, оставила комнату; она, шатаясь, прошла по двору, преследуемая взглядами толпы, до ворот замка, куда Рудольф велел ей передать узелок с бельем, к которому он присоединил немного денег, и сам с ругательствами и проклятиями запер за нею створки ворот.

Это внезапное падение с высоты ясного, почти ничем неомраченного счастья в пучину необозримого, со-

вершенно безысходного бедствия было больше, чем бедная женщина могла вынести. Не зная, куда ей обратиться, она, шатаясь, стала спускаться, держась за перила, по горной тропе, чтобы найти хотя бы на наступающую ночь какое-либо пристанище; но раньше чем она достигла входа в деревушку, раскинувшуюся в долине, она уже опустилась, совершенно обессиленная, на землю. Освободившись от всех земных страданий, она пролежала, пожалуй, так около часа, и глубокий мрак уже покрыл местность, когда она очнулась, окруженная толпою сердобольных жителей селения. Ибо мальчик, игравший на краю скалистого обрыва, заметил ее там и сообщил в доме родителей о таком странном и поразительном явлении; тогда последние, не раз облагодетельствованные Литтегардой, тотчас же отправились, чтобы оказать ей помощь, насколько то было в их силах. Стараниями этих людей она скоро приведена была в чувство и снова пришла в себя при виде замка, замкнувшегося за нею; однако она отклонила предложение двух женщин проводить ее снова в замок и просила лишь об одолжении тотчас привести к ней проводника, дабы продолжить свое странствование. Напрасно убеждали ее эти люди, что в ее состоянии она не может предпринимать никакого путешествия; Литтегарда, под предлогом, что жизнь ее в опасности, настояла на том, чтобы немедленно покинуть пределы области замка; она даже готова была, так как толпа, не помогая ей, росла вокруг нее, силой вырваться и одна, несмотря на мрак наступающей ночи, отправиться в путь; так что люди по нужде, из страха, как бы господ, в случае если приключится несчастье, не притянули их к ответу, согласились исполнить ее желание; достали для нее телегу, и Литтегарда после повторных вопросов, к ней обращенных, куда собственно она хочет направиться, поехала в Базель.

Однако уже за селом она, после внимательного взвешивания обстоятельств, изменила свое решение и при-

казала своему проводнику повернуть обратно и отвезти ее в расположенный всего в нескольких милях Троттенбург. Ибо она хорошо сознавала, что без поддержки против такого противника, как граф Яков Рыжебородый, она перед судом в Базеле ничего не сможет сделать; и никто не казался ей более заслуживающим доверия быть призванным на защиту ее чести, чем ее доблестный, любовно все еще преданный ей, как она хорошо знала, друг, славный камерарий, господин Фридрих фогт Трота. Было около полуночи, и свет еще мерцал в замке, когда она, крайне утомленная переездом, прибыла туда на своей телеге. Она послала слугу, который встретил ее, наверх, дабы доложить семейству о ее прибытии; но еще раньше, чем он исполнил свое поручение, наружу вышли девицы Берта и Кунигунда, сестры господина Фридриха, которые, случайно по делам домашнего хозяйства, оказались в нижней аванзале. Подруги высадили хорошо им знакомую Литтегарду с радостными приветствиями из телеги и провели ее, хотя и не без некоторого смущения, наверх к своему брату, сидевшему за столом и погруженному в документы, которыми его засыпала одна тяжба. Но кто опишет изумление господина Фридриха, когда он на шум, поднявшийся позади него, повернул голову и увидел, как госпожа Литтегарда, бледная и с искаженным лицом, подлинный образ отчаяния, опустилась перед ним на колени. „Дражайшая моя Литтегарда! — воскликнул он, вставая и подымая ее с полу, — что с вами случилось?“ Литтегарда, опустившись в кресло, рассказала ему то, что произошло; какое гнусное показание дал по отношению к ней на суде в Базеле граф Яков Рыжебородый, дабы очистить себя от подозрения в убийстве герцога; как это известие причинило ее старому отцу, страдавшему как раз от некоторого недомогания, внезапный нервный удар, от которого он и скончался через несколько минут на руках своих сыновей; и как последние в бешеном негодовании, не слушая того, что она могла привести в свое

оправдание, осыпав ее ужаснейшими оскорблениями, под конец выгнали ее, как преступницу, из дома. Она просила господина Фридриха отправить ее в Базель с подобающими ей провожатыми и там указать ей правозаступника, который при ее выступлении на установленном императором суде мог бы поддержать ее против гнусного обвинения умным и обдуманном советом. Она уверяла, что из уст какого-нибудь парфянина или перса, которого она никогда и в глаза не видала, такое утверждение не могло быть для нее более неожиданным, чем из уст графа Якова Рыжебородого, ибо, из-за своей плохой репутации, а также и своей наружностью, он всегда до глубины души был ей ненавистен, и те любезности, которые он иногда позволял себе ей высказывать во время праздничных банкетов прошлого лета, она постоянно отклоняла с величайшей холодностью и презрением. „Довольно, моя дорогая Литтегарда!—воскликнул господин Фридрих, причем он с благородным жаром взял ее руку и прижал к своим губам;— не тратьте слов для защиты и оправдания своей невинности! В моей груди говорит за вас голое гораздо более живой и убедительный, чем все уверения и даже все юридические доводы и доказательства, какие вы, пожалуй, сможете представить в свою пользу перед судом в Базеле на основании связи обстоятельств и событий. Примите меня, раз ваши несправедливые и невеликодушные братья вас покинули, в качестве друга и брата и окажите мне честь быть вашим поверенным в этом деле; я хочу восстановить блеск вашей чести перед базельским судом и перед судом целого света!“ После этого он отвел Литтегарду, слезы которой от благодарности и умиления перед столь благородными словами текли в изобилии, наверх к госпоже Елене, своей матери, которая уже удалилась к себе в спальню; он представил ее этой достойной старой даме, питавшей к ней особливую любовь, как гостью, которая по причине раздора, вспыхнувшего в ее семье, решилась поселиться на некоторое время в

его замке; ей отвели в ту же ночь целое крыло обширного замка; он обильно наполнил шкафы, в нем находившиеся, платьями и бельем для нее из запасов сестер и приставил к ней в полном соответствии с ее рангом приличный, даже роскошный штат прислуги; и уже на третий день господин Фридрих фон Трота, не высказываясь, каким способом и путем он намерен вести свои доказательства на суде, оказался на дороге в Базель с многочисленной свитой вершников и оруженосцев.

Тем временем от господ фон Бреда, братьев Литтегарды, в базельский суд поступила бумага, касавшаяся имевшего места в замке происшествия, в которой,— потому ли, что они действительно считали ее виновною или потому, что у них могли быть и другие причины погубить ее,— они выдавали головой несчастную женщину, как изобличенную преступницу, преследованию закона. По крайней мере они, неблагородным и лживым образом, назвали изгнание ее из замка добровольным побегом; они описывали, как она тотчас, не имея возможности привести что-либо в защиту своей невинности, в ответ на несколько негодующих выражений, сорвавшихся у них, покинула замок; и, ввиду безуспешности всех поисков, которые, как они уверяли, ими были предприняты, они были того мнения, что теперь она, вероятно, странствует по свету в обществе третьего искателя приключений, дабы довершить меру своего позора. При этом, для спасения чести оскорбленного ею семейства, они настаивали на том, чтобы ее имя было вычеркнуто из родословной книги дома фон Бреда, и требовали, на основании пространных юридических выводов, чтобы, в наказание за столь неслыханный поступок ее, она была объявлена лишенной всех прав на наследство благородного отца, которого ее позор ввергнул в могилу. Однако базельские судьи были далеки от того, чтобы удовлетворить это ходатайство, которое к тому же вовсе не было им подсудно; но так как тем временем граф Яков, по получении этого

известия, представил самые недвусмысленные и решительные доказательства своего участливого отношения к судьбе Литтегарды и, как узнали, тайно разослал вершников, чтобы разыскать ее и предложить ей убежище в своем замке, то суд уже больше не сомневался в правдивости его показания и порешил немедленно снять с него обвинение в убийстве герцога, которое над ним тяготело. Более того, такое участливое отношение, которое он проявил к несчастной в эту минуту бедствия, подействовало даже крайне благоприятно на мнение народа, весьма колебавшегося в своем благоволении к нему; теперь стали оправдывать то, что раньше тяжело осуждали, а именно выдачу любовно преданной ему женщины на позор всего света, и стали находить, что при таких исключительных и важных обстоятельствах, когда дело шло не меньше, как о его жизни и чести, у него ничего не оставалось, кроме безоговорочного разоблачения того приключения, какое произошло в ночь святого Ремигия. Ввиду этого, по прямому распоряжению императора, граф Яков Рыжебородый был снова приглашен в суд, чтобы торжественно, при открытых дверях, быть освобожденным от подозрения в соучастии в убийстве герцога. Едва герольд успел дочитать под сводами обширного зала суда письмо господ фон Бреда, и суд уже готовился, согласно резолюции императора, приступить в отношении стоявшего перед ним обвиняемого к формальному восстановлению его чести, как господин Фридрих фон Трота вступил в палату и, опираясь на право всякого беспристрастного свидетеля, попросил дать ему на одно мгновение для просмотра письмо. В то время как глаза всего народа были устремлены на него, его желание удовлетворили; но едва господин Фридрих получил бумагу из рук герольда, как после мимолетно брошенного в нее взгляда, он разорвал ее сверху донизу и клочки вместе со своей перчаткой, которую он скомкал, бросил Якову Рыжебородому в лицо, с заявлением, что тот — гнусный и подлый клеветник и что он решил

жизнью или смертью доказать на божием суде перед всем светом невинность госпожи Литтегарды в том преступлении, в котором ее обвиняют.— Граф Яков Рыжебородый, после того как он с побледневшим лицом поднял перчатку, сказал: „Как несомненно то, что бог праведно судит в поединке, так несомненно и то, что я докажу тебе в честном рыцарском бою истинность того, что я вынужден был огласить относительно госпожи Литтегарды! Доложите же, благородные господа,— сказал он, обратившись к судьям,— его императорскому величеству о протесте, заявленном господином Фридрихом, и испросите у него, дабы он нам назначил час и место, где мы с мечом в руке могли бы встретиться для разрешения этого спорного дела!“ Ввиду этого судьи, закрыв сессию суда, послали депутацию с отчетом об этом происшествии к императору; а так как последнего выступление господина Фридриха, как защитника Литтегарды, не могло поколебать в его вере в невинность графа, то, как того требовали законы чести, он вызвал госпожу Литтегарду в Базель для присутствия на поединке и назначил для выяснения странной тайны, нависшей над этим делом, день святой Маргариты— как время и дворцовую площадь в Базеле— как место, где оба, господин фон Трота и граф Яков Рыжебородый, должны были встретиться друг с другом в присутствии госпожи Литтегарды.

Согласно этому решению, едва лишь полуденное солнце дня святой Маргариты взошло над башнями города Базеля и бесчисленное множество людей, для которых соорудили скамьи и помосты, собралось на замковой площади, как, после троекратного вызова герольда, стоявшего перед балконом судей, оба, с ног до головы закованные в сверкающую медь, господин Фридрих и граф Яков, выступили на арену для того, чтобы в бою разрешить свой спор. Почти все рыцарство Швабии и Швейцарии присутствовало на валу замка, расположенного на заднем плане; а на балконе его сидел окруженный дворцовой челядью император,

со своею супругою и принцами и принцессами, его сыновьями и дочерьми. Незадолго перед началом боя, в то время как судьи распределяли свет и тень между бойцами, госпожа Елена и обе ее дочери, Берта и Кунигунда, сопутствовавшие Литтегарде в Базель, подошли еще раз к воротам площади и попросили стражей, стоявших там, о разрешении войти и сказать одно слово госпоже Литтегарде, которая, согласно старинному обычаю, сидела на помосте внутри арены. Ибо хотя образ жизни этой дамы, новидимому, принуждал к полнейшему уважению и совершенно неограниченному доверию к правдивости ее уверений, тем не менее кольцо, которое граф Яков мог предъявить, а еще более то обстоятельство, что Литтегарда отпустила в ночь святого Ремигия свою камеристку, единственного человека, который мог бы служить свидетелем, повергало их души в живейшее беспокойство; они положили еще раз проверить, под давлением этого решительного мгновенья, стойкость внутреннего сознания, присущего обвиняемой, и разъяснить ей бесполезность и даже святотатственность в случае, если действительно вина лежит на ее душе, попытки очиститься от нее священным приговором оружия, который безошибочно выведет истину на свет. И действительно у Литтегарды были все основания к тому, чтобы хорошенько обдумать тот шаг, который теперь предпринимал ради нее господин Фридрих: костер ожидал ее, а также и ее друга, рыцаря фон Трота, в том случае, если бы бог железным приговором высказался не за него, а за графа Якова Рыжебородого и за правдивость показания, которое последний дал против нее на суде. Когда госпожа Литтегарда увидала входящих со стороны мать и с нею сестер господина Фридриха, она, с присущим ей выражением достоинства, которое было еще трогательнее, благодаря печали, облекавшей ее существо, поднялась с своего кресла и спросила их, идя им навстречу, что их привело к ней в столь роковую минуту. „Моя дорогая дочка,— сказала госпожа Елена, отведя ее в сторону,— не по-

желаете ли вы избавить мать, у которой нет иного утешения в ее одинокой старости, кроме обладания сыном, от горя быть вынужденной оплакивать его у его гроба, и раньше чем начнется поединок, щедро одаренная и обеспеченная, сесть в экипаж и принять от нас в дар одно из наших поместий, лежащее по ту сторону Рейна, которое примет вас пристойно и радушно?“ Литтегарда, после того как она, внезапно побледнев, несколько мгновений пристально глядела ей в лицо, склонила колено, как только она поняла значения этих слов во всем его объеме. „Достопочтеннейшая и добрейшая госпожа!— сказала она,— исходит ли тревога, что бог в этот решительный час выскажется против невинности моей души, из сердца вашего благородного сына?“ — „Почему?“ — спросила госпожа Елена. „Потому, что в этом случае я его умоляю лучше не обнажать меча, который держит недоверчивая рука, и покинуть арену под каким-либо благовидным предлогом, предоставив ее своему противнику; меня же, не делая неуместной уступки состраданию, от которого я ничего принять не могу, предоставить моей судьбе, каковую я предаю в руку господу!“ — „Нет!— сказала госпожа Елена в смущении,— мой сын ничего не знает! Ему, давшему слово на суде защищать ваше дело, не подобало бы сделать вам теперь, когда настал решительный час, такое предложение. В твердой вере в вашу невинность стоит он, как вы видите, готовый к бою против графа—вашего противника; это было предложение, которое мы, мои дочери и я, под давлением минуты измыслили, приняв в соображение все выгоды и во избежание всякого несчастья“. „Ну,— сказала госпожа Литтегарда, напечатлевая горячий поцелуй на руке старой дамы и орошая ее своими слезами,— в таком случае предоставьте ему сдержать свое слово! Никакая вина не пятнает моей совести; и если бы он даже без шлема и панцыря выступил в бой, бог и все его ангелы оградили бы его!“ — и с этими словами она поднялась с земли и отвела госпожу Елену и ее дочерей к нескольким седалищам,

устроенным на помосте позади обитого красным сукном кресла, на которое она опустилась.

После этого герольд затрубил по знаку императора к бою, и оба рыцаря со щитом и мечом в руке вступили друг против друга. Первым же ударом господин Фридрих ранил графа; он нанес ему рану концом своего не очень длинного меча в то место, где промеж предплечья и руки петли брони сцепляются между собой; однако граф, испуганный чувством боли, отпрыгнул назад, осмотрел рану и нашел, что хотя кровь сильно текла, но лишь кожа была сверху оцарапана; и ввиду ропота помещавшихся на валу рыцарей на неприличие этого поступка, он снова бросился вперед и, как совершенно здоровый, опять вступил в бой с обновленными силами. Теперь бой закипел между обоими сражающимися подобно тому, как встречаются два вихря, как две грозовые тучи, посылая друг другу свои молнии, сталкиваются, не сливаясь между собою под грохот частых громов, и, вздымаясь, реют друг вокруг друга. Господин Фридрих; протянув вперед щит и меч, стоял на земле, словно он хотел в нее пустить корни; до самых шпор, до щиколоток, до икр зарылся он в освобожденную от камней и нарочито разрыхленную почву, отражая от груди и головы коварные удары графа, который, маленький и проворный, нападал словно одновременно со всех сторон. Уже бой длился почти час, считая и те мгновения отдыха, к которым потеря дыхания принуждала обе стороны, когда снова поднялся ропот среди стоявших на помосте зрителей. Казалось, что на этот раз он относился не к графу Якову, у которого не было недостатка рвения довести бой до конца, но к господину Фридриху, как бы вкопавшемуся в землю на одном и том же месте, и его странному, на вид чуть ли не робкому, во всяком случае, упорному воздержанию от всякого наступления с своей стороны. Господин Фридрих, хотя его тактика была построена на правильных основаниях, чувствовал, однако, что она слишком медленна, так что он счел

своим долгом отказаться от нее по требованию тех, кто в это мгновение были судьями над его честью; он выступил смелым шагом с места, выбранного им спервоначалу, и из того своеобразного естественного окопа, образовавшегося вокруг притоптанного его ногою следа, обрушил на голову противника, силы которого уже начали падать, несколько дюжих и неослабных ударов, которые, однако, тот сумел перехватить щитом при искусных движениях в сторону. Но уже в первые мгновения этого таким образом изменившегося боя с господином Фридрихом приключилось несчастье, которое как будто не указывало на присутствие руководящих боем высших сил: шагнув, он запутался в собственных шпорах, спотыкаясь, упал набок, и, в то время как под тяжестью шлема и панцыря, которые обременяли верхнюю часть его тела, он опустился на колени, опершись руками в землю, граф Яков Рыжебородый, нельзя сказать, чтобы весьма благородным и рыцарским образом, воткнул ему меч в его при этом обнажившийся бок. Господин Фридрих с криком внезапной боли вскочил с земли. Он, правда, надвинул шлем на глаза и, быстро обернувшись лицом к противнику, стал готовиться к продолжению боя, но в то время, как он со скрюченным от боли телом оперся на свой меч и мрак застилал ему глаза, граф еще два раза вогнал ему свой кладенец в грудь, как раз под самое сердце; после чего в грохоте своих доспехов он рухнул на землю и уронил рядом с собою меч и щит. Граф, отбросив в сторону оружие, под троекратную фанфару труб поставил ему ногу на грудь; и в то время как все зрители с самим императором во главе, под глухие возгласы страха и сострадания поднялись со своих седалищ, госпожа Елена в сопровождении обеих своих дочерей поверглась над своим дорогим сыном, валявшемся в прахе и крови. „О мой Фридрих!“ — горестно воскликнула она, опустившись на колени у его головы, в то время как госпожа Литтегарда в обмороке и без сознания была поднята двумя стражниками

с пола помоста, на который она опустилась, и отнесена в темницу. „О, презренная,— добавила она,— отверженная, которая с сознанием вины в сердце решилась вступить сюда и вооружить длань вернейшего и благороднейшего друга, дабы он для нее отвоевал в неправом бою божий приговор!“ И с этими словами она с плачем подняла возлюбленного сына с земли, в то время как дочери освобождали его от пандыря и пытались остановить кровь, которая струилась из его благородной груди. Но стражники подошли, по приказанию императора, и взяли его, как подпавшего действию закона, под стражу: его положили, при содействии нескольких врачей, на носилки и отнесли в сопровождении большой толпы народа также в темницу, куда, однако, госпожа Елена и ее дочери получили разрешение последовать за ним до его смерти, в которой никто не сомневался.

Однако весьма скоро обнаружилось, что раны господина Фридриха, как ни опасны для жизни и ни нежны были части тела, коих они коснулись, по особому произволению неба, были несмертельны; более того, врачи, которых к нему приставили, уже спустя несколько дней, могли дать семейству определенное заверение, что он останется в живых и даже что, при крепости его природы, он через несколько недель, не потерпев никакого увечья на своем теле, выздоровеет. Как только сознание, которого его надолго лишила боль, к нему вернулось, его постоянным вопросом, обращенным к матери, было, что делает госпожа Литтегарда. Он не мог удержаться от слез, когда представлял себе ее в одиночестве темницы, отданною в жертву самому ужасному отчаянию, и убеждал сестер, ласково глядя их подбородки, ее навещать и утешать. Госпожа Елена, изумленная этими словами, просила его позабыть об этой гнусной и низкой женщине; она полагала, что преступление, о котором граф Яков упомянул на суде и которое обнаружилось исходом поединка, может быть прощено, но не то бесстыдство и та наглость, с ко-

торыми, сознавая свою вину и не щадя благороднейшего друга, которого тем самым подвергала гибели, она апеллировала, как невинная, к священному божьему суду. „Ах, моя мать! — сказал камерарий, — где тот смертный, который, обладая мудростью всех веков, дерзнул бы истолковать таинственный приговор, произнесенный в этом поединке!“ — „Как! — воскликнула госпожа Елена, — неужели для тебя остался неясным смысл этого божественного приговора? Разве ты не пал в бою, к сожалению, слишком определенным и недвусмысленным образом под мечом твоего противника?“ — „Пусть так! — отвечал господин Фридрих, — на одно мгновение я был побежден им. Но разве граф меня одолел? Разве я не жив? Разве я не рассчитываю снова чудесно, как бы под дыханием неба, возобновить бой, в котором мне помешала ничтожная случайность, вооруженный, может быть, уже через несколько дней, двойною и тройною силою?“ — „Безумный! — воскликнула мать, — а разве ты не знаешь, что существует закон, согласно которому, бой, однажды законченный, по решению посредников, уже не может быть допущен снова на арене божьего суда для решения оружием того же дела?“ — „Это безразлично! — отвечал камерарий с досадою. — Что мне за дело до этих произвольных людских законов? Разве можно считать бой, который не продолжался до смерти одного из бойцов, по сколько-нибудь разумной оценке, законченным? И разве я не в праве надеяться, если бы возобновить его мне было дозволено, исправить постигшую меня неудачу и завоевать себе мечом совершенно иной божий приговор, чем тот, который ограничено и близоруко почитается за таковой?“ — „Как бы то ни было, — возразила мать задумчиво, — эти законы, до которых, по твоим словам, тебе нет дела, — законы действующие и господствующие; они, разумно или нет, обладают силой божественных определений и предадут тебя и ее, как отверженную, преступную чету, всей строгости уголовного суда“. — „Ах! — воскликнул господин Фридрих, — вот это-то и повергает меня, не-

счастливого, в отчаяние! Над нею произнесен приговор, словно над избалованную; а я, который хотел перед всем светом доказать ее добродетель и невинность, являюсь тем, кто навлек на нее всю эту беду; злосчастный шаг в ремни моих шпор, через который бог, может быть, совсем независимо от ее дела, а за грехи моего собственного сердца, хотел покарать меня, предает ее цветущие члены огню, а память вечному позору!“ При этих словах на глазах его выступили слезы горячей, мужественной печали; он обернулся, схватив платок, к стене, а госпожа Елена и ее дочери опустились на колени в тихом умилении у его постели и смеялись, целуя его руку, свои слезы с его слезами. Между тем тюремный страж вошел в его комнату с кушаньем для него и для его близких; господин Фридрих спросил его, как себя чувствует госпожа Литтегарда, и узнал из его отрывочных и небрежных слов, что она лежит на связке соломы и, с самого того дня, как была заключена, не произнесла еще ни единого слова. Господин Фридрих был повержен этим известием в величайшую тревогу; он поручил тюремщику сказать этой даме, для ее успокоения, что странным произволением неба он на пути к полному поправлению, и испросил у нее позволения, после восстановления своего здоровья, как-нибудь посетить ее в ее темнице, с разрешения коменданта замка. Но ответ, который тюремный страж, по его уверению, получил после многократного дергания ее за руку, в то время как она, как помешанная, не слыша и не видя, лежала на соломе, был таков: нет, пока она живет на земле, она не хочет больше видеть ни одного человека;— более того, узнали, что еще в тот же день в собственноручной записке она приказала коменданту замка не допускать к ней никого, кто бы он ни был, а камерария фон Трота менее всего; по этой причине господин Фридрих, побуждаемый сильнейшей тревогой об ее состоянии, в день, в который он особенно живо почувствовал восстановление своих сил, с разрешения коменданта замка,

поднялся н, уверенный в ее прощении, без доклада, в сопровождении матери и сестер, направился в ее комнату.

Но кто опишет ужас несчастной Литтегарды, когда, при возникшем у двери шуме, она поднялась с подостланной ей соломы с полуобнаженной грудью и распущенными волосами и, вместо тюремного стража, которого она ожидала, увидала входящим к ней под руку с Бертой и Кунигундой камерария, своего благородного и превосходного друга, с многими следами перенесенных страданий,— жалостное и трогательное явление.— „Прочь!—воскликнула она, причем с выражением отчаяния откинулась назад на покрывало своего ложа и прижала руки к своему лицу;—если у тебя в груди тлеет хотя бы искра сострадания, прочь!“ — „Как, моя дражайшая Литтегарда?“ — отвечал господин Фридрих. Он стал, опираясь на свою мать, рядом с нею и склонился с невыразимым умилением над нею, чтобы схватить ее руку. „Прочь!—воскликнула она, по соломе отпрянув от него на коленях на несколько шагов;—если ты не хочешь, чтобы я сошла с ума, то не прикасайся ко мне! Ты внушаешь мне ужас; пылающее пламя для меня менее страшно, чем ты!“ — „Я внушаю тебе ужас?—отвечал благородный господин Фридрих.— Чем, моя благородная Литтегарда, твой Фридрих заслужил такой прием?“ При этих словах Кунигунда поставила, по знаку матери, для него стул и предложила ему, при его слабости, на него присесть. „О Иисусе!—воскликнула та, причем она в ужаснейшем страхе, совершенно распростершись лицом на полу, бросилась ниц перед ним,—уйди из комнаты, мой возлюбленный, и оставь меня! Я обнимаю в горячем сердечном порыве твои колени, я омываю твои ноги моими слезами, я умоляю тебя, как червь, извивающийся по прахе, о единственном милосердии: уйди, мой господин и повелитель, уйди из моей комнаты, уйди немедленно и оставь меня!“ Господин Фридрих стоял перед нею, потрясенный до глубины души. „Неужели мой вид так неприятен тебе, Литтегарда?“ —

спросил он, серьезно глядя на нее. „Ужасен, невыносим, уничтожающ!“ — отвечала Литтегарда, в отчаянии выставив вперед руки и совершенно скрыв свое лицо между ступнями его ног. „Ад со всеми страхами и ужасами слаще для меня, и мне приятнее видеть его, чем весну твоего лица, обращенного ко мне в милости и любви!“ — „Боже правый! — воскликнул камерарий, — что мне думать об этом сокрушении твоей души? Неужели, несчастная, божий суд сказал правду, и неужели ты виновна в том преступлении, за которое граф привлек тебя к суду?“ — „Виновна, изболита, отвержена, во временной и вечной жизни осуждена и приговорена! — воскликнула Литтегарда, бия себя в грудь, как безумная. — Бог праведен и непогрешим; ступай! Мое сознание разрывается, и силы мои сломлены. Оставь меня одну с моим горем и отчаянием!“ При этих словах господин Фридрих упал в обморок; и в то время как Литтегарда, окутав голову покрывалом, как бы в полном отчуждении от света, снова легла на свое ложе, Берта и Кунигунда кинулись с воплем к бездыханному брату, дабы снова призвать его к жизни. „О, будь проклята! — воскликнула госпожа Елена, когда камерарий снова открыл глаза, — проклята на вечное раскаяние по сю сторону гроба, а по ту сторону — на вечное осуждение: не за твою вину, в которой ты теперь сознаешься, но за безжалостность и бесчеловечность, с которою ты не ранее в ней создалась, чем увлекла за собою в погибель моего неповинного сына! О я безумная! — продолжала она, причем с презрением отвернулась от Литтегарды, — почему я не поверила слову, доверенному мне незадолго до начала божьего суда настоятелем здешнего августинского монастыря, у которого граф, благочестиво готовясь к решительному часу, предстоящему ему, был у исповеди! Он поклялся ему на святом причастии в истинности показания, которое он дал суду относительно этой несчастной; он указал ему ту садовую калитку, у которой, согласно уговору, с наступлением ночи, она его ждала и приняла,



описал и ту комнату, боковое помещение необитаемой башни, в которую она его провела незаметно от сторожей, то ложе, удобно и великолепно застланное перинами под балдахин, которое она в бесстыжем распутстве тайно с ним разделила! Клятвенное заверение, сделанное в такой час, не содержит лжи; и если бы я, ослепленная хотя бы в самое мгновение начинавшегося поединка, дала бы моему сыну об этом знать, я бы открыла ему глаза и он отшатнулся бы от той бездны, у которой он стоял.— Но, пойдём!— воскликнула госпожа Елена, нежно обняв господина Фридриха и напечатлев на его челе поцелуй;— сокрушение, которое звучит в ее словах, оказывает ей честь; пусть она увидит наши спины и пусть, уничтоженная упреками, от которых мы ее пошадим, впадет в отчаяние!“ — „Презренный!— отвечала Литтегарда, причем, задетая за живое этими словами, она приподнялась. Она горестно уронила голову на колени и, проливая на свой платок горячие слезы, проговорила:— Я вспоминаю, как мои братья и я за три дня перед той ночью святого Ремигия были в его замке: он, как часто имел обыкновение это делать, устроил в мою честь празднество, и мой отец, который охотно видел, как приветствуют прелесть моей расцветающей молодости, побудил меня, в сопровождении моих братьев, принять приглашение. Поздно, по окончании танцев, когда я вошла в свою спальню, я нашла записку, лежащую на моем столе, которая была написана незнакомой рукой и без подписи и содержала формальное объяснение в любви. Случилось, что оба мои брата для того, чтобы условиться относительно нашего отъезда, который был назначен на завтрашний день, присутствовали в комнате; и так как я не привыкла иметь от них какие-либо тайны, то я показала им, охваченная безмолвным изумлением, странную находку, которую я только что сделала. Они, тотчас узнав руку графа, воспылали бешенством, и старший был готов немедленно отправиться с бумагой в его комнату; но младший представил ему, как опасен был бы такой шаг,

ибо граф был настолько умен, что не подписал записки; после чего оба в глубочайшем негодовании по поводу етоль обидного поступка еще в ту же ночь сели вместе со мною в экипаж и, решив никогда больше не почтить своим посещением его замок, вернулись в замок своего отца. Вот единственное общение,— добавила она,— какое я когда-либо имела с этим негодным и низким человеком!“ — „Как? — сказал камерарий, повернув к ней свое орошенное слезами лицо;— эти слова были музыкой для моих ушей! — Повтори их мне! — сказал он после краткого молчания, опустившись перед нею на колени и сложив руки,— ты не изменила мне ради этого негодяя, ты, значит, чиста от той вины, за которую он тебя привлек к суду?“ — „Возлюбленный!“ — прошептала Литтегарда, прижимая его руку к губам. „Так ли это? — воскликнул камерарий,— так ли это?“ — „Да, как грудь новорожденного ребенка, как совесть уходящего с исповеди человека, как тело скончавшейся в ризнице при пострижении монахини!“ — „О боже всемогущий! — воскликнул господин Фридрих, охватив ее колени,— благодарю тебя! Твои слова снова возвращают мне жизнь; смерть меня больше не страшит, а вечность, только что расстилавшаяся передо мною, как море необозримой горести, снова встает в моих глазах, как царство, полное тысячами блистательных солнц!“ — „Несчастный! — сказала Литтегарда, отступая,— как можешь ты давать веру тому, что говорят тебе мои уста?“ — „Почему же нет?“ — спросил господин Фридрих с жаром. „Сумасшедший! Безумец! — воскликнула Литтегарда,— разве священный суд божий не решил против меня? Разве не одолел тебя граф в этом роковом поединке и разве он не утвердил в бою истинность того, что он показал против меня на суде?“ — „О моя дражайшая Литтегарда,— воскликнул камерарий,— огради свои чувства от отчаяния! Воздвигни, как скалу, то чувство, которое живет в твоей груди, держись за него и не колеблись, хотя бы земля и небо рушились под тобою и над тобою! Давай из двух мыслей, смущающих наше сознание, держаться

более разумной и более понятной, и, прежде чем считать себя виновною, лучше считай, что в поединке, в котором я сражался за тебя, победил я! Боже, владыко жизни моей! — добавил он в это мгновенье, закрыв лицо руками, — огради и мою душу от смущения! Я хочу сказать, что я не был побежден мечом своего соперника, клянусь в том своим вечным спасением, так как, уже поверженный в прах под его пятою, я снова восстал к бытию. Где обязанность высшей божественной премудрости самой указать и высказать истину в мгновение исполненного веры призыва? О Литтегарда! — сказал он в заключение, сжимая в своих руках ее руку, — в жизни будем провидеть смерть, а в смерти — вечность и питать твердую, непоколебимую веру, что твоя невинность будет выведена на яркий, ясный свет солнца и притом тем поединком, в котором я сражался за тебя!“ При этих словах вошел комендант замка, и так как он напомнил госпоже Елене, которая сидела плача за столом, что столько душевных волнений могут повредить ее сыну, то господин Фридрих, склоняясь на уговоры своих близких, вернулся в свою темницу не без сознания, что он преподал и получил некоторое утешение.

Тем временем перед трибуналом, учрежденным в Базеле императором, против господина Фридриха фон Трота, а также против его подруги, госпожи Литтегарды фон Ауэрштейн, возбуждено было дело по обвинению их в неправом обращении к божьему суду, и оба, согласно действующему закону, были приговорены претерпеть позорную казнь огнем на самом месте поединка. Была послана депутация советников, дабы возвестить об этом узникам, и приговор был бы тотчас по выздоровлении камерария приведен над ними в исполнение, если бы у императора не было тайного намерения заставить графа Якова Рыжебородого, по отношению к которому он не мог подавить в себе некоторого подозрения, присутствовать при этом. Однако последний необъяснимым и удивительным образом все еще лежал больной от той маленькой, на вид ничтожной раны,

которую ему нанес господин Фридрих в самом начале поединка; крайне испорченное состояние его соков изо дня в день, с недели на неделю препятствовало ее заживлению, и все искусство врачей, которых одного за другим приглашали из Швабии и Швейцарии, не могло заставить ее закрыться. Более того, какой-то едкий гной, неизвестный всему тогдашнему врачебному искусству, до самых костей разъедал вокруг себя, подобно раку, все ткани его руки, так что оказалось необходимым, к ужасу всех его друзей, отнять у него всю поврежденную руку, а затем, так как и этим не был положен предел разъеданию гноем, то даже и предплечье. Однако и этот лечебный прием, выхваляемый, как радикальное средство, лишь усилил болезнь, как то в наши дни легко усмотрели бы, вместо того, чтобы облегчить ее; и врачи, так как мало-по-малу все тело его стало распадаться в гнилостном разложении, объявили, что для него нет спасения и что он еще до конца текущей недели должен умереть. Напрасно настоятель августинского монастыря, которому в этом неожиданном обороте вещей виделась грозная божиya десница, убеждал открыть правду относительно тяжбы, возникшей между ним и герцогиней-регентшей; граф, потрясенный до глубины души, снова причастился святых тайн в подтверждение истинности своих показаний и со всеми проявлениями ужасного страха предал свою душу вечному осуждению, если он клеветнически обвинил господина Литтегарду. Несмотря на безнравственность его образа жизни, все же имелось двойное основание верить искренности этого заверения; во-первых, потому, что больной действительно отличался известным благочестием, которое, казалось, не дозволило бы ему принести ложную присягу, да еще в такое мгновение, и далее потому, что из допроса, произведенного сторожy башни замка фон Бреда, которого граф, по его словам, подкупил для тайного пропуса в замок, выяснилось с полной определенностью, что это обстоятельство вполне обосновано и что граф действительно был внутри замка

господ фон Бреда в ночь святого Ремигия. Таким образом настоятелю почти ничего другого не оставалось, как предположить обман самого графа третьим, ему неизвестным, лицом; и вот несчастный, который, узнав о чудесном выздоровлении камерария, сам напал на эту ужасную мысль, еще не достиг конца своей жизни, когда это предположение, к его отчаянию, вполне подтвердилось. Дело в том, что граф уже давно, раньше чем его вождение направилось на госпожу Литтегарду, жил в преступной связи с Розалией, ее камеристкой; почти каждый раз, когда ее господа посещали его замок, он обычно завлекал в свою комнату эту девушку, которая была легкомысленное и безнравственное существо. Когда же во время последнего посещения ее с братьями его замка Литтегарда получила то нежное письмо, в котором он объявлял ей о своей страсти, то это пробудило чувство обиды и ревность в девушке, уже несколько месяцев им брошенной; она оставила при вскорее затем последовавшем отъезде Литтегарды, которую она должна была сопровождать, от ее имени записку для графа, в которой она ему сообщала, что хотя негодование ее братьев по поводу предпринятого им шага не дозволяет ей немедленного свидания, однако она приглашает его посетить с этой целью в ночь святого Ремигия покои ее отеческого замка. Граф, исполненный радости по поводу успеха своего предприятия, тотчас отправил второе письмо Литтегарде, в коем он извещал ее о непременном своем прибытии в названную ночь и просил ее, во избежание всякой ошибки, выслать ему навстречу надежного проводника, который мог бы провести его в ее комнату; а так как камеристка, опытная во всякого рода интригах, рассчитывала на такое уведомление, то ей удалось перехватить это письмо и сказать ему во втором подложном ответе, что она сама будет его ожидать у садовой калитки. Затем, в вечер накануне условленной ночи, под тем предлогом, что ее сестра заболела, и что она хочет ее навестить, она выпросила у Литтегарды отпуск в деревню; дей-

ствительно, получив его, она подвечер покинула замок с узелком белья, который несла подмышкой, и на глазах у всех отправилась в путь, в ту сторону, где жила та женщина. Однако, вместо того, чтобы завершить свое путешествие, она с наступлением ночи, под предлогом надвигающейся грозы, снова оказалась в замке, и так как, по ее словам, намеревалась следующим утром спозаранку отправиться в путь, то, чтобы не беспокоить свою госпожу, она устроилась на ночлег в одной из пустых комнат заброшенной и редко посещаемой замковой башни. Граф, сумевший посредством подкупа сторожа башни проникнуть в замок и, согласно уговору, в полночный час встреченный у садовой калитки закутанной вуалью женщиной, и не подозревал, как легко можно себе представить, разыгрываемого с ним обмана; девушка запечатлела на его устах мимолетный поцелуй и повела его по нескольким лестницам и переходам заброшенного бокового крыла в одно из великолепнейших помещений самого замка, окна которого предварительно были тщательно ею заперты. Здесь, после того как она, держа его за руку, таинственно прислушалась у дверей и, под предлогом, что спальня ее брата расположена совсем близко, шопотом приказала ему молчать, она опустилась с ним на стоявшее рядом ложе; граф, обманутый ее фигурой и сложением, был в чадуге от наслаждения, что ему в его возрасте еще удалось сделать такое завоевание; и когда она его отпустила, едва забрезжил утренний свет, и надела ему в память о прошедшей ночи на палец кольцо, полученное Литтегардой от мужа, которое она похитила у нее с этой целью накануне вечером, он обещал ей как только вернется домой, как ответный подарок, другое кольцо, подаренное ему в день свадьбы его умершей женой. Три дня спустя он сдержал слово и тайно прислал в замок это кольцо, которое Розалия снова изловчилась перехватить; впрочем, опасаясь, что это приключение заведет его слишком далеко, он больше не подавал о себе никаких вестей и под различными предлогами укло-

нялся от вторичного свидания. Позднее, в связи с пропажей, подозрение в которой с значительной степенью вероятности, падало на нее, девушка была рассчитана и отослана в дом к родителям, жившим на Рейне, а так как по прошествии девяти месяцев последствия ее развратной жизни стали явны и мать подвергла ее строжайшему допросу, то она, раскрыв всю ту таинственную историю, которую она разыграла с графом Яковом Рыжебородым, указала на него, как на отца своего ребенка. По счастью, опасаясь прослыть за воровку, она лишь крайне робко могла предлагать на продажу кольцо, пересланное ей графом, да и действительно, благодаря большой его ценности, ей не удалось найти никого, кто бы выказал желание его приобрести; таким образом правдивость ее показания не могла подлежать сомнению, и родители, опираясь на это очевидное доказательство, подали в суд на графа Якова иск о содержании ребенка. Суд, который уже слышал о странном судебном деле, разбиравшемся в Базеле, поспешил довести до сведения трибунала это разоблачение, которое имело величайшее значение для исхода названного дела; и так как именно в это время один ратман должен был поехать по общественным делам в этот город, то они дали ему для разрешения страшной загадки, занимавшей всю Швабию и Швейцарию, письмо к графу Якову Рыжебородому с судебным показанием девушки, к которому было приложено и кольцо.

В тот самый день, когда была назначена казнь господина Фридриха и Литтегарды, которую император, не знавший о сомнениях, возникших в груди самого графа, не считал себя в праве долгие откладывать, ратман вошел с этим письмом в комнату больного, который метался по своему ложу в мрачном отчаянии. „Довольно! — воскликнул он, прочитав письмо и получив кольцо, — я устал глядеть на солнечный свет! Доставайте мне, — обратился он к настоятелю, — носилки и проводите меня, несчастного, силы которого рассыпаются в прах, на место казни: я не хочу умереть, не выполнив дела

справедливости!“ Настоятель, глубоко потрясенный этим происшествием, немедленно приказал четырем служителям поднять его на носилки; и одновременно с несметной толпой людей, собравшихся по колокольному звону вокруг костра, на котором господин Фридрих и Литтегарда были уже крепко привязаны, прибыл он на место с несчастным, державшим в руке распятие. „Остановитесь! — воскликнул настоятель, приказав опустить носилки насупротив балкона императора, — раньше чем подложить огонь под костер, выслушайте слово, которое уста этого грешника должны вам открыть!“ — „Как? — воскликнул император, поднявшись со своего сидалища, бледный, как смерть, — разве священный божий приговор не высказался решительно за правоту его дела, и разве после того, что произошло, еще возможно думать, что Литтегарда не виновна в том преступлении, в коем он ее изобличил?“ С этими словами он, пораженный, сошел с балкона; и более тысячи рыцарей, за которыми, перелезая через скамьи и загородки, последовал народ, окружили тесной толпой ложе больного. „Не виновна, — отвечал последний, причем, опираясь на настоятеля, он наполовину приподнялся, — не виновна, как то высказал приговор высшего бога в тот роковой день перед очами всех собравшихся граждан Базеля! Ибо он, пораженный тремя ранами, из которых каждая была смертельна, цветет, как вы видите, полный сил и жизни; между тем как удар, нанесенный его рукою, который, казалось, едва коснулся верхнего покрова моего тела, в медленном грозном развитии поразил жизненное его ядро и сломил мои силы, как ураган ломает дуб. Но на случай, если у маловерного еще остаются сомнения, вот доказательство: Розалия, ее камеристка, — вот кто принял меня в ту ночь святого Ремигия, в то время как я, несчастный, в ослеплении чувств, воображал, что держу в своих объятиях ее, всегда с презреньем отвергавшую мои предложения!“ При этих словах император остановился на месте, словно окаменев. Обернувшись к костру, он послал рыцаря с приказанием взобраться по лест-

нице и отвязать камерария и даму, которая уже лежала в обмороке в объятиях своей матери, и привести их к нему. „Видно, каждый волос на вашей голове охраняет ангел!— воскликнул он, когда Литтегарда, с полуобнаженной грудью и распущенными волосами, об руку со своим другом, господином Фридрихом, колени которого подгибались под впечатлением этого чудесного избавления, подходила к нему через окружавший их и с благоговейным изумлением расступавшийся народ. Он поцеловал в лоб их обоих, преклонивших перед ним колени, и, попросив у жены горностаевую мантилью, которая была на ней, набросил ее на плечи Литтегарды и на глазах у всех собравшихся рыцарей предложил ей руку, намереваясь сам отвести ее в покои своего императорского дворца. В то время как камерарий, в свою очередь, вместо покаянной одежды, облакался в рыцарский плащ и шляпу с пером, император снова обернулся к графу, жалостно распростертому на носилках, и, движимый чувством сострадания, так как тот выступил на погубивший его поединок не преступным и святотатственным образом, он спросил стоявшего рядом с ним врача, неужели для несчастного нет никакого спасения. „Напрасно!— отвечал Яков Рыжебородый, опираясь в ужасных судорогах на колени врача,— я заслужил смерть, которую терплю. Ибо знайте, так как рука земного правосудия меня уже не достигнет, что я убийца моего брата, благородного герцога Вильгельма Брейзахского; злодей, сразивший его стрелою из моего оружейного склада, был за шесть недель перед тем нанят мною на это дело, которое должно было доставить мне корону!“ С этими словами он упал на носилки и отдал богу свою черную душу. „Ах, предчувствие моего супруга, самого герцога!— воскликнула стоявшая рядом с императором регентша, которая, также спустившись с балкона дворца, направилась в свите императрицы на дворцовую площадь,— предчувствие, которое в самое мгновение своей смерти он мне открыл в отрывочных словах, в то время лишь плохо мною понятых!“ Император в негодовании

ответил: „Так пусть же рука правосудия поразит твой труп! Возьмите его,— крикнул он, обернувшись, стражникам,— и предайте немедленно палачам осужденного, каковым является он; дабы память его была заклемена, пусть он сгинет на этом костре, на котором мы готовы были из-за него принести в жертву двух невинных!“ И затем, в то время как тело несчастного, вспыхнув красноватым пламенем, было рассеяно и развеяно северным ветром по воздуху, он повел госпожу Литтегарду в сопровождении всех своих рыцарей в замок. Императорским указом он восстановил ее в правах на ее наследственную долю после отца, которую братья в их неблагородной алчности уже завладели; и уже по прошествии трех недель в Брейзахском замке была отпразднована свадьба обоих прекрасных нареченных, во время которой герцогиня, чрезвычайно обрадованная тем оборотом, какой приняло это дело, передала Литтегарде, как свадебный подарок, большую часть имений графа, конфискованных по закону. Император же после обручения повесил на шею господину Фридриху почетную цепь; и как только, покончив со своими делами в Швейцарии, он снова прибыл в Вормс, то повелел, дабы в статутах священного божественного поединка всюду, где высказывается предположение, что вина через него непосредственно обнаруживается, были вставлены слова: „если такова воля божия“.

ИОСИФ ФОН ЭЙХЕНДОРФ

ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО БЕЗДЕЛЬНИКА

Глава первая

Колесо отцовской мельницы снова весело зашумело и застучало, усердно звенела капель, слышалось щебетание и суетня воробьев; я сидел на крыльце, протирая глаза, и грелся на солнышке. В это время на пороге показался отец, в ночном колпаке набекрень; он уже с раннего утра возился на мельнице; подойдя ко мне, он молвил: „Ах, ты, бездельник! сидишь себе опять на солнышке, кости греешь да потягиваешься, что есть мочи, а мне одному отдуваться. Больше не стану тебя кормить. Весна на дворе, поди-ка по белу свету и сыщи себе сам хлеба на пропитание!“

„Ну, что же, пускай,—возразил я,—если я такой бездельник, пойду по свету попытать счастье“. По правде говоря, мне это было по душе: недавно мне самому пришлось на ум постранствовать; овсянка, всю осень и зиму так печально чирикавшая под нашим окном: „Возьми меня, возьми меня, молодец!“ теперь, пригожей весенней порой, задорно и весело выкликала, сидя на дереве: „Молодец, не трусь, молодец, не трусь!“

Итак, я вошел в дом, снял со стены свою скрипку, (я очень недурно играл), отец дал мне еще на дорогу малую толику денег, и я побрел по нашему большому селу. Не без тайной радости смотрел я, как со всех

сторон старые мои знакомцы и приятели выходили на работу, рыли и пахали землю сегодня, как и вчера, и так изо дня в день; а я шел куда глаза глядят. Я кричал беднягам направо и налево: „Счастливо оставаться“, но никто на это не обращал внимания. А у меня на душе был сущий праздник. Когда я, наконец, вышел на широкий простор и свернул по большой дороге, я взял свою милую скрипку и принялся играть и петь:

Кому бог милость посылает,
Того он в дальний путь ведет,
Тому он чудеса являет
Средь гор, дубрав, полей и вод.

Кто век свой коротает дома,
Того не усладит рассвет;
Ему дожука лишь знакома,
Заботы, люльки да обед.

Ручей проворный с гор несется,
И жаворонка трель слышна —
И я пою, когда поется,
Когда весельем грядь полна.

Бог — мой вожатый неизменный.
Кто ниспослал сиянье дня
Ручьям, полям и всей вселенной —
Тот не оставит и меня.

Тут я обернулся и вдруг вижу, подъезжает роскошная карета; верно, она ехала за мной по пятам, да я не приметил: в сердце моем все звучала песня, и оно замирало от счастья. Из кареты выглянули две знатные госпожи и стали прислушиваться к моему напеву. Одна из дам, помоложе, была настоящая красавица, а впрочем, обе они мне понравились чрезвычайно. Я замолк, а старшая приказала кучеру остановиться и с очаровательной улыбкой обратилась ко мне: „Эй, ты, веселый молодец, какие славные песни ты распеваешь!“ Я, не будь дураком, сразу ответил: „Если бы мне привелось служить вашей милости, я бы спел песни и получше этих“. Она продолжала: „Куда ты держишь путь в такую рань?“ Мне стало стыдно, что я этого и сам хорошенько

не знаю, и я отвечал задорно: „В Вену“. Тут обе дамы заговорили друг с другом на чужом языке, которого я не понял. Младшая несколько раз покачала головой, а старшая все смеялась и наконец крикнула: „Эй, ты, становись на запятки, мы тоже едем в Вену!“ Как описать мою радость! Я отвесил вежливый поклон, одним прыжком вскочил, куда мне было указано, кучер шелкнул бичом, и мы помчались по дороге, залитой солнцем, так что у меня ветром чуть не сорвало шляпу.

За мной уносились селения, сады и церкви, передо мной вырастали новые селения, замки и горы, под ногами мелькали многоцветные пашни, роши и луга, над головой, в ясном голубом воздухе, реяли бесчисленные жаворонки,— мне стыдно было громко закричать, но в глубине души я ликовал и вертелся и прыгал на запятках, так что чуть было не уронил скрипку, которую держал под мышкой. Тем временем солнце подымалось все выше, на горизонте показались тяжелые белые облака, рожь слегка шелестела, а в воздухе и кругом на широких нивах все стихло и стало пустынно и душно; тут мне впервые вспомнилось наше село, и отец, и наша мельница, и тенистый пруд, где было так таинственно и прохладно, вспомнилось, как все это далеко, далеко от меня. И мне стало так чудно на душе, словно вот-вот я должен вернуться; я засунул свою скрипку за пазуху, присел на запятки и предался раздумьям, а вскоре и уснул.

Когда я открыл глаза, карета стояла под тенью высоких лип; сквозь них между колоннами виднелась широкая лестница, ведущая к роскошному замку. С другой стороны за деревьями я различал башни Вены. Дамы, верно, давно вышли из кареты. Лошадей выпрягли. Я немало испугался, увидев, что кругом никого нет, и поспешил к замку; вдруг я услышал, как в окне наверху кто-то засмеялся.

Тут в замке пошли чудеса. Сперва я очутился в просторных прохладных сенях и стал осматриваться; вдруг я почувствовал, кто-то дотронулся до моего плеча тро-

стью. Я живо обернулся: передо мной стоял высокий господин в парадной одежде, с широкой перевязью, шитой золотом и серебром, свисающей до самого пояса, в руке он держал жезл с посеребренным набалдашником; у господина был огромный орлиный нос, какие бывают только у знатных господ, а всей своей осанкой он смахивал на надутого индюка, расправившего свой пышный хвост; господин спросил, чего я желаю. Меня это так ошеломило, что с перепуга и от удивления я не мог слова вымолвить. Вскоре по лестницам пробежало несколько слуг; те ничего не сказали, только оглядели меня с головы до ног. Вслед за тем появилась девушка-горничная, как я потом узнал, и объявила мне без дальних слов, что я очаровательный мальчишка и господа спрашивают, не желаю ли я остаться у них в услужении — учеником у садовника. Я пощупал свой камзол; малая толика денег, которую отец дал мне на дорогу, исчезла — бог весть, верно, я выронил их из кармана во время дорожной тряски; я только умел играть на скрипке, но господин с жезлом мимоходом уже мне объявил, что за это я не получу ни гроша. Поэтому я с замиранием сердца промолвил „да“, исподтишка косясь на грозную фигуру, которая, словно маятник башенных часов, продолжала расхаживать взад и вперед и сейчас снова показалась издали во всем своем страшном и царственном величьи. Наконец пришел садовник; он стал что-то ворчать себе под нос о всяком сброде и деревенском дурачье и повел меня в сад; по пути он прочел мне целую проповедь — о том, что я должен быть всегда трезвым и работающим, не бродяжничать, не заниматься художеством, которое не кормит, и прочими пустяками; тогда из меня современем, может, что и выйдет. — Он меня еще многому поучал, только я с тех пор почти все позабыл. Да и вообще не могу понять, как со мной это приключилось, но я на все отвечал „да“, — я походил на мокрую курицу. — Словом, благодаря богу, у меня теперь был кусок хлеба.

Настали для меня привольные дни: еды было вдоволь

и денег в достатке на вино, да и на прочие надобности; к сожалению только у меня было немало работы в саду. Павильоны, беседки и прелестные зеленые аллеи пришлось мне также по вкусу; если бы я только мог в них по воле гулять и вести умные речи, как те господа и дамы, которые приходили сюда всякий день! Стоило только садовнику за чем-нибудь отлучиться, как я тотчас доставал короткую трубку, садился в саду и начинал придумывать разные учтивости, которыми я занимал бы прекрасную молодую госпожу, что привезла меня сюда, если бы мне довелось быть ее кавалером и с ней прогуливаться. А то бывало, в душевные дни, после обеда, когда все кругом стихнет и слышно только, как жужжат пчелы, я ложился на спину и глядел, как в поднебесьи плывут облака и несутся к моему родному селу, а травы и цветы чуть колышались, и мечтал о своей госпоже; случалось не раз, что красавица проходила где-нибудь вдали, с гитарой и книгой в руках, словно ангел, тихая, высокая и прекрасная; и я хорошенько не знал, вижу ли я все это во сне или нет.

Однажды я шел на работу и, проходя мимо павильона, стал напевать песенку:

В лесу ли я блуждаю,
Бреду ли по меже,
Гляжу ли в даль без краю —
Привет я посылаю
Прекрасной госпоже.

Вдруг вижу, как в прохладном сумраке павильона, из-за полуотворенных ставен и цветов сверкнули прекрасные, юные глаза. Я так струсил, что не дошел до конца песни и побежал без оглядки на работу.

Однажды вечером,— день был субботний, и я предвкушал радость наступающего праздника,— стоял я со скрипкой в руках у окна беседки и все думал о сверкающих очах; вдруг в сумерках показалась горничная девушка и приблизилась ко мне. „Вот тебе посылает моя прекрасная госпожа, чтобы ты это вышил за ее здоровье. А затем доброй ночи!“ Сказав это, она про-

ворно поставила на подоконник бутылку вина и тотчас скрылась за цветами и терновником, словно ящерица.

А я еще долго стоял, как зачарованный, перед чудесной бутылкой и не знал, что со мной творится.— Я и перед тем весело поигрывал на скрипке, ну а сейчас и подавно заиграл и запел во всю и дошел до конца песню о прекрасной госпоже и многие другие песни, какие я знал, так что даже соловьи проснулись; месяц и звезды давно взошли над садом. И какая же то была чудесная ночь!

В колыбели никто не знает, что его ждет в будущем, и слепая курица нет-нет, да и клюнет зернышко; весело смеется тот, кто смеется последним; чего не ждешь, то и случается; человек предполагает, а бог располагает; так размышлял я, сидя на другой день в саду и покуривая трубку; оглядывая себя, я чуть было не подумал, что я в сущности порядочный оборванец.

С этих пор я каждое утро вставал спозаранок, раньше садовников и других рабочих, что вовсе не входило в мои привычки. В саду было чудо как хорошо. Цветы, фонтаны, кусты роз и весь сад сверкали на утреннем солнце, как золото и дорогие камни. А в высоких букowych аллеях было так тихо, прохладно и хорошо, словно в церкви, одни только птицы порхали и клевали песок. Перед замком, прямо против окон, где жила прекрасная госпожа, рос цветущий куст. Туда я приходил с раннего утра и, таясь за ветвями, украдкой заглядывал в окна, ибо показываться ей на глаза у меня не хватало духу. И тут я всякий раз видел, как прекрасная дама в белоснежном платье, раздумывавшая и малость заспанная, подходила к раскрытому окну. Подчас она заплетала свои темные косы, скользая при том милым веселым взором по кустам в саду, подчас она подвязывала цветы, растущие под окном, или же белой рукой бралась за гитару; тогда ее волшебное пение раздавалось по всему саду,— у меня до сих пор сердце сжимается от тоски, стоит припомнить какую-либо из ее песен— ах, как давно все это было!

Так продолжалось примерно с неделю. Но однажды, когда она снова стояла у окна и кругом было тихо, злополучная муха попадает мне в нос, я начинаю отчаянно чихать и никак не могу остановиться. Она высовывается из окна и видит, как я, несчастный, притаился в кустах. Тут я устыдился и долго не приходил больше.

Наконец я снова отважился; окно, однако, было на сей раз закрыто, я прождал четыре, пять, шесть утр, сидя в кустах, но она так и не показалась. Мне это наскучило, я собрался с духом и стал каждое утро, как ни в чем не бывало, прогуливаться перед замком под всеми окнами. Однако милая, прелестная госпожа все не появлялась. В соседнем окне я стал примечать и другую даму. Я ее еще до сего времени хорошенько не разглядел. А в самом деле, она была румяна и дородна и отличалась пышностью и горделивостью — ни дать, ни взять — настоящий тюльпан. Я ей неизменно отвешивал почтительный поклон, и — было бы несправедливо утверждать противное — она меня всякий раз благодарила, кивала мне и чрезвычайно любезно подмигивала. И один лишь раз мне показалось, будто и красавица стояла у окна за занавеской и оттуда выглядывала.

Много дней прошло, а я ее все не видел. Она больше не приходила в сад, не подходила к окну. Садовник обозвал меня тунеядцем, ничто меня не радовало, собственный нос казался мне помехой, когда я смотрел на божий мир.

Как-то раз в воскресенье под вечер я лежал в саду и смотрел на синий дым моей трубки; мне было досадно, что у меня нет никакого ремесла и что мне даже завтра не с чего опохмелиться. А другие парни, тем временем, принарядились и отправились в соседнее предместье потанцовать. Стоял теплый летний день; разряженный народ мелькал между светлыми домами и бродячими шарманщиками. Я же, тем временем, сидел, словно выпь, в камышах уединенного пруда и пока-

чивался в лодке, привязанной там; а над садом гудел вечерний звон из города, и лебеди плавно скользили по глади воды. Не могу сказать — до чего мне было грустно.

Между тем издалека до меня донеслось множество голосов, веселый говор и смех, все ближе и ближе; в зелени замелькали красные и белые шали, шляпы и перья, и вдруг вижу — но лугу, прямо на меня, движется целая гурьба молодых господ и дам из замка, и среди них обе мои дамы. Я встал и хотел удалиться, но тут старшая из прекрасных дам меня увидала. „Ах, да ведь это прямо, как на заказ, — смеясь, воскликнула она, — свежи-ка нас на тот берег!“ Дамы, осторожно и с опаской, вошли одна за другой в лодку, кавалеры помогали им и кичились малость своей храбростью на воде. Как только женщины уселись на боковые места, я оттолкнулся от берега. Один из молодых господ, стоявший на носу, стал незаметно раскачивать лодку. Дамы в испуге начали метаться, а иные даже закричали. Прекрасная госпожа сидела у самого края и держала в руках лилию; с тихой улыбкой смотрела она вниз, на светлые волны, стараясь коснуться их цветком: вся она, вместе с облаками и деревьями, отражалась в воде, словно ангел, плавно движущийся по темнолазурному небу.

Пока я на нее глядел, другой даме — веселой и дородной — пришло на ум попросить меня что-нибудь пропеть. Весьма изящный молодой господин в очках, сидевший рядом с ней, проворно к ней оборачивается, нежно целует ей руку и говорит: „Благодарю вас за прекрасную мысль! Народная песнь, которую сам народ поет на престоле, среди лесов и полей, это — альпийская роза на альпийской лужайке, это — душа народной души, а всякие сборники народных песен — лишь гербарии“. Я же возразил, что ничего не могу спеть такого, что пришлось бы по вкусу столь высоким господам. На беду рядом со мной очутилась плутовка-горничная; оказывается, она стояла тут же с корзиной, полной

чашек и бутылок, а я ее сперва вовсе и не заметил: „А разве ты не знаешь славную песенку про прекрасную госпожу?“ — заметила она. „Да, да, спой нам ее, не робей“, — снова воскликнула дама. Я густо покраснел. А тут и красавица оторвала свои взоры от воды и обратила их на меня, так что меня всего проняло. Тогда я, недолго раздумывая, решился и зашел полным голосом:

В лесу ли я блуждаю,
Бреду ли по меже,
Гляжу ли в даль без краю —
Привет я посылаю
Прекрасной госпоже.

Немало я собираю
В саду моем цветов,
Венки из них свиваю
И сотни в них дум влетаю,
И много милых слов.

Ей протянуть не смею
Ни одного цветка.
Ведь я — ничто перед нею,
И сам, как цветы, бледнею,
А в сердце моем тоска.

Я рук не покладаю,
Моя приветна речь,
И как я ни страдаю —
Я землю все копаю,
Чтоб в землю скоро лечь.

Мы причалили, господа вышли на берег, я заметил, что некоторые из молодых людей, в то время как я пел, строили разные рожи и лукаво пересмеивались и шептались с дамами на мой счет. Когда мы шли домой, господин в очках взял меня за руку и что-то мне сказал, но право, я и сам не знаю что, а дама постарше ласково на меня поглядела. Покуда я пел, моя прекрасная госпожа не подымала глаз и сейчас же ушла, не сказав ни слова.

У меня глаза были полны слез, еще когда я начал петь, а теперь, когда песня была пропета, сердце мое

готово было разорваться от стыда и боли, я только сейчас понял, как она прекрасна и как я беден, осмеян и одинок на свете — и когда все скрылись в глубине сада, я не мог более сдерживать себя, бросился в траву и горько заплакал.

Глава вторая

У самого господского сада проходила большая дорога, отделенная от него лишь высокой каменной стеной. Тут же приютилась сторожка с красной черепичной крышей, а позади — небольшой цветник, обнесенный пешстрой изгородью, примыкавшей через пролом в ограде парка к одной из самых уединенных и тенистых его частей. Только что умер смотритель при шлагбауме, единственный обитатель этого домика. И вот, однажды, ранним утром, когда я еще спал крепким сном, пришел ко мне писарь из замка и сказал, чтобы я немедленно явился к господину управляющему. Проворно одевшись, последовал я за веселым писарем, который то срывал на ходу цветок и вдевал себе в петлицу, то затейливо размахивал тросточкой, болтая всякую всячину; но я ровно ничего не понимал — глаза мои еще спалились от сна. Когда я вошел в канцелярию, где еще, можно сказать, не рассвело, управляющий в пышном парике глянул на меня из-за огромной чернильницы и целой кипы бумаг, словно сыч из дупла, и приступил: „Как звать? Откуда родом? Обучен ли чтению, письму и счету?“ Я подтвердил все это, и он продолжал: „Так вот, господа, принимая во внимание достойное поведение и особые заслуги, сообразовали предоставить тебе, любезный, вакантное место смотрителя“. Я мысленно окинул взором все мое поведение, и должен сознаться, нашел и сам, что управляющий не ошибся. И не успел я оглянуться, как уже и в самом деле стал смотрителем при шлагбауме.

Тотчас перебрался я в свое новое жилище и вскоре почувствовал себя полным хозяином. В доме я нашел

немало всякой утвари, оставшейся после покойного смотрителя, в том числе — отменный красный шлафрок с желтыми крапинами, зеленые туфли, ночной колпак и несколько трубок с длинными чубуками. Обо всем этом я давно мечтал еще у себя в деревне, где я видел, как наш пастор прогуливается, одетый по-домашнему. Цельми днями (иного дела у меня не было) посиживал я на скамеечке возле дома в шлафроке и колпаке, куря длиннейшую трубку, доставшуюся мне после покойного, и посматривал, как по дороге движутся пешеходы, повозки и верховые. Мне только хотелось еще, чтобы кто-нибудь из моих односельчан, которые всегда твердили, будто из меня вовек ничего не выйдет, прошли бы мимо, да поглядели на меня в таком виде.

Шлафрок был мне к лицу, и вообще, все это пришлось мне весьма по вкусу. И вот я сидел и думал о том, о сем, — как труден всякий почин, как удобна жизнь у знатных людей — и втайне принял решение — оставить отныне странствия, копить деньги по примеру других и современем добиться чего-нибудь повиднее. Но за всеми думами, заботами и делами я отнюдь не забывал свою прекрасную госпожу.

Картофель и прочие овощи, которые я нашел у себя в садике, я выполол и сплошь засадил гряды лучшими цветами. Швейцар с огромным орлиным носом, часто навещавший меня, с тех пор как я тут поселился, и сделавшийся моим загадочным приятелем, искоса поглядывал на меня и считал, видимо, что неожиданное счастье свело меня с ума. Но это несколько меня не трогало. Невдалеке, в господском саду, я слышал нежные голоса, и мне казалось, среди них я узнаю голос моей прекрасной госпожи, хотя из-за частого кустарника я никого не мог видеть. Каждый день я составлял букет из лучших цветов, какие у меня были, и по вечерам, когда смеркалось, перелезал через ограду и клал его на каменный стол, стоявший там посреди беседки; и каждый вечер, когда я приносил новый букет, вчерашнего на столе не было.

Однажды вечером господа отправились верхами на охоту. Солнце садилось и заливало все кругом блеском и сиянием; переливаясь чистым золотом и огнем, изгибы Дуная уходили вдаль. С виноградников разносились по всей окрестности пение и ликование.

Я сидел со швейцаром на скамеечке перед домом и наслаждался теплым вечером, следя, как сгущаются сумерки и стихает веселый день. Но вот издалека зазвучали рога возвращающихся охотников, мелодично перекликаясь в ближних горах. Мне стало весело на душе; я вскочил и, очарованный, в восторге воскликнул: „Нет, охота — вот это я понимаю, это — занятие благородное“. Но швейцар невозмутимо выколотил трубку и сказал: „Ну, это вам только так кажется. Я это тоже испытал — и на подметки не заработаешь, больше истопчешь; а уж от кашля да насморка вовсе не отделаешься — ноги то, ведь, постоянно мокрые“. Не знаю почему, но меня при этих словах охватила дурацкая злоба, так что я задрожал всем телом. Мне стал сразу противен этот верзила, его докучливая ливрея, эти вечные ноги, огромный нос в табаке и все прочее. Вне себя, я схватил его за плечи и закричал: „Вот что, сударь, убирайтесь-ка по-доброму, по-здорову, а не то я вас тут же отколочу!“ При этих словах швейцара осенила прежняя мысль — что я помешанный. Он подозрительно и с опаской посмотрел на меня, ни слова не говоря, высвободился из моих рук и, все еще боязливо озираясь, быстрыми шагами пошел к замку, где, задыхаясь, объявил, что теперь-то уж я помешался понастоящему.

Я же в конце концов громко расхохотался и был несказанно рад, что отделался от этого умника. К тому же настал час, когда я обычно относил букет в беседку. Как всегда, я легко перескочил через ограду и уже направился было к каменному столику, как вдруг услышал в некотором отдалении конский топот. Ускользнуть не было возможности, — красавица моя медленно ехала верхом по аллее. Казалось, она была погружена в глубокие думы. На ней был зеленый охотничий костюм;



перья на шляпе плавно колыхались. Мне вспомнилась повесть, которую я читал когда-то в старых книгах отда,— повесть о прекрасной Магелоне, как она в неверных лучах заката появлялась из-за высоких деревьев при звуках приближающегося охотничьего рога и... я не мог двинуться с места. Но она, увидев меня, сильно испугалась и невольным движением натянула поводья. От страха, сердцебиения и великой радости я словно охмелел; в довершение всего я заметил, что вчерашний мой букет приколот у нее на груди, и тут уже не мог долее сдерживать себя и в смущении промолвил:

„Прекраснейшая госпожа, примите от меня еще и этот букет и все цветы из моего сада, и все, что есть у меня. Ах, если бы я мог пойти за вас в огонь!“

Сперва она взглянула на меня так строго и даже гневно, что у меня мороз по коже прошел; потом она опустила глаза и не подымала их, пока я говорил. В это время в чаще послышались голоса всадников. Тогда она быстро выхватила букет у меня из рук и, не сказав ни слова, вскоре скрылась на другом конце аллеи.

С этого вечера я не знал покоя. На душе у меня было, как всегда при наступлении весны,— тревожно и радостно, сам не знаю почему,— как будто меня ожидало большое счастье или, вообще, нечто необычайное. Главное же, не давались мне теперь эти несносные подсчеты, и порою, когда солнечный луч из окна, пробиваясь сквозь листву каштана, падал на цифры зеленовато-золотистым отсветом и пробегал от переноса к итогу и снова вверх и вниз, словно подсчитывая,— причудливые мысли приходили мне на ум, так что я иной раз совсем терялся и поистине не мог сосчитать и до трех. Дело в том, что восьмерка вечно представлялась знакомой мне, толстой, туго затянутой дамой в пышном чепце, зловещая семерка точь в точь походила на дорожный столб, обращенный назад, или же на виселицу. Но особенно забавляла меня девятка, которая часто, не успевал я оглянуться, превесело становилась на голову и превращалась в шестерку, а двойка,

словно вопросительный знак, лукаво поглядывала, будто хотела спросить: „Что из тебя выйдет, жалкий ты нуль? Без нее, этой стройной единички, в которой всё, ты навсегда останешься ничем“.

Сидеть перед домом мне теперь тоже больше не хотелось. Удобства ради я выносил скамеечку и вытягивал на нее ноги; я зачинил старый зонтик и ставил его против солнца так, что надо мною получался как бы китайский домик. Но ничто не помогало. Когда я так сидел и курил и размышлял, казалось мне, будто ноги мои становятся все длиннее от скуки, а нос вытягивается от безделья, пока я целыми часами гляжу на его кончик. И когда перед зарею проезжала курьерская почта и я, заспанный, выходил на свежий воздух, и миловидное личико, на котором в сумраке виднелись только сверкающие глаза, с любопытством выглядывало из окна кареты, и я слышал приветливое „с добрым утром!“, а из окрестных деревень по зыблущимся нивам разносилось веселое пение петухов, и высоко в небе между полосками туч носились ранние жаворонки, а почтарь брался за рожок и, проезжая, трубил, трубил,—я долго смотрел и смотрел вслед карете, и казалось мне, будто и я непременно должен пуститься в путь, далеко-далеко по белу-свету.

Между тем, едва заходило солнце, я неизменно относил букет на каменный стол в темной беседке. Но увы—все кончилось с того самого вечера. Никто не брал букета: всякий день, рано поутру, я приходил посмотреть—и цветы лежали так же, как и вчера, и печально глядели на меня увядшими, поникшими головками, на которых блестили капли росы, словно пролитые слезы. Это было мне весьма прискорбно. Я больше не делал букетов. Теперь мне было все равно: пусть сад мой зарастает сорными травами, пускай цветы стоят и ждут, пока ветер не развеет лепестки. В сердце моем было так же пустынно и тревожно и грустно.

В эти смутные дни случилось, что однажды, лежа у себя на подоконнике и с досадой глядя в растворенное

окно, я увидел горничную девушку, шедшую по дороге из замка. Заметив меня, она быстро повернула и остановилась под моим окном. „Барин вчера возвратился из путешествия“,— бойко сказала она. „Вот как“,— возразил я с удивлением,— уже много дней я ничем не интересовался и даже не знал, что хозяин в отъезде. „То-то, верно, рада его дочь, молодая госпожа“. Девушка с любопытством смерила меня взглядом так, что мне пришлось хорошенько подумать, не сказал ли я какой глупости. „Да ты, видно, ничего не знаешь“,— проговорила она, наконец, сморщив свой носик. „Так вот,— продолжила она,— сегодня вечером в честь приезда барина в замке будут танцы и маскарад. Моя госпожа будет тоже наряжена — садовницей; понимаешь?— садовницей. И вот, госпожа видела, что у тебя цветы лучше всех“.— „Странно,— подумал я,— бурьян так разросся, что сейчас никаких цветов не видеть“.

Горничная между тем продолжала:

„Госпоже для наряда нужны цветы, но непременно свежие, прямо с клумбы, и принести их должен ты сам; сегодня вечером, когда стемнеет, жди под большой грушей в парке — госпожа придет сама и примет цветы“.

Я был прямо ошеломлен такой радостной вестью и в восторге выбежал из дома к девушке. „Фи, что за гадкий балахон“,— воскликнула она, увидев меня в таком одеянии.

Это подзадорило меня, я не хотел отставать в галантном обращении и резвым движением попытался схватить и поцеловать ее. К несчастью, шлафрок, слишком длинный, запутался у меня в ногах, и я растянулся во весь рост. Когда я поднялся, горничная была уже далеко. Откуда-то доносился ее смех — воображаю, как она потешалась надо мной.

Теперь мне было о чем подумать и чему порадоваться. Значит, она все еще помнит обо мне и о моих цветах. Я пошел к себе в цветник, поспешно выполол все сорные травы и высоко подбросил их так, что они разлетелись в мерцающем воздухе; я словно вы-

рвал с корнем всякую печаль и досаду. Розы снова были, как ее уста, небесноглубые вьюнки — как ее очи, снежнобелая лилия, грустно опустившая головку, точь в точь походила на нее. Все цветы я бережно убрал в корзиночку. Был тихий, ясный вечер; на небе ни облачка. Уже показались первые звезды, за полями шумел Дунай, поблизости, в высоких деревьях господского сада на все лады распевали несчетные птицы. Ах, я был так счастлив!

Когда, наконец, настала ночь, я взял корзиночку и направился в парк. Цветы в корзиночке лежали такие пестрые и прелестные, белые, красные, голубые, вперемежку; они так благоухали, что сердце у меня ликовало, когда я глядел на них.

Полон радостных мечтаний, проходил я в лунном свете по тихим песчаным дорожкам, поднимался на белые мостики, под которыми колыхались на воде спящие лебеди; я миновал изящные беседки и павильоны. Большую грушу я отыскал без труда — это было то самое дерево, под которым я не раз лежал в душные вечера, когда был еще подручным у садовника.

Здесь было так мрачно и пустынно. Лишь высокая осина дрожала серебристой листвой, нашептывая что-то. Временами из замка доносились звуки музыки. Иногда в саду слышались голоса, порою совсем близко; потом все вдруг умолкало снова. Сердце у меня стучало. На душе было жутко и странно, словно я хотел кого-то обокрасть. Долгое время стоял я неподвижно и молча, прислонясь к дереву и чутко прислушиваясь; однако никто не приходил, и я дольше не мог этого выносить. Я повесил корзиночку на руку и поспешно влез на грушевое дерево, дабы свободнее перевести дух.

Очутившись наверху, я еще явственнее услыхал звуки танцевальных напевов. Передо мной расстился весь сад, и взор мой проникал в освещенные окна замка. Медленно вращались люстры, словно хороводы звезд, множество нарядных кавалеров и дам, будто в кукольном театре, толпились и танцевали и терялись в пестром,

разноликом сонме гостей; иные подходили к окнам и глядели в сад. Газоны, кустарники и деревья перед замком казались позлащенными от света бесчисленных огней, и я ждал, что вот-вот проснутся и цветы и птицы. А дальше, по сторонам и позади меня, сад покоился в молчании и мраке.

„Она танцует,— думал я, сидя на дереве,— и, наверное, давно позабыла и тебя и твой букет. Все веселятся, и никому нет дела до тебя. Таков мой удел всегда и повсюду. Всякий обзавелся уютным уголком, у всякого есть теплая печь, чашка кофе, супруга, стакан вина за ужином — и с него довольно. Даже долговязый швейцар, и тот отлично чувствует себя в своей шкуре. А мне все не по душе. Как будто я всюду опоздал, как будто во всем мире не нашлось для меня места“.

Я так расфилософовался, что не заметил, как в траве внизу что-то зашуршало. Совсем близко от меня тихо переговаривались два женских голоса. Вслед за тем в кустарнике раздвинулись ветви, и просунулось личико горничной, озирающейся по всем сторонам. Лунный свет веселыми огоньками играл в ее лукавых глазах. Я затаил дыхание и стал смотреть, не отводя взора. Немного спустя из-за деревьев показалась и садовница, одетая точь-в-точь, как вчера описала мне девушка. Сердце у меня так и забилося от радости. Но садовница была в маске и, как мне показалось, изумленно осматривалась по сторонам. И тут я заметил, что она совсем не так уж стройна и миловидна. Наконец она подошла к дереву и приподняла маску. Это в самом деле была старшая дама!

Оправившись с перепугу, я был до-нельзя рад, что нахожусь здесь наверху в безопасности. „И как только она сюда проберется? — думал я. — Что, если милая, прекрасная госпожа придет за цветами — вот будет история!“ Я чуть не плакал от досады на все это происшествие.

Между тем переодетая садовница под деревом заговорила: „В зале такая страшная духота, я должна была

выйти немного освежиться на вольном воздухе“. При этом она непрерывно обмахивалась маской и с трудом переводила дух. При ярком свете луны я мог ясно видеть, как вздулись у нее на шее жилы; от злости она была красна, как кирпич. Горничная шарила повсюду за кустарниками, будто она потеряла булавку.

„Мне так нужны еще свежие цветы к моему наряду,— снова продолжала садовница,— и куда только он мог запропасться?“ Девушка продолжала искать, а втихомолку все посмеивалась. „Что ты говоришь, Розетта?“— язвительно спросила садовница. „Я говорю то, что всегда говорила,— возразила горничная, как бы совсем серьезно и чистосердечно,— таможенный смотритель как был, так и останется остопом, верно, он где-нибудь лежит под кустом и спит“.

Меня свело, словно судорогой— до того мне захотелось соскочить и спасти свою репутацию,— но тут из замка послышались музыка и шумные клики.

Садовница не могла долее ждать. „Там народ приветствует господина,— недовольно сказала она,— идем, а то нас могут хватиться“. С этими словами она быстро закрылась маской и в ярости поспешила вместе с девушкой в замок. Деревья и кусты отбрасывали причудливые тени, словно показывали ей вслед длинные носы, месяц весело играл на ее широкой спине, как на клавишах; и она быстро удалялась при звуке труб и барабанном бое, точь-в-точь так, как певички на театре, что я видел.

Я же, сидя на дереве, хорошенько не знал, что со мной приключилось, и, не спуская глаз, смотрел на замок; ибо при входе, у ступеней стояли в ряд высокие свечи в садовых подсвечниках и бросали странный свет на поблескивающие окна и по всему саду. Это прислуга собралась сыграть молодым господам серенаду. Здесь находился и швейцар, пышно разодетый, словно министр; перед ним стоял шюпитр, и старик усердно выдувал на фаготе.

Только я уселся, чтобы послушать чудесную серенаду,

как наверху балконные двери замка внезапно распахнулись. Высокий господин, красивый и статный, в военной форме со множеством блестящих орденов на груди, вышел на балкон, и под руку с ним — кто же? — прекрасная молодая госпожа, вся в белом, словно лилия во мраке ночи или луна, плывущая в ясном небе.

Я не мог оторвать взора от них, я не видел ни сада, ни деревьев, ни полей, а только ее, стройную и высокую в волшебном свете факелов; она то приветливо заговаривала с военным, то ласково кивала музыкантам. Внизу люди были вне себя от радости, да и я сам под конец не выдержал и, что было сил, тоже стал кричать „виват“.

Когда же она вскоре исчезла с балкона, факелы внизу один за другим угасли, когда убрали попитры и в саду снова зашеместело и все опять погрузилось во мрак, — тут только я хорошенько понял — тут только мне пришлось в голову, что цветы-то мне заказала тетка, что красавица и не думала обо мне и давным давно замужем, а сам я большой дурак.

Все это повергло меня в глубокие размышления. Я, словно еж, свернулся в колючий клубок моих собственных мыслей: из замка танцевальная музыка доносилась все реже, тучи одиноко проплывали над темным садом. А я всю ночь просидел на дереве, как филин, над развалинами моего счастья.

Свежий утренний воздух пробудил меня, наконец, от моих раздумий. Оглянувшись по сторонам, я был немало удивлен. Музыка и танцы давно умолкли, в замке и вокруг него на лужайке, на каменных ступенях и колоннах, казалось, царил торжественная тишина и прохлада; и один лишь фонтан у самого въезда журчал, не умолкая. В ветвях, там и сям, стали пробуждаться птицы, чистили свои пестрые перья и, расправляя крылышки, с удивлением и любопытством поглядывали на странного товарища по ночлегу. Весело играли утренние лучи сквозь чащу и падали мне на грудь.

Наконец я выпрямился и в первый раз за много дней посмотрел на широкий мир: по Дунаю мимо вино-

градников скользили челны, а еще пустынные дороги, словно мосты, перекидывались далеко через горы и долины по сияющей солнцем земле.

Уж не знаю как,— но меня снова охватила моя давняя жажда странствий: вся былая тоска и радость и большие ожидания. При этом я подумал, как там, в замке, прекрасная госпожа теперь дремлет под шелковым покрывалом среди цветов и как в тишине утра у ее изголовья стоит ангел. „Нет,— воскликнул я,— прочь отсюда, прочь куда глаза глядят!“

С этими словами я схватил свою корзинку и высоко подбросил ее, и любо было смотреть, как цветы рассыпались на зеленой лужайке, пестрея между ветвей. Тогда и я спустился и прошел безмолвным садом к моему дому. Частенько останавливался я там, где я ее бывало видел и, лежа в тени, думал о ней.

У меня в домике и кругом все оставалось так, как вчера. Цветник был разорен и пуст, в комнате еще лежала раскрытой большая счетная книга, скрипка моя, к которой я давно уж не прикасался, висела вся в пыли на стене. В этот самый миг луч солнца ударил в окна на противоположной стороне и осветил струны. Сердце мое живо откликнулось на это. „Да,— промолвил я,— поди-ка сюда, верный товарищ! Царствие наше не от мира сего!“

И вот я, сняв со стены скрипку, оставил все: счетную книгу, шлафрок, туфли, трубки и зонтик, и, беден, как был, снова пустился в путь из своего дома по солнечной дороге.

Не раз я оглядывался назад; на душе у меня было чудно и грустно и в то же время несказанно радостно, словно я птица, вырвавшаяся из клетки. И когда я прошел изрядный кусок и очутился в чистом поле, я взял смычок и скрипку и зашел:

Бог — мой вожатый неизменный.
Кто ниспослал сиянье дня
Ручьям, полям и всей вселенной —
Тот не оставит и меня.

Замок, сад и башни Вены — все за мною потонуло в утренней дымке, надо мной, высоко в небе, заливались бесчисленные жаворонки; я шел зелеными долинами, между гор, проходил веселыми городами и селеньями, держа путь на Италию.

Глава третья

Однако тут мне пришлось плохо! Я совсем и не подумал о том, что в сущности не знаю хорошенько дороги. Кругом не было ни души, и я никого не мог расспросить, а между тем невдалеке дорога разветвлялась на множество дорог, уходящих далеко, далеко в высокие горы, как бы совсем вон из этого мира, — стоило мне взглянуть в ту сторону, и у меня начинала порядком кружиться голова.

Наконец я заметил крестьянина, который, видимо, направлялся в церковь, так как день был воскресный; крестьянин был одет в камзол старомодного фасона с большими серебряными пуговицами и имел при себе длинную камышовую трость с увесистым серебряным набалдашником, который уже издалика поблескивал на солнце. Я тотчас обратился к нему, стараясь быть возможно вежливее: „Не скажете ли вы мне, которая из дорог ведет в Италию?“ Крестьянин остановился, поглядел на меня, подумал малость, выпятив при этом нижнюю губу, и снова на меня поглядел. Я переспросил: „В Италию, где растут померанцы?“ — „Какого чорта мне твои померанцы!“ — ответил крестьянин и бодрым шагом пошел дальше. Я ожидал, что он лучше воспитан — у него был такой солидный вид.

Что оставалось делать? Поворотить обратно и вернуться в мое родное селенье? Но там на меня народ стал бы пальцем показывать, а мальчишки бежали бы за мной вприпрыжку и кричали: „Добро пожаловать из дальних странствий! Что ты нам расскажешь о своих дальних странствиях? Привез ли ты нам пряников из дальних странствий?“

Швейцар с орлиным носом, имевший немало сведений по мировой истории, не раз говаривал: „Достопочтенный господин смотритель! Италия прекрасная страна, там господь бог печется обо всем, там можно растянуться на солнышке, а виноград тебе прямо сам так и лезет в рот, и как, бывало, укусит тебя тарантул, так пустишься в пляс, что своих не узнаешь, хоть никогда раньше и не плясал“. — „Нет, в Италию, в Италию!“ — воскликнул я в восторге и побежал, не обращая внимания на множество дорог, прямо по первой попавшейся.

Когда я прошел изрядный конец, я увидел справа чудесный плодовый сад; утреннее солнце весело играло между стволов и верхушек деревьев, и казалось, что трава устлана золотыми коврами. Так как поблизости никого не было, я перелез через низкую ограду и уютно расположился в траве под яблоней, ибо от вчерашней ночовки на дереве у меня еще ныло все тело. Передо мной раскрывался широкий вид, и так как был праздник, вблизи и в отдалении слышался благовест, и звуки его неслись в тишине полей, а по дугам и дубравам толпой двигались в церковь разряженные поселяне. На сердце у меня было радостно, надо мной в чаще ветвей пели птицы, я вспомнил свою мельницу и сад моей прекрасной госпожи, подумал о том, как все это далеко, далеко — и наконец задремал. И снился мне сон: будто снизу из роскошной долины ко мне движется, или, вернее, плывет по воздуху в звоне колоколов моя прекрасная дама и в утренней заре развеваются ее белые, длинные покрывала. Потом мне снилось, будто мы вовсе не на чужбине, а в моем селеньи, на мельнице в густой тени. Но там было тихо и пустынно, как бывает по воскресеньям, когда народ в церкви и отдаленные звуки органа сливаются с шелестом листьев, — и сердце у меня сжалось. Прекрасная дама была очень добра и ласкова ко мне, она держала меня за руку, прогуливалась со мной и среди этой тишины все пела чудную песню, которую она некогда пела по утрам под гитару у рас-

крытого окна; и я смотрел, как в недвижной заводи отражается она, но только в тысячи раз прекраснее, а глаза ее странно расширены и так на меня уставились, что мне даже не по себе.— Вдруг мельница пришла в движение: сперва редко застучало колесо, потом задвигалось все быстрее и быстрее, раздался шум, заводь потемнела и затянулась рябью, я увидел, что прекрасная дама совсем бледна, а покрывала ее казались мне все длиннее и длиннее и стали, наконец, развеиваться длинными волокнами, поднимаясь в небо, подобно туману; свист становился все сильнее, подчас мне чудилось, что это швейцар играет на фаготе, и наконец я пробудился — до того у меня билось сердце.

В самом деле поднялся ветерок, он и колыхал яблоню, под которой я улежся; однако стучала и шумела совсем не мельница, и не швейцар, а тот самый мужик, который не хотел указать мне дорогу в Италию. Он снял свое праздничное платье и стоял передо мной в белом камзоле. „Что ты топчешь хорошую траву?— молвил он, пока я продираю глаза,— или здесь собрался искать свои померанцы, вместо того, чтобы идти в церковь, лентяй ты этакий!“ Мне стало досадно, что грубиян меня разбудил. Рассерженный, я вскочил и в долгу не остался: „Что такое, ты еще ругаешься?— заговорил я.— Я был садовником, когда ты об этом и не мечтал, и был смотрителем, и если бы ты поехал в город, тебе пришлось бы передо мной снять свой грязный колпак, у меня был дом и красный шлафрок с желтыми крапинами“.— Однако неотесанный мужчина и в ус не дул; он подбоченился и только сказал: „Чего же тебе надо? Хе! хе!“ Тут только я его разглядел: то был низкорослый, коренастый парень с кривыми ногами; глаза у него были навывкате, а красный нос малость покривился. А так как он все продолжал твердить свои „хе! хе!“ и каждый раз при этом приближался ко мне на шаг, меня вдруг охватил такой непонятный и сильный страх, что я живо перемахнул через ограду и пустился бежать без оглядки,

что есть духу прямо через поле, так что скрипка зазвенела у меня в сумке.

Когда наконец я остановился, чтобы перевести дух, и сад и вся долина скрылись из виду, а сам я оказался в чудесном лесу. Но я не обращал на все это внимания, так как очень уж досадовал на свои злоключения, особенно на то, что парень меня все время называл на „ты“; долго спустя я еще бранился про себя. С такими мыслями я поспешно пустился в путь, все больше отклоняясь от дороги, и наконец попал в горы. Лесная дорога, по которой я шел, кончилась, и передо мной открылась лишь небольшая мало исхоженная тропинка. Кругом ни души и полная тишина. А впрочем итти было довольно приятно, верхушки деревьев шумели, а птицы распевали так славно. Я вручил свою судьбу всевышнему, достал скрипку и принялся наигрывать свои любимые вещи, которые весело звучали в одиноком лесу.

Игра, однако, тоже продолжалась недолго, я поминутно спотыкался о проклятые корни, да и голод давал себя знать, а лесу все не было видно конца. Так я пробыл весь день; вечернее солнце уже освещало косыми лучами стволы деревьев, когда я вышел на небольшую луговину, среди гор, усеянную альми и желтыми цветами, над которыми в золоте вечерней зари порхали бесчисленные мотыльки. Здесь казалось так пустынно, как если бы это место было за сотни миль от остального мира. Только кузнечики стрекотали, да пастух лежал в густой траве и играл на свирели так печально, что сердце готово было разорваться от тоски. „Да,— подумал я про себя,— этакому лентяю хорошо живется! А нашему брату приходится скитаться на чужбине и держать ухо востро!“ Между нами пробегала речка, через которую я не мог перебраться, а потому я крикнул пастуху: „Где здесь ближайшее село?“ Но он не тронулся с места, а только высунул голову из травы, указал свирелью на другой лес и продолжал спокойно играть.

Я же усердно зашагал дальше, так как начало уже смеркаться. Птицы, щебетавшие при последних лучах солнца, сразу смолкли, и меня даже охватил страх среди бесконечного пустынного шума леса. Наконец издали донесся лай собак. Я прибавил шагу, лес стал редеть, и вскоре я увидел у самой опушки за деревьями прекрасную зеленую поляну: посреди поляны росла большая липа, вокруг которой резвилось множество детей. Поодаль, на той же поляне, находилась гостиница, а перед ней стол, за которым сидело несколько крестьян: они играли в карты и курили трубки. С другой стороны, на крыльце сидели девушки, закутав руки в передник; они болтали в вечерней прохладе с парнями.

Недолго думая, вынул я из сумки скрипку и, выйдя из леса, заиграл веселый тирольский танец. Девушки удивились, а старики захохотали так громко, что смех их далеко отозвался в лесу. Но когда я подошел к липе и, прислонясь к ней, продолжал играть, молодые зашептались и засуетились, парни отложили в сторону трубки, каждый схватил свою милую, и, не успев оглянуться, как молодежь закружилась и заплясала всю, собаки лаяли, платья развевались, а ребятинки стали в кружок, с любопытством глядя, как я ловко перебираю пальцами.

Едва окончился первый вальс, я увидел, как горячит кровь добрая музыка. Только что перед тем деревенские парни потягивались на лавках, неуклюже выставив ноги и лениво посасывая трубки; сейчас их нельзя было узнать: они продели в петлицы длинные концы пестрых платков и так забавно увивались вокруг девушек, что любо было на них смотреть. Один из молодых людей напустил на себя важность, долго шарил в жилетном кармане так, чтобы другим было видно,— наконец вынул оттуда серебряную монетку и хотел сунуть ее мне. Меня это обозлило, хотя у меня и не было ни гроша в кармане. Я ответил, что он может свои деньги оставить при себе,— я, мол, играю просто от радости, что снова нахожусь среди людей. Но вслед за этим, однако, ко

мне подошла пригожая девушка и поднесла мне большую стопу вина. „Музыканты любят выпить“, — промолвила она и приветливо улыбнулась, а ее жемчужно-белые зубы так восхитительно поблескивали, что я охотнее всего поцеловал бы ее в алые уста. Она пригубила своим ротиком вино, а глаза стрельнули в меня, и она подала мне стопу. Я осушил кубок до дна и со свежими силами принялся играть, а вокруг меня снова все радостно завертелись.

Тем временем старики отложили карты, а молодежь, утомившись, стала расходиться, и мало-по-малу возле гостиницы воцарились тишина и безлюдье. Девушка, поднеся мне вино, тоже направилась к селу, но шла она медленно и все оглядывалась, словно что-то забыла. Наконец она остановилась, как бы ища чего-то на земле, но я хорошо заприметил, что она всякий раз, как наклонялась, исподтишка взглядывала на меня. Живя в замке, я достаточно наловчился, а потому подскочил к ней и сказал: „Вы обронили что-нибудь, прелестная барышня?“ — „Ах, нет, — проговорила она и при этом зарделась, — то всего лишь роза — хочешь ее?“ Я поблагодарил и вдел розу в петлицу. Она ласково на меня посмотрела и продолжала: „Ты славно играешь.“ — „Да, — отвечал я, — это дар божий!“ — „Музыканты в нашей стороне редки, — снова начала девушка, опустив глаза, и загнулась. — Ты бы мог здесь заработать немало денег — и отец мой тоже умеет играть на скрипке и любит, когда ему рассказывают про чужие страны — отец мой страсть как богат!“ — Она вдруг засмеялась и сказала: „Только зачем ты выделяешь такие смешные штуки головой, когда играешь?“ — „Дражайшая барышня, — возразил я, — во-первых: не говорите мне все время „ты“; что касается подергивания головы, тут уже ничего не поделаешь, это уж мы, виртуозы, так привыкли.“ — „Ах, вот оно что“, — успокоилась девушка. Она хотела еще что-то добавить, но в этот миг в гостинице раздался отчаянный грохот, дверь с шумом

распахнулась, и оттуда, как пуля, вылетел сухопарый малый, а дверь немедленно захлопнулась.

При первых криках девушка отскочила, словно лань, и скрылась в темноте. Человек перед дверью поспешно стал на ноги, обернулся лицом к дому и принялся так шибко ругаться, что просто удивление.

„Что?— кричал он,— это я пьян? Я, да не оплачу меловых черточек на закоптелой двери, говорите вы? Сотрите их, сотрите их! Разве я не брил вас, а вы разве не перекусили мне деревянную ложку, когда я вам порезал нос? Бритье — раз, ложка — два, пластырь на нос — три — чорт побери, да по скольким же счетам я должен платить? Ну хорошо, раз так, пусть все село, весь мир ходит нестриженным. Отращивайте себе, на здоровье, такие бороды, чтобы в день страшного суда сам господь бог не разобрал бы, кто вы такие — жида или христианин. Да, да, хоть удавитесь на собственных бородах, мужланы несчастные!“ Тут он разразился отчаянными слезами и продолжал уже жалобным фальцетом: „Что мне, одну воду дуть прикажете, словно рыбе какой несчастной? И это называется любовь к ближнему? Разве я не человек, не ученый фельдшер? Ах, сегодня ко мне не подступись! Сердце мое преисполнено чувством любви к людям!“ С этими словами он стал постепенно удаляться, так как в доме никто не отзывался. Завидев меня, он быстро направился ко мне с распростертыми объятиями, — я думал, сумасшедший малый хочет меня обнять. Я отскочил в сторону, а он, спотыкаясь, побрел дальше, и я еще долго слышал, как он в темноте разговаривал сам с собой то грубым, то тонким голосом.

А у меня мысли роились в голове. Девица, подарившая мне розу, была молода, прекрасна и богата — я мог составить свое счастье во мгновение ока. А бараны и свиньи, индюки и жирные гуси, начиненные яблоками, — точь-в-точь, как говаривал швейцар: „Не робей, смотритель, не робей! Женись смолоду — не расквасишься, кому посчастливится, тот возьмет себе пригожую не-

весту, сиди дома и вволю кормись!“ С такими философическими мыслями присел я на камне посреди опустевшей поляны,— постучаться в гостиницу я не решался— ведь у меня совсем не было денег. Ярко светил месяц, в тишине ночной было слышно, как в горах шумят дубравы, по временам доносился лай собак из села, которое было словно погребено в лесистой долине, озаренной луной. Я следил бег луны сквозь редкие облака и смотрел, как на небе, нет-нет, да упадет далекая звезда. „Вот так месяц светит и над отцовской мельницей и над белым замком графа,— думал я.— И в замке давно настала тишина, госпожа почивает, а водометы и деревья в саду шумят, как и прежде, и всем им нет дела до того, там ли я, или на чужбине, или и вовсе умер“.— Тут весь мир мне показался вдруг таким бесконечно далеким и огромным, а сам я таким покинутым, что в глубине души мне захотелось плакать.

В это время я внезапно услышал вдали, в лесу, конский топот. Я затаил дыхание и стал прислушиваться: топот все близился, и я уже мог различить храп коней. И действительно, вскоре из-за деревьев показалось двое всадников; они остановились у лесной опушки и, насколько я мог различить по их теням, внезапно задвигавшимся на лунной поляне, оживленно стали шептаться друг с другом, указывая при этом длинными темными руками то туда, то сюда.— Дома, когда моя покойная матушка рассказывала мне про дремучие леса и свирепых разбойников, я всегда втайне желал, чтобы со мной приключилась подобная история. Вот и поплатился я за свои неразумные и дерзкие мысли!— Я растянулся во всю длину под той самой липой, где сидел, и, как можно незаметнее, дополз до первого попавшегося сука, по которому проворно взобрался наверх. Но, как только я повис на суку до половины и занес ногу, чтобы перелезть, один из всадников быстро поскакал по поляне прямо по моим следам. Я зажмурил глаза и сидел в темной зелени, притаившись и неподвижно. „Кто здесь?“ — раздалось вдруг совсем близко от меня. „Ни-

кого!“— изо всех сил закричал я со страху, что он меня все-таки настиг. Я не мог не посмеяться про себя, когда подумал, что эти молодцы будут обмануты в своих расчетах, вывернув мои пустые карманы. „Ай, ай,— продолжал разбойник,— а чьи это ноги свешиваются?“— Делать было нечего. „Ноги бедного заблудившегося музыканта, и только“,— отвечал я. С этими словами я соскочил на землю, ибо мне стыдно было висеть на суку, точно сломанные вилы.

Лошадь испугалась, когда я внезапно спрыгнул. Всадник похлопал ее по шее и, смеясь, молвил: „И мы также заблудились, значит мы товарищи; мне думается, ты мог бы нам помочь отыскать дорогу в Б. В накладе не останешься“. Тщетно я старался доказать, что вовсе не знаю, где лежит Б., и что я лучше пойду, спрошу в гостинице или проведу их в селенье. Мальчи не давал себя урезонить. Он преспокойно вытащил из-за пояса пистолет, внушительно сверкнувший в лунном сиянии. „Итак, любезный,— дружелюбно обратился он ко мне, то отирая дуло пистолета, то разглядывая его,— итак, любезный, ты будешь столь добр и сам укажешь нам путь в Б.“.

Делать было нечего. Если я найду дорогу, я попаду в шайку разбойников, где меня наверняка поколотят, так как при мне нет денег; если я не найду дороги — меня точно так же поколотят. Не долго думая, свернул я по первой попавшейся тропинке, которая тянулась от гостиницы, минуя селенье. Всадник подскакал к своему спутнику, и оба шагом последовали на известном расстоянии за мной. Итак, озаренные лунным светом, двинулись мы в путь, можно сказать, наудачу. Лесная дорога вела все время вдоль горного склона. Временами сквозь вершины сосен, поднимавшихся снизу и шелестевших во мраке, открывался далекий вид на тихие долины, кое-где шелкал соловей, в дальних селах слышался лай собак. Из глубины раздавался шум горной речки, иногда поблескивавшей в сиянии луны. Вдобавок к этому — мерный топот копыт, отрывистые и непонят-

ные слова, которыми беспрестанно перебрасывались всадники, и, наконец, яркий лунный свет и длинные тени деревьев, попеременно падающих на обоих мужчин, так что они казались мне то темными, то светлыми, то маленькими, то огромными. У меня помутилось в голове, как если бы я был погружен в глубокое забытие и никак не мог пробудиться. Я продолжал бодро шагать вперед. Ведь должны же мы, наконец, выбраться из этого леса и мрака, думалось мне.

Вдруг на небе местами показались длинные красноватые отсветы, сперва незаметно, будто дыхание на зеркале, а высоко над тихой долиной зазвенел первый жаворонок. С наступлением утра у меня отлегло от сердца и прошел всякий страх. Всадники же вытягивали шеи, повсюду озираясь, и, казалось, только сейчас увидели, что мы находимся не на верном пути. Они снова заболтали без умолку, и я понял, что они говорят про меня; мне даже показалось, будто один из них опасается, не мошенник ли я, который заведет их в лесу куда-нибудь. Меня это позабавило: чем более редела чаща, тем храбрее становился я, особенно, когда мы вышли на открытую лесную поляну. Я дико оглянулся по сторонам, засунул в рот пальцы и раза два свистнул на манер воров, когда они хотят подать друг другу знак.

„Стой!“— закричал вдруг один из всадников, да так, что у меня душа в пятки ушла. Обернувшись, я увидел, что они оба спешились и привязали лошадей к дереву. Один из них подбежал ко мне, поглядел на меня в упор и вдруг разразился неудержимым хохотом. Должен сознаться, дурацкий смех очень меня раздосадовал. А он проговорил: „Да ведь это садовник, то-есть, я хотел сказать, смотритель из усадьбы“.

Я вытаращил глаза на него, но не смог его припомнить, да и слишком много дела было бы у меня запоминать всех молодых господ замка, гулявших там. А он продолжал хохотать: „Да ведь это чудесно! Ты, насколько вижу, без дела, ну, а нам нужен слуга; оставайся у нас, и у тебя будет не больно много ра-

боты".— Я было совсем оторопел и наконец вымолвил, что как раз намереваюсь предпринять путешествие в Италию. „В Италию?— обрадовался незнакомец,— туда и мы направляемся!“— „Ах, если так, я согласен!“— воскликнул я и на радостях достал из сумки свою скрипку и заиграл так, что разбудил птиц в лесу. А господин, между тем, схватил другого господина и, как безумный, стал вальсировать с ним по траве.

Вдруг они остановились. „Честное слово,— воскликнул один из них,— вон там уже виднеется колокольня Б.! Ну, теперь мы скоро будем на месте“. Он вынул часы с репетицией и нажал кнопку, затем покачал головой и снова пустил их. „Нет,— молвил он,— так дело не пойдет, эдак мы прибудем слишком рано, это может плохо кончиться!“

Они достали с седел пироги, жаркое и вино, разостлали на зеленой траве пеструю скатерть, расположились на привал и принялись с удовольствием закусывать, щедро наделив при этом и меня, что было совсем неплохо, так как я уже несколько дней, можно сказать, не ел. „Да будет тебе известно,— обратился ко мне один из них,— но ты ведь нас не знаешь?“— Я покачал головой. „Итак, да будет тебе известно: я— художник Леонхард, а он— тоже художник, по имени Гвидо“.

Теперь, в утреннем свете я мог лучше разглядеть обоих художников. Один из них, господин Леонхард, был высокого роста, стройный, темноволосый; взгляд у него был веселый, пламенный. Другой казался много моложе, ниже ростом и тоньше; одет он был, по выражению швейцара, на старонемецкий манер, в белых воротничках, открывавших шею; длинные темные кудри то и дело нависали ему на миловидное лицо, так что их приходилось беспрестанно откидывать.— Вдоволь насытившись, он взял мою скрипку, лежавшую рядом со мной на земле, присел на срубленное дерево и стал перебирать струны. И тут он спел песенку звонко, словно лесная птичка, так что мне она проникла в самое сердце:

Только утра первый луч
 Долетит в долину с круч —
 Зашумят леса ветвями:
 „Ввысь! Смелей! Взмахни крылами!“

Путник шляпою взмахнет
 И в восторге запоет:
 „Песнь крылата, как и птица,—
 Пусть она свободно мчится!“

При этом алый луч зари играл на его томном лице и черных влюбленных глазах. Я же до того устал, что и слова, и ноты — все спуталось у меня, и я крепко уснул, пока он пел.

Когда я стал пробуждаться, я услышал все еще в полусне, что оба художника продолжают свою беседу и птицы поют надо мной, а сквозь сомкнутые веки я ощущал утренние лучи, и было не светло и не темно, как если бы солнце просвечивало сквозь красные шелковые занавески. „Come è bello!“* раздалось возле меня. Я раскрыл глаза и увидел молодого художника, склонившегося надо мной в ярком утреннем блеске; кудри его свесились так, что виднелись одни только большие черные глаза.

Я вскочил; уже совсем рассвело. Господин Леонхард, казалось, был не в духе, на лбу у него прорезались две гневные морщины, и он стал торопить нас в путь. Другой художник только откидывал кудри с лица и продолжал невозмутимо напевать свою песенку, пока он взнуздывал коня; кончилось тем, что Леонхард громко рассмеялся, схватил бутылку, стоящую на траве, и разлил по стаканам остаток вина. „За счастливое прибытие!“ — воскликнул он; оба чокнулись так, что стекло зазвенело. Затем Леонхард подбросил пустую бутылку вверх, и она весело сверкнула в лучах зари.

Наконец они сели на коней, а я с новыми силами последовал за ними. Прямо перед нами расстилалась необозримая долина, в которую мы и спустились. Как там все сверкало и шумело, искрилось и ликовало. На

* Как он красив! Д. У.

душе у меня было так привольно и радостно, словно я с горы готов был унести на крыльях в чудесный край.

Глава четвертая

Итак, прощайте и мельница и замок и швейцар! Мы неслись так, что у меня шляпу чуть не срывало ветром. Справа и слева мелькали села и города и виноградники — просто в глазах рябило; позади меня — оба художника в карете, впереди — четверка лошадей, которыми правил великолепный кучер, а я водрузился высоко на козлах и часто подпрыгивал на аршин вверх.

Дело было так: когда мы подъехали к Б., нас встретил уже у околицы длинный, сухопарый господин мрачного вида, одетый в зеленую фризовую куртку. Он отвесил множество низких поклонов господам художникам и проводил нас в село. У самой почтовой станции, под сенью высоких лип, нас уже ожидала роскошная карета, запряженная четверкой лошадей. Господин Леонард заметил еще в дороге, что мое платье мне коротко. Он тотчас достал другое из дорожной сумки, и я оделся в совершенно новый нарядный фрак и камзол, которые мне были отменно к лицу, только слишком длинны да широки и порядком на мне болтались. Я получил также новехонькую шляпу; она блестела на солнце, словно ее смазали свежим маслом. Угрюмый незнакомец взял лошадей под узды, художники прыгнули в карету, я — на козлы, и лошади тронулись; станционный смотритель в ночном колпаке выглянул из окна, кучер весело затрубил в рожок, и мы быстро помчались прямо в Италию.

На козлах мне было привольно, словно птице в воздухе, притом же мне не надо было самому летать. Дела у меня было только, что сидеть день и ночь наверху, да иногда приносить в карету кое-какую снедь, которую я забирал в попутных гостиницах, ибо художники нигде не делали привала, а днем даже до того плотно занавешивали окна кареты, как будто боялись

солнечного удара. И только подчас прелестная головка господина Гвидо высовывалась в окошко, и он принимался ласково болтать со мной и смеялся над господином Леонхардом, который этого терпеть не мог и всякий раз сердился на долгий разговор. Раза два я чуть не подсаждал на своих господ. Первый раз, когда я чудесной звездной ночью вздумал, сидя на козлах, поиграть на скрипке, да потом еще раз — по случаю спанья. Но это было совершенно удивительно. Мне хотелось вдоволь налюбоваться на Италию, и я каждую минуту, как встрепанный, широко раскрывал глаза. Однако стоило мне немного поглядеть, как все шестнадцать лошадиных ног спутывались, переплетались и перекрещивались, точно узоры кружев; глаза у меня начинали слезиться, и под конец я погружался в такой крепкий, непробудный сон, что просто одно отчаяние, да и только. Днем ли, ночью ли, в ненастье ли, в ясную ли погоду, в Тироле или в Италии — я неизменно свешивался с козел, то направо, то налево, то назад, а иногда до того перегибался, что слетала шляпа и господин Гвидо в карете громко вскрикивал.

Таким образом я, сам не зная как, проехал пол-Италии, или, как ее там называют, Ломбардии; пока мы наконец, в один прекрасный вечер, не остановились у сельской гостиницы.

Почтовые лошади должны были прибыть с ближайшей станции только через несколько часов, господа художники вылезли и проследовали в отдельную комнату — малость передохнуть и написать кое-какие письма. Я был этим весьма обрадован и немедленно отправился в общую комнату, чтобы наконец спокойно поесть и попить в свое удовольствие. Комната имела довольно жалкий вид. Печесанные, растрепанные служанки, в косянках, небрежно накинутых на желтоватые плечи, сновали взад и вперед. За круглым столом ужинали слуги в синих блузах, по временам искоса поглядывая на меня. У них были короткие, толстые косички, и все они держали себя так важно, как будто сами были

настоящими барчуками.— „Вот наконец,— думал я, продолжая усердно есть,— вот наконец и ты в той стране, откуда к нашему священнику приходили такие чудные люди с мышеловками, барометрами и картинками. И чего только ни увидишь, если высунешь нос из своей норы!“

Пока я ел и размышлял, из темного угла комнаты вдруг выскочил человек, сидевший до того за стаканом вина, и напустился на меня, как паук. То был горбатый карагуз с огромным отвратительным лицом, большим орлиным носом, совсем как у древних римлян, и жидкими рыжими бакенбардами; напудренные волосы дыбом торчали во все стороны, будто по ним только что пронеслась буря. Он был одет в старомодный, выцветший фрак, короткие плюшевые панталоны и совершенно порыжелые шелковые чулки. Он когда-то был в Германии и воображал, что нивесть как хорошо говорит по-немецки. Он подсел ко мне и, беспрестанно нюхая табак, принялся расспрашивать о том, о сем: занимаю ли я должность *servitore** при господах? Когда мы *arrivare***? Направляемся ли мы в *Roma****? Но всего этого я и сам не знал, а кроме того ничего не понимал в его тарабарщине. „*Parlez-vous français*****?“— робко проговорил я наконец. Он покачал своей громадной головой, и это мне было очень на руку, так как я и сам не понимал по-французски. Но и это не помогло. Он вплотную занялся мною и продолжал расспрашивать; чем больше мы беседовали, тем менее понимали друг друга; под конец мы оба разгорячились, и мне уже начало казаться, что этот синьор желает клюнуть меня своим орлиным носом; так продолжалось, пока девицы, слушавшие это вавилонское смещение языков, не подняли нас насмех. Я поскорее положил нож и вилку и вышел за дверь.

* Слуги. *Д. У.*

** Приедем на место. *Д. У.*

*** Рим. *Д. У.*

**** Говорите ли вы по-французски? *Д. У.*

Теперь, когда я очутился на чужбине, мне представилось, что я, со своим немецким языком, погружен в море на тысячи саженей глубины и всякого рода чудища извиваются и снуют вокруг меня, глаза на меня и стараюсь схватить.

Стояла теплая летняя ночь; в такую ночь хорошо бывает погулять. С виноградников еще доносилась изредка песня, вдали кое-где сверкали зарницы, и все кругом трепетало и шелестело в сиянии луны. Порою мне чудилось, будто чья-то длинная, темная тень проходит перед домом и, крадучись за орешником, выглядывает из листвы — затем снова все стихало. В этот миг на балконе гостиницы появился господин Гвидо. Он меня не заметил и принялся искусно играть на цитре, которую, верно, нашел где-нибудь в доме, и стал петь, словно соловей:

Смогли голоса людей,
Мир стихает необъятный
И о тайне, сердцу вятной,
Шепчет шорохом ветвей.
Дней минувших вереницы,
Словно отблески зарницы,
Вспыхнули в груди моей.

Не знаю, спел ли он еще что-нибудь, — я растянулся на скамье у самых дверей и от сильного утомления крепко заснул в тиши этой теплой ночи.

Так, наверное, прошло несколько часов; вдруг меня разбудил почтовый рожок; я и сквозь сон слышал его веселый наигрыш. Наконец я вскочил; в горах уже занимался день, и утренний холодок пронизывал меня. Тут только пришло мне в голову, что мы об эту пору должны были быть уже далеко. „Ах, — подумал я, — нынче настал мой черед будить, да посмеиваться. Посмотрю я, как выскочит господин Гвидо, заспанный, взлохмаченный, когда услышит, как я пою и играю во дворе!“ И я прошел в палисадник, стал прямо под окнами, где ночевали мои господа, потянулся еще разок, как следует на утреннем холодке, и звонко запел:

В час, когда кричит угод,
Белый день настает.
В час, когда заря блеснет,
Сладок сон, точно мед.

Окно было раскрыто, но наверху царил полная тишина, и лишь ветерок шелестел в лозах винограда, тянувшихся до самого окна.— „Однако, что все это означает?“ — изумленно воскликнул я, поспешил в дом и по пустынным переходам дошел до комнаты. Но тут у меня не на шутку екнуло сердце: я распахнул дверь, и что же?—в комнате было совершенно пусто—ни фрака, ни шляпы, ни сапог.— На стене висела дитра, та самая, на которой господин Гвидо играл вчера, посреди комнаты на столе лежал новый, туго набитый кошелек, на котором была прилеплена записка. Я поднес кошелек к окну и не поверил своим глазам—не оставалось ни малейшего сомнения: большими буквами было написано: „для господина зрителя“!

Но на что мне деньги, если со мной нет моих милых, веселых господ? Я опустил кошелек в карман, и он ухнул туда, словно в глубокий колодезь, так что от этого груза меня всего порядком перетянуло назад. Затем я пустился бежать, произведя страшный шум и разбудив в доме всех слуг. Те не знали, чего мне надо, и подумали, что я сошел с ума. Увидав, однако, наверху разоренное гнездо, они были немало удивлены. Никто ничего не знал про моих господ. И только одна из служанок кое-как объяснила мне знаками, что ей удалось видеть следующее: когда господин Гвидо вчера вечером распева на балконе, он вдруг громко вскрикнул и опрометью бросился в комнату, где находился другой господин. Проснувшись после того ночью, она услышала на дворе конский топот. Она поглядела в окошко и увидела горбатого синьора, так много разговаривавшего давеча со мной,— он при лунном свете несся по полю на белом коне, то-и-дело подсакивая в седле чуть ли не на аршин, и служанка даже перекрестилась— ибо ей представилось, что это оборотень

скачет на трехногом коне. Тут уж я и подавно стал втупик.

Между тем запряженная карета давно стояла у крыльца, и кучер нетерпеливо трубил в рожок, так что у него чуть не лопнули щеки: ему надо было к положенному часу поспеть на ближайшую станцию без малейшего промедления, ибо в подорожных все было рассчитано до минуты. Я еще раз обежал всю гостиницу, клича художников, но ответа не было; на крик мой появились все бывшие в доме и стали смотреть на меня, кучер отчаянно бранился, лошади храпели, и вот я, озадаченный, вскакиваю в карету, слуга захлопывает за мной дверцу, кучер щелкает бичом, и я уношусь дальше в незнакомый край.

Глава пятая

Мы мчались по горам и долам. день и ночь напролет. Я никак не мог опомниться, ибо, куда бы мы ни приехали, повсюду нас уже ожидали запряженные лошади, говорить я не мог ни с кем, и все мои объяснения ни к чему не приводили; часто, когда я сидел в гостинице и уплетал за обе щеки, кучер трубил в рожок, и мне приходилось бросать еду и спешить в карету, сам же я, в сущности, толком не знал, куда и зачем качу я с такой исключительной быстротой.

В остальном я не мог пожаловаться: я располагался, как на диване, то в одном, то в другом углу кареты, знакомился с людьми и страной, а когда мы проезжали через какой-нибудь город, облакачивался обеими руками на подоконник кареты и благодарил прохожих, вежливо снимавших при виде меня шляпу, или, как старей знакомец, раскланивался с девушками, с удивлением и с любопытством глядевшими мне вслед из окон.

Под конец я сильно оробел. Я никогда не пересчитывал денег в доставшемся мне кошельке, станционным смотрителям и гостиникам мне приходилось помногу платить, и не успел я оглянуться, как мой кошелек со-

всем истощился. Вначале я решил, как скоро мы попадем в густой лес, быстро выпрыгнуть из кареты и скрыться. Потом мне стало жаль упустить такую прекрасную карету, в которой я мог доехать и до края света.

И вот я сидел в раздумьи, не зная, чем помочь горю, как вдруг карета свернула с большой дороги. Я крикнул кучеру: куда он, собственно, едет? Но что я ни говорил ему, парень неизменно отвечал: „Si, si, sig-poge *!“ и неся во весь опор, так что меня швыряло из угла в угол.

Теперь я уже ничего не мог понять; до этого мы ехали живописной местностью, и большая дорога уходила прямо вдаль, туда, где закатывалось солнце, заливая все кругом сиянием и блеском. В той же стороне, куда мы ехали теперь, виднелись пустынные горы с мрачными ущельями, в которых было уже совсем темно.— Чем дальше мы ехали, тем глуше и безлюднее становилась местность. Наконец из-за туч показалась луна и так осветила деревья и утесы, что стало как-то не по себе. Мы медленно продвигались по узким, каменистым ущельям, а мерный, однообразный стук колес гулко отдавался в ночной тишине, и было похоже на то, что мы въезжаем в огромный склеп. Под нами в лесу стоял невообразимый шум от бесчисленных, незримых водопадов, а вдалеке, не переставая, кричали совы: „К нам иди, к нам иди!“ — Тут мне показалось, что мой возница, который, как я только теперь заметил, не носил формы и вообще не был настоящим кучером, стал боязливо озираться и иогнал лошадей; я высунулся и увидел всадника, который выскочил из-за кустов, проехал вплотную мимо нас по дороге и тотчас же исчез по другую сторону в лесу. Я совсем смутился, ибо, насколько я мог различить при свете луны, на белом коне сидел тот самый горбатый человек, который тогда в гостинице старался клюнуть

* Да, да, сударь! Д. У.

меня своим орлиным носом. Кучер только головой покачал и громко засмеялся на безрассудную езду, потом обернулся ко мне, стал что-то много и быстро говорить, чего я, к сожалению, не понял, а затем покатиł еще быстрее.

Я обрадовался, заметив издалека огонек. Вскоре замелькали еще огоньки, они становились все крупнее и ярче, и наконец мы увидали две-три закоптелые хижины, которые лепились на скалах, подобно ласточкиным гнездам. Ночь была теплая и двери стояли настежь, так что видны были освещенные горницы и в них какие-то оборванцы, сидевшие у очага. Мы подъехали к каменной тропе, ведущей на высокую гору. Ущелье то порастало высокими деревьями и свисающими кустарниками, то сразу открывалось небо и в глубине спящие горы, леса и долины, сомкнутые в широкий круг. На вершине горы, в лунном сиянии, стоял большой старинный замок со множеством башен. „Ну, слава богу!“ — воскликнул я и в душе повеселел, ожидая, куда-то меня теперь доставят.

Прошло добрых полчаса прежде, нежели мы достигли ворот замка. Над ними высилась широкая, круглая башня, сверху почти разрушенная. Кучер трижды шелкнул бичом, по сводам замка раздалось эхо, и целый рой вспугнутых галок показался из оконниц и щелей и с диким криком пронесся в воздухе. Вслед за тем карета с грохотом въехала в длинный, темный проезд за воротами. Копыта засверкали по камням, залаял большой пес, стук колес громом отдавался под каменными сводами, галки продолжали кричать — вот с каким невероятным шумом вкатили мы в узкий мощный двор замка.

„Забавное пристанище!“ — подумал я про себя, когда мы, наконец, стали. Дверца открылась снаружи, и долговязый старик, держа в руках небольшой фонарь, угрюмо поглядел на меня из-под нависших бровей. Вслед за тем он взял меня под руку и помог выйти из кареты, совсем как знатному барину. На пороге

входной двери стояла старая, весьма безобразная женщина; на ней была черная безрукавка и юбка, белый передник и черный чепец, ленты которого свешивались до самого носа. На поясе у нее висела большая связка ключей, а в руке она держала старомодный канделябр с двумя зажженными восковыми свечами. Увидев меня, она принялась низко приседать и стала много говорить и расспрашивать. Я ничего не понял из того, что она говорила, и все только расшаркивался, но должен сознаться, что мне стало жутко.

Старик тем временем осветил фонарем карету со всех сторон и все ворчал и покачивал головой, не найдя ни сундуков, ни другой поклажи. Кучер, не потребовав с меня ничего на водку, отвез экипаж в старый сарай с распахнутыми воротами, который находился тут же в стороне. Старуха же знаками весьма учтиво пригласила меня последовать за ней. Освещая дорогу канделябром, она повела меня сперва длинным узким переходом, а затем по крутой каменной лесенке. Когда мы проходили мимо кухни, две-три девушки с любопытством выглянули в полураскрытую дверь, и принялись смотреть на меня во все глаза, перемигиваясь и перешептываясь между собой, как если бы они в жизни своей не видали мужчины. Наконец старуха отперла наверху какую-то дверь; я остановился пораженный: это была громадная, пышная комната с прекрасными, золотыми украшениями на потолке, на стенах висели роскошные гобелены со всевозможными фигурами и цветами. Посреди комнаты был накрыт стол с обильными яствами — тут стояло жаркое, пироги, салат, фрукты, вино и конфеты, так что любо было глядеть на все это. Между окон от потолка до пола висело зеркало небывалых размеров.

Должен сознаться, все это мне пришлось чрезвычайно по вкусу. Я потянулся раза два и принялся медленно и важно прохаживаться по комнате. Я не мог устоять и мне захотелось посмотретья в такое громадное зеркало. По правде сказать, новое платье, по-

даренное господином Леонхардом, было мне очень к лицу, в Италии у меня появился этакий огонь в глазах, а во всем прочем я был еще порядочный молокосос, таков, каким был дома, только разве на верхней губе показался пушок.

Старуха всё продолжала шамкать беззубым ртом, как если бы она пожевывала собственный свисший нос. Затем она усадила меня, погладила меня костлявыми пальцами по подбородку, назвала *roverino* *, так плутовато взглянув на меня своими красными глазами, что у нее перекосило все лицо, и, наконец, удалилась, сделав в дверях глубокий книксен.

Я сел за накрытый стол, и вскоре появилась молодая красивая девушка — прислуживать мне за ужином. Я завел с ней любезный разговор, но она не понимала и все поглядывала на меня искоса, дивясь, что я ем с таким аппетитом; кушанья, надо сказать, были очень вкусны. Когда я насытился, служанка взяла со стола свечу и проводила меня в соседнюю комнату. Там находилась софа, небольшое зеркало и роскошная кровать под зеленым шелковым балдахинном. Я знаками спросил девушку, могу ли я здесь лечь? Она кивнула: „Да“; однако это было невозможно, так как служанка стояла возле меня, как пригвожденная к месту. Кончилось тем, что я принес из соседней комнаты еще стакан вина, и крикнул: „*Felicissima notte!*“ ** — настолько я уже знал по-итальянски. Но, увидев, как я залпом опрокинул стакан, она вдруг начала тихонько хихикать, густо покраснела, вышла в столовую и заперла за собой дверь. „Ну, что тут смешного?“ — подумал я с изумлением: — „мне сдается, в Италии все люди с ума спятили“.

Я все еще побаивался кучера — вот-вот он начнет трубить. Я постоял у окна, но на дворе все было тихо. „Пусть себе трубит“, — подумал я, разделся и улегся

* Бедняжка. *Д. У.*

** Спокойной ночи! *Д. У.*

в роскошную постель. Мне казалось, будто я поплыл по молочной реке с кисельными берегами.

Под окнами, на дворе, шумела старая липа, порою галка взлетала над крышей, и, наконец, я погрузился в блаженный сон.

Глава шестая

Когда я проснулся, первые утренние лучи уже играли на зеленых занавесах. Я хорошенько не понимал, где я, собственно, нахожусь. Мне казалось, будто я все еще еду в карете и мне снится сон про замок, озаренный луной, про старую ведьму и про ее бледную дочку.

Наконец я проворно вскочил с постели и оделся, продолжая оглядывать комнату. Тут только увидел я потайную дверцу, которой совсем не заметил накануне. Она была слегка притворена, я открыл ее, и взорам моим предстала опрятная горенка, в которой на расвете казалось весьма уютно. На стуле кое-как было брошено женское платье, а рядом, на постели, лежала девушка, прислуживавшая мне вчера вечером. Она мирно почивала, положив голову на обнаженную белую руку, на которую свешивались черные кудри. „Если бы она знала, что дверь отперта“,—сказал я про себя и воротился в спальню, не забыв тщательно запереть за собой, дабы девушка, проснувшись, не испугалась и не застыдилась бы.

На дворе все было тихо. Ни звука. Лишь ранняя лесная пташка сидела у моего окна на кусте, росшем прямо в расселине стены, и распевала утреннюю песенку. „Нет,—сказал я,—не воображай, пожалуйста, будто ты одна, в такой ранний час, славишь бога“. Я живо достал скрипку, которую накануне оставил на столике, и вышел из комнаты. В замке царил мертвая тишина, и прошло немало времени, пока я выбрался из темных переходов на волю.

Выйдя из замка, я очутился в большом саду, спускавшемся террасами до половины горы. Но что это

был за сад! Аллеи поросли высокой травой, затейливые фигуры из букса не были пострижены, и длинные носы или остроконечные шапки, в аршин величиной, торчали, словно привидения, так что в сумерках их можно было просто испугаться. На поломанных статуях, сложенных над высохшим водоемом, было даже развешено белье, местами в саду виднелись капустные гряды, кое-где в беспорядке были посажены простые цветы, которые заглушал высокий дикий бурьян, а в нем извивались пестрые ящерицы. Сквозь старые могучие деревья просвечивала даль — пустынный ландшафт, необозримая, непрерывная цепь гор.

Погуляв на рассвете в этой дикой местности, я вдруг заприметил на нижней террасе высокого бледнолицего юношу: он был очень худ и одет в длинный коричневый плащ с капюшоном; скрестив на груди руки, он расхаживал большими шагами взад и вперед. Он притворился, будто не видит меня, вскоре уселся на каменную скамью, достал из кармана книгу и принялся громко читать вслух, словно произнося проповедь; при этом он возводил очи к небу и затем меланхолически склонял голову на правую руку. Я долго наблюдал за ним, наконец меня взяло любопытство, к чему он собственно так чудно кривляется, и я решительным шагом приблизился к нему. Он только что глубоко вздохнул и испуганно вскочил, заметив меня. Он был очень смущен, я тоже, мы оба не знали, что сказать, и все раскланивались друг перед другом, пока он не удрал в кусты. Тем временем вошло солнце, я вскочил на скамью и от удовольствия заиграл на скрипке, и песня моя далеко разносилась по тихим долинам. Старуха со связкой ключей, с тревогой разыскивавшая меня, чтобы позвать завтракать, показалась на верхней террасе и немало изумилась, услышав, как я славно играю на скрипке. Угрюмый старик из замка очутился тут же и точно так же был удивлен; под конец сбежались служанки, и все остановились наверху, как вкопанные, а я перебирал и взмахивал смычком все искуснее и проворнее

и разыгрывал каденции и вариации, пока, наконец, не устал.

А в замке было очень странно! Никто и не думал о том, что надо ехать дальше. Замок не был гостиницей, а принадлежал, как мне удалось вывести от служанки, богатому графу. Но лишь только я спрашивал у старухи имя графа, она усмехалась, как в первый вечер, что я прибыл сюда, и так лукаво шурила при этом глаза и подмигивала мне, что можно было подумать, будто она не в своем уме. Стоило мне в знойный день выпить целую бутылку вина — как девушки хихикали, принося другую, а когда меня разок потянуло выкурить трубку, и я знаками описал, чего я хочу, то они разразились неудержимым и безрассудным смехом. — Но самое удивительное были серенады, которые часто раздавались под моими окнами, особенно же в самые темные ночи. Кто-то тихо наигрывал на гитаре нежную мелодию. Однажды мне послышался снизу шопот: „Пет, пет“. Я соскочил с постели и высунулся в окно. „Эй, кто здесь, откликайся!“ — крикнул я сверху. Но ответа не последовало, я только услышал шорох — кто-то поспешно скрывался в кустах. Большой дворовой пес раза два залаял на мой шум, потом все сразу стихло, а серенады с той поры не было слышно.

А вообще жилось мне здесь так, что лучшего и не оставалось желать. Добрый швейцар! он знал, что говорит, когда рассказывал, будто в Италии изюм сам лезет в рот. Я жил в пустынном замке, словно заколдованный принц. Куда бы я ни пришел, повсюду меня встречали с почетом, хотя все давно знали, что у меня нет ни гроша. Мне словно досталась скатерть-самобранка, и стоило мне сказать слово, как тотчас на столе появлялись роскошные блюда — рис, вино, дыни и пармезан. Я ел за обе щеки, спал в прекрасной постели под балдахином, прогуливался в саду, играл на скрипке, а когда приходила охота — работал в саду. Нередко лежал я часами в высокой траве, а худой юноша в длинном плаще (то был ученик и родственник

старухи и находился здесь на время вакаций) описывал большие круги и что-то шептал, как колдун, уткнувшись в книгу, и я всякий раз от этого задремывал.— Так проходил день за днем, и наконец — верно, от сытной еды — я порядком загрустил. От вечного безделья я даже не мог всласть потянуться, и порой мне казалось, будто я от лени совсем развалюсь.

О ту пору я однажды, в знойный полдень, сидел на верхушке высокого дерева над обрывом и покачивался на ветвях, глядя вниз на тихую долину. Надо мной в листве гудели пчелы, кругом все словно вымерло, в горах не было ни души, внизу, в тишине лесных луговин, в высокой траве мирно паслись стада. Издалека доносился почтовый рожок, то еле слышно, то звонче и явственнее. Мне пришла на ум старая песня, которую я слышал от странствующего подмастерья, когда еще жил дома, на отцовской мельнице, и я запел:

Кто вдали уходит из дому,
Тот должен с любимой идти.
В стране чужой, незнакомой
Ему взгрустнется в пути.

Вершины в дубраве черной,
Что знаете вы о былом?
Ах, за дальнею цепью горной
Остался родимый дом!

Люблю я звездочек очи,
Меня провожавшие к ней,
Соловушку в тихие ночи,
Что пел у ее дверей.

Но радостней в летнюю пору
Встречать румяный рассвет.
Я всхожу на высокую гору,
Шлю Германии свой привет!

Казалось, будто почтовый рожок издали вторит моей песне. Пока я пел, звуки рожка все приближались со стороны гор, и наконец они раздались на замковом дворе. Я соскочил с дерева. Навстречу мне из замка

шла старуха, держа раскрытый сверток. „Тут и вам кое-что прислали“,— проговорила она и вынула из свертка изящное письмо. Надписи не было, я быстро распечатал его. Но тут я весь покраснел, словно пион, и сердце у меня забилося так сильно, что старуха это заметила, ибо письмо было— от моей прекрасной дамы, чьи записочки мне не раз доводилось видеть у господина управляющего. Она писала совсем кратко: „Все снова хорошо, все препятствия устранены. Я тайно воспользовалась оказией и первая хотела сообщить вам эту радостную весть. Возвращайтесь, спешите. Здесь так пустынно, жизнь для меня невыносима, с тех пор как вы нас покинули. Аврелия“.

От восторга, страха и несказанной радости на глазах у меня выступили слезы. Мне стало стыдно старухи, которая снова усмехнулась своей отвратительной усмешкой, и я стрелой пустился бежать в самую отдаленную часть сада. Здесь я бросился в траву под кустами орешника и перечитал письмо еще раз, затвердил все слова наизусть и потом снова и снова принялся перечитывать, а солнечные лучи, падая сквозь листву, плясали на буквах, которые извивались перед моим взором, подобно золотым, светлозеленым и алым цветам. Да, может быть, она вовсе и не замужем? думал я. Быть может, чужой офицер, которого я видел,— ее брат, или же он умер, или я сошел с ума, или — „Это все равно!— воскликнул я наконец и вскочил,— ведь теперь ясно,— она меня любит, да, она меня любит!“

Когда я выбрался из кустарника, солнце уже склонялось к закату. Небо заалело, птицы весело распевали в дубравах, по долинам струился свет, но в сердце моем было еще во стократ лучше и радостнее!

Я крикнул, чтобы мне сегодня накрыли ужинать в саду. Старуха, угрюмый старик, прислуга,— все должны были сесть вместе со мной за стол под деревом. Я принес скрипку и в промежутках между едой и питьем играл на ней. Все повеселели, у старика разгладились угрюмые

морщины, и он залпом выпивал один стакан за другим; старуха без умолку несла бог весть какую чепуху; служанки принялись танцовать друг с другом на газоне. Под конец явился и бледнолицый студент — посмотреть, что происходит; он окинул нас презрительным взглядом и хотел было с достоинством удалиться. Но я не поленился, живо вскочил, и, не успев он оглянуться, как я поймал его за его длинные фалды и пустился с ним в пляс. Он силился танцовать изящно и по-новомодному и усердно и искусно семеня ногами, так что с него градом лил пот, а длинные полы его сюртука разлетались вокруг нас. При этом он взглядывал на меня, вращая глазами так чудно, что мне не на шутку стало страшно, и я вдруг отпустил его.

Старухе смерть как хотелось узнать, что собственно было в письме и почему я именно сегодня так весел. Но пришлось бы слишком много ей объяснять. Я только указал ей на двух журавлей, паривших над нами в воздухе, и проговорил: „И мне бы так лететь и лететь, далеко-далеко!“ — Она широко раскрыла ~~выцветшие~~ глаза, поглядывая, словно василиск, то на меня, то на старика. Потом я заметил, как оба, стоило мне только отвернуться, придвигались друг к другу и о чем-то оживленно шептались, косясь на меня.

Это показалось мне странным. Я все думал: что у них собственно может быть на уме? Я решил держать себя потише, а так как солнце давно закатилось, то я, пожелав всем доброй ночи, в раздумьи направился в свою спальню.

На душе у меня было радостно и вместе с тем тревожно, и я долго еще рассказывал по комнате. На дворе поднялся ветер, тяжелые, черные тучи неслись над башней, в густом мраке невозможно было различить ближайшие горные цепи. Вдруг мне послышались в саду голоса, я задул свечу и стал у окна. Голоса приближались, но беседа шла вполголоса. Вдруг небольшой фонарь, который один из идущих держал под плащом, отбросил узкую полосу света. Я узнал угрюмого упра-

вителя и старуху. Свет упал на ее лицо (никогда еще оно не казалось мне столь отвратительным), а в руке у нее блеснул длинный нож. При этом я заметил, что оба они смотрят на мое окошко. Затем управитель снова закутался в плащ, и вскоре опять все стало темно и тихо.

Чего им надо в такой поздний час в саду?— подумал я. Мне стало жутко, я припомнил всевозможные жуткие рассказы, какие мне доводилось когда-либо слышать, про ведьм и про разбойников, которые убивают людей, вынимают сердца и пожирают их. Пока я размышлял, послышались глухие шаги, сперва по лестнице, затем по длинной галлерее, затем кто-то украдкой подошел к моей двери, порой слышался сдавленный шопот. Я быстро отскочил в другой конец комнаты, спрятался за большой стол и решил, чуть что зашевелится, поднять его и изо всех сил броситься с ним на дверь. Но в темноте я опрокинул со страшным грохотом стул. И тут все сразу стихло. Я продолжал стоять за столом, ежеминутно поглядывая на дверь, как если бы я хотел пронзить ее взором, так что глаза у меня на лоб лезли. Некоторое время я стоял притаившись— было так тихо, что я мог бы услышать, как муха ползет по стене; и вдруг снаружи тихонько всунули ключ в замочную скважину. Я только собрался ринуться вместе со столом, как кто-то медленно повернул ключ трижды, осторожно выдернул его и еле слышно прокрался по галлерее на лестницу.

Я глубоко вздохнул. „Вот как,— подумал я,— теперь они заперли молодца, чтобы действовать без помех, как только я крепко усну“. Я поспешно осмотрел дверь. Истинная правда, она была заперта, равно как и другая дверь, за которой спала хорошенькая, бледнолицая служанка. За все мое пребывание в замке это случилось впервые.

Итак, я очутился в плену на чужбине! Прекрасная дама, верно, стоит теперь у окна и глядит сквозь ветви сада на большую дорогу, не появлюсь ли я со скрипкой

у сторожки. Облака несутся по небу, время летит, а я не могу уйти отсюда! Ах, на душе у меня было так тяжело, я совсем не знал, что мне делать. Подчас, когда на дворе шумела листва или где-нибудь в углу скреблась крыса, мне чудилось, будто старуха незаметно вошла через потайную дверь и подстерегает меня, неслышно пробираясь по комнате с длинным ножом в руке.

Озабоченный сидел я на кровати; вдруг, после долгого времени снова раздалась под моими окнами серенада. При первых звуках гитары показалось мне, будто луч солнца проник в мою душу. Я распахнул окно и тихо проговорил, что не сплю. „Тише, тише!“ — слышалось в ответ. Не долго думая, перелез я через подоконник, захватив с собой письменцо и скрипку, и спустился по старой, потрескавшейся стене, цепляясь руками за кусты, росшие в расселинах. Однако несколько ветхих кирпичей подались, я начал скользить все быстрее и быстрее и наконец плюхнулся обеими ногами на землю, так что в голове у меня так и затрепало.

Не успел я таким манером достигнуть сада, как кто-то заключил меня в объятия с такой силой, что я громко вскрикнул. Но добрый друг живо приложил мне палец к губам, взял за руку и вывел из заросли на простор. И тут я с удивлением узнал милого долговязого студента; на шее у него висела гитара на широкой шелковой ленте.— Я рассказал ему, не теряя ни минуты, что хочу выбраться из сада. Казалось, он давно это сам знает, а потому он повел меня разными окольными путями к нижним воротам, находившимся в высокой садовой ограде. Но и те ворота были наглухо заперты. Однако студент предусмотрел и это, он вынул большой ключ и осторожно их отпер.

Едва мы вышли в лес, я спросил его, как добраться кратчайшим путем до соседнего города; тогда он внезапно опустился передо мной на одно колено и поднял руку, разражаясь возгласами отчаяния и любви. Слушать его было ужасно: я совсем не знал, чего он хочет,

я только все слышал: Iddio *, да cuore **, да amore ***, да furore ****! Но когда он, стоя на коленях, начал быстро приближаться ко мне, я испугался не на шутку, ибо понял, что студент сошел с ума; я бросился бежать без оглядки в самую чащу леса.

Я слышал, как студент кинулся вслед за мной, крича, словно одержимый. Через некоторое время, как бы вторя ему, со стороны замка послышался другой, грубый голос. — „Наверное, они пустятся за мной в погоню“, — подумал я. Дороги я не знал, ночь была темная, я легко мог снова попасться им в руки. Поэтому я взобрался на вершину высокой ели и решил там переждать.

Отсюда мне было слышно, как в замке люди пробуждались один за другим. Наверху замелькали огни, бросая зловещий, красный отсвет на старые стены замка и с горы далеко в темную ночь. Я поручил свою судьбу всевышнему, так как шум приближался и становился все явственнее. Наконец студент с факелом в руках промчался мимо моего дерева; полы его куртки далеко развевались по ветру. Потом все, видимо, устремились по другому склону горы, голоса стихли, и ветер снова зашумел в пустынном лесу. Тогда я поспешно слез с дерева и, не переводя духа, побежал долиной во мрак ночи.

Глава седьмая

Я шел без роздыха день и ночь. В ушах у меня звенело, мне все еще чудилась погоня из замка с криками, факелами и длинными ножами. По дороге я узнал, что нахожусь всего в нескольких милях от Рима. Я даже испугался от радости. О прекрасном Риме слышал я еще дома, в детстве, много чудесного; часто, лежа в воскресный день в траве возле мельницы, когда

* Бог. *Д. У.*

** Сердце. *Д. У.*

*** Любовь. *Д. У.*

**** Ярость. *Д. У.*

вокруг было так тихо, воображал я себе Рим наподобие облаков, плывущих надо мной, с причудливыми горами и уступами у синего моря и с золотыми воротами и высокими сверкающими башнями, на которых пели ангелы в золотых одеяниях.— Давно уже стемнело, месяц ярко светил, когда я наконец выбрался из леса на холм, с которого вдалеке увидел город. Где-то мерцало море, в необозримом небе блистали и переливались неисчислимые звезды, а внизу покоился священный город,— его можно было узнать по узкой полосе тумана; он походил на спящего льва посреди безмолвной равнины, а кругом высились горы, подобно темным исполинам, охраняющим его.

Сперва я шел безлюдными обширными полями, где было мрачно и тихо, словно в гробнице. Лишь кое-где виднелись древние разрушенные стены или темнел высохший куст, ветви которого затейливо сплетались; временами надо мной проносились ночные птицы, и моя собственная тень, длинная и темная, одиноко сопутствовала мне. Говорят, будто здесь был когда-то город и в нем погребена госпожа Венера и язычники иногда в безмолвии ночи встают из могил, бродят по равнине и сбивают с пути странников. Но я все шел напрямик, не смущаясь этими рассказами.

Город все явственнее и чудеснее вставал передо мной, а высокие твердыни и ворота и золотые купола так дивно сверкали при свете луны, будто и вправду ангелы в золоченых одеяниях стояли наверху и голоса их сладостно пели в ночной тишине.

Так миновал я сперва лачуги предместья, затем, пройдя великолепные ворота, вошел в славный город Рим. Луна освещала дворцы, как будто на дворе стоял солнечный день, но на улицах было уже пустынно, и лишь кое-где на мраморных ступенях валялся оборванец, точно мертвый, и спал, овеянный теплым ночным воздухом. Фонтаны журчали на безлюдных площадях, им вторил шорох садов, наполнявших воздух живительным благоуханием.

В то время, как я шел, не зная от удовольствия, луны и ароматов, куда мне глядеть, я вдруг услышал из глубины какого-то сада струны гитары. „Боже мой,— подумал я,— верно, меня настиг безумный студент в длиннополом сюртуке!“ Но тут в саду послышалось пение — я услышал прелестный женский голос. Я остановился, как вкопанный,— то был голос моей прекрасной госпожи, и она пела ту самую итальянскую песенку, которую не раз певала у себя дома у раскрытого окна.

Я вспомнил добрые старые времена, и мне вдруг стало так больно, что я готов был заплакать горькими слезами; вспомнилось мне все: тихий сад перед замком в час рассвета, и мое блаженство там, за кустами, и дурацкая муха, влетевшая мне прямо в нос. Я не в силах был удержаться. Я взобрался по золоченым украшениям, перекинулся через решетчатые ворота и прыгнул в сад, откуда доносилось пение. Тут я заметил, в отдалении за тополем стройную белую фигуру; она сначала смотрела с удивлением, как я карабкался по железной решетке, а затем опрометью кинулась по темному саду прямо к дому, так что в лунном свете только мелькали ее ноги.— „Это она сама!“ — воскликнул я, и сердце мое затрепетало от радости, ибо я сразу узнал ее по ее маленьким, проворным ножкам. Одно было плохо: когда я перебирался через решетку, я оступился на правую ногу, и мне пришлось поразмяться, прежде чем броситься ей вдогонку. Тем временем в доме наглухо заперли все двери и окна. Я робко постучался, стал прислушиваться, потом постучал снова. Было ясно,— в комнате тихонько шептались и хихикали, и мне даже показалось, как чьи-то светлые глаза сверкнули в лунном свете из-под спущенных ставень. Потом все смолкло.

„Она не знает, что это я“, — подумал я, достал скрипку, с которой не расставался, и, расхаживая перед домом, принялся играть и петь песню о прекрасной госпоже; от радости я сыграл подряд все песни, какие я игрывал тогда дивными летними ночами в замковом саду или на скамье у сторожки, когда песня моя неслась к самым

окнам замка.— Но все было напрасно, в доме никто не шелохнулся. Тогда я печально убрал скрипку и прилег на пороге, потому что очень устал от долгой ходьбы. Ночь была теплая, куртины возле дома благоухали, поодаль, несколько ниже, слышался плеск водомета. Мне грезились небесноглубые цветы, роскошные темнозеленые одинокие долины, в которых бьют ключи и шумят ручейки и пестрые птицы так удивительно поют, и, наконец, я погрузился в глубокий сон.

Когда я проснулся, утренний холодок пронизывал меня. Птицы уже щебетали, сидя на деревьях, как будто поддразнивая меня. Я вскочил и стал осматриваться. Водомет в саду продолжал шуметь, однако в доме не было слышно ни звука. Я заглянул сквозь зеленые ставни в одну из комнат. Там находилась софа и большой круглый стол, накрытый серым полотном, стулья стояли вдоль стен в большом порядке; но на всех окнах снаружи были спущены ставни, и дом казался необитаемым уже много лет. Тут меня охватил страх перед пустынным домом и садом, а также перед вчерашним белым видением. Без оглядки побежал я мимо уединенных беседок, по аллеям и быстро взобрался снова на садовые ворота. Но тут я застыл, словно очарованный, взглянув с высоты ограды на пышный город. Утреннее солнце играло на крышах домов и пронизывало длинные тихие улицы,— я громко воскликнул от восторга и соскочил на землю.

Но куда идти в большом, незнакомом городе? Кроме того, из головы не выходила странная ночь и итальянская песня прекрасной дамы. Наконец, на одной пустынной площади я сел на каменные ступени фонтана, умылся студеной водой и зашел:

Ах, быть бы птичкой мне —
Пропел бы я песенок много!
Ах, быть бы птичкой мне —
Нашел бы я к милой дорогу!

„Эй, ты, веселый молодец, ведь ты поешь, словно жаворонок ранним утром!“ — обратился вдруг ко мне

молодой человек, подошедший к фонтану, пока я пел. Когда я услышал так неожиданно немецкую речь, мне почудилось, будто мой родной сельский колокол звонит к обедне в воскресный день. „Привет вам, любезнейший сударь земляк!“ — воскликнул я радостно, соскочив с каменного водомета. Молодой человек улыбнулся и оглядел меня с головы до ног. „Однако что вы, собственно, подельваете здесь, в Риме?“ — спросил он наконец. Я сразу не нашелся, как ответить, ибо мне совсем не хотелось говорить, что я повсюду разыскиваю прекрасную госпожу.— „Что я здесь подельваю? — возразил я, — так, скитаюсь по белу свету, да разглядываю все кругом“. — „Вот как! — молвил молодой человек и звонко засмеялся. — Значит мы с вами товарищи, одним и тем же занимаемся. Я, знаете ли, тоже разглядываю все кругом, да вдобавок еще рисую, что вижу“. — „Значит вы художник?“ — радостно воскликнул я и тут же припомнил господина Леонхарда и Гвидо. Однако господин не дал мне договорить. „Надеюсь, — сказал он, — ты отправишься ко мне, и мы вместе закусим, а там я тебя нарисую на славу!“ Я охотно согласился, и мы вместе с художником пустились по безлюдным улицам, где только что открывались лавки, и в утренней свежести из окон то тут, то там просовывались белые руки или выглядывало заспанное личико.

Он долго вел меня по запутанным, узким и темным улочкам, пока мы наконец не юркнули в ворота старого, закоптелого дома. Мы поднялись по темной лестнице, потом по другой, словно хотели взобраться на небо. Наконец мы остановились у двери под самой крышей, и тут художник начал с большой поспешностью выворачивать карманы. Но он сегодня утром позабыл запереть комнату, а ключ оставил в двери. По дороге он рассказал мне, что отправился за город еще до рассвета, полюбоваться окрестностью на восходе солнца. Он только покачал головой и ногой распахнул дверь.

Мы вошли в длинную-предлинную горницу, такую длинную, что в ней можно бы танцовать, если бы на

полу не было столько навалено всякой всячины. Там лежали башмаки, бумага, платье, опрокинутые банки из-под красок, все вперемешку; посреди горницы высились большие подставки, такие, как употребляют у нас, когда надо снимать груши с деревьев; у стен повсюду стояли прислоненные большие картины. На длинном деревянном столе я увидел блюдо, на котором, рядом с мазком краски, лежали хлеб и масло. Тут же припасена была бутылка вина.

„А теперь первым делом ешьте и пейте, земляк!“ — обратился ко мне художник. — Я сейчас же хотел намазать себе два-три бутерброда, но не оказалось ножа. Мы долго шарили на столе среди бумаг и, наконец, нашли ножик под большим свертком. Затем художник распахнул окно, и свежий утренний воздух радостно ворвался в комнату. Из окна открывался роскошный вид на весь город и на горы, где утреннее солнце весело освещало белые домики и виноградники. — „Да здравствует наша прохладная, зеленая Германия там, за горами!“ — воскликнул художник и отпил прямо из бутылки, передав ее потом мне. Я вежливо промолвил: „За ваше здоровье“, и в душе вновь и вновь посылал привет моей прекрасной далекой родине.

Тем временем художник придвинул деревянную подставку, на которой был натянут огромный лист бумаги, поближе к окну. На бумаге одними черными крупными штрихами весьма искусно была нарисована старая лачуга. В лачуге сидела пресвятая дева; лицо ее, красоты необычайной, было и радостным и, вместе с тем, печальным. У ног ее лежал в яслях, на соломе, младенец; он приветливо улыбался, но глаза были широко раскрыты и смотрели задумчиво. У распахнутых дверей стояли на коленях два пастушка, с посохом и сумой. — „Видишь ли! — сказал художник, — вот тому пастушку мне хочется приставить твою голову, и тогда на лицо твое поглядят люди и, даст бог, будут глядеть на него много лет спустя, когда нас с тобой давным-давно не будет на свете, и оба мы склонимся так же блаженно

и радостно перед богородицею и ее сыном, как эти счастливые мальчики, здесь, на картине!“ — С этими словами он взял старый стул, но, когда он его поднимал, часть спинки отвалилась и осталась у художника в руках. Он тотчас снова собрал его, усадил против себя, я сел и повернулся немного боком к художнику. Так я просидел, не двигаясь, несколько времени. Но не знаю отчего, я не мог долее выдержать, то тут, то там у меня начинало чесаться. На грех, как раз против меня, висел осколок зеркала и я беспрестанно смотрелся в него и от скуки, пока художник рисовал, строил рожи. Тот, заметив это, расхохотался и сделал знак рукой, чтобы я встал. К тому же рисунок был готов, и лицо пастушка было так хорошо, что я сам себе весьма понравился.

Художник продолжал усердно работать, напевая песенку и глядя порою на роскошный вид из раскрытого окна, в которое тянуло утренней прохладой. Я же тем временем отрезал себе еще кусок хлеба и, намазав его маслом, стал прохаживаться по комнате, рассматривая картины, прислоненные к стене. Из них особенно мне понравились две. „Это тоже вы написали?“ — спросил я художника. „Как бы не так! — ответил он, — они принадлежат кисти знаменитых мастеров Леонардо да Винчи и Гвидо Рени — но ведь ты об них все равно ничего не знаешь!“ — Мне стало досадно на такие слова. „О, — возразил я как нельзя спокойнее, — этих двух художников я знаю, как свои пять пальцев“. — Он изумленно посмотрел на меня. „Как так?“ — поспешно спросил он. „Ну да, — промолвил я, — ведь с ними же я путешествовал день и ночь напролет, и верхом, и пешком, и в карете, так что только ветер свистал в уши, а потом я их обоих потерял из виду, в одной гостинице, и поехал дальше в их карете на курьерских, и эта чортова карета летела во весь опор на двух колесах по отчаянным камням и...“ — „Охо! охо!“ — прервал мой рассказа художник и уставился на меня так, как будто я сошел с ума. Вслед за тем он разразился громким смехом. „Ах, — воскликнул он, — теперь я по-

нимаю, ты странствовал с двумя художниками, которых звали Гвидо и Леонхард?" — Я подтвердил это, тогда он вскочил и снова оглядел меня с головы до пят еще пристальнее. „Уж не играешь ли ты на скрипке?" — спросил он. — Я хлопнул по камзолу, и послышался отзвук струн. „Ну, да, — промолвил художник, — тут была одна немецкая графиня, так она справлялась во всех закоулках Рима о двух художниках и о молодом скрипаче". — „Молодая немецкая графиня?" — в восторге вскрикнул я, — а швейцар тоже с ней?" — „Ну, этого я уже не могу знать, — отвечал художник, — я видел ее всего несколько раз у одной ее знакомой дамы, которая, впрочем, живет за городом. — Узнаешь?" — сказал он, приподнимая внезапно уголок полотна, скрывавшего большую картину. При этом мне показалось, будто в темной комнате открыли ставни и лучи солнца ослепили меня, то была — сама прекрасная госпожа! — она стояла в саду, одетая в черное бархатное платье; одной рукой она приподнимала вуаль и смотрела тихим и приветливым взором на живописную местность, далеко растилающуюся перед ней. Чем больше я всматривался, тем яснее узнавал я сад перед замком, ветер колыхал цветы и ветви, а там, внизу, мне мерещилась моя сторожка, и дальше в зелени большая дорога, и Дунай, и далекие синие горы.

„Она, она!" — воскликнул я наконец, схватил шляпу и, выбежав за дверь, сломя голову помчался по лестнице и только слышал, как изумленный художник кричал мне вдогонку, чтобы я приходил под вечер, к тому времени, быть может, удастся еще кое-что разузнать!

Глава восьмая

Я пустился бежать через весь город, чтобы поскорее явиться перед прекрасной дамой, в беседке, где она вчера вечером пела. Улицы стали оживленнее, кавалеры и дамы в пестрых нарядах прогуливались по солнечной стороне, раскланивались и кивали друг другу,

по улицам катились великолепные кареты, а со всех колоколен гудел праздничный звон, торжественно и чудесно разносясь над толпой в ясном воздухе. Я словно охмелел от счастья, а также от городской суетни; я бежал куда глаза глядят, не помня себя от радости, и под конец уже не знал, где нахожусь. Все было точно заколдовано, и мне казалось, будто тихая площадь с фонтаном, и сад, и дом были только сновидением и что на дневном свете они исчезли с лица земли.

Спросить я никого не мог, ибо не знал, как называется площадь. Кроме того, становилось очень жарко, солнечные лучи отвесно падали на мостовую, как палящие стрелы, люди попрятались по домам, повсюду опустились деревянные ставни, и улицы сразу точно вымерли. Тогда я в полном отчаянии лег на крыльце большого богатого дома с балконом и колоннами, отбрасывающими широкую тень; я глядел то на вымерший безлюдный город, который теперь в знойный полдневный час показался мне довольно страшным, то на темнолазурное небо без единого облачка, и наконец от усталости даже задремал. И приснилось мне, будто я в своем родном селе лежу на укромной зеленой лужайке, идет теплый летний дождь, сверкая на солнце, которое вот-вот скроется за горами, капли падают на траву, и то уже не капли, а чудные пестрые цветы, и я весь осыпан ими.

Но каково было мое удивление, когда, проснувшись, я увидел, что в самом деле вокруг меня и на моей груди лежит множество прекрасных, свежих цветов. Я вскочил, но не заметил ничего особенного; только в доме наверху, прямо надо мной было распахнуто окно, а на окне стояли благоухающие растения и цветы, а за ними, не переставая, болтал и кричал попугай. Я собрал разбросанные цветы, связал их и засунул букет в петлицу. Потом я завел небольшую беседу с попугаем: мне нравилось, как он прыгает взад и вперед по своей золоченой клетке, проделывая всевозможные штуки и неуклюже приседая и топчась на одной лапе. Но не

Иосиф фон Эйхендорф

успел я опомниться, как он обозвал меня „furfante *!“ Хотя то и была неразумная птица, все же мне стало очень обидно. Я его обругал в свою очередь, оба мы разгорячились, чем больше я бранился по-немецки, тем шибче он лопотал по-итальянски, злясь на меня.

Вдруг я услышал, как позади меня кто-то хохочет. Я живо обернулся. То был мой сегодняшний художник. „Что ты опять дурака ломаешь?— проговорил он,— я жду тебя добрых полчаса. Сейчас стало прохладнее, мы отправимся за город, в сад, там ты найдешь еще земляков и, быть может, узнаешь поболее о немецкой графине!“

Я несказанно обрадовался, и мы тотчас пустились в путь, а попугай еще долго продолжал выкрикивать мне вслед бранные слова.

Выйдя за город, мы сначала долгое время подымались по узким каменистым тропинкам между вилами и виноградниками, пока не пришли, наконец, в небольшой сад, расположенный на холме; там, под зеленой сенью, за круглым столом, сидело несколько молодых людей и девиц. Как только мы вошли, нам подали знак, чтобы мы не шумели, указав при этом на другой угол сада. Там, в просторной густо заросшей беседке, за столом, друг против друга, сидели две прекрасные дамы. Одна из них пела, а другая сопровождала ее пение игрой на гитаре. Между ними у стола стоял человек с приветливым лицом; он иногда отбивал такт маленькой палочкой. Заходящее солнце поблескивало сквозь виноградные листья, бросая отсвет то на вина и фрукты, которыми был уставлен стол, то на полные, ослепительно белые плечи дамы, игравшей на гитаре. Другая, словно иступленная, пела по-итальянски весьма искусно, и при этом жилы у нее на шее так и вздувались.

Воздев очи к небу, она выдерживала длительную каденцию, а господин, рядом с ней, ожидал, подняв палочку, когда она начнет следующий куплет; все за-

* Мошенник. *Д. У.*

таили дыхание; в это время садовая калитка широко распахнулась, и в сад вбежали, ссорясь и бранясь, разгоряченная девушка, а за ней бледный молодой человек с тонкими чертами лица. Испуганный маэстро застыл с поднятой палочкой, словно волшебник, сам превращенный в камень, а певица сразу оборвала длинную трель и гневно поднялась. Прочие яростно зашипели на вбежавших. „Варвар! — закричал один из сидевших за круглым столом, — ты своим появлением только разрушил глубоко содержательную живую картину, которую покойный Гофман описал на стр. 347 „Женского альманаха на 1816 год“ на основании чудеснейшего полотна Гуммеля, выставленного на берлинской художественной выставке осенью 1814 года!“ Но ничто не помогло. — „Ну вас совсем, с вашими картинами картин! — проговорил юноша. — По мне — так: мое творение — для других, а моя девушка — для меня одного! На этом я стою. Ах ты, неверная, ах ты, изменница! — продолжал он, обрушиваясь на бедную девушку, — ах ты, рассудочная душа, которая ищет в искусстве лишь блеск серебра, а в поэзии одну золотую нить, для тебя нет ничего дорогого, а есть только одни драгоценности. Желаю тебе отныне, вместо честного дуралея-художника, старого герцога; пусть у него на носу помещается целая алмазная россыпь, голая лысина отликает серебром, а последний пучок волос на макушке — самым что ни на есть золотом, как обрез у роскошного издания. Однако отдашь ли ты, наконец, треклятую записку, которую ты от меня спрятала? Чего ты там опять нашла? От кого эта писулька и кому она предназначена?“

Но девушка упорно сопротивлялась, и чем теснее гости обступали разгневанного юношу, шумно успокаивая и утешая его, тем больше он бесновался: надо сказать, что и девушка не умела держать язычок за зубами; под конец она, плача, вырвалась из круга и бросилась ко мне на грудь, словно прося у меня защиты. Я не замедлил стать в должную позу, но так

как все остальные в общей суматохе не обращали на нас внимания, девушка вдруг подняла головку и уже совсем спокойно скороговоркой прошептала мне на ухо: „Ах ты, противный смотритель! Через тебя я должна страдать. На, спрячь-ка поскорее злополучную записку, там сказано, где мы живем. Значит, в условленный час ты будешь у ворот? Помни, когда пойдешь по безлюдной улице, держись все время правой стороны“.

От удивления я не мог вымолвить ни слова; я пристально посмотрел на девушку и сразу признал ее: это была бойкая горничная из замка, та, что мне в тот чудесный праздничный вечер принесла бутылку вина. Никогда еще не казалась она мне столь миловидной: лицо ее разгорелось, она прижалась ко мне, и черные кудри ее рассыпались по моим рукам. — „Однако, многоуважаемая барышня, — промолвил я изумленно, — как вы сюда...“ — „Ради бога, молчите, молчите хоть сейчас!“ — ответила она, и не успел я опомниться, как она отпрянула от меня на другой край сада.

Тем временем, остальные почти позабыли о первоначальном разговоре; они довольно весело продолжали перебраниваться, доказывая молодому человеку, что он в сущности пьян и что это совсем не годится для уважающего себя художника. Круглый проворный человек, тот, что стоял в беседке, оказавшийся, как я после узнал, большим знатком и покровителем искусств и из любви к наукам принимавший участие решительно во всем, — этот человек тоже забросил свою палочку и усердно расхаживал посреди спорящих; его жирное лицо лоснилось от удовольствия, ему хотелось все уладить и всех успокоить, а кроме того, он то-и-дело сожалел о длинной каденции и прекрасной живой картине, которую он с таким трудом наладил.

А у меня на душе сияли звезды, как тогда, в тот блаженный субботний вечер, когда я просидел до поздней ночи у открытого окошка за бутылкой вина, играя на скрипке. Суматоха все не кончалась, и я решил достать свою скрипку и, не долго думая, принялся

играть итальянский танец, который танцуют в горах и которому я научился, живя в старом, пустынном замке.

Все прислушались. „Браво, брависсимо, вот удачная мысль!“ — воскликнул веселый ценитель искусств и стал подбегать то к одному, то к другому, желая, как он выразился, устроить сельское развлечение. Сам он положил начало, предложив руку даме, той, что играла в беседке на гитаре. Вслед за этим он начал необычайно искусно танцевать, описывая на траве всевозможные фигуры, отменно семенил ногами, словно выводя трель, а порой даже совсем недурно подпрыгивал. Однако скоро ему это надоело, он был малость тучен. Прыжки его становились все короче и нескладнее, наконец он вышел из круга, сильно закашлялся и принялся вытирать пот белоснежным платком. Тем временем молодой человек, кстати сказать, совсем остепенившийся, принес из соседней гостиницы кастаньеты, и не успел я оглянуться, как все заплясали под деревьями. Еще атели отблески заходящего солнца в густой тени деревьев, на дряхлеющих стенах и на замшелых, оббитых плющом колоннах; по другую сторону, вдаль, за склонами виноградников раскинулся Рим, утопавший в вечернем сиянии. Любо было смотреть, как они пляшут тихим, ясным вечером в густой зелени; сердце у меня ликовало при виде, как стройные девушки, и среди них горничная, кружатся на лужайке, подняв руки, словно языческие нимфы, всякий раз весело пощелкивая кастаньетами. Я не утерпел, кинулся к ним и, продолжая играть на скрипке, принялся отплясывать в лад со всеми.

Так я вертелся и прыгал довольно долго и совсем не заметил, что остальные, утомившись, мало-по-малу исчезли с лужайки. Тут кто-то сильно дернул меня за фалды. Передо мной стояла горничная девушка. „Не валяй дурака! — прошептала она, — что ты скачешь, словно козел! Прочитай-ка хорошенько записку, да приходи вскоре, — молодая прекрасная графиня ждет

тебя“.— Сказав это, она украдкой проскользнула в садовую калитку и затем скрылась за виноградниками в дымке наступившего вечера.

Сердце у меня билось, я готов был тотчас же броситься за девушкой. К счастью, слуга зажег большой фонарь у калитки, так как стало совсем темно. Я подошел к свету и достал записку. В ней довольно неразборчиво карандашом описывались ворота и улица, о которых мне сообщила горничная. В конце я прочел слова: „в одиннадцать у маленькой калитки“.

Оставалось ждать еще два-три долгих часа!— Невзирая на это, я решил немедленно отправиться в путь, ибо дольше не знал покоя; но тут на меня напустился художник, приведший меня сюда. „Ты говорил с девушкой?— спросил он,— я ее нигде не вижу; это— камеристка немецкой графини“.— „Тише, тише!— умолял я,— графиня еще в Риме“.— „Тем лучше,— возразил художник,— пойдем к нам и выпьем за ее здоровье!“ и он потащил меня, несмотря на мое сопротивление, обратно в сад.

Кругом все опустело. Развеселившиеся гости собрались по домам: каждый, взяв под руку свою милую, направился обратно в город; голоса их и смех еще долго раздавались в вечерней тишине виноградников и постепенно замерли в долине, теряясь в шуме деревьев и реки. Я остался один со своим художником и с господином Экбрехтом— так звали другого молодого художника, того, который давеча так бранился. Между высоких черных деревьев светил месяц, на столе, колеблемая ветром, горела свеча, бросая зыбкий отсвет на пролитое вино. Я присел, и художник стал спрашивать меня о том, о сем, откуда я родом, о моем путешествии и намерениях. Господин Экбрехт посадил к себе на колени хорошенькую служанку, которая подавала вино, дал ей гитару и стал учить ее наигрывать какую-то песенку. Она довольно скоро освоилась и стала перебирать струны маленькими руками, и они вдвоем затянули итальянскую песню почереду, один куплет

он,— другой — девушка; все это было как нельзя более согласно с дивным, тихим вечером.— Вскоре девушку кликнули, и господин Экрехт, откинувшись на спинку скамьи и положив ноги на стул, стоявший перед ним, начал под аккомпанемент гитары петь уже для себя: он спел много прекрасных песен, итальянских и немецких, не обращая на нас уже ни малейшего внимания. В ясном небе сверкали звезды, вся окрестность казалась посеребренной от лунного света, я думал о своей прекрасной даме, далекой родине и совсем позабыл о художнике, сидевшем тут же подле. Господину Экрехту приходилось то-и-дело настраивать гитару, это его очень сердило. Он вертел инструмент и так его дернул, что одна струна лопнула. Тогда он отшвырнул гитару и вскочил. Тут только он увидел, что мой художник крепко заснул, облокотясь на стол. Господин Экрехт поспешно накинул на себя белый плащ, висевший на суку, недалеко от стола, затем как бы спохватился, зорко поглядел сперва на художника, а потом на меня, и, не долго думая, сел против меня за стол, откашлялся, поправил галстук и начал следующую речь: „Любезный слушатель и земляк! В бутылках почти ничего не осталось, а мораль, бесспорно, первейшая обязанность гражданина, когда добродетели идут на убыль, и потому чувства сородича побуждают меня дать тебе небольшой урок морали.— Глядя на тебя,— продолжал он,— можно подумать, что ты только юноша; между тем фрак твой порядком поизносился; допустим, ты выделявал преудивительные прыжки, не хуже сатира; иные могут подумать, что ты и вовсе бродяга, потому что скитаешься по чужой стране и играешь на скрипке; но я не обращаю внимания на такие скороспелые суждения и, судя по твоему прямому, тонкому носу, считаю тебя гением не у дел“.— Его заносчивые речи сильно меня раздосадовали, и я уже готовился дать ему должный отпор. Но он перебил меня. „Вот видишь, ты уже надулся и от такой малой лести. Образумься и поразмысли хорошенько о столь опасном занятии. Нам, ге-

ниям,— ибо я тоже гений,— наплевать на весь свет, равно как и ему на нас, мы, не стесняясь ничем, шагаем прямо в вечность в наших семимильных сапогах, в которых мы скоро будем прямо рождаться на свет. Надо сознаться, в высшей степени жалкое, неудобное, растопыренное положение, одной ногой в будущем, где ничего нет, кроме утренней зари да младенческих личиков грядущих поколений, а другой ногой в самом сердце Рима на Piazza del Popolo, где твои современники, пользуясь случаем, желают следовагь за тобой и так виснут у тебя на сапоге, что готовы вывихнуть ногу. Подумай только, и возня, и пьянство, и голодовка — все это лишь ради бессмертной вечности. Погляди-ка на моего почтенного коллегу, вон там на скамье, он ведь тоже гений; ему и время-то скучно, что же он станет делать в вечности? Да-с, досточтимый господин коллега, ты да я, да солнце, все мы сегодня утром вместе встали и весь день прокорпели да прорисовали, и было как нельзя лучше,— ну а теперь сонная ночь, как проведет меховым рукавом по вселенной, так и сотрет все краски!“ Он говорил без умолку; волосы его от пляски и питья были совершенно спутаны, и при лунном свете он сам казался бледным, как мертвец.

Мне уже давно стало не по себе от его дикой болтовни; я воспользовался случаем, когда он торжественно обратился к спящему художнику, и, незаметно обойдя стол, ускользнул вон из сада; очутившись один, я с легким сердцем спустился вдоль вьющихся лоз прямо в долину, озаренную луною.

В городе на башнях пробило десять. В тишине ночи издалека порой доносились звуки гитары да голоса обоих художников, также возвращавшихся домой. А потому я бежал, как можно быстрее, боясь, что они меня настигнут и опять начнут выспрашивать.

Дойдя до ворот, я тотчас же свернул направо и поспешно зашагал по улице вдоль тихих домов, окруженных садами. Сердце у меня сильно билось. Однако каково было мое изумление, когда я внезапно очутился

на площади с фонтаном, которую я сегодня днем никак не мог отыскать. Вот опять стоит под луной та же одинокая беседка, а там, в саду, прекрасная дама поет ту же итальянскую песню, что и вчера вечером.— Не помня себя от восторга, кинулся я сперва к маленькой калитке, затем к входной двери и наконец толкнул изо всех сил большие садовые ворота; но все было наглухо заперто. „Еще не пробило одиннадцати“,— подумал я, и мне стало досадно, что время идет так медленно. Но перелезая через садовую ограду, как вчера, не было охоты: для этого я был слишком хорошо воспитан. Некоторое время я ходил взад и вперед по безлюдной площади и наконец присел, в раздумьи и ожидании, у каменного фонтана.

На небе сверкали звезды, на площади было пусто и безмолвно, и я с удовольствием внимал пению прекрасной госпожи, которое долетало из сада, сливаясь с журчанием фонтана. И вдруг я увидел белую фигуру, направляющуюся с другой стороны площади прямо к садовой калитке, всмотрелся и при свете луны узнал дикого художника в белом плаще. Он поспешно выгасил ключ, отомкнул калитку, и, не успев опомниться, как он уже был в саду. У меня с вечера еще был зуб на художника за его безрассудные речи. Но теперь я уже не помнил себя от гнева.— Беспутный гений, верно, опять пьян,— подумал я,— он получил ключ от горничной девушки и теперь намеревается обманом подкрасться и напасть на господу.— Я бросился в сад через калитку, которая осталась открытой.

Когда я вошел, кругом все было тихо и безмолвно. Двухстворчатая дверь беседки была распахнута настежь, изнутри струился молочно-белый свет, ложившийся полосой на траву и на цветы. Я издали заглянул в беседку. В роскошной зеленой комнате, слабо освещенной белой лампой, на шелковой кушетке полулежала прекрасная госпожа с гитарой в руках; ее невинное сердце и не чуяло, какая опасность ее подстерегает.

Мне недолго пришлось любоваться, ибо вскоре я за-

метил, как белая фигура, крадучись за кустами, приблизилась уже с другой стороны к беседке. Оттуда слышалось пение госпожи, притом такое жалобное, что у меня мороз по коже пробегал. Недолго думая, сломал я здоровый сук и бросился прямо на белый плащ, крича во все горло: „Караул!“, так что весь сад затрепетал.

От этой неожиданной встречи художник пустился бежать, что есть духу, с отчаянным криком. Я ему не уступал по части крика, он помчался по направлению к беседке, я за ним — и вот-вот поймал бы его, но тут я роковым образом зацепился за высокий цветущий куст и растянулся во всю длину у самого порога.

„Так это ты, болван! — послышалось надо мной, — и напугал же ты меня!“ — Я живо поднялся и, протирая глаза от пыли и песку, увидел перед собой горничную девушку, у которой только что, видимо, от последнего прыжка, соскользнул с плеча белый плащ. Тут я уж совсем опешил. „Позвольте, — сказал я, — разве здесь не было художника?“ — „Разумеется, — задорно ответила она, — по крайней мере, его плащ, который он на меня накинул, когда мы с ним давеча повстречались у ворот, а то я совсем замерзла.“ — В это время в дверях показалась прекрасная госпожа, она вскочила со своей софы и подошла, заслышав наш разговор. Сердце у меня готово было разорваться. Но как описать мой испуг, когда я пристально всмотрелся и вместо моей прекрасной дамы увидел совсем чужую особу!

Передо мной стояла довольно высокая, полная дама пышного сложения: у нее был гордый орлиный нос, черные брови дугой, и вся она была страсть как хороша. Большие сверкающие глаза ее смотрели так величественно, что я не знал, куда деваться от почтения. Я совсем смешался, все время отпускал комплименты и под конец хотел поцеловать ей руку. Но она отдернула руку и что-то сказала камеристке по-итальянски, чего я не понял.

Тем временем от нашего крика проснулось все по соседству. Всюду лаяли собаки, кричали дети, разда-

вались мужские голоса, которые все приближались. Дама еще раз взглянула на меня, как бы стрельнув двумя огненными пулями, затем повернулась ко мне спиной и направилась в комнату; при этом она надменно и принужденно засмеялась, хлопнув дверью перед самым моим носом. Горничная же без дальних слов ухватила меня за фалды и потащила к калитке.

„Опять ты наделал глупостей“, — злобно говорила она по дороге. Тут и я не стерпел: „Чорт побери! — выругался я, — ведь вы сами велели мне сюда явиться!“ — „В том-то и дело, — воскликнула девушка, — моя графиня так расположена к тебе, она тебя закидала цветами из окна, пела тебе арии — и вот что она получает за это! Но тебя, видно, не исправишь; ты сам попираешь ногами свое счастье“. — „Но ведь я полагал, что это графиня из Германии, прекрасная госпожа!“ — возразил я. — „Ах, — прервала она меня, — та уже давным-давно вернулась обратно в Германию, а с ней и твоя безумная страсть. Беги за ней, беги! Она и без того по тебе томится, вот вы и будете вместе играть на скрипке да любоваться на луну, только, смотри, не попадайся мне больше на глаза!“

В это время позади нас послышался отчаянный шум и крик. Из соседнего сада показались люди с дубинами; одни быстро перелезли через забор, другие, ругаясь, уже рыскали по аллеям, в тихом лунном свете из-за изгороди выглядывали то тут, то там сердитые рожи в ночных колпаках. Казалось, это сам дьявол выпускает свою бесовскую ораву из чащи ветвей и кустарников. Горничная не растерялась. „Вон, вон, бежит вор!“ — закричала она, указывая в противоположную сторону сада. Затем она проворно вытолкнула меня за калитку и заперла ее за мной.

И вот я снова стоял, как вчера, под открытым небом на тихой площади, один как перст. Водомет, так весело сверкавший в лунном сиянии, как будто ангелы всходят и спускаются по его ступеням, шумел и сей-час; у меня же вся радость словно в воду канула. —

Я твердо решил навсегда покинуть вероломную Италию, ее безумных художников, померанцы и камеристок и в тот же час двинулся к городским воротам.

Глава девятая

Стоят на страже выси гор
И шепчут: „Кто то в ранний час
Идет с чужбины мимо нас?“
Но вот завидел их мой взор,
И вновь привольно дышит грудь,
И, радостно кончая путь,
Кричу пароль и лозунг я:
Виват, Австрия!

И тут узнал меня весь край —
Ручьи, узоры нежных трав
И птичий хор в тени дубрав.
Среди долин блеснул Дунай,
Собор Стефана за холмом
Мелькает, словно отчий дом.
Места родные вижу я —
Виват, Австрия!

Я стоял на вершине горы, откуда впервые после границы открывается вид на Австрию, радостно размахивал шляпой в воздухе и пел последние слова песни; в этот миг позади меня, в лесу, вдруг заиграла чудесная духовая музыка. Быстро оборачиваюсь и вижу трех молодых в длинных синих плащах; один играет на гобое, другой — на кларнете, а третий, в старой треуголке — трубит на валторне; они так звучно аккомпанировали мне, что эхо прокатилось по всему лесу. Я немедленно достаю скрипку, вступаю с ними в лад и снова начинаю распевать. Музыканты переглянулись, как бы смутившись, валторнист втянул щеки и опустил валторну, остальные тоже смолкли и стали меня рассматривать. Я перестал играть и с удивлением поглядел на них. Тогда валторнист заговорил: „А мы, сударь, глядя на ваш длинный фрак, подумали, что вы путешествующий англичанин и любуетесь красотами

природы, совершая прогулку пешком; вот мы и хотели малость подработать и поправить свои финансовые дела. Но вы, как видно, сами из музыкантов будете.— „Я собственно зритель при шлагбауме,— возразил я,— и направляюсь прямо из Рима, но так как я довольно давно ничего не получал, а одним смотрением сыт не будешь, то и промышляю, пока что, скрипкой“.— „Нехлебное занятие по нынешним временам!“— сказал валторнист и снова отошел к лесной опушке; там он принялся раздуть своей треуголкой небольшой костер, который у них был разведен. „С духовыми инструментами куда выгоднее,— продолжал он;— бывало господа спокойно сидят за обедом; мы невзначай появляемся под сводами сений, и все трое принимаемся трубить изо всех сил— тотчас выбегает слуга и несет нам денег или какую еду— только чтобы поскорее избавиться от шума. Однако не желаете ли вы, сударь, закусить с нами?“

Костер в лесу весело потрескивал, веяло утренней прохладой, все мы уселись в кружок на траве, и двое из музыкантов сняли с огня горшочки, в котором варилось кофе с молоком, достали из карманов хлеб и стали по очереди пить из горшка, обмакивая в него свои ломтики; любо было глядеть, с каким апетитом они ели.— Валторнист молвил: „Я не выношу черного пойла,— подал мне половину толстого бутерброда и вынул бутылку вина.— Не хотите ли отведать, сударь?“— Я сделал порядочный глоток, но тотчас отдал бутылку: мне перекосило все лицо, до того было кисло.— „Местного происхождения,— пояснил музыкант,— верно, сударь испортил себе в Италии отечественный вкус“.

Он что-то поискал в своей котомке и достал оттуда, среди прочего хлама, старую, разодранную географическую карту, на которой еще был изображен император в полном облачении, со скипетром и державой. Он бережно разложил карту на земле, остальные подсели к нему, и все трое стали совещаться, какой дорогой им лучше идти.

„Вакации подходят к концу,—сказал один,—дойдя до Линца, мы должны сейчас же свернуть влево, тогда мы во-время будем в Праге“.— „Как бы не так!—вскричал валторнист,— кому ты очки втираешь? Сплошные леса, да одни угольщики, никакого художественного вкуса, и даже нет приличного дарового ночлега!“ — „Вздор!—ответил другой,— по-моему, крестьяне-то лучше всех, они хорошо знают, где у кого что болит, а кроме того, они не всегда заметят, если и сфальшивишь“.— „Видать сразу, у тебя нет ни малейшего самолюбия,—ответил валторнист,— *odi profanum vulgus et arceo* *, сказал один римлянин“.— „Но церкви-то, полагаю я, по пути встретятся,— заметил третий,— мы тогда завернем к господам священникам“.— „Слуга покорный!—сказал валторнист,— те дают малую толику денег, но зато читают пространные наставления, чтобы мы не рыскали без толку по свету, а лучше приналегали на науки; особенно, когда отцы духовные учуют во мне будущего собрата. Нет, нет, *clericus clericum non decimat* **. Но я вообще тут не вижу большой беды! Господа профессора сидят себе еще спокойно в Карлсбаде и не начинают курс день в день — „Да, *distinguendum est inter et inter* ***,—возразил второй,— *quod licet Jovi, non licet bovi!*“ ****.

Теперь я понял, что это пражские студенты, и сразу проникся к ним большим почтением, особенно за то, что латынь так и лилась у них из уст. „Сударь тоже изучает науки?“ — спросил меня вслед за тем валторнист. Я скромно ответил, что всегда пылал любовью к наукам, но не имел денег на учение.— „Это ровно ничего не значит,—воскликнул валторнист,— у нас тоже нет ни денег, ни богатых друзей. Умная голова всегда найдет выход. *Aurora musis amica* *****, а иначе говоря: сы-

* Ненавижу невежественную чернь и сторонюсь ее. *Д. У.*

** Рыбак рыбака видит издалека. *Д. У.*

*** Звезда от звезды разнится во славе. *Д. У.*

**** Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. *Д. У.*

***** Утренняя заря — подруга муз. *Д. У.*

тое брюхо к учению глухо. А когда со всех городских колоколен льется звон и уносится в горы, когда студенты гурьбой с громким криком высыпают из старой, мрачной Коллегии и разбредаются по солнечным улицам — тогда мы идем к капуцинам, к отцу эконому; у него нас ждет накрытый стол, а если он даже не накрыт скатертью, все же на нем стоит полная миска; ну, а мы не очень-то прихотливы и принимаемся за еду, а попутно совершенствуемся в латинской речи. Видите, сударь, так мы и учимся изо дня в день. Когда же наступает пора вакаций и другие студенты уезжают в колясках или верхом к своим родителям, — мы берем свои инструменты подмышку и шагаем по улицам к городским воротам, — и вот перед нами открыт весь широкий мир“.

Пока он говорил, мне стало, сам не знаю почему, как-то горько и больно, что о таких ученых людях никто на свете не позаботится. При этом я подумал о себе самом — что со мной ведь тоже дело обстоит не лучше, и слезы готовы были выступить у меня из глаз. — Валторнист взглянул на меня с большим удивлением. „Это ровно ничего не значит, — продолжал он, — мне даже и не хочется так путешествовать: лошади и кофе, свежее посланные постели и ночные колпаки — все предусмотрено, вплоть до колодки для сапог. Самая прелесть в том-то и состоит, чтобы выйти в дорогу ранним утром и чтобы высоко над тобой летели перелетные птицы; чтобы не знать вовсе, в каком окошке для тебя нынче засветит свет, и не предвидеть, какое счастье выпадет тебе на долю сегодня“.— „Да, — отозвался другой, — куда бы мы ни пришли с нашими инструментами, повсюду нас встречают радостно; придешь, бывало, в полдень на барскую усадьбу, войдешь в сени и станешь трубить — служанки пустанутся в пляс друг с дружкой тут же на крыльце; а господа велют приотворить дверь в залу — послушать музыку, а стук тарелок и запах жаркого сливается с веселыми звуками музыки; ну, а барышни за столом так и вертят головой чтобы

увидеть странствующих музыкантов“.— „Правда,— воскликнул валторнист, и глаза у него засверкали,— пусть другие на здоровье зубрят свои руководства, а мы тем временем изучаем большую книгу с картинками, которую нам на просторе раскрывает господь бог! Верьте нам, сударь, мы-то и есть те настоящие люди, которые смогут чему-нибудь да научить крестьян, а при случае в назидание так треснут кулаком по кафедре, что у мужика от умиления и сокрушения душа в пятки уйдет“.

Слушая их рассказы, я и сам повеселел, и мне тоже захотелось заняться науками. Я все слушал и слушал — люблю поговорить с людьми образованными, у которых можно чему-нибудь поучиться. Но до серьезной беседы дело не доходило. Одному из студентов вдруг стало страшно, что вакации так скоро кончатся. Он живо собрал свой кларнет, положил ноты на согнутое колено и стал разучивать труднейший пассаж из мессы, в которой намерен был участвовать по возвращении в Прагу. Он сидел, перебирая пальцами, и насвистывал, да порой так фальшиво, что мороз подирал по коже и нельзя было разобрать собственных слов.

Вдруг раздался бас валторниста. „Вот оно, нашел“, — при этом он радостно ткнул пальцем в карту, разложенную возле него. Другой на минуту перестал играть и с удивлением посмотрел на него. „Послушай-ка, — начал валторнист, — неподалеку от Вены есть замок, а в замке том есть швейцар, и швейцар этот мой кум! Дражайшие коллеги, туда мы и должны держать путь, засвидетельствовать почтение господину куму, а он уже позаботится, как нас спроводить дальше!“ — Услыхав это, я встрепенулся: „А не играет ли он на фаготе? — воскликнул я, — и каков он собой — длинный, прямой и с большим носом, как у знатных господ?“ Валторнист кивнул головой. От радости я бросился обнимать его и сбросил с него треуголку. Мы тотчас порешили сесть на почтовый корабль и поехать вниз по Дунаю в замок прекрасной графини.

Когда мы достигли берега, все уже было готово к отплытию. Хозяин гостиницы, где пристало на ночь наше судно, добродушный толстяк, стоял в дверях своего дома, занимая весь проход; на прощанье он шутил и балагурил; из окон высовывались девичьи головы и приветливо кивали корабельщикам, переносившим поклажу на судно. Пожилой господин в сером плаще и черном галстуке, ехавший вместе с нами, стоял на берегу и о чем-то оживленно толковал с молодым стройным пареньком, который был одет в длинные кожаные панталоны и узкую алую куртку и сидел верхом на великолепной английской лошади. К моему немалому удивлению мне казалось, что они изредка на меня поглядывают и говорят обо мне.— Под конец старый господин засмеялся, а стройный паренек щелкнул хлыстом и поскакал, с жаворонками наперегонки, прямо по равнине, залитой утренним солнцем.

Тем временем мы со студентами собрали все наши капиталы. Корабельщик засмеялся и только головой покачал, когда валторнист уплатил ему за провоз одними медяками, которые нам и так-то еле удалось собрать — мы обшарили все свои карманы. Я же вскрикнул от радости, увидав снова Дунай; мы проворно вскочили на судно, корабельщик подал знак, и мы понеслись вдоль по реке мимо гор и лугов, красовавшихся в блеске утра.

В лесу щебетали птицы, из далеких селений неся колокольный звон, высоко в небе заливался жаворонок. А на судне ему вторила канарейка, ликуя и распевая на славу.

Канарейка принадлежала миловидной девушке, которая тоже ехала с нами. Клетка стояла возле нее, а подмышкой она держала небольшой узелочек с бельем; девушка сидела молча, бросая довольный взгляд то на новые сапожки, видневшиеся из-под ее юбки, то на реку; утреннее солнце играло на ее белом лбу; волосы ее были гладко причесаны и разделены на пробор. Я сразу заметил, что студенты охотно завели бы с ней

приятный разговор; они все прохаживались вокруг нее, а валторнист при этом откашливался и поправлял то галстук, то треуголку. Но у них нехватало храбрости, да и девушка потупляла взор всякий раз, как они к ней приближались.

Особенно же они стеснялись пожилого господина в сером плаще, который сидел по ту сторону палубы и которого они приняли за духовное лицо. Он читал требник, поднимая повременам глаза и любуясь прекрасной местностью; золотой обрез книги и многочисленные пестрые закладки с изображением святых поблескивали на солнце. При этом он отлично видел все, что делалось на судне, и очень скоро узнал птиц по полету; прошло немного времени, и он заговорил с одним из студентов по-латыни, после чего все трое к нему подошли, сняли шляпы и точно так же ответили ему по-латыни.

Я же расположился на носу и весело болтал ногами над водой; судно несло, подо мной шумели и пенились волны, а я все смотрел в синюю даль; постепенно вырастая, перед нами показывались то башни, то замки в кудрявой зелени берегов и, уходя назад, наконец, скрывались из виду. „Ах, если бы у меня хоть на один день были крылья!“ — думал я; наконец от нетерпения я достал свою милую скрипку и принялся играть все свои старые вещи, те, что разучивал еще дома и в замке прекрасной госпожи.

Вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Это был священник; он отложил в сторону книгу и некоторое время слушал, как я играю. „Ай, ай, ай!“ — промолвил он и засмеялся, — „господин *ludi magister* *, ведь ты забываешь есть и пить“. Он сказал мне, чтобы я убрал скрипку, и пригласил закусить; мы направились с ним к небольшой веселой беседке из молодой березки и ельника, которую корабельщики соорудили посередине судна. Он приказал накрыть на стол, и я, студенты

* Маэстро. Д. У.

и даже девушка, все мы расселись на бочках и на тюках.

Священник достал большой кусок жаркого и бутерброды, тщательно завернутые в бумагу; из короба он вынул несколько бутылок с вином и серебряный, изнутри позолоченный кубок; наполнив его, старик сперва пригубил сам, понюхал и снова пригубил, затем по очереди подал его каждому из нас. Студенты сидели на бочках, словно аршин проглотили, и почти ничего не ели и не пили, верно, от большого почтения. Девушка тоже больше для виду отпивала глоточек из кубка, робко поглядывая при этом то на меня, то на студентов; однако чем чаще наши взгляды встречались, тем смелее она становилась.

Под конец она рассказала священнику, что впервые едет из родительского дома на кондицию и направляется в замок, к своим новым господам. Я весь покраснел, так как она назвала замок прекрасной госпожи. „Значит она — будущая моя прислужница“, — подумал я, глядя на нее во все глаза, так, что у меня чуть не закружилась голова. — „В замке скоро будут справлять веселую свадьбу“, — молвил священник. „Да, — отвечала девушка, которой, верно, хотелось побольше разузнать обо всем; — говорят, это давняя тайная любовь, но графиня ни за что не хотела дать свое согласие“. Священник произнес только „гм, гм“, наполнив до краев охотничий кубок, и задумчиво отпивал небольшими глотками. Я же обеими руками облокотился на стол, чтобы лучше слышать разговор. Священник это заметил. „Могу вам сказать точно, — начал он снова; — обе графини послали меня на разведки, узнать, не находится ли жених уже здесь, в окрестностях. Одна дама из Рима написала, что он уже давно, как оттуда уехал“. — Как только он заговорил о даме из Рима, я снова густо покраснел. „А разве, ваше преподобие, знаете жениха?“ — спросил я, страшно смутившись. — „Нет, — ответил старик, — говорят, он живет, как птица небесная, не жнет, не сеет“. — „О да, — поноспешил я вставить, — птица, которая улетает из клетки

всякий раз, как только может, и весело поет, когда попадает на свободу“.— „И скитается по белу свету,— спокойно продолжал старик,— по ночам слонов гоняет, а днем засыпает где-нибудь у чужих дверей“.— Мне стало досадно на такие слова. „Высокоуважаемый господин,— воскликнул я сторяча,— вам рассказали сущую неправду. Жених весьма нравственный, стройный молодой человек, подающий большие надежды; он жил в Италии, в одном старом замке, на весьма широкую ногу, бывал в обществе одних графинь, знаменитых художников и камеристок, он превосходно вел бы счет деньгам, если бы они у него были, он...“ — „Ну, ну, я ведь не знал, что вы с ним коротко знакомы“,— прервал меня священник и при этом так искренно залился смехом, что на глазах у него выступили слезы, и он даже посинел весь в лице. „Но я как будто слышала,— снова раздался голос девушки,— что жених важный и страх какой богатый барин“.— „А боже мой, ну да! Путаница, все путаница, ничего более!“ — вскричал священник и продолжал смеяться до тех пор, пока не раскашлялся. Немного успокоившись, он поднял свой кубок и воскликнул: „За здоровье жениха и невесты!“— Я не знал, что подумать о священнике и всех его речах, но, ввиду римских походов, мне было немного стыдно признаться во всеуслышание, что я-то и есть тот самый пропавший счастливый жених.

Кубок снова пошел вкруговую, священник так ласково со всеми обращался, что на него трудно было сердиться, и скоро опять полилась оживленная беседа. Студенты, и те становились все разговорчивее, принялись рассказывать о своих странствованиях по горам и наконец достали инструменты и весело заиграли. Сквозь листву беседки веяло речной прохладой, заходящее солнце уже золотило леса и долины, пролетавшие мимо нас, звуки валторны оглашали берега.— Музыка совсем развеселила священника; он стал рассказывать различные забавные истории из своей юности: как он и сам отправлялся на вакации по лесам и горам,

частенько не доедал и не допивал, но всегда был радостен; вся студенческая жизнь, говорил он, в сущности, не что иное, как одни долгие каникулы между сумрачной, тесной школой и серьезной работой; студенты снова пили круговую и затанули стройную песню, которой вторило эхо в горах.

Уж снова птицы в южный
Заморский край летят,
И вдаль гурьбою дружной
Вновь странники спешат.
То господа студенты,
Они уже в пути —
И с ними инструменты.
Трубят они: „Прости!
Счастливо оставаться!
Прошла пора вакаций,
Et habet bonam расем
Qui sedet post fornacem!“ *

Когда ночной порою
Мы городом идем
И видим пир горою
За чьим-нибудь окном —
Мы у дверей играем.
Проснулся городок.
От жажды умираем.
Хозяин, дай глоток!
И се, мы узрим вмале:
Неся вино в бокале,
Venit ex sua domo
Beatus ille homo.**

Уж веет над лесами
Студепый, злой Борей,
А мы бредем полями,
Промокши до костей.
Плащи взлетают наши
Под ветром и дождем,
И обувь просит каши,

* И добрый мир вкушает,
Кто дома пребывает. Д. У.

** Идет сей муж достойный. Д. У.

А мы себе поем:
 Beatus ille homo,
 Qui sedet in sua domo.
 Et sedet post fornacem
 Et habet bonam pacem!*

Я, корабельщики и девушка всякий раз звонко подхватывали последний стих, хотя и не понимали полатыни; я же пел особенно громко и радостно; вдали я завидел мою сторожку, а вскоре за деревьями показался и замок в сиянии заходящего солнца.

Глава десятая

Судно причалило к берегу, мы выскочили на сушу и разлетелись во все стороны, словно птицы, когда внезапно открывают клетку. Священник поспешно распрощался со всеми и большими шагами пошел к замку. Студенты направились неподалеку в кустарник — стряхнуть плащи, умыться в ручейке да побрить друг друга. Новая горничная, захватив канарейку и узелок, пошла в гостиницу под горой к хозяйке, которую я ей рекомендовал; девушка хотела переменить платье, прежде чем предстать в замке перед новыми господами. Я от души радовался ясному вечеру и, как только все разбрелось, не стал долго раздумывать, а прямо пустился бежать по направлению к господскому саду.

Сторожка, мимо которой я шел, стояла на старом месте, высокие деревья парка попрежнему шумели над ней, овсянка, певшая всегда на закате вечернюю песенку под окном, в ветвях каштана пела и сейчас, как будто с тех пор ничто не изменилось. Окно сторожки было растворено, я радостно бросился туда и заглянул в комнату. Там никого не было, но стенные часы продолжали

* Блажен тот муж достойный,
 Кто в горнице спокойной
 У печи пребывает
 И добрый мир вкушает! Д. У.

тикать, письменный стол стоял у окна, а чубук в углу — как в те дни. Я не утерпел, влез в окно и уселся за письменный стол, на котором лежала большая счетная книга. Солнечный луч сквозь листву каштана снова упал на цифры зеленовато-золотистым отсветом, пчелы по-старому жужжали за окном, овсянка на дереве весело распевала. — Но вдруг дверь распахнулась, и показался старый, долговязый смотритель. На нем был мой шлафрок с крапинами. Увидав меня, он остановился на пороге, быстро снял очки и устремил на меня свирепый взор. Я порядком испугался, вскочил и, не говоря ни слова, кинулся из дому в садик, где чуть было не запутался ногами в ботве картофеля, который старый смотритель, видимо, разводил по совету швейцара вместо моих цветов. Я слышал, как он выбежал за дверь и стал браниться мне вслед, но я уже сидел на высокой садовой стене и с бьющимся сердцем смотрел на замковый сад.

Оттуда несся аромат цветов; порхали и чирикали многоцветные птички; на лужайках и в аллеях не было никого, но вечерний ветер качал золотистые верхушки деревьев, и они склонялись передо мной, как бы приветствуя меня, а сбоку, из темных глубин катил свои волны Дунай, поблескивая сквозь листву.

Вдруг я услышал, как в отдалении, в саду, кто-то запел:

Смолкли голоса людей.
Мир стихает необъятный
И о тайне, сердцу внятной,
Шепчет шорохом ветвей.
Дней минувших вереницы,
Словно отблески зарницы,
Вспыхнули в груди моей.

И голос и песня звучали так странно, и в то же время они казались мне давно знакомыми, будто я когда-то слышал их во сне. Долго-долго старался я вспомнить. — „Да это господин Гвидо!“ — радостно воскликнул я и поскорее спустился в сад — это была та

самая песня, которую он пел на балконе итальянской гостиницы, в летний вечер, когда мы с ним виделись в последний раз.

Он продолжал петь, а я, перебираясь через изгороди, спешил по куртнам в ту сторону, откуда доносилось пение. Когда я наконец выбрался из розовых кустов, я остановился, словно замороженный. У лебединого пруда, на зеленой поляне, озаренная лучами заката, на каменной скамье сидела прекрасная дама; на ней было роскошное платье, венок из белых и алых роз украшал черные волосы; она опустила глаза, играя хлыстиком и внимая пению, точь-в-точь как тогда в лодке, когда я ей спел песню о прекрасной госпоже. Против нее, спиной ко мне, сидела другая молодая дама; над белой полной шеей ее курчавились завитки каштановых волос; она играла на гитаре и пела и смотрела, как лебеди, плавно скользя, описывают круги на тихом зеркале воды.— В это мгновение прекрасная госпожа подняла глаза и, увидав меня, громко вскрикнула. Другая дама быстро обернулась, причем кудри ее рассыпались по лицу; посмотрев на меня в упор, она громко расхохоталась, вскочила со скамьи и трижды хлопнула в ладоши. Тотчас же из-за розовых кустов появилась целая толпа девочек в белоснежных коротких платьицах с зелеными и красными бантами, и я все никак не мог понять, где же они были спрятаны. В руках они держали длинную цветочную гирлянду, быстро обступили меня в кружок и, танцуя, принялись петь:

Мы свадебный венок несем
И ленту голубую,
Тебя на шумный пир ведем,
Где с нами все ликуют.
Мы венок тебе несем,
Ленту голубую.

Это было из „Волшебного стрелка“. Среди маленьких певцов я некоторых признал — то были девочки из соседнего селения. Я потрепал их по щекам, хотел было убежать от них, но маленькие плутовки не выпускали

меня.— Я совсем не понимал, что все это означает, и совершенно оторопел.

Тут из-за кустов выступил молодой человек в охотничьем наряде. Я не верил своим глазам — это был веселый господин Леонхард! — Девочки разомкнули круг и остановились, как зачарованные, неподвижно застыв на одной ноге, вытянув другую и занеся гирлянды выско над головой. Господин Леонхард приблизился к прекрасной даме, которая стояла все так же безмолвно, изредка взглядывая на меня, взял ее за руку, подвел ко мне и произнес:

„Любовь — и в этом согласны все ученые — окрыляет человеческое сердце наибольшей отвагой; одним пламенным взглядом разрушает она сословные преграды, мир ей тесен и вечность для нее коротка. Она и есть тот волшебный плащ, который всякий фантаст должен накинуть хоть раз в этой хладной жизни, чтобы в нем отправиться в Аркадию. И чем дальше друг от друга блуждают двое влюбленных, тем наряднее развеивает ветер их многоцветный плащ, тем пышнее и пышнее ложится у них за плечами мантия любовников, так что человек посторонний, повстречавшись на дороге с таким путником, не может разминуться с ним, не наступив негаданно на влачащийся шлейф. О дражайший господин смотритель и жених! хотя вы в вашем плаще унеслись на берега Тибра, нежная ручка вашей невесты — здесь присутствующей — держала вас за край вашей мантии, и, как вы ни брыкались, ни играли на скрипке и ни шумели, вам пришлось снова вернуться в тихий плен ее прекрасных очей. А теперь, милые, милые безумцы, — раз уже так случилось, накиньте на себя ваш блаженный плащ, и весь мир утонет для вас, — любитеесь, как кролики, и будьте счастливы!“

Не успел господин Леонхард окончить свою речь, как ко мне подошла другая дама, та, что пела знакомую песенку; она миглом надела мне на голову свежий миртовый венок; укрепляя его в волосах, она приблизила

свое личико совсем к моему и при этом шаловливо запела:

Я за то тебе в награду
На главу сплела венки,
Что не раз давал усладу
Мне невучий твой смычок.

Затем она отступила на несколько шагов. „Помнишь разбойников в лесу, которые стряхнули тебя с дерева?“—спросила она, приседая передо мною и глядя на меня так мило и весело, что у меня заиграло сердце в груди. Не дожидаясь моего ответа, она обошла вокруг меня. „Поистине, все тот же, безо всякого итальянского привкуса! Нет, ты только посмотри, как у него набиты карманы!—воскликнула она вдруг, обернувшись к прекрасной госпоже,—скрипка, белье, бритва, дорожная сумка, все вперемешку!“ Она вертела меня во все стороны и смеялась до упаду. А прекрасная дама продолжала безмолвствовать и все еще не могла поднять глаз от застенчивости и смущения. Мне даже пришлось на ум, что она втайне сердится на всю эту болтовню и шутки. Но вдруг слезы брызнули у нее из глаз, она спрятала лицо на груди другой дамы. Та сперва удивленно на нее посмотрела, а потом нежно прижала к себе.

Я стоял тут же и ничего не понимал. Ибо, чем пристальнее вглядывался я в незнакомую даму, тем яснее становилось для меня, что она—не кто иной, как молодой художник господин Гвидо!

Я не знал, что и сказать, и уж собирался было толком расспросить; но в эту минуту к ней подошел господин Леонхард, и они о чем-то тихо заговорили. „Нет, нет,—молвил он,—ему надо поскорее все рассказать, иначе снова произойдет неразбериха“.

„Господин смотритель,—проговорил он, обращаясь ко мне,—у нас сейчас, правда, немного времени, однако, сделай милость, дай волю своему удивлению теперь же, дабы, после, на людях, не спрашивать, не изумляться и не покачивать головой, не ворошить того, что было, и не пускаться в новые догадки и вымыслы“. Сказав

это, он отвел меня в кустарник, а барышня принялась помахивать хлыстиком, оброшенным прекрасной госпожей; кудри падали ей на лицо, но и сквозь них я видел, как она покраснела до корня волос. „Итак,— молвил господин Леонхард,— мадмуазель Флора, которая сейчас делает вид, будто ничего не знает обо всей истории,— впопыхах отдала свое сердечко некоему человеку. Тут выступает на сцену другой и с барабанным боем, фанфарами и пышными монологами кладет к ее ногам свое сердце, требуя от нее взамен того же. Однако сердце ее уже находится у некоего человека, и этот некто не желает получить обратно свое сердце и вместе с тем не желает возвращать и сердца Флоры. Подымается всеобщий шум — но ты, верно, никогда не читал романов?“ — Я должен был сказать, что нет. — „Ну, зато ты сам был действующим лицом в настоящем романе. Короче говоря: с сердцами произошла такая путаница, что тот некто, т. е. я — должен был самолично вмешаться в это дело. И вот, в одну теплую летнюю ночь сел я на коня, посадил барышню, под видом юного итальянского художника Гвидо, на другого, и мы помчались на юг, дабы укрыть ее в Италии, в одном из моих уединенных замков, покуда не стихнет шум из-за сердец. Однако за нами следили и в пути вапали на наш след; с балкона в итальянской гостинице, перед которым ты так бесподобно спал на часах, Флора вдруг увидела наших преследователей.“ — „Стало быть, горбатый синьор?..“ — „Оказался шпионом. Поэтому мы решили укрыться в лесу, предоставив тебе продолжать путь одному. Это ввело в заблуждение наших преследователей, а вдобавок и моих слуг в горном замке, которые с часу на час поджидали переодетую Флору; они-то и приняли тебя за нее, проявив больше усердия, нежели проникательности. Даже и здесь, в замке, считали, что Флора живет на том утесе. Об ней спрашивались; ей писали — кстати, ты не получал письма?“ При этих словах я мгновенно вынул из кармана записку. — „Значит это письмо?..“ — „Предназначалось

мне“,— ответила мадмуазель Флора, которая до сих пор, казалось, не обращала ни малейшего внимания на весь разговор; она выхватила записку у меня из рук, пробежала ее и сунула за корсаж.— „А теперь,— продолжал господин Леонхард,— нам пора в замок, там все нас ждут. Итак, в заключение, как оно само собой разумеется и подобает чинному роману: бегледы достигнуты, происходит раскаяние и примирение, все мы веселы, снова вместе и послезавтра свадьба!“

Не успел он кончить свой рассказ, как из-за кустов раздался страшный шум — били в литавры, слышались трубы, рожки и тромбоны, стреляли из мортир, кричали „виват“, девочки снова начали танцовать; отовсюду меж ветвей одна за другой стали высовываться разные головы, будто вырастая из-под земли. Среди этой суматохи и толкотни я скакал от радости выше всех; так как тем временем уже стемнело, я постепенно, но не сразу, узнавал всех прежних знакомых. Старый садовник бил в литавры, тут же играли пражские студенты в плащах, рядом с ними швейцар, как сумасшедший, перебирал пальцами на фаготе. Увидав его так неожиданно, я бросился к нему и, что было сил, обнял его. Он совсем сбился с такту. „Что я говорил,— этот, хоть он объезди весь мир, а все-таки дурак и дураком останется!“ — воскликнул он, обращаясь к студентам, и яростно затрубил снова.

Тем временем прекрасная госпожа скрылась от шума и гама и, как вспугнутая лань, умчалась по лужайкам вглубь сада. Я во-время это увидел и побежал за ней. Музыканты так увлеклись игрой, что ничего не заметили; как оказалось потом, они думали, что мы уже отправились в замок. Туда с музыкой и радостными кликами двинулась вся ватага.

А мы почти в то же самое время дошли до конца сада, где стоял павильон; открытые окна его выходили на просторную глубокую долину. Солнце давно зашло за горы, теплый, затихающий вечер тонул в алой дымке, и чем безмолвнее становилось кругом, тем явственнее

шумел внизу Дунай. Не отводя взора, смотрел я на прекрасную графиню; она стояла рядом со мной, раскрасневшись от быстрой ходьбы, и мне было слышно, как бьется ее сердце. Я же, оставшись с ней наедине, не находил слов — до того я был полон почтения к ней. Наконец я набрался храбрости и взял ее белую маленькую ручку; — тут она привлекла меня к себе и бросилась мне на шею, а я крепко обнял ее обеими руками. Но она тотчас высвободилась от моих объятий и в смущении облокотилась у окна — остудить разгоревшиеся щеки в вечерней прохладе. „Ах, — воскликнул я, — у меня сердце готово разорваться, я себе не верю, мне и сейчас кажется, будто все это лишь сон!“ — „Мне тоже, — ответила прекрасная госпожа. — Когда мы с графиней летом, — продолжала она, помолчав немного, — вернулись из Рима, благополучно найдя там мадмуазель Флору, и привезли ее с собой, а о тебе не было и не было вестей, — право, я не думала тогда, что все так окончится. И только сегодня в полдень к нам на двор прискакал жокей, весь запылавшись, такой славный, проворный мальчик, и привез известие, что ты едешь на почтовом корабле“. Потом она тихонько засмеялась. „Помнишь, — сказала она, — как ты меня видел в последний раз на балконе? Это было совсем как сегодня, такой же тихий вечер и музыка в саду“. „Кто же собственно умер?“ — спросил я поспешно. „Как кто?“ — молвила прекрасная дама и удивленно посмотрела на меня. „Супруг вашей милости, — возразил я, — тот, что стоял тогда на балконе“. Она густо покраснела. „И что только приходит тебе в голову! — воскликнула она, — ведь это сын нашей графини, в тот день он вернулся из путешествия, тут как раз было мое рождение, вот он и вывел меня на балкон, чтобы и мне прокричали „виват“. Уж не из-за него ли ты и убежал тогда?“ — „Ах, боже мой, ну конечно!“ — воскликнул я, ударив себя по лбу. А она только головкой покачала и рассмеялась от всего сердца.

Она весело и доверчиво болтала, сидя рядом со мной, мне было так хорошо, что я мог бы слушать ее до

утра. На радостях я вынул из кармана горсть миндаля, который привез еще из Италии. Она тоже отведала, и вот мы сидели вдвоем, щелкая орешки и глядя в безмолвную даль. „Видишь там,— сказала она через некоторое время,— в лунном сиянии поблескивает белый домик; это нам подарил граф вместе с садом и виноградником, там мы с тобою и будем жить. Он ведь давно знает про нашу любовь, да и к тебе он очень благоволит, потому что, не будь тебя в то время, когда он увез барышню из пансиона, их бы непременно накрыли, еще до того, как они помирились с графиней, и тогда все было бы по-другому“.— „Боже мой, прекрасная, всемиловейшая графиня,— вскричал я,— у меня просто голова кругом идет от столько неожиданных новостей; значит господин Леонхард...“ — „Да, да,— прервала она меня,— он так называл себя в Италии; его владения начинаются вот там, видишь?— и он теперь женится на дочери нашей графини, на красавице Флоре.— Однако, почему ты меня все зовешь графиней?“— Я посмотрел на нее с изумлением. „Я ведь вовсе не графиня,— продолжала она,— наша графиня просто взяла меня в замок, так как я сирота и мой дядя, швейцар, привез меня с собою сюда, когда я была еще ребенком“.

Тут, могу сказать, у меня словно камень с сердца свалился. „Да благословит бог швейцара, раз он наш дядюшка,— в восторге промолвил я,— недаром я всегда так высоко ценил его“.— „И он тоже тебя любит,— отвечала она,— если бы ты хоть немножко посolidнее держал себя, говорит он только. Теперь ты должен одеваться поизящнее“.— „О,— радостно воскликнул я,— английский фрак, соломенную шляпу, рейтузы и шпоры, и тотчас после венчания мы уезжаем в Италию, в Рим, там так славно бьют фонтаны, и возьмем с собою швейцара и пражских студентов“. Она тихо улыбнулась, взглянув на меня приветливо и нежно; а издали все еще слышалась музыка, над парком в ночной тишине взвивались ракеты, снизу доносился рокот Дуная — и все, все было так хорошо!

КОММЕНТАРИИ

Арним (1781—1831)

Ахим фон Арним родился в Берлине. Происходил из старинной прусской аристократии, игравшей в истории государства Гогенцоллернов заметную роль, учился в Галле и в Геттингене, изучал юриспруденцию и науки физико-математические. Дружба с Клеменсом Брентано, литературное сотрудничество с ним начинаются довольно рано. Арним занят множеством проектов, объявляет себя литературным народником, пишет о превосходстве народного искусства над всеми позднейшими литературными явлениями, хочет создать „народное издательство“ для широкой массовой пропаганды великих творений литературы. Как прусский патриот, он видит свое призвание в том, чтобы „построить искусству прочный замок в Бранденбургской земле“.

В 1805 г. Арним вместе с Брентано выпускает сборник немецких народных песен *Волшебный рог мальчика* (*Des Knaben Wunderhorn*), оказавший впоследствии как образец и как источник огромное влияние на романтическую лирику. Этим изданием Арним хотел содействовать развитию искусства „снизу вверх“, хотел убедить, что „мир литераторов не есть единственно населенный на земле“.

В 1806—1808 гг. вокруг Арнима в Гейдельберге группируются поэты, литераторы, филологи: Брентано, Иосиф Геррес, Якоб Гримм, Вильгельм Гримм — содружество, оставившее в немецкой литературе значительный след („гейдельбергский романтизм“).

В 1808 г. вместе с Герресом Арним издает *Газету для отшельников* (*Zeitung für Einsiegler*), цель которой прославить „высокое достоинство всего общинного, всего народного“.

В 1810 г. Арним — в Берлине, сближается с Адамом Мюллером и с Клейстом. Он основывает „немецкую столовую“ (*Deutsche Tischgesellschaft*), на обеды которой допускаются

„мужи чести и добрых правов, рожденные в христианской вере“, евреям же и французам вход воспрещен.

К Клейсту Арним относится с полусочувствием. Арним в большинстве пунктов враждебен преобразованиям в прусском королевстве, предпринятым после военного разгрома 1806 г., когда уничтожаются некоторые основные привилегии, проводятся военная и крестьянская реформы, отменяются дечи и устанавливается городское самоуправление. Арним высказывается против министерства Гарденберга и против осуществленных им аграрных реформ. Он боится уступок буржуазной экономике и отстаивает интересы феодального дворянства.

После войны 1814 г. Арним удаляется в свое родовое имение Виперсдорф со своей женой Беттиной, сестрой Клеменса Бретано, и здесь ведет однообразную жизнь рачительного сельского хозяина и семьянина. Там же, в Виперсдорфе, Арним скончался 21 января 1831 г.

В творчестве своем Арним уделяет внимание и непосредственно современным темам. Таков, например, его роман *Графиня Долорес*, появившийся в 1810 г., меланхолическое повествование о дворянском разорении и нравственном упадке, полное усердных авторских советов — хозяйственных, этических и семейственных. Однако настоящим предметом Арним-художника была история. К историческому жанру принадлежит и его центральное произведение — роман *Хранители короны (Kronenwächter)*, первая часть которого вышла в 1817 г., вторая — посмертным изданием в 1854, и большинство новелл и повестей.

В консервативном миропонимании Арнима проблема истории играла решающую роль. Историзм гейдельбергских романтиков восходит еще к идеям Новалиса, в которых уже предвосхищен характер исторического философствования Арнима и его друзей.

Новалис писал в своих *Фрагментах*:

„Требование принимать современную действительность, как лучшую и как абсолютно мою, равно тому, как если бы считать мою собственную, мне данную жену, единственной и лучшей из всех и всецело жить ею и для нее. Есть еще много других подобных требований и притязаний, и их признает своим долгом тот, кто навеки почтителен пред всем, что существует и существовало, тот, кто религиозен в историческом смысле...“

Новалис утверждает своеобразный романтический *позитивизм*. Всякое исторически данное бытие принимается без критики. Смысл истории в абсолютной святости того, что есть. „Религиозное“ отношение к современности означает, что она воспринята только как результат прошедшего развития, без дальнейших стадий, с исключением будущего. Перед современностью преклоняются, как перед состоянием непререкаемым.

Маркс, в юношеской статье *Манифест исторической школы права*, подвергает критике сходные воззрения. „Историческая школа“ немецких юристов была только специализацией общеромантического историзма. О Гуго, первоучителе „исторической школы“, Маркс пишет: следуя его, Гуго, положениям, „...мы должны признать ложное за достоверное, раз только оно существует. Гуго — скептик по отношению к необходимой сущности вещей и верующий по отношению к их случайным проявлениям. Он поэтому ничуть не старается доказать, что позитивное разумно. Он, напротив, старается доказать, что позитивное неразумно“.

Маркс подчеркивает *нигилизм* романтической историософии, *нигилизм* защитников „старого порядка“, лишенного перспектив.

Для них все идейные силы хороши, — поскольку они традиционны. Оценка идеологических представлений с точки зрения просветительского „разума“ решительно исключается. Идея прогресса изъята из романтического историзма, исторический процесс представляется плоско, стадия равна последующей стадии, в каждой эпохе фиксируется, задерживается вниманием только ее „консервативная сторона“, в каждом факте важно только его бывшее значение, в современности — следы и росчерки вчерашнего дня. В этом смысл „народничества“ Арнима, его фольклорных изучений. Крестьянство важно для Арнима как противовес оппозиционному движению городов и бюргерской интеллигенции, оно прославлено для Арнима своей отсталостью, своими социальными духовными связями с отживающей общественной формацией. Крестьянство у него предмет социальной археологии, фольклор — предмет идейной археологии. Однако все пережиточное, ископаемое, рудиментарное есть для Арнима возглавляющая сила современности, сила, которой надлежит подчинить остальные современные тенденции.

Политическое значение своей литературной программы Арним ясно сознавал:

„В этом вихре новизны, в этом мнимом и сверхскором насаждении рая на земле* во Франции угасли почти все народные песни — еще до революции, которая, вероятно, потому только и стала возможна...“

„О боже! Где старые деревья, под которыми только вчера еще мы отдыхали? Где древние знаки твердых границ? Что с ними произошло, что происходит!“ (*О народных песнях*).

В исторических романах, в новеллах Арнима обрели художественную форму его мистический „позитивизм“ и „нигилизм“. Основой фабулы служит фольклор, старый обычай, повесть, легенда.

* Имеются в виду лозунги буржуазной революции.

Исторические представления, по Арниму, не имеют своего предмета, от которого они отделены, но сами они и есть этот предмет, тождественны с ним. Легенда не есть легенда о том-то и том-то; как говорит легенда, так в действительности и протекали исторические события. Историческое сознание равняется историческому бытию. Отсюда полная мистического дннзма фантастика повестей Арнима.

Методами реалистического зрелища Арним разрабатывает ирреальные сюжеты; абсурдов, которые получаются при этом, Арним не боится, он даже подчеркивает их: „верю, потому что абсурдно“.

Изабелла Египетская была напечатана в 1812 г. Общий очерк фабулы взят из фольклора.

Завязка легендарная: проклятье над цыганским племенем. Цыганам издревле заказано возвращение в родной Египет. Когда богоматерь с Иисусом спасались в Египте, цыгане не оказали им гостеприимства. Богоматерь с младенцем стояли „под проливным дождем“, но их не пустили в дом.

Уже в этом добавочном штрихе о „дожде“ виден стиль Арнима, мистическая конкретизация того, что по природе своей отнюдь не конкретно.

В евангельско-цыганскую легенду Изабелла вводится с прямою ролью: она должна снять древнее проклятье. Есть предсказанье, что у нее будет сын от великого властителя и что сын этот выведет свой народ в Египет.

Возлюбленным для Изабеллы Арним избирает юного Карла Пятого. Таким образом, в легендарную фабулу вставлено подлинное историческое лицо, конкретность легенды упрочена. Вместе с Карлом приходит в фабулу пестрый XVI век, Гент — резиденция Карла, Адриан, воспитатель Карла, будущий папа Адриан VI („последний немецкий папа“), и т. д. и т. д.

„Предметность“, объективность легенды возможна только через воссоединение ее содержания с какими-то нормальнo-эмпирическими вещами и персонажами, „естественными“ и достоверными.

Подлинность истории Изабеллы подтверждается, когда Арним, например, рассуждает о причинах ошибок и неудач Карла V. Арним объясняет их тем душевным распадом, который испытывал Карл после ухода Изабеллы, им обиженной и неоцененной. Ошибки Карла исторически известны, об Изабелле документальная история ничего не знает. Достоверные следствия Арним выводит из недостоверных причин, которые, однако, в этой связи „заражаются“ неким историческим реализмом.

Гент, окружение Карла V, дела Империи, дела испанской короны даются приспособленными к фабуле о цыганах и их Изабелле, то-есть подлинно-историческое не овладевает

всем полем рассказа, но включается только в меру своей пригодности для фиктивного фольклорного сюжета, логика и потребности которого являются, таким образом, в повести ведущими.

Такую же роль играют в смысловой композиции картины быта, бытовой жанризм — крепкие нравы XVI века, ярмарка, старуха Брака, воровка и сводница; и они своим соучастием, своим прикосновением к сказочному сюжету об Изабелле и ее призвании подтверждают „реализм“ этого сюжета.

Любопытно, что живописная, жанровая Брака — тоже явление сравнительной филологии: этот тип взят не из „патуры“, но из литературы. Брака — это „picaresca“, героиня воровского („плутовского“) романа, созданного испанской литературой эпохи Возрождения.

Сказочность новеллы отяжелена добавочными персонажами. Гриммельсгаузен, писатель XVII века, служит источником для истории Альрауна, по его же материалам создается „Медвежья шкура“ (Bägenhäuter). Из раввинских легенд, пересказанных в *Газете для отшельников* Якобом Гриммом, переселяется в новеллу Арнима Голем.

В фабуле Изабеллы Египетской, которая уже укреплена как событие в реальном пространстве и времени, им всем предоставлены места и роли. „Медвежья шкура“ — скромный пособник Изабеллы; Альраун — пособник зазнавшийся, Голем — двойник и соперница. Тем самым и этим трем уделяется доля реализма.

XVI век, эпоха реформации и великой крестьянской войны в Германии, — это излюбленная эпоха Арнима. Ей посвящены монументальные *Хранители короны*, и здесь ясны потребности Арнима-историка. Он ищет аналогий между современной, начала XIX века, Германией и эпохой Лютера. Германия после великой крестьянской войны — это страна нового укрепления феодализма, так как в неудачной революции XVI века и крестьянство и городская буржуазия были порознь разбиты, а последующее развитие международной экономики, губительное для начатков немецкого капитализма, довершило низложение немецкой буржуазии — перенос торговых путей в Атлантику и т. д. Сам Арним был наследником этого развития Германии. И для него, как и для всех романтиков, XVI век был совершенно злободневен (см., например, *Мизаэль Кольхаас* Клейста). Это была эпоха, когда немецкий феодализм находился в состоянии кризиса, из которого он позднее вышел. Но Арним и его романтические сподвижники интересовались именно этим периодом феодального неблагополучия и различных возможностей для исторического развития Германии. „Смута“ XVI века должна была им многое уяснить в современном положении вещей, созданном Вели-

кой Революцией во Франции, наполеоновскими войнами и новым хозяйственным подъемом бюргерства.

Изабелла Египетская во всех направлениях перекрещена современными аналогиями и современными полемическими оценками.

Альраун у Арнима — символ денежного капитала, и отсюда весь тот недружелюбный комизм, с каким описано это существо, *уродливое, искусственное и преступное*. Уже у ранних романтиков появляется символика денежной власти, своего рода сказки и легенды о капитале (*Л. Тик, Рупенберг*) с совершенно реалистической тенденциозностью. У Арнима подобные мотивы развиты богаче. Характеристика реальных лиц и отношений переносится на символ их. Альраун у Арнима — нахальный выскочка, с военно-дворянскими претензиями („фельдмаршал“), великий соблазнитель правителей и правительств.

Отношения Карла и Изабеллы, в начале простые и лирические, портятся и разлагаются, как только Карл, получивший политическую власть, открывает удивительные способности маленького негодяя и уродца, претенциозного жениха Изабеллы.

Альраун обладает чудесным чутьем золотых кладов, он умеет добывать деньги. В деньгах Карл-правитель нуждается, он не хочет и не может ссориться с мощным финансовым советником, угождает ему, уступает свою возлюбленную Изабеллу, не считаясь ни с чувствами ее, ни с желаниями.

„Проданная“ Изабелла удаляется от Карла, покидает неблагодарный Гент.

Для Арнима Карл, поставленный на престол германской империи коммерческим домом Фуггеров, был монархом чересчур модернизированным. Симпатии Арнима принадлежали средневековой империи Гогенштауфенов (*Хранители короны*). Арним едва признает императоров, зависящих от состояния государственного казначейства. „Увы, романтизм не очень силен в арифметике, и феодализм со времен Дон-Кихота все сбивается со счета“, — писал Фридрих Энгельс.

В новелле *Пфальцграф* (посмертное произведение) Арним вторично изобразил императора Карла. Карл разрушает здесь любовные восторги и надежды пфальцграфа-энтузиаста, так как они не сходятся с имперскими политическими расчетами. И в этой новелле Арнима Карл, обманщик искусный и изящный, страдает гипертрофией политического смысла, чрезмерною привязанностью к мирской выгоде.

Действующие силы XVI века Арним в *Изабелле* расценивает так, как он это сделал бы по отношению к своей современности. Архаическое (Изабелла, ее призвание, ее народ) противостоит модернизированному, противостоит преувеличен-

ному стремлению к новизне (империя Карла), как пример и как укоризна. Патриархальное у Арнима успешно спорит с буржуазным.

Высокая простота и древние устои даются Изабелле, героине, которой, по мысли Арнима, в новелле надлежит *сиять*.

У Изабеллы только одна любовная встреча с Карлом: все остальные встречи или расстраиваются, или проходят в разговорах. Арним освобождает героиню от эроса, от излишества личных чувств. Зачатие и рождение ребенка — в этом все ее отношения с Карлом, ребенок же нужен пароду, как избавитель и вождь. Психологию Изабеллы, ее поведение определяют идеальное безличие и „общинность“, столь ценимые Арнимом, романтическим народником.

Простые отношения между Изабеллой и племенем, патриархальность, с которой она ведет свой парод и выполняет национальное призвание, — тоже пример для современности.

Национализм Арнима имел консервативный характер. Арним стоял за неприкосновенную Германию, потому что хотел запретить ее для буржуазной Европы. Он представлял себе единство Германии наподобие древнего союза между пастухом и стадом, — как патриархальную монархию.

Своеобразен юмор Арнима. Юмор есть неизбежное следствие всей художественной системы этого писателя. Объективированное историческое сознание создает резкие противоречия, абсурды, комические неувязки.

Форма восстает здесь против содержания. Трезвые эмпирические предметы не желают сожигаться с миром фольклорных фантазмагорий.

Легенда, нисходя к простейшему видимому порядку вещей, принимая его формы, застает его независимо существующим, и, только присоединившись к нему, подделавшись под него, она может сама принять вид некоторой действительности. Но разность все-таки остается; и мир, таким образом, дается „двухъярусным“: „внизу“ — обычные вещи и отношения, „вверху“ — вещи внебытовые, ирреальные, хотя и участвующие в этом мире.

Всякий комизм основан на борьбе двух противоположностей, из которых одна „снимает“ другую и водворяется как положительная сила.

Арним „локализует“ комизм так, чтобы сверхмирные и сверхприродные силы не пострадали, чтоб значение положительной субстанции закреплялось за ними.

В подчеркнуто-вульгарном характере разработан у Арнима „нижний ярус“: старая Брака, ярмарка, притоны, проститутки, воры, жизнь бургеров, бытовая и трудовая повседневщина. Сюда же включается Альраун, коллективный символ низких

сил и отношений. От больного забинтованного Альрауна идет пар, как если бы то варился пуддинг, прикрытый салфеткой.

К „верхнему ярусу“ относятся Изабелла и легенда о дьганских судьбах, Карл V служит переходом от яруса к ярусу.

Арним подчеркивает странность соединений и совмещений, творящихся в его повести, подчеркивает разность рангов, принятых в его мире.

Он нарочно, для отчетливости этого стиля, перечисляет, например, кто сидел в карете, направлявшейся в Гент: „очень странное общество“ — 1) старая ведьма, 2) мертвец, который проснулся, 3) красавица из мертвой глины, 4) Альраун — молодой человек растительного происхождения.

Таков и эпизод о легендарном Големе. Голем вырос и стал так высок, что нельзя было достать до его лба с роковыми буквами, которые нужно было стереть, чтобы Голем рассыпался в прах. На помощь приходит еврейская хитрость: еврей заставляет Голема, чтобы тот стянул с него сапоги. Голем нагибается, и еврею удается быстро стереть буквы.

Легендарное существо поставлено в самую прозаическую позу.

Арним не скрывает противоречий, возникающих, когда объективируются, воплощаются сущности, никаких прав на действительность не имеющие. Юмор Арнима создается именно подчеркнутостью этих противоречий. Смысл этого юмора — в философской насмешке над необходимостью для вещей владеть материальное существование. На самые воплощаемые предметы этот юмор не распространяется, уничтожая он только для тех предметов, которые другого образа и значения, кроме материального, плотского, не имеют. К таким вещам у Арнима относится весь бюргерский мир, питающий и производящий („Nährstand“, как выражается Арним). Вне комической трактовки этот мир у Арнима невозможен.

Особенно систематично проводится принцип комического, дискредитирующего реализма в *Хранителях короны*. Над вульгарною сыгтою прозой бюргерских дел и интересов возникает золотая легенда империи Гогенштауфенов, знать не желающая о том, что творится и думается в прозаическом мире „внизу“.

Юмористическая интерпретация материальности мира, понимание этой материальности как стихии буржуазной — это одна из общих черт романтической литературы.

Брентано

(1773—1842)

Клеменс Брентано родился во Франкфурте на Майне, в семье купца, итальянца по происхождению. Отец предназначал его также к купеческой профессии, но выступление Брентано на этом поприще было неудачно. В 1797 г. Брентано попадает в Иенский университет, застает в Иене весь сонм старших романтиков и вступает в близкие отношения со Шлегелями, Тиком, Стеффенсом, Новалисом. Особенное влияние имеет на него Людвиг Тик: Брентано поклоняется „великому миннезингеру Тику“. Доротея Шлегель отзывалась о Брентано: „Он хочет быть больше Тиком, чем сам Тик“ („он думает, что он Тик Тика“).

В поэтической практике Брентано этих лет сильны тенденции, у самых ранних романтиков уже ликвидированные. К концу века иенский круг возглавляется идеями Новалиса. Субъективизм раннего Тика или Фридриха Шлегеля есть уже снятая точка зрения. Идеи Новалиса об „историческом космосе“, подчиняющем себе отдельного человека, поддержаны теперь также и Людвигом Тиком, автором *Святой Генуефы*, драмы-мистерии, где, как в *Офтердингене*, человек „возвращается домой“, то-есть перед всеобщими мировыми началами отказывается от своей исключительности и частного своего значения.

Брентано в первые годы творчества особенно широко отзывался именно на эти, уже самими их инициаторами отвергаемые, субъективно-идеалистические и импрессионистские мотивы раннего романтизма. В тонах романтической иронии, бесконтрольных повествовательных причуд и художественной анархии выдержан его ранний роман *Годви* (1801—1802), „одичавший роман“, как его назвал сам автор.

О комедии 1801 г. *Ponce de Leon* писал много лет спустя Генрих Гейне в *Романтической школе*. „Нет ничего более.

разорванного, нежели это произведение, как в отношении языка, так и в отношении мысли. Но все эти лоскутья живут и кружатся. Кажется, что видишь маскарад слов и мыслей. В сладчайшем беспорядке происходит всеобщая сутолока, и только всеобщее безумие вносит некоторое единство... Прыгают горбатые остроты на коротких ножках, как Полишинели; как кокетливые Коломбины, порхают слова любви с печалью в сердце. И все это танцует и скачет, и вертится, и трещит, и поверх всего гремят трубы вакхической радости разрушения“.

Позднее Brentano уходит от вольного романтического юмора, и вещи, подобные этим ранним, прорываются у него только время от времени.

Он сближается с Арнимом, они вместе руководят тем новым течением внутри романтизма, которое получило в истории литературы название „гейдельбергского“ по имени резиденции содружества: в Гейдельберге 1806-1808 г. сосредоточилась литературная группа Brentano и Арнима.

Гейдельбергские романтики чувствовали себя находящимися в оппозиции к романтической Йене. Однако они преувеличивали расхождения. Есть прямая преемственность между итоговыми синтетическими положениями йенской поры и гейдельбергскою романтической доктриной. Национализм и историзм, ставка на „народность“, почвенные традиции, борьба с индивидуализмом, который разрушает „общее“, то-есть смеет сомневаться в основах исторического здания старой переживающей самое себя общественной формации,— все это уже подсказывалось учениями Новалиса, отчасти Шлейермахера и Шеллинга. В эпоху войн с Наполеоном, когда старофеодалная Германия находилась под непосредственной угрозой, гейдельбергский круг разрабатывает объективистские идеи с такой степенью практической конкретности, что даже самое происхождение этих идей и отцовская роль Новалиса становятся в Гейдельберге неясны.

Brentano в 1806 г. вместе с Арнимом выпустил в Гейдельберге сборник немецких народных песен *Волшебный рог мальчика* (*Des Knaben Wunderhorn*), и это была его почетная доля в тех филологических, фольклорных, этнографических трудах и изысканиях, какие были предприняты гейдельбергскими романтиками, раскапывавшими „почву“, твердый грунт „объективных идеологий“, „общенародного предания“.

Предполагалось, что изученная, кропотливыми трудами восстановленная национальная традиция должна связывать и предопределять субъективное идеологическое творчество и по содержанию и по форме. Для романтической поздней лирики были поучительны образцово опубликованные Brentano и Арнимом народные песни. *Волшебному рогу* вторили Эйхен-

дорф, Уланд, Вильгельм Мюллер и даже — по-своему и отдаленно — Генрих Гейне эпохи *Книги песен*.

Для лирики самого Brentano *Волшебный рог* имел то же значение.

Не случайно было раннее тяготение Brentano к Людвигу Тику. И после отпада от романтического юмора в манере раннего Тика, в гейдельбергском течении, Brentano воспроизводил роль Тика на втором этапе иенского романтизма, роль Тика — автора *Геновефы* и *Императора Октавиана*.

Brentano представлял часть бюргерской интеллигенции, добровольно подчинившейся феодальным идеалам, законченным пропагандистом которых был вождь гейдельбергского романтизма — Аршм.

Как ведомый, а не ведущий, он плохо понимает политический смысл этого литературного движения, возглавляемого дворянами, переоценивает его средства и преувеличивает частности из-за непонимания целей.

Старое индивидуалистическое воспитание сказывается в том, что *объективизм* гейдельбергской теории имеет для Brentano прежде всего *субъективное* значение. „Народность“, „общинность“, религия — это все, для Brentano, не столько общественные, политические идеи, сколько средства личного спасения. Религия особо завладевает им, — религия, как вопрос автобиографический, вопрос устройства личных душевных дел.

Для Арнима религия никогда не была явлением самодовлеющим — он соблюдал свое лютеранство и советовал соблюдать его и другим.

Для Арнима религия только „момент“ исторического здания и политической программы.

Ортодоксальное католичество превратилось у Brentano в автономную силу, непосредственно действующую прежде всего в пределах его собственной биографии. Религиозная мания способствовала полному разорению духовной жизни Brentano, погубила в нем художника, придала трагический оттенок всей его судьбе.

С 1818 по 1824 г. Клеменс Brentano живет в Дюльмене у Мюнстера. Прославленный поэт, автор прекрасных стихотворений, драм, новелл, комедий, веселых импровизаций, он отвергает свое литературное прошлое, все эти годы проводит возле Катерины Эммерих, мистической энтузиастки, чьи сочинения он изучает и записывает.

Дальнейшую, после Дюльмена, биографию Клеменса Brentano Генрих Гейне излагает так:

„После того он проживал во Франкфурте и в разных городах на Рейне, в 1833 г. поселился в Мюнхене. Насколько в это последнее время своей жизни он поглупел, сказать невозможно“.

Клеменс Brentано скончался 28 июля 1842 г.

Литературное значение Brentано основано главным образом на его лирике. Как новеллист он был менее продуктивен.

Новеллы Brentано распадаются на два течения, несходные и знаменующие разные стили творчества.

В сказочных новеллах, таких, как *Гоккель*, *Хинкель и Гаккеля* (напечатана в 1838 г.) или *Сказка о шувльмейстере Клопфштокке и его пяти сыновьях* (напечатана посмертно в 1847), Brentано вновь дает волю романтическому юмору. В веселую фантазмагорию, созданную авторским произволом, вмешиваются детали филистерского быта, обрывки злободневной литературной и политической сатиры.

Рассказ колеблется между абсолютным вымыслом и ближайшей действительностью, и за одну тираду из *Гоккеля* — об ордене „Золотого пасхального яйца с двумя желтками“ — прусское правительство распорядилось о высылке Клеменса Brentано, найдя в этой заумной конструкции повод для вполне реалистических административных взысканий. Исходной точкой у Brentано служит подлинное явление, но конкретная форма явления разрушена сверхмерным обобщением, неожиданной и негаданной средой, в которую явление включается.

Отшельник сидел в дупле дуба — „и только его белая борода свешивалась, как водопад, и длинный его нос глядел наружу“. „Дуб слопал там козла, и борода свешивается у него изо рта; смотри — он сейчас съест и нас с тобой“ (из *Шувльмейстера*).

Метафора бросает на вещи капризный беглый свет, вещь меняется в зависимости от освещения.

У Brentано нередко фабула развертывается согласно этимологиям имен действующих лиц или же согласно фонетическим ассоциациям. Над вещью у Brentано господствует название, над названием господствует его фонетика. В *Шувльмейстере* Brentано создает фонетическую фабулу о колокольном королевстве Глюккотонии, где у каждого дома свой колокол, у каждой двери звонок, у каждого человека колокольчик на шее и у каждого животного бубенчик. Короля зовут Пумпам, королеву Пимперлейн, колокола в королевстве вызывают „пумпам“. Таким образом, все устройство королевства тоже фонетическое, и колокольными интересами определяется фабула сказки: поиски неведомо куда залетевшего языка от главного колокола, поиски, в которых отличились шувльмейстер и его сыновья.

Финал лишний раз снимает всякую форму реальности у повеллы: король Пумпам берет большой нож, разрезает королевство на две половины и спрашивает шувльмейстера, какую

он хочет; тот выбирает и режет дальше свою половину на пять равных частей, в долю каждого сына.

Подобным вещам противостоят строгие католические повеллы Брентано, написанные в дисциплинированном стиле гейдельбергского романтизма и на соответствующие темы.

Такова *Хроника странствующего школяра* (1818), похвала средневековому простодушию, бедности и любви к богу. Жизнь в нищете и в христианской преданности представлена радостной и сияющей. Разорванный дорожный плащ завешивает окно вместо занавеси; восходит солнце и светит сквозь старые дыры, и все эти дыры — как рты, лоскутья — как языки, изобличающие суетливую кичливость мира сего.

Примеры наивной веры столь утонченны, что Брентано предвосхищает Райнера-Мариа-Рильке, новейшего католического поэта, автора *Историй о господе боге*, и движется по двусмысленной границе, едва отделяющей преданное благочестие от иронии и атеизма Анатоля Франса. Школяр у него жертвует мадонне золотую закладку из молитвенника, вешая эту закладку на руку статуи мадонны. А в детстве, в знакомом монастыре, умиленный церковной красотой, он заявлял, что хочет поселиться в одной из келий в качестве аббата, и был бы рад взять с собой в келью свою мать.

Ребенок молится Иисусу, чтобы он помог ему собрать целебные травы, за которыми его послали, и за услуги предлагает Иисусу хлеб. Брентано желает выразить католичество как повседневную сплу и наглядный предмет человеческого обихода.

Форма рассказа у Брентано „объективная“ — прилежное вчувствование в средневековый склад ума и стилизация под жизнеописание той эпохи.

К ортодоксальному „гейдельбергскому“ стилю относится и печатаемый здесь *Рассказ о честном Касперле и прекрасной Аннерль* (1817), известнейшее из прозаических произведений Брентано. Новелла соткана из фольклорных мотивов, столь ценных в гейдельбергском кругу, и по ней можно отчетливо судить, каково было „народничество“, которое проповедывали Арним и Брентано.

Рассказчик в этой новелле — видная и активная фигура, автопортретный смысл которой не скрывается. Он благоговейно слушает старуху, стыдясь перед ней своего звания литератора. Характерный мотив *покаяния*, стыда за буржуазную профессию, аскетизма, в глазах которого искусство — несправедная роскошь. Важнейший оборот сюжета — трагическая судьба прекрасной Аннерль — основан на фольклоре. Еще Генрих Гейне восхищался мрачной и внушающей силой эпизода с палачом; в творчестве самого Гейне на это есть отклики

(в *Мемуарах* — история „красной Зехен“, дочери палача). Симпатичский меч, которому дано предугадывать свою будущую жертву, однако, есть у Брентано нечто большее. нежели мрачный „готический“ символ. Как это характерно для гейдельбергской поэтики, поверье, представление, взятое из фольклора, *реализуется*; для Брентано мировые силы в их народно-суеверном понимании — реальные силы и фольклорное творчество имеет смысл практического и по сию пору подлинного познания действительности.

Фольклорный мотив реализуется тем, что он входит, как логический член, в развитие фабулы, достоверной, современной, записанной очевидцем. Судьба Аннерль действительно предсказана старым мечом, и напрасно не приняты были меры предосторожности — послушались бы старого палача, и не было бы ни греха прекрасной Аннерль, ни позорной казни. Согласно Брентано, согласно доказательству, принесенным самою фабулой, суеверное есть достоверное.

Новелла искусно построена, отчетливо ведет к заключительному смыслу, „объективное“ принуждение которого и обуславливает ее ход.

По форме рассказа автор никакой автономии не имеет: он только посредник между событием и мыслью, возникшею в связи с событием.

В новелле три фабулы: история честного Каспера, история красной Аннерль, история герцога и молодой графини Гроссингер, с отчетливыми переходами от одной фабулы к другой. Две первых фабулы связаны тем, что Аннерль — это невеста Каспера, а третья фабула отнесена к первым двум через графа Гроссингера — одновременно соблазнителя Аннерль и брата герцогской возлюбленной. Эти эмпирические фабульные связи только способствуют тому, чтобы в единую плоскость рассказа свести многообразные события, объединить их в смысловые группы и противопоставить. В смысловых противопоставлениях весь пафос рассказа.

Касперль, который застрелился, так как близкие родные — отец и сводный брат — опозорили его; Аннерль, которая пошла на эшафот, но скрыла имя человека, виновного перед ней, сожгла письменное обязательство, собственное свое оправдание, чтоб не пользоваться им против воли другого — оба они, и Касперль и Аннерль, каждый со своей историей — это, по Брентано, выразители *народной жизни*, народной этики, народных, истинных понятий о чести-честности.

Но граф Гроссингер тоже заявляет, заграждая просителю доступ к герцогу: не пустить просителя в апартаменты — это для него, Гроссингера, — дело *чести*. Затем выясняется, какова эта честь графа Гроссингера: он сводил встречу с герцогом.

И герцог спокойно пользовался своими преимуществами

перед простыми смертными на свиданиях с сестрою, охраняемых собственным ее братом. В эпилоге Гроссингер кается в деле с Аннерль и с сестрой и гердагом. На гердога тоже снизошло нравственное просветление: он женится на любовнице. Все это происходит под влиянием гибели прекрасной Аннерль и честного Каспера. В этом и состоит по существу синтез всех трех фабул: в народной морали, в *школе* этой морали, преподанной высшим сословиям, в „народной правде“, которая является правдой для всех, всеобщей и необходимой. Действительная честь Каспера и Аннерль выставлена против ложной чести, придворной и дворянской. У Брентано фольклорны не только песни, язык, но и самая философия.

Есть в этой повести еще один синтез — окончательный и высший. Он принадлежит старушке, и ей Брентано доверяет почитательно и безусловно, как народной мудрости, крайней и предельной. У старушки *абсолютная* точка зрения на вещи: вся эта честь и все эти мотивы, из-за которых бьются люди, — ничто перед вечною судьбой, смертью и заочным страшным судом. Религиозный критерий вообще отвергает понятие *чести*, как суетное и эгоистическое. Ведь вот честь и привела Аннерль к несчастью — от гордости, от желания покрасоваться она и попала в наложницы знатного человека. Честь подобает воздавать только богу. Глубокий душевный покой старушки перед лицом свершающихся земных вещей, ее хлопоты только в виду потустороннего — чтоб Каспер не попал на анатомический стол, а был похоронен по-христиански, чтоб Аннерль подготовилась к нездешнему суду, а прощенья ей не надо от гердога, так как все решается „там“, — вот в этом всем и есть для Брентано величайший и последний смысл рассказа.

Таково „народничество“ Брентано, вмещающее религиозную заботливость, робкое сглаживание всех земных противоречий в основное и самое характерное для народного мировоззрения. Худшие, наиболее отсталые стороны крестьянского сознания закрепляются навеки и славятся литературой.

Новелла Брентано в немецкой литературе, в традиции „деревенских историй“, связанной с именами Песталоцци, Бертольда Ауэрбаха, Карла Immerмана, заняла почетное место. Как „народного писателя“, возвеличил Брентано и Фердинанд Фрейлиграт в известных стихах.

Это народничество имеет русские параллели: Тургенев — *Живые мощи*, Тютчев — о „простоте смиренной“ и о „бедных селеньях“. В русских националистических символах и теориях, в славянофильстве и в реакционном народолюбии, в идеях о святой бедности и святой простоте русского народа, народной интуитивной религии и особой „русской почве“ — во всем этом трижды и трижды „национальном“ историки русской литературы могли бы отыскать следы немецкого влияния.

Клейст

(1777—1811)

Генрих фон Клейст происходил из старой дворянской семьи, традиционно связанной с прусскими военными кругами. Уже в 1792 г. Клейст вступает в армию ефрейтором, принимает участие в войне с революционной Францией, а в 1793 вместе со своим батальоном находится при осаде Майнца. В 1799 г. Клейст уходит с военной службы и более к ней не возвращается. Он озабочен своим образованием: посещает университет в родном Франкфурте на Одере, изучает математику, философию, древние языки.

В 1800 г. он поступает в Берлине на штатскую службу, в департамент акцизов и таможенных сборов. Знакомится с прусской экономикой. В том же году объезжает промышленные города Саксонии, осматривает фабрики и заводы. В 1801—1804 гг. Клейст странствует по Франции, по Швейцарии. Он впервые испытывает свои силы поэта (Трагедии *Селейство Шроффенштейн*, *Роберт Гискап*), сомневается в них, не может выбрать жизненное призвание. В 1804 г. Клейст снова появляется в Берлине, затем получает назначение в Кенигсберг. Здесь, в городе Канта он встречается с усердными кантианцами (философ Круг, муж бывшей невесты Клейста Вильгельмины), с приверженцами буржуазной политической экономики (профессор Крауз, пропагандист учения Адама Смита). Политические дела Пруссии становятся основным содержанием помыслов Клейста. В 1806 г. старое прусское государство было разгромлено и унижено Наполеоном. Клейст начинает яростную антифранцузскую кампанию. В 1808 г. в Дрездене он вместе с Адамом Мюллером издает журнал *Phöbus*, предназначенный для пропаганды национальных идей. Подписные листы рассылаются по немецким посольствам: по одному экземпляру журнала на веленовой бумаге должны были получить

все немецкие князья. Журнал был встречен равнодушно. К марту 1809 г. он более не существовал. Клейст напечатал в нем повесть *Миссэль Кольхаас* (ее первую треть), отрывки из трагедии *Пентезиля, Кетхен из Гейльбронна, Роберт Гискар*, из комедии *Разбитый кувшин* и, наконец, новеллу *Маркиза О...*

Это был год лихорадочной работы; в том же 1808 г. Клейст успел написать патриотическую трагедию *Побойце Арминия*. В переводе на язык древних отношений — отношений между германцами времен Арминия и римлянами-победителями — Клейст инсценирует политическую современность, призывает к свирепой народной расправе над новыми римлянами, над войсками императора французов.

Во время австро-французской войны Клейст разъезжает по немецким городам, агитирует везде, где может, за поголовное национальное восстание. Он проектирует новый политический журнал *Германия*, и для этого журнала у него уже приготовлены зажигательные материалы: политические филиппики, сатиры, прокламации.

В 1810 г. Клейст снова в Берлине. Им написан *Принц Фридрих Гомбургский* — последнее его драматическое произведение, и в этом же году он снова предается боевой патриотической журналистике, как издатель *Берлинского вечернего листка* (*Berliner Abendblätter*).

Ввиду неладов с министерством Клейст вынужден весной 1811 г. прекратить свою работу публициста. Он глубоко недоволен международным положением Германии, прочностью европейской диктатуры Наполеона. Его последние драматические произведения не напечатаны. Тем, что было напечатано, он не добился внимания современников. Немецкие театры закрыты для его драматургии: ее считают громоздкой и чудовищной, не отвечающей требованиям сцены. Клейст омрачен, он остался один, без сочувствия и без дела.

Конец Клейста — трагичен и жалок. 20 ноября 1811 г. в трактире близ Берлина Клейст застрелился вместе с Генриеттой Фогель, своей истерической знакомой, по отзыву Арнима — „старой и некрасивой“.

Смерть Клейста вызвала шум в Германии. *Берлинская газета* уверяла, что катастрофа с Клейстом есть следствие сумасбродного направления романтической литературы.

Политический характер писаний Клейста столь очевиден, что вопрос о его социальных и политических позициях занимал даже немецких буржуазных литературоведов. Мы видим это в работах Рейнгольда Штейга (*Kleist's Berliner Kämpfe*, 1901) и Генриха Бекса (*Kleist's Politische Anschauungen*, 1930), резко расходящихся между собой. Штейг трактует Клейста как законченного дворянского консерватора, Бекс — как кан-

тианца-либерала. Мы не можем примкнуть ни к одной из этих интерпретаций.

Для Германии — для бюргерства и крестьянства — были существенны социальные порядки, насаждаемые французской властью в завоеванных областях. В Рейнскую область Наполеон принес господство буржуазных отношений. Для Франции, пережившей якобинскую диктатуру, режим Наполеона означал реакцию. Для полуфеодалной Германии этот режим означал некоторый прогресс. Пример рейнских провинций становился опасным. В 1807 г. Штейн и Альтенштейн, озабоченные прочностью престола, прокламируют „мирную революцию“ — перенесение на прусскую территорию французских идей, признание их со стороны монархической местной власти. Реальные мероприятия Штейна выразились в октябрьском эдикте 1807 г. Эдикт отменял наследственное подданство крестьян, разрешил дворянству заниматься промышленностью и торговлей, буржуа и крестьянам — приобретать дворянские земли.

В 1810 г. в министерстве Гарденберга реформы продолжались. Гарденберг провел закон о праве для известной части крестьян выкупать повинности.

Реформы Штейна — Гарденберга знаменательны: дело шло о развязывании возможностей немецкого капитализма. Юнкерское правительство искало согласия с буржуазией, при условии, что дворянское господство в экономике и в политике сохраняется. Борьба с империей Наполеона могла объединить немецкую буржуазию с немецким дворянством. Континентальная блокада была совершенно губительной для дворянского землевладения, лишенного выгод хлебного вывоза в Англию. Но для немецкой промышленности, избавленной таким образом от английской конкуренции, та же политика Наполеона была политикой поощрительной, только до известных пор и в известных только отношениях. Наполеон уничтожал в Германии остатки крепостного строя, вводил буржуазную законность, гражданское равенство, но он же подчинял немецкую буржуазию национальным целям французской промышленности, предписывал немецким землям роль колоний или полуколоний. На почве немецкого национализма могли договориться в Германии и бюргеры и дворянство. Именно к этой линии склонялся Клейст.

Ортодоксальное неререформированное пруссачество у Клейста поддержки не находит. Еще в 1800 г. он пишет сестре Ульрике:

„Впрочем, как я вижу, вся коммерческая система в Пруссии весьма милитаризована, и я сомневаюсь, чтобы она нашла во мне ревностного сторонника. Индустрия — это дама, и нужно бы изысканно-вежливо и сердечно пригласить ее, чтобы своим вступлением она осчастливила бедную страну. Но ее тянут за волосы, и что же удивительного, если она дуется! Промыслы

не поддаются тому, чтобы ими овладеть воинскими приемами... Ибо ремеслам, искусствам и знаниям, если они сами себе не помогут, не поможет и никакой король. Только бы им не помешали в их шествии,— это все, чего они хотят от королей“.

Таким образом, точка зрения буржуазной политической экономии была близка ему. Что же касается дел чисто политических, то все определяется тактикой борьбы с Наполеоном. Клейст советует воевать с французами по испанскому образцу, то-есть он мечтал о народной партизанской войне, с какой тогда имел дело Наполеон в Испании. Отсюда следовали пеминуемые политические обязательства. Во время австрийской кампании Наполеона Клейст пишет: „Всякая великая и далеко идущая опасность, если встречена умело, придает государству в одно мгновение демократический вид. Позволить, чтобы распространилось пламя, которое угрожает городу, не противиться пламени только потому, что полиция не в силах будет справиться со скопищем людей, собравшихся на вырубку,— такая мысль была бы безумием, она может посетить лишь деспота, но не правителя честного и доброжелательного“.

„По окончании войны пусть соберутся сословия и на всеобщем рейхстаге пусть дадут государству устройство, наиболее с ним сообразное“ (статья *О спасении через Австрию*).

Обновление прусского государства, общегражданская законность, признание буржуазной собственности, „мирная революция“ — этими положениями проникнуты и произведения Клейста-художника: *Михаэль Кольхаас* и *Принц Гомбургский*.

Для понимания повел Клейста очень важна его философская позиция, в частности его отношение к философии Канта. Известно, какое гигантское впечатление произвела на Клейста-юношу кантовская философия. Кантова теория познания, истолкованная через Фихте* как абсолютный субъективизм, как отрицание всякой реальности внешнего мира, воспринята Клейстом трагически: „Моя единственная, моя высочайшая цель погибла“ (письмо к девесте 22 марта 1801 г.). Это замечательно: в ту пору немецкие идеологи относились к субъективизму как к истине самоочевидной.

Нет никаких оснований думать, что Клейст позднее теоретически справился с ученьем о феноменальности внешнего мира. Хотя как политический активист, писатель, непосредственно связанный с боевой практикой своего класса, с прусской армией, с прусским государственным хозяйством, с прусской политикой, Клейст многократно отказывался от утонченного философствования.

* О роли Фихте в философском развитии Клейста см. работу E. Cassirer — „Kleist und die Kantische Philosophie“ в сборнике „Idee und Gestalt“, Berlin 1924.

Он пишет: „...немцы рефлектируют там, где они должны чувствовать и действовать, полагают, что все могут они осуществить через мудрствование, и ни во что не ставят старинные таинственные силы сердца“ (*Katechismus немцев*, 1809). В *Berliner Abendblätter* Клейст помещает статью-парадокс о вреде размышления, специально, как он предупреждает, названную для немцев. „Сама жизнь есть борьба с судьбою, и с действом дело обстоит так же, как со схваткой [двух атлетов]“.

В том же издании напечатаны чрезвычайно характерные рассуждения Клейста о мировом развитии (*Betrachtungen über den Weltlauf*), явно направленные против Шиллера, против его *Писем об эстетическом воспитании*. У Шиллера порядок и ценность развития человечества зависят от того, насколько ослабевают реалистические инстинкты: через эстетику, которая еще не отрешается от чувственности, народы приходят в мир морали, в мир отвлеченной духовности. Но Клейст ссылается на реальную историю: героическая эпоха греков и римлян и была их высочайшей эпохой, всё последующее развитие заключалось только в немощных воспоминаниях о ней. Шиллер же понимает героический век как первоначальный и низменный. Порядок развития, прославленный у Шиллера, Клейст считает не восходящим, а падающим.

Как практический политик, Клейст устанавливает и отправные принципы для своей поэтики. В замечательной статье о мысли и говорении Клейст рассматривает мышление, как момент, внутренне принадлежащий процессу речи, развиваемый совместно с ней, на ходу определяемый через речь: „Мысль появляется в разговоре“ (*l'idée vient en parlant*). Клейст интерпретирует речь, как социальный акт, и диалог для него господствует над монологом, над уединенной внутренней речью. Речевой акт есть акт борьбы, скрещенье противоположных сил. Слушатель — противник, даже если он молчит: он заставляет одним своим присутствием договаривать, додумывать, доводить мысль до конца и до формы.

Если взять фабульные очертания новелл Клейста, то здесь налицо окажется безостановочное действие, „борьба с судьбой“, в самом процессе которой выясняется, каково содержание и каков характер сил, приведенных в движение. Для самих героев действие есть единственное средство самознания: как фраза делается более ясной и оформляется, по Клейсту, только к концу „борьбы диалога“, так и подлинные сущности действующих лиц становятся видны лишь после всех героических трудов защиты и сопротивления, сквозь которые фабула заставила их пройти. О маркизе О... в самой новелле говорится: маркиза „познала себя“ только в испытаниях судьбы.

Таким образом, самопознание и всякое знание у Клейста не предшествует событиям, но находится в самом центре событий, следует из практического кризиса и неотъемлемо от него.

Однако этот активизм Клейста носил субъективистский характер и покоился на противопоставлении действующего субъекта и вульгарной, материальной действительности. Этические идеи Канта навсегда сохранили власть над мировоззрением Клейста. Здесь для нас важно присутствие их в мире клейстовских новелл*.

В этике Канта содержались идеи буржуазного компромисса, те самые идеи, к которым относилась совершенно благоклонно и известная часть юнкерства. Кант в духе буржуазного либерализма требует, чтобы поведение личности определялось ею изнутри, чтобы способ жизни не предписывался ей извне, догматически. С этой стороны Кант эмансипирует личность, делает для нее необязательным внешний закон, реальное установление, если она с ним несогласна.

Но кантовская „свобода“ двусмысленна. „Свободу“ Кант решительно ограничивает от „интересов“, от „склонностей“, от внушений человеческой природы, реальной, физически существующей личности. Принцип автономной личности отрицал всякое насилие, „полицейское“ вторжение; категорический императив, признававший законом этой личности отказ от природных склонностей, от плотской материальной заинтересованности, собственно, только передвигал вопрос о насилии, препоручал насильственные функции самому субъекту; надзор и наблюдение извне заменялись неуспешными наблюдениями самого сознания — „внутренней полицией“.

Общность Клейста с Адамом Мюллером, с политическими традициями, шедшими от Новалиса, с историзмом романтической школы состояла в том, что Клейст, исходя из их воззрений, придает весьма конкретное содержание кантовским постулатам. Категорический императив, „ты должен“ Канта, получает у Клейста реальный точный смысл: до конца известно, что и как „ты должен“.

Таков его *Катехизис немцев*. Вопрос: каковы же величайшие блага человеческие? — Ответ: бог, отечество, император, свобода, любовь, верность, красота, наука и искусство.

У Канта „свобода“ осуществляется в некотором фиктивном

* В указанной статье (сборник *Idee und Gestalt*) Кассирер очень точно проследил влияние кантовских идей, влияние *Критики практического разума* на все идейное строение последней и заключительной вещи Клейста — трагедии *Принц Гомбургский*.

человеческом сообществе, — в идеальном умопостигаемом строе. Для Клейста, как и для Адама Мюллера; как для Новалиса, речь может идти только о реально сложившемся государстве, историческом и фактическом. Этика у Клейста не вольное мечтание в канто-шиллеровском смысле, а охрана объективных институтов: нации, государства, сословий, семьи в их исторической данности. Автономия личности состоит у Клейста в том, что она сама внутренними силами, по собственному почину охраняет неприкосновенность определенных социальных институтов.

Так как у Канта и критика практического разума (этика) и критика чистого разума (теория познания) связаны общим методом; то Клейст через этику снова попадает в область идеалистической гносеологии, которой он сам же столь решительно отказывал в правах. Анализ человеческого поведения, предложенный Клейстом, повторял кантовский анализ познавательной деятельности, и в поведении, в „этике“ воспроизводится кантово двоемирие: „закон“ поведения — категорический императив — в пределах самой действительности не может быть найден, он не выводится из нее, он враждебен ей. „Этический человек“ действует в эмпирическом человеке без всякой связи с ним. Клейст вносит в учение Канта консервативный исторический реализм, но от этого неуязва становится еще безнадеежнее. Показаны эмпирические, заведомо обусловленные нравственные понятия — мещанская идея отвлеченной справедливости у Михаэля Кольхааса, семейственные убеждения военного дворянства в *Маркизе О...*, рефлекс воинской дисциплины в *Принце Голбургском*, — и автор заверяет, что все это врожденные принципы автономного сознания.

С величайшей резкостью показано у Клейста, что „законнообразная личность“, легальное поведение есть акт насилия, отрицания личности в ее материальной воплощенности. Нация, государство, семья, сословие — это у него последние, вне критики, вне исторической изменчивости, основания реального мира, система „благ“, к которой восходит мировой порядок.

Клейст проповедует отречение, строжайшее отделение нравственного человека от человека физического: в трагедиях и в новеллах изображена беспощадность „императива“ в лице дворянства, в лице „подающих пример“ „высших сословий“.

Основные противоречия художественной работы Клейста: могучее реалистическое рвение художника и в то же время — ирреальные предпосылки его сознания, осмысливание мира, как игры потусторонних сил, самому миру чуждых, находящихся с ним в безостановочной войне. Прагматическая фабула, бодрое зрелище практических стихий и в то же время — закрытые скобки, вне которых строжайше запрещено реальное раз-

вите. Если не субъективный идеализм, то дуалистическая гносеология вернулась к Клейсту.

Собрание своих новелл Клейст хотел назвать *Моральные повествования* (*Moralische Erzählungen*), вслед за *назидательными новеллами* Сервантеса. Вернее: повествования образцовые, показательные, содержащие пример. Борьба позитивных нравственных сил за утверждение, за реальное господство — это и есть генеральная тема новелл Клейста. Они печатались в повременной прессе, рядом с публицистикой, и действовали в том же направлении: как призыв к современникам, как средство воспитания их социальной энергии.

В немалом количестве Клейст писал рассказы, анекдоты для этой же прессы. Сравнение их с большими новеллами интересно во многих отношениях.

Клейст принял жанр новеллы текстуально, как его понимала литературная традиция: повелла есть сообщение о случае незаурядном, странном; новелла — новость, любопытное известие, она — сродни анекдоту и курьезу.

В *Abendblätter* Клейст печатает, как занимательное чтение, „дикие повести“, фантастические „новости“, *Странный случай из судебной практики Англии*, *Примечательное о генерале Вестермане*, *Чрезвычайный пример материнской любви у дикого животного*. Показателен хотя бы такой суевеверный анекдот: история о капитане Бюргере, который был скромным человеком, и о Брице, который скромностью не отличался. Оба были застигнуты грозой, и Бриц не захотел стать под то дерево, под которое укрылся Бюргер: он искал для себя отдельного места. В Брица ударила молния, а капитан Бюргер под своим деревом остался жив (*Abendblätter* 2 октября 1810 г.). Одна из таких анекдотических серий у Клейста называется *Невероятные были* (*Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten*). Это отличное название, и его следует обобщить: каждая новелла Клейста и есть такая „невероятная быль“. В больших новеллах у Клейста происходит грандиозная переоценка жанра: анекдот литературно и философски возвышен. *Маркиза О...*, например, это патетический анекдот; *Обручение на Сан-Доминго* — анекдот трагический.

Романтическая поэтика предусматривала такие переходы и превращения литературных жанров. Еще в 1798 г. Фридрих Шлегель писал: „С точки зрения романтизма даже самые эксцентрические и уродливые разновидности поэзии имеют свою ценность. Если в них только что-нибудь содержится, если они оригинальны, то они суть материалы и предварительные опыты для универсального искусства“. Программой романтизма Клейсту как бы подсказаны его смелые литературные операции.

В подлинном элементарном анекдоте из *Abendblätter* вся

острота — в смысловом противоречии. Ценность анекдота — в его фактичности, документальности, в указании полка, где служил капитан Бюргер, в указании места, где случилось чудо, в дате 1772 г., отмечающей случай потрясающей материнской любви у белой медведицы, и т. д. С другой стороны, анекдот оттого и анекдот, что доходит до небывыцы, издевается над всякой логикой, что факт, засвидетельствованный в анекдоте, есть факт однократный и не выводимый ниоткуда, факт, не имеющий логических корней в самой действительности.

Мысль Клейста потому и обратилась к анекдоту, что здесь в самой художественной форме, в самой структуре жанра она нашла узаконенными свои основные противоречия: ирреального и реального, „невероятного“ и „были“, имматериального постулата и его материального выражения.

В основу больших новелл Клейста положен анекдот в элементарном значении термина: тема „непорочного зачатия“ — в *Маркизе О...*, тема находчивости и трагической ошибки — в *Обручении*, тема камеристки, заменившей на любовном свидании свою госпожу, — в *Поединке*, тема о паразитальном физическом сходстве двух людей — в *Найденныше*. В *Abendblätter* Клейст напечатал два непритязательных анекдота, из которых один пересказывает фавулу *Маркизы*, другой — *Поединка*; таким образом, у Клейста эти новеллы существуют в двух редакциях — „высокой“ и „низкой“.

В самом развитии этих больших новелл это первоначальное анекдотическое основание снимается, весь интерес новеллы о маркизе О... уже вовсе не в двумысленных предпосылках фавулы, а в том, как с этими предпосылками справляется героический характер, и „невероятность“ приурочена к более высоким моментам, нежели можно было предполагать: „невероятна“ не история непорочного зачатия, — „невероятны“ сама маркиза и ее героическое сопротивление судьбе. В новеллах, по мере их развития, достойны удивления не парадоксальные сюжетные мотивы, но все содержание и направление активности героев, моральные источники этой активности. Чудесна, невероятна этика действующих лиц, легендарно то преобразование, которое придано событиям через посредство этики. По сравнению с этим исключительность самого события вынуждена отступить. Новеллы Клейста — „анекдоты и легенды“ о категорическом императиве.

Известен источник *Маркизы О...* Он был указан Фр. Маутнером. У старинного мастера французской прозы, Монтеня, рассказана следующая история (*Опыты*, издание 1588):

„Недалеко от Бордо, около Кастра, жила в своем собственном доме одна крестьянка, вдовица, поведения весьма честного. Почувствовав первые признаки беременности, она сказала

своим соседкам, что могла бы действительно предположить о себе такую вещь, если бы имела мужа. Но подозрения ее с каждым днем все больше подтверждались, и, наконец, уже не оставалось никаких сомнений. Она решилась объявить в дерквы во время проповеди, что если виновный в этом деле выдаст себя, сознавшись, то она простит его и, ежели он на это согласится, пойдет за него замуж. Тогда один из ее молодцов, нанятый для пахоты, ободренный этим обещанием, заявил, что однажды в праздничный день, когда она выпила много вина, он нашел ее у очага погруженною в глубокий сон. И она лежала столь непристойно, что ему удалось совершить это дело, не разбудив ее. Они поженились и еще теперь живут вместе“.

Как возможный источник указывают также новеллу Сервантеса *Сила крови*. Родольфо похитил Леокадию, с завязанными глазами, лишенную чувств от испуга; он затаял ее в свой дом и там изнасиловал. Леокадия, очнувшись, ознакомилась с предметами жилища и взяла со стола Родольфо распятие, так, чтобы тот не заметил. Когда он выводит Леокадию на улицу и глаза у нее снова завязаны, она считает ступеньки лестницы и число удерживает в памяти. Спустя семь лет Леокадия, которой случай помог встретиться с Родольфо и его родителями, по собранным приметам удостоверется, что дом и человек — те самые; распятие служит ей цитатой, ссылкой и документом; с фактами и с документами в руках, она, незнатная и бедная, убеждает родителей Родольфо в своих правах, и те, знатные и богатые, велят Родольфо исполнить свой долг, жениться на ней и признать ребенка, который шесть лет тому назад родился у Леокадии от Родольфо.

Наконец сам Клейст напечатал в *Berliner Abendblätter* анекдот на мотивы *Маркизы О...: Странная история, которая случилась в мое время в Италии*. Здесь некая придворная девица ловко прикрывает свой грех, в чем помогает ей благосклонная принцесса. Девицу во-время выдают замуж, но жениха не существует. Дамы сговорились и эксцентрично морочат окружающих. Ко двору неожиданно приезжает некий граф Шарфенек, молниеносно заключает брак с заинтересованной девицей и пропадает, никому не показавшись. Дамы всем объясняют, что немецкий граф — человек со странностями. Через несколько недель новобрачная получает траурное извещение: супруг ее граф Шарфенек утонул в Венеции, и тело его не найдено. На этом инсценировка кончается. Девица может рожать своего легального ребенка. История о графе Шарфенек сыграла свою роль.

На фоне всех этих вариантов одной и той же фабулы проясняется идейный замысел „невероятной истории“ маркизы О...

Прежде всего Клейст освобождает свой сюжет от всякого сонрикосновения с комизмом. Герои новеллы с разных сторон пытаются трактовать приключение маркизы в грубо комическом смысле, даже в злостно комическом: отец, мать, наконец, акушерка с ее профессиональным юмором, с трезвыми замечаниями об известном ненормальном случае с девицей Марией.

Вся неожиданность оборота, приданного Клейстом галантной и щекотливой фабуле,— в том, что с нее сброшена комическая форма. Мировая литература знает множество примеров перехода от трагического к комическому, переработки высоких сюжетов в комедийные. У Клейста пример более редкий: он комическое переводит в возвышенное, в класс страстного драматизма. В одной из своих сценических вещей он поступил так же с комедией Мольера *Амфитрион*.

В этой перепланировке, в этом обратном движении от комических, то-есть разрушенных, скомпрометированных ценностей к их восстановлению, к новому усилению их власти — своеобразная особенность второй стадии развития романтизма. Эта „игра на повышение“, эта отмена комической характеристики лиц и событий, конечно, связана со всей работой Клейста-новеллиста, с переквалификацией жанров, с переходами в высокий ранг анекдота и повествовательных мелочей. И здесь опять-таки Клейст опирается на литературную теорию романтизма, отменившую классически непроницаемые границы между стилями и жанрами. Было объявлено, что жанры и стили находятся в сплошной диалектике взаимных переходов и превращений. В частности, была снята граница между трагическим и комическим, которую классицизм соблюдал строго и ревниво. Шеллинг, рассуждая о существовании комического, заверял, что Аристофан и Софокл по духу одно и то же. Август Шлегель ссылаясь на эстетику Платона и говорил, что дело одного и того же поэта — создавать вещи комические и вещи трагические: трагический поэт уже в силу самого своего искусства совмещает с трагическим комическое дарование.

В *Маркизе фон О...* Клейст трактует, как мы видели, фабулу буржуазного Ренессанса. Но трактовка его характерна для проникнутой словесностью прусской общественности.

Решение фабулы у Монтеня выражает буржуазное материалистическое миропонимание, индивидуализм и скепсис. Несчастье случилось *против воли* героини, но она *применяется* к обстоятельствам. Так или иначе — обидчик торжествует.

Приблизительно то же самое в новелле Сервантеса. Монтеневский юмор относится к тому, что некоторая ценность — женская добродетель — представляется далеко не абсолютной, „идеальный мир“, к которому она принадлежит, подвержен

реальным превратностям. Героиня *уступает* своему несчастью, ищет реальных поправок к нему; значит, как бы бессознательно ни была вина, все же эта вина существует, внутренний мир героини капитулирует, становится местом пересечения внешних влияний и сил. Трезвое поведение героини есть свидетельство невозможности замкнутой, вне мира существующей нравственности и свидетельство того, что во всех случаях человек ищет, где лучше.

Вот эти-то модусы поведения — мирские, „примиренческие“ — с драматической энергией отвергает у Клейста маркиза О... Со всей приверженностью к кантовой морали Клейст не допускает, чтобы личность поступилась хоть чем-либо из своей автономии, чтобы она отвечала за случайности, испытанные ее телесным двойником. Для маркизы О... недействительны все происшествия плотской ее биографии: „с гордостью“ она встречает „выпады света“. Ее объявление в газетах — всеобщее посмешище (*Spott der Welt*), но маркиза не боится быть смешною.

В рассказах Монтеня или Сервантеса возможность комического (реализованная у Монтеня и нереализованная у Сервантеса) в том, что внешнее происшествие не локализовано как только внешнее: оно в конце концов находит себе союзника „изнутри“ в сознании непричастной героини. Таким образом, говоря языком романтических эстетик, „случайность“ внедряется в „необходимость“ и уничтожает ее исключительные претензии.

Маркиза О... свергает всякий комизм, потому что не позволяет случайности распространиться: внутренний мир героини совершенно недоступен случайности.

Фабула предоставляет маркизе отличный выход: русский граф к ней сватается, и она любит его. Ей дается способ договориться с обстоятельствами более почетным образом, чем то могли сделать героини Сервантеса или Монтеня. Но смысловой стиль у Клейста не таков: маркиза безоговорочно отказывает русскому графу, как только узнает, что беременна.

Возражения, сделанные Клейстом фабуле Монтеня и Сервантеса, чрезвычайно типичны. Немецкая романтика пересматривает все укоренившиеся правила развитой буржуазной литературы, в частности, подвергает критике принципы индивидуалистической фабулы, установившейся с Ренессанса.

У Сервантеса феодальная концепция промысла еще не отменяется окончательно: держатся ее формальные остатки, и замечательна авторская наивность. Леокадия действует индивидуально, действует с умом и с полнейшим вниманием к внешнему миру, с предосторожностями. Она не голыми руками исправила собственную судьбу, и все ее поведение — это благоразумный детектив в собственную пользу. Но распятие

со стола обидчика — этот главный документ детектива, — средство эгоистической самозащиты, в то же время есть религиозный символ. В этой фабульной детали идея промысла, сверхнатурального руководства человеком встречается с идеей буржуазной самостоятельности, буржуазного самоопределения и находчивости, встречается выразительно и наивно.

Немецкая романтика чаще всего возвращается к тому кругу литературных идей, в отрицании, в борьбе с которыми складывалась в эпоху Ренессанса мировая буржуазная литература. Что для Сервантеса есть рудимент, формальный остаток, то у романтиков обыкновенно превращается в существенный признак и главенствует.

У Клейста маркиза О... с героическим безумием бросает вызов внешнему миру и идеям приспособления к нему. В тактике маркизы О... нет ничего общего с поведением сервантесовой Леокадии, „читающей ступени“, и с вульгарными, хотя и виртуозными уловками из „странной итальянской истории“.

Маркиза принимает искательства русского графа в самых неблагоприятных условиях, ею же самой созданных, — после скандального объявления в газетах. И принимает их не во имя своих интересов, а во имя будущего ребенка: нужна юридическая форма, нужен законный отец. Ее „склонность“ к графу никакой роли не играет; „долг“ исключает склонность, и граф ей муж только потому, что он отец ее ребенка. Церковный обряд не меняет дела, и маркиза карает русского, обвенчанного с ней, самым суровым пренебрежением, хотя и любит его. Она приближает его, только когда он прошел курс нравственного воспитания.

Какой-нибудь „фривольный француз“, материалист и скептик, современник Клейста, продолжил бы дело писателей Ренессанса и построил бы рассказ иначе: он предоставил бы маркизе свободу маневрирования, сразу выдал бы ее замуж за графа Ф. ко второму его приезду и затем, к полнейшему удовольствию обоих супругов, все разъяснилось бы в благородно-комическом смысле. Новелла Клейста есть немецко-романтическая отповедь, „наш ответ французам“ с их свободной-материалистическими убеждениями. Автономная личность и автономная мораль, свобода в отрицательно-спартанском смысле у Клейста деликом и полностью торжествует. В то же время кантовская формула нравственности заметно отличает Клейста от ортодоксально-феодалных романтиков. В фабуле Клейста форма индивидуализма все же сохраняется: это маркиза сама, собственными усилиями, реальной своей активностью победила. Ни промысел, ни религия здесь не при чем. Клейст в противоречии с новеллами романтиков, где герой ходит от начала до конца на привязи у промысла, центром новеллы делает собственную активность героя. Герой

свободен и действует от своего имени. Хотя у Клейста и показано, что достоинства маркизы О...— это фамильные дворянские достоинства, но маркиза у него идет даже па разрыв со своим семейством, которое ей не верит: это она сама от себя, сознательно, автономно оберегает женскую добродетель, семейные каноны и прочие положительные „исторические ценности“.

Маркиза выполнила *дворянский* императив, но Клейст хочет доказать, что феодальная нравственность есть нравственность общечеловеческая и что ей свободно, по внутреннему голосу следует каждый. В художественной работе Клейста сказывается его компромиссная политическая позиция: феодальным идеям он сообщает буржуазную форму. По форме личность самостоятельна, но содержание ее деятельности не подвластно никакой критике, никакой переоценке: оно навязано ей неведомым авторитетом.

Личность не поставлена в свободные отношения с внешним миром, всякий акт ее есть акт предвзятый. Совершенно не-кантовски Клейст только предлагает ей свободно делать то, что раньше она делала несвободно.

Все эти фикции свободы и автономии рано или поздно должны выдать свою природу, и в *Поединке* у Клейста религиозные силы уже совершенно открыто захватывают в свою пользу львиную долю сюжета. Бог и небеса опекают нравственность героев, в боге содержатся все узлы сюжета, и опекаемый герой теряет признаки даже формального индивидуализма. Божий суд и феодальные времена составляют наиболее добавляющую обстановку для этой „моральной новеллы“.

Любопытно, что и новелла *Поединок* происходит из анекдота, пересказанного самим Клейстом в *Abendblätter*. *История одного замечательного поединка*, там напечатанная, взята из *Хроники Франции* Фруассара (V век). Рыцарь Жан Каруж, вассал графа д'Алансон, отлучился из замка. Тогда наезжает друг его Жак, вассал того же графа. Он влюблен в жену Каружа. Та принимает его доверчиво, показывает ему замковые покои, одна, без провожатых. Когда они оказались в башне, Жак запер двери и решительно приступил к даме, хотя она и плакала и заклинала его. Из замка он отбыл в четыре часа утра. К девяти он уже присутствовал при вставании графа д'Алансон, как то ему надлежало. По жалобе жены своей Жан Каруж начинает тяжбу с обидчиком, но граф берет Жака под защиту: от замка до графского лагеря двадцать три мили,— мог ли Жак за четыре с половиной часа проехать это расстояние? Божьим судом, честным поединком решается это дело. Жан Каруж победил Жака и доказал его виновность. „Фруассар рассказывает эту историю, и она подлинная“.

В большой новелле Клейста героиня сохраняет честь, но она — обвиняемая. Божий суд должен доказать ее невинность. У Фруассара основное фабульное противоречие в мелком преппирательстве о часах и милях. У Клейста в *Поединке* мотив противоречия таков: судебная эмпирическая видимость, вся до последних черт поддерживающая обвинение, и внутренняя самоочевидность полнейшей непричастности героини — самоочевидность „добродетели“. Так поставлен вопрос для Фридриха фон Тротта, защитника Литтегарды, защитника *веры* против *знания*. Таким образом, анекдот Фруассара у Клейста „потенцируется“: противоречие фабулы возведено на более высокую степень. Знание в новелле в конце концов подтверждает то, что допустила вера, но это происходит тоже по божественному побуждению, как и все события, как и все дела, рассказанные здесь Клейстом.

В новелле *Обручение на Сан-Доминго* прежде всего замечателен исторический фон. Новелла полна откликов на Первую французскую революцию.

Гаити в XVII и XVIII вв. — французская колония. Революция нашла здесь свое отражение. В 1790 г. было создано креольское национальное собрание, и в связи с этим мулаты подняли восстание, требуя полного уравнивания в правах с белыми. В 1791 г. восстали негры, и мулаты присоединились к ним. Рабы жгли усадьбы, истребляли плантаторов, захватывали землю. Комиссары Конвента, посланные в Гаити, хотя и объявили в 1793 г. негров свободными, но уже не могли остановить движения. В дальнейших событиях выдвинулся негр Туссен-Лувертюр. Колониальное собрание сделало его пожизненным губернатором Гаити под суверенитетом Франции. Но Туссен-Лувертюр был предательски схвачен французскими властями и отвезен во Францию, где в 1803 г. умер в тюрьме. Последовало новое восстание под руководством негра генерала Дессалина. Французская армия капитулировала. Конгресс в Гонаивах в 1804 г. объявил независимость Гаити и подтвердил освобождение негров и конфискацию плантаций.

Освещение революционных событий здесь у Клейста то же, что и в повести *Михаэль Кольхаас*. Клейст не поощряет плантаторов и подробно пересказывает жестокою историю старухи Бабекан *. Но он не поощряет и негров, потому что они восстали и мстят. Авторское мнение высказывает в новелле Гу-

* Впрочем, в *Abendblätter* Клейст помещает статью о положении черных в Америке, где на основании книги Генри Болингброка описывает это положение как весьма благополучное и плантаторов как благодетелей. Здесь, видимо, имели значение англофильские настроения Клейста: для эпохи кон-

став: хотя белые и были тиранами и поступали неправильно, но ангелы неба не могут отказать им в защите, если негры столь ужасно отплачивают за свои обиды.

Иначе говоря, Клейст считает, что революция *оправдывает* старый порядок. Если вы хотите изменить положение вещей, то учитывайте интерес обеих сторон, избирайте средства добрые и мирные, иначе гнет и насильственные методы существующей власти вы делаете явлениями необходимыми.

Герония повеллы Тони с известной минуты меняет все свое поведение. Ради Густава, чтобы спасти его, она проявляет чрезвычайную волю, находчивость, но это все — ее старые качества, только получившие новое направление. Это старики негры научили ее хитрости и расчету, действиям твердым и осторожным. Сейчас она делает *для белых* то же самое, что прежде делала *против белых*. Нельзя сказать, что она поумнела от любви, как шекспировва Джульетта: она была умна и до любви.

Но самое главное, что собственно любви к Густаву, любви в индивидуальном смысле у Тони вовсе и нет. Клейст не связывает важных вещей со „склонностью“ и личным чувством. Тони с великолепным геройством защищает Густава, потому что он ей *муж*. Существенно, что ночью произошло „обручение“. Она теперь будет служить Густаву так, как служила старику Гоанго, — она переменяла *господина*.

Тони отрекается от отца, от матери, идет на смерть ради Густава, *обрученного с нею*. Эволюция Тони состоит у Клейста в переходе от одной власти — материнской — к другой — более высокой — власти мужа. И в этой новелле речь идет о безусловном превосходстве объективных институтов — семьи, брака, — над личным сознанием, о природной вредности их в это сознание.

В новелле происходит двойная трагедия. Тони умирает, Густав застреливается. Он карает самого себя: он не поверил Тони, *своей жене*, он считал ее предательницей. Между тем он был знаком с пей не более суток, и все происходившее вокруг оправдывало подозрительность. Но все дело в сверхопытных безусловных требованиях, в формальных постулатах верности, и перед ними Густав виноват.

Сквозь эти мотивировки сверхчуждой морали пробиваются другие, тоже понижающие индивидуальный смысл поступков, — мотивировки *расовые*. Гоанго — негр, Бабекан — мулатка, Тони — метиска. Это все постепенные переходы к белым, и следовательно, разные ступени нравственности. Для Тони вполне доступны приказания „закона“, потому что она полу-

тинентальной блокады в этом состояла обратная сторона французского. Клейст в этой заметке писал об *английских* неграх.

белая. Поведение Густава мотивировать не нужно: он белый, в этом вся мотивировка, остальное только рассказано. То же самое относится к семейству Штремли.

В своих „католических новеллах“ — *Землетрясение в Чили*, *Найденши*, *Святая Цецилия* — Клейст трактует римскую церковь с буржуазно-лютеранской точки зрения. Он хочет „религии в границах разума“, и Рим у него порицается за чувственность, за чувственную порчу, которую он вносит в человеческие отношения (Николо и монахи-кармелиты — *Найденши*). В *Землетрясении* непростительна вина католической церкви в том, что она попускает злобным инстинктам, что проповедник натравливает чернь на спасенных. В *Цецилии* Клейст сочувствует католической церкви, вернее, соболезнует ей. Но причины здесь особые. Церковь подвергается антирелигиозному погрому, массовому и дерзкому штурму иконоборцев. Клейст защищает католическую святыню в том же смысле, в каком защищал плапаторов против бунтующих негров. В остальном он старается держаться в стороне: религиозное исправление братьев-иконоборцев Клейст изображает как мрачный идиотизм.

Римская церковь представляется у Клейста как языческая власть, корыстная, потворствующая мирским инстинктам, даже в самом своем религиозном рвении несущая соблазн и гибель; по общему своему смыслу она — вражеская сила, отрицание ценностей, защищаемых и прославляемых в его „моральных повествованиях“.

Локарнская нищенка, повелла, вызывавшая восхищение Э.-Т.-А. Гофмана, яснее других вещей говорит, что такое так называемый „реализм“ Клейста.

О реализме Клейста много писалось. Под реализмом разумели отдельные выразительные моменты художественного письма Клейста — его вещественность, богатство деталей, сценичность изложения, подчеркнутую документальность: все происходит воочию и совершенно точно.

В *Нищенке* в совершенстве виден подлинный способ художественной работы Клейста, перенесенный в более неуловимой форме на его большие вещи.

Локарнская нищенка — это проба сил мастера.

Реализм здесь парадоксален; он остер тем, что неуместен. Эта шуршащая солома, эти вздохи за печкой, этот лай собаки поражают, впечатляют, так как все это признаки явления, которому никакой быт, никакая локализация, никакая обыденная деталь не к лицу.

Сейчас мы должны еще раз вернуться к вопросу о стиле клейстовских новелл, к тем столкновениям ирреального и реального, к которым ведут идеология Клейста и жанр „анекдота“, адекватный внутренней структуре этой идеологии.

Особенности *Локариской нищенки* повторяются в увеличенных масштабах в больших повестях Клейста, этих возвышенных анекдотах, где мнимый реализм работает на выдвигание, на подчеркивание существенных сторон смыслового строения — абстрактных ирреальных духовных сил, компрометирующих всякое эмпирическое бытие, в какое они вступают.

В *Поединке* показанья божьего суда даются взвешенными в точнейших юридических пропорциях. Якоб фон Ротбарт сам верил в то, что Литтегарда была его любовницей — поэтому он не может погибнуть на божьем суде. Но нельзя с божьего суда отпустить его невредимым, так как он жлет и виновен по другому поводу (убийство герцога фон Брейзах), а Литтегарда честна перед ним и перед всеми. Все эти отношения точнейшим образом обозначены в результатах поединка: ничтожное ранение Якова фон Ротбарта не заживает и превращается в смертельную болезнь; тяжелая рана Фридриха фон Тротта непостижимо быстро исцеляется. На божьем суде запрос был сделан неправильно — жлет или не жлет Ротбарт. Он верит в свою неправду, поэтому исход поединка — двойственный.

Дела божьего суда ведутся в новелле со всей строгостью юриспруденции, и приговоры переводятся на язык медицины. Таким образом, бог, небесное воинство, фикции нравственного закона представлены у Клейста заправски воплощенными.

Этот мистифицирующий реализм особенно чувствителен в такой черте: когда Ротбарту отнимают руку, покрытую язвой, Клейст замечает, что с точки зрения современной медицины поступили неправильно — операция только увеличила зло. То-есть, как бы забывается, что рана символическая, и ее изучают, как в заурядном госпитале.

Или акушерка и доктор, весь ординарный быт, выразительные именно своей неуместностью в чрезвычайной истории маркизы О...

Или непременно исторические, календарные, локальные данные во всех новеллах. Не только *Обручение*, но и *Маркиза* и *Поединок* имеют точную историческую приуроченность, события в них рассказаны как строго проверенные, со всеми деталями подлинного факта. Фабула *Маркизы* отнесена к суворовскому походу в Италию 1799 г., к пребыванию в Северной Италии русских войск, когда им сдались Милан, Турин и Мантуя. В *Поединке* приводятся точные титулы действующих лиц и календарь событий по дням святых католической церкви. В *Обручении* дается строжайшая топография дома Гоанго, не менее строгая топография всей окрестности, дается маршрут белых так, что его можно практически воспроизвести.

Реализм этих новелл, все фабульное смысловое движение которых выражает титаническое усилие пренебречь реаль-

ными условиями внешнего мира, есть реализм обращенного порядка. Он стремится придать формы действительности тому, что ею, действительностью, не принято, что ни реально, ни логически не связано с нею.

Фридрих Гундольф хорошо писал о богатстве деталей у Клейста, что здесь изумляет „контраст между точностью высказанного и горячностью самого высказывания“. „У нас ощущение, что этот одержимый одним взглядом, одним приемом охватывает и передает все те подробности, которые для обыкновенного наблюдателя доступны только после долгого выстраивания и нащупывания“. „Да, это есть особенность его стиля, что он, сообщая о вещах веско и пространно, в то же время создает впечатление очень быстрого темпа“.

Растворяя весь мир в человеческой деятельности, в потоках сверхреальной энергии, Клейст в то же время обостряет несовпадение между динамическим ходом новеллы и всеми неподвижными, косными подробностями, которые навязаны обстановкой, оттенками ситуаций, реальным видом повествовательных мизансцен. Основное противоречие его стиля сказывается еще и в этой форме. Еще и эту форму припимает у Клейста коренная отстраненность человека, как носителя абсолютного призвания, от живой действительности и ее относительной жизни.

Но как призрачна статика новелл Клейста, как призрачны их движение!

По ходу новеллы у Клейста скрыто или открыто теряются первоначально допущенные нормы свободы и индивидуальности, человек превращается в невменяемую силу, которая должна по безукоризненной прямой донести до конца вверенные ей и чуждые ей ценности. Фабульная диалектика по существу приближается у Клейста к религиозно-этической идее *испытания*: испытание маркизы О..., испытание Литтегарды, испытание Тони и Густава.

Новеллы Клейста — поприще трагической и безнадежной борьбы. Старые феодальные силы, едва изменив свое лицо, борются за свое признание в новом буржуазном мире, за свое признание новым буржуазным человеком. Вещи, самой историей превращенные в фантомы, в призраки, в супранатуральные явления, добиваются для себя места в натуральном строе действительности. Но обе стороны отрицают друг друга и не могут ужиться друг с другом.

Эйхендорф

(1788—1857)

Барон Иосиф фон Эйхендорф принадлежал к старинной, но разоряющейся помещицкой семье. В 1818 г., по смерти отца Эйхендорфа, все его имения, обремененные долгами, были проданы. Сам Эйхендорф вынужден был избрать карьеру прусского бюрократа и литератора.

В 1805—1806 гг. Эйхендорф учился в университете в Галле, где слушал лекции Стеффенса, романтического натурфилософа. Отсюда Эйхендорф перебрался в Гейдельберг, где среди университетских профессоров для него был наиболее привлекателен Геррес, глашатай романтического национализма. Тогда же, в Гейдельберге, он завел знакомство с Арнимом и Brentано, идейное влияние которых в полной мере он испытал несколько позднее. В этот период идейным руководителем Эйхендорфа был граф Отто фон Лебен, эпигон иенского романтизма, подражатель лирики Новалиса. Стихи того же рода сочиняет и сам Эйхендорф в эту пору. Настоящее сближение с идеологией гейдельбергских романтиков, Арнима и Brentано, происходит в 1809—1810 гг., когда Эйхендорф посещает Берлин. В 1811 г. Эйхендорф в Вене дружит с Адамом Мюллером и с Фридрихом Шлегелем, тогда уже превратившимся в законченного политического реакционера и строгого католика.

В 1813—1815 гг. Эйхендорф служит в армии, участвует в войне с Наполеоном. 7 июля 1815 г. Эйхендорф вместе с войсками союзников вступает в Париж.

С 1819 г. начинается многолетняя государственная служба Эйхендорфа в прусском министерстве вероисповеданий; он с великим усердием работает по делам католического населения Пруссии.

В 1842 г. Эйхендорф — один из инициаторов знаменитой реакционной пропаганды достройки Кельнского собора. В 1844 г. он уходит в отставку.

В литературе Эйхендорф был представителем крайне-правого крыла дворянской партии.

В основном он разделял идеи гейдельбергского романтизма и был его младшим теоретиком и практиком. Литературу он подчинял всецело интересам религии, правоверного, буквально соблюдаемого „исторического“ католицизма. В 1847 г. он выпустил книгу *Об этическом и религиозном значении новой романтической поэзии в Германии*, где все романтическое движение рассматривается как „тоска“ поэтов-протестантов по утраченной благодати католической церкви, отдельные литературные явления оцениваются по степени их близости к церковному правоверию, и как грех, как духовный изъян, отвергнуты индивидуализм и эстетизм, пропикавшие в романтическую школу.

В тридцатых годах Эйхендорф выступил с серией статей по политическим вопросам. Здесь опять-таки в центре — идея церкви: государству рекомендуется тесный союз с нею. Свободу, которую немецкие либералы ищут где-то на стороне, Эйхендорф считает найденной опять-таки в той же церкви.

Как художник Эйхендорф наиболее замечателен своими лирическими стихотворениями. В зрелый период Эйхендорф строго следует принципам народной песни, такой, какой ее ввел в литературный обиход Арним и Брентано своим сборником *Волшебный рог мальчика*. Лирика его почти всецело посвящена природе „зеленой Германии“, идеализирует аграрную страну, петронутую техникой и промышленностью. Над ней, конечно, возвышается церковный бог; переживания ландшафтов, лирика полей и лесов имеют смысл религиозных символов: поэзия „есть чувственное изображение вечного, всегда и всюду значительного, в этом всегдашняя красота, скрыто просвечивающая земные вещи“.

Из прозаических произведений Эйхендорфа важное значение имеет большой роман *Предчувствие и действительность*, написанный в 1811 г. Роман полон откликов на современные события, направлен против французского господства в Германии, защищает „правое дело“. Напечатать его Эйхендорф мог только после падения Наполеона. В значительной степени роман этот воспроизводит сюжет и идейные положения *Графини Долорес* Ахима фон Арнима, — в романе Эйхендорфа произведение Арнима обсуждается, автор сам дает повод для аналогий. В совершенном согласии с программой гейдельбергского романтизма, Эйхендорф занят здесь оправданием „объективных традиций“, исторически установленных учреждений и понятий. Роман проходит по смысловым параллелям „столицы и усадьбы“, развратной „резиденции“ и миротворных зеленых полей Германии; путь центрального героя, графа Фридриха — это путь из индивидуалистической современной общественно-

сти к холодному безличию единой дерквы: роман кончается постригом графа Фридриха; в монастырском эпилоге содержится заключительный философский тезис всей дискуссии, которая ведется в романе. Граф Фридрих не любит ни городских жителей, ни французов и Наполеона. Еще до монашества он успел отличиться в воинских делах, направленных против французского императора. Монастырь подводит итоги жизненной карьеры и размышлений героя; граф Фридрих считает, что любовь, светская культура, чувственное искусство лишены истинного содержания. Личная биография, со всеми предписанными свыше превратностями, есть только подготовка к схеме религиозно-нравственного человека, и в этой схеме Фридрих устраивается, подавая пример другим. еще не отрехшимся.

„Отречение“, то-есть изъятие человека из мира материальной заинтересованности, есть самый солидный и самый ржавый гвоздь, который вколачивали гейдельбергские романтики в свою идейную конструкцию.

Недаром движение „Молодой Германии“ в тридцатых годах проходило с главенствующим лозунгом „эмансипации плоти“, с лозунгами телесных языческих свобод.

Феодалные романтики боролись с материальной необходимостью общественного развития, с реалистическими инстинктами бюргерства. Они проповедывали пост и постриг. Лидеры буржуазно-демократического движения отвечали им „языческими тезисами“.

Эйхендорф написал несколько новелл. По заслугам выдвинулась из них одна — *Из жизни одного бездельника (Aus dem Leben eines Taugenichts)*, напечатанная в 1826 г. В Германии из всей эйхендорфовой прозы это наиболее популярное произведение. Оно отличается юмором, которого обычно у Эйхендорфа мало. Конечно, и в этом беззаботном рассказе бодрствуют социальные инстинкты автора. В своем роде это „народный рассказ“, жанр, который особенно уважали в гейдельбергском кругу. Герой тоже народный — сказочный „Ганс“, Иванушка, разработанный у Эйхендорфа лирически, с сочувственным юмором.

Сказочность осуществлена в новелле в том направлении, что действительность представлена с точки зрения желаемого. Желаемое и действительность совпадают. Фантастики в прямом смысле здесь нет — ее Эйхендорф перенес в другие новеллы. В данном случае соблюдается реальная почва, но она особым образом возделана. От действительности отвлечены все черты, которые существуют в ней наперекор „желаниям“.

Герой хочет ехать в Вену, и тут же к его услугам карета, которая как раз едет в Вену. Две дамы оказываются ему попутчицами. Он хочет поехать в Италию, и тотчас же два

кавалера предлагают ему совместное путешествие к померанцам и апельсинам.

Все обстоятельства нечаянно благоприятствуют герою. Сюжетный стиль новеллы Эйхендорфа удачно описан критиком Адольфом Шелль (Schöll) в рецензии 1836 г.:

„Работая, он (герой Эйхендорфа) празден; влюбленный, он не разбирается, где его возлюбленная; он думает, что свободно путешествует, на деле же его увозят; его принимают за девушку, в него влюбляются, и он этого не замечает; он находится в плену, но живет свободно; получает письма, не к нему адресованные, но понимает, в чем их смысл; и так далее и так далее; все время он превращает в поэзию все происшествя, случающиеся с ним, и к концу он терпит разочарование только для того, чтобы полностью оказаться в гавани тигого счастья“.

Здесь перечислены все противоположности, через которые прошла фабула, и тогда становится ясен ее принцип: судьба героя делается помимо самого героя.

Эйхендорф пишет по тому типу фабулы, который снова вызвали к жизни романтики. Буржуазная литература, согласно мировоззрению и социальному опыту своему, создала сюжетный стиль совершенно иного рода. Объект задан герою, как трудная задача, он осуществляет собственные замыслы в борьбе, в практическом наступлении опирается на свою умелость, навыки, знания. Герой самостоятелен, объект, напротив, носит косный характер. Примером могут служить романы Дефо.

Роман Тика *Страствованья Франца Штерибальда* восстановил архаический добуржуазный стиль сюжетосложения.

В основе лежит религиозная „гармония субъекта и объекта“, идея *внешней помощи*, счастливой зависимости героя, которому добродушный промысел сочувственно кивает. Религиозная концепция такого сюжета может быть формально ослабленной, фабульное поле может быть дано и без открытого феодально-католического освещения, но оно тем не менее присутствует в дали.

Как бы ни были правдоподобны отдельные фабульные „случайности“, с какой бы степенью вероятности ни были разыграны счастливые удачи, все эти случайности в фабуле систематизируются и поэтому восходят к некоторой неподвижной идее потустороннего усмотрения, к идее организации событий, зависящей не от деятельности человека, но от сил, которые „там“.

Новеллы Людвига Тика, особенно поздние, как постоянный признак имеют именно такое направление фабулы — направление от „внешнего благоприятствования“.

Такова же и отличительная характеристика новеллы Эйхендорфа.

От действительности абстрагируются все ее трудности, ее содержание. Любопытно, что в новелле улетучился экономический быт, улетучились бюджетные статьи героя, низкие и трудные заботы „питающего сословия“ (Nährstand), как выражался о бюргерах Арним. Герой Эйхендорфа со скрипкою в руках прошел от Вены до Рима и обратно. Кошелек был при нем только однажды, на одном только перегоне.

У Эйхендорфа сказочность („красота“, „поэзия“, как говорит Адольф Шелль) возникает вместе с освобождением от экономики, от бюргерски точного взгляда на вещи.

Эйхендорф далеко зашел в сказочной абстракции. Один момент действительности он тем не менее оставляет так, как есть, не „претворяет“. Это—*сословный вид* общественных отношений. Расстояние между Римом и Веной может сколько угодно укорачиваться,— между графиней и крестьянином оно остается реальным и твердым и сказочным опытом не подлежит.

В рассказе есть такие минуты, когда „народный герой“, по мнению читателя, мчится к социальному чуду, к женитьбе на графине. Эйхендорф прекращает читательские иллюзии: женитьба состоится, только жена не графиня, а скромная воспитанница. Герой по ошибке принял свою прекрасную даму за носительницу высокого титула.

Самые поразительные приключения — дорога в замок, жизнь в замке, оказывается, выпали герою по ошибке. Ошибка тоже произошла из-за неучета звания и сословных отличий.

У Эйхендорфа протрезвление рассказа, сведение фавулы к реальной вероятности и начинается и кончается тем, что „сословная, ранговая“ действительность авторитетно о себе напоминает.

Народный герой будет зятем того самого благоразумного швейцара, который всегда был ему так противен. Графиня — для графа.

И когда Эйхендорф сводит сказку к ее реальным мотивам, оказывается, что „дворянская правда“ и дворянская проза беднее и печальнее бюргерской. Весь сказочный дым объясняется тем, что крестьянин был сонлив, беспечен и наивен и ничего не добивался, поэтому понравился добрым господам, и они поощряют его счастье; у него жена с приданым и виды на скромное домоводство. Довольно бродяжничать, придется прислушаться к советам старого швейцара. Тот знает, что и как.

„Народный рассказ“ подведен под старую мораль о своей тарелке, о свертке, который должен знать свой шесток.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От издательства</i>	7
А х и м ф о н А р н и м.	
Изабелла Египетская. <i>Перевод М. Петровского.</i>	11
К л е м е н с Б р е н т а н о.	
Рассказ о честном Касперле и прекрасной Аннерль. <i>Перевод А. Алвдиной, перевод стихов Б. Ярго.</i>	139
Г е н р и х ф о н К л е й с т.	
Маркиза О... <i>Перевод Г. Рачинского</i>	179
Землетрясение в Чили. <i>Перевод Г. Рачинского</i>	222
Обручение на Сан-Доминго. <i>Перевод Г. Рачинского</i>	239
Локарпская нищенка. <i>Перевод Г. Рачинского</i> .	277
Найденьш. <i>Перевод А. Федорова</i>	281
Святая Цецилия, или власть музыки. <i>Перевод Г. Рачинского</i>	298
Поединок	312
И о с и ф ф о н Э й х е н д о р ф.	
Из жизни одного бездельника. <i>Перевод Д. Усова.</i>	349
Комментарии <i>Н. Берковской.</i> 437	
Арним	439
Брентано	447
Клейст.	454
Эйхендорф.	473

Редактор М и х. Д и ф и и ц
Художественная редакция
М. П. С о к о л ь н и к о в
Лиг.-техническ. наблюдение
А. А. Р е ф о р м а т с к и й
Техред Л. А. Ф р я з и н о в а
Наблюдение на производстве
М. И. К о з л о в

* * *

Сдана в набор 1/IX 1934.
Подп. к печати 8/II 1935.
Уполн. Главл. Б — 39 988.
Тираж 5300. Зак. тип. 8386.
Ас. 82. Инд. А—1. Авт. л. 23.
Печ. л. 15 + 10 вкл. Бум.
32×110—¹/₂. Тип. зн. на 1
бум. л. 124 032

* * *

Отпечатано на ф-ке книги
«Красн. пролетарий», Москва,
Краснопролетарская 16.

Цена Р. 9.00

Переплет Р. 2.00

ОПЕЧАТКА

Стр. 449 строка 4—5 снизу

Напечатано: «Дальнейшую, после Дюльмена, биографию Клеманса Брентано Генрих Гейне излагает так»...

Следует читать: «Дальнейшую, после Дюльмена, биографию Клеманса Бретано комментатор Генриха Гейне Эрнст Эльстер излагает так:»...

Немецкая романт. повесть, т. II

МЕЦКАЯ
РОМАНТИ-
ЧЕСКАЯ
ЛОВЕСТЬ

II



БСЭИМА

